



Н. А.
ПОЛЕВОЙ

Николай Алексеевич Полевой

Клятва при гробе Господнем

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=663605
Избранная историческая проза : Правда; М.: 1990*

Аннотация

Книга повествует о событиях на Руси XV века, о междоусобных войнах, которые вели князья за Великий Московский престол, о дворцовых интригах, о Москве и Новгороде того времени, о славных российских городах Угличе, Суздале и Дмитрове - в общем, представляет собой историю смутного времени. Но не только этим замечательна настоящая книга. В ней содержится - и это самое главное - призыв к миру и согласию, христианскому прощению и усмирению гордыни ради пользы Отечества.

Содержание

Часть первая	5
Разговор	7
Глава I	38
Глава II	55
Глава III	71
Глава IV	86
Глава V	104
Глава VI	124
Глава VII	150
Часть вторая	178
Глава I	178
Глава II	203
Глава III	220
Глава IV	235
Глава V	256
Глава VI	273
Глава VII	301
Глава VIII	322
Часть третья	337
Глава I	337
Глава II	369
Глава III	389
Глава IV	438

Глава V	459
Глава VI	480
Глава VII	497
Часть четвертая	511
Глава I	511
Глава II	533
Глава III	551
Глава IV	571
Глава V	601
Глава VI	623
Глава VII	639
Глава VIII и последняя	667
Благосклонному читателю здоровья и спасения.	688
Комментарии	693
Словарь устаревших и малоупотребительных слов	694

Николай Алексеевич Полевой Клятва при гробе Господнем¹ *Русская быль XV века*

...Не слышен голос прошедшего; но когда искра юного огня затлеет во глубине груди, пламя вспыхивает, память освещается. Память, как лампа хрустальная, расписанная яркими цветами: пыль и пятна ее покрыли; но когда в сердце ее поставить огонь, еще свежестыю цветов обольщает она очи, еще расстилает на стенах древней храмины узорчатые, хотя и потускнелые, ковры цветов и красок...

Валленрод

Часть первая

...Тобе диавол на него вооружил желанием самонаачальства разбойнически ноцетатством изгонииши его на крестном целованыи, и сотворил еси над ним не меньшеи Каина и окаянного Святополка... Чим еси самого пользовал, и колико

еси государствовал, и в которой тишине пожил еси? Не все ли в суете и перескаканьи от места до места, во дни от помышления томим, а в нощи от мечтаний сновидения? Иица и желая большего, и меньшее свое изгубил еси... Или, Господине, по нужи смеем реци: ослепила тя будет душевная слепота, возлюблением времянныя и преходящая чести княженья и начальства, еже слышатся зовому Князем Великим, а не от Бога дарованно, или златолюбством объят еси, или женовнимателен и женопокорен, яко же Ироду подобствуя явился еси, и крестное целование² ни во что же вменив...³

Писано к Шемяке, из Москвы, в 1447 году

...И не сие мне было пострадати грех моих ради, и беззаконий многих, и преступлений моих во крестном целовании перед вами, перед своею братиею старейшею, и предо всем Християньством, и его же изгубих, и еще изгубиши есьми хотел до конца: достоин есть главныя казни; но ты Государь мой, показал ели на мне милосердие, не погубил еси мене с беззаконии моими,

² ...крестное целованье – клятва на верность данному слову (устному или закрепленному в грамоте, договоре), скрепляемая целованием креста.

³ Писано к Шемяке... – Имеется в виду «Послание» («Грамота») русских епископов князю Василию Шемяке (см. прим. к с. 325) от 29 декабря 1447 г.

но да покаюся зол моих...⁴

Говорено Шемяке, на Узличч, в 1446 году

Разговор Между сочинителем *русских былей и небылиц*⁵ и читателем

Читатель. Куда это вы собираетесь?

Сочинитель. В типографию.

Чит. А! вот и рукопись! Верно намерены печатать что-нибудь новенькое?

Соч. Ничто не ново под луною! Это было сказано уже очень давно. Но вы не ошиблись: я точно хочу печатать *мое* новое сочинение.

Чит. Прекрасно! Нельзя ли узнать, что это такое у вас будет?

⁴ Говорено Шемяке... – Приводятся слова, сказанные Василием II Васильевичем (1415—1462), великим князем Московским (1425—1433, 1433—1446, 1447—1462), при покаянном примирении с Василием Шемякой после того, как он был в 1446 г. Шемякой свергнут и временно отрекся в его пользу от великокняжеского Московского стола.

⁵ *Сочинитель русских былей и небылиц* – так назвал себя Н. Полевой, напоминая о себе, как авторе «русских былей» («Симеон Кирдяпа», «Краковский замок», «Постоялый двор» и др.) и «небылиц» («Святочные рассказы» и др.).

Соч. Очень можно. Вот название: «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV-го века». – А там, может быть, явится и *небылица* русская.

Чит. Что ж это такое: *были* и *небылицы*.

Соч. *Быль* то, что *точно было*; *небылица* то, что *никогда не бывало*, сказка.

Чит. Верно, что нибудь в роде Гётевых «*Dichtung und Wahrheit*»?

Соч. Да, если вам угодно; только Гёте писал *были* и *небылицы* о себе самом, а я пишу *были* и *небылицы русские*, то есть о нашей православной матушке-Руси.

Чит. Понимаю: вы хотите рассказать нам что-нибудь *русское*, и *по былинам* прежнего времени и *по замышлению Боянову*⁶, жизнь и поэзию Руси?

Соч. Вы угадали. Мне кажется, что история, география, статистика, этнография Руси все еще оставляют для нас нечто *недосказанное*, и мне хотелось бы именно это, хотя отчасти, высказать русскими *былями* и *небылицами*. Успею ли в этом, не знаю; по крайней мере, скажите мне: *спасибо*, за мое доброе намерение.

Чит. Признаюсь: этого я не ожидал от вас.

Соч. Почему же?

Чит. Не только слышал, но и читал я неоднократно, что вы не знаете Руси, что вы не любите Руси, что вы терпеть не

⁶ «Начата же ся той повести *по былинам сего времени*, а не *по замышлению Бояноу*». – «Слово о полку Игоревом».

можете ничего русского, что вы не понимаете, или не хотите понимать – даже любви к Отечеству и называете ее – *квасным патриотизмом!*

Соч. Неужели вы верите всему *слышанному* и даже всему *печатному*?

Чит. Не без разбора; однако ж, это твердят беспрестанно и столь многие, что хотя и не совсем веришь, но начинаешь сомневаться.

Соч. Есть люди, которые уже и не сомневаются в том, что вы говорите; благодарен вам, даже за сомнение. Но кто же говорит и беспрестанно твердит вам о моем отступничестве, отречении от русского, нелюбви к Руси?

Чит. Пишут почти все журналисты русские, множество литераторов русских в стихах и прозе, критических статьях, эпиграммах, водевилях и сатире, а говорят об этом...

Соч. Те, которые ничего не читают, не пишут, а составляют зевающую толпу вокруг пишущих? Но кто читал, что писано мною доньше, тот конечно скажет вам, что *квасного патриотизма* я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю и – еще более, позвольте прибавить к этому, – *Русь* меня знает и любит.

Чит. Следовательно, находится какое-нибудь недоразумение...

Соч. Его легко выразуметь и объяснить. Литературная собратия моя, журналисты, не терпят меня за то, что без всякого искательства и покровительства перегнал я кое-кого из

них на журнальном поприще. Семь лет постоянного внимания и уважения публики⁷ что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, когда то и дело мелькали и мелькают у нас в Лету⁸ другие журналы и журналисты, газеты и газетчики. В то же время я смеюсь над всеми партиями и сплетнями литературными, думаю свое, говорю *свое*, смело сказываю истину писателям и писачкам нашим, *знаменитым* и *незнаменитым*, и в течение семи лет сказал правду, по крайней мере, тысяче человекам. Правда глаза колет – это дело известное, и согласитесь, что когда она уколола около двух тысяч глаз, то есть кому поморщиться при одном моем имени...

Чит. Что правда, то правда; все это может быть.

Соч. Не может, а точно так.

Чит. Но однако ж говорят, что писанное-то вами именно и подтверждает все, что другие пишут и говорят об вас.

Соч. Писанное мною подтверждает одно то, что я враг *квасного патриотизма*. В этом, как и во всех своих правилах и мнениях, я готов всегда сознаться, готов всегда подтвердить их, перед кем угодно.

Чит. Но после такого признания вообще вы не скроете и подробностей дела?

Соч. И их никогда и ни перед кем не скрывал, и не буду

⁷ Семь лет постоянного внимания и уважения публики... – Имеется в виду популярность журнала «Московский телеграф», издаваемого Н. Полевым с 1825 г.

⁸ ...мелькают... в Лету... – т. е. бесследно исчезают. Лета – в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве; души умерших, погруженные в воду этой реки, забывали все, перенесенные ими на земле, страдания.

я скрывать. Послушайте.

Судьба русской земли необыкновенна тем, что Русь поставлена между Югом и Севером, между Европою и Азией, обширна, могущественна, но младшая сестра всем другим европейцам. До Петра Русь возрастала отдельно от Запада. была в Европе и вне Европы. Только Петр начал настоящее образование Руси. Форма сего образования должна была быть *европейская*, а не азиатская, по тому же, почему дважды два четыре, белое не черное, а черное не белое. Прошло уже сто лет, как мы вдвинуты в Европу, но – только *вещественно*. Мы сильны, могучи, чудо-богатыри. Мы ломали рога турецкой луны, вязали лапы персидского льва, переходили через Альпы, сожгли величие Наполеона в Москве и заморозили его славу, загнали шведов за Ботнический залив и подписали один мир в Париже, другой под стенами Царяграда. При всем том (чего стыдиться нам истины?), по *умственному* образованию – мы всех европейцев моложе, мы еще дети! Дидерот⁹ ошибся, сказавши, что Русь есть плод, который не созрел снаружи, а гниет внутри. Мы, просто, еще *не дозрели*.

Чит. Ну, вот и правда, что мне говорили и что я иногда и сам замечал! Можно ли так говорить! И вы русский?

Соч. Больше, нежели кто-нибудь другой: горячая русская кровь течет в моих жилах; но прошу слушать далее. Сердитесь или нет, а я повторю вам слова мои: Русь, могущественная, сильная, крепкая, есть незрелый плод. *Вещественно*

⁹ Дидерот – французский писатель и философ Дени Дидро (1713—1784).

– она все кончила; умственно – только все начала, и – ничего еще не кончила!

Чит. Да чего же вы от нее требуете?

Соч. Умственное образование состоит в полном развитии внутренних сил, внутреннего духа. Такого полного развития у нас еще нет. О **внутреннем** государственном устройстве ничего не будем говорить: это не наше дело. Но и в этом отношении я укажу вам на труды и попечения мудрого нашего правительства, которые убедят вас, что оно, благонамеренное и великое, чувствует явные недостатки нашего общественного устройства, исправляет их, учреждает новые суды, пролагает дороги, роет каналы, устраивает общества, выставки, училища, академии, купеческие советы и проч. и проч. – Честь и слава ему! Но мы, *частные* и *честные* люди, должны ли что-нибудь делать со своей стороны? Можем ли чем-нибудь споспешествовать ему?

Чит. Разумеется. Правительство исправляет, учреждает, а мы должны исправляться и учреждаться.

Соч. Очень хорошо, но это еще не все. Проявление вещественного и невещественного богатства зависит именно от нас, частных и честных людей. Мы производители, мы должны помогать правительству, создавая русскую промышленность, русское воспитание, русскую литературу, словом – *русское внутреннее образование, или проявление внутренних сил России.*

Для этого необходимо:

1-е, и начальное: искреннее сознание у нас существующих недостатков;

2-е, справедливое сознание чужеземных преимуществ;

3-е, верное познание сущности самих себя;

4-е, умение пользоваться чужим хорошим, отвергая чужое дурное. – Затем, по верному плану, можете участвовать, сколько силы и средства вам позволяют, в труде общественного образования. Справедливо ли я говорю?

Чит. Бесспорно. Но что далее?

Соч. Прежде всего то, что ваш испуг при словах моих о совершившемся доньше внешнем только образовании России был несправедлив. Невежда, один невежда не сознается в недостатках, а кто не хочет быть невеждою, должен этим начать.

Чит. Согласен; но вы...

Соч. С пламенным желанием добра я обдумал предварительно все, что вам говорил теперь, и сообразив, что могу делать, чем могу быть полезен в деле отечественного образования, начал действовать с верною целью. Будучи частным человеком и действуя, как честный писатель, что я делал? Я указывал моим соотечественникам на недостатки наши; изъяснял им европейское, современное образование; говорил, как шли, что делали другие и что должно делать нам.

Чит. Прекрасно!

Соч. Прекрасно для людей, понимающих дело и благонамеренных. Для людей же, не понимающих дела, особливо же

своекорыстных, отставших, уставших, извне образованных – все это никуда не годится.

Смешивая политическое, внешнее величие Руси с требованием умственного, внутреннего образования, многие забрали себе в голову, что Русь кончила все свои подвиги. И вот толпа кричит во все горло: «Мы славны, мы велики, мы просвещенны, мы учены, мы богаты. О Русь! о мать Россия!»

Понимаете ли, что этот крик детский, крик горделивого полуневежества? Не так говорит тот, кто искренно и умно желает славы, чести и счастья Отечеству.

Он скажет: «Не за то люблю я Русь, что в ней едят московские калачи и валдайские баранки, а пьют квас, но за то, что она моя отчизна, моя земля, моя Родина, земля судеб и надежд великих, край народа умного, бодрого, способного ко всему великому и прекрасному». Далее: «Но Русь славна только политическим, внешним величием, она дитя умственным образованием. Промышленность, торговля, литература, просвещение – у нас только начинаются». Далее: «Иноземцы перегнали нас во всем этом. Бог с ними: они ранее нас начали, не позавидуем им, но догоним их, а для этого сначала посмотрим: как они *делали*, что они *сделали* и что они *делают*?»

Так думал, говорил, писал я, и вот – гордое полуневежество, смешное самохвальство, квасной патриотизм, слепая любовь к Отечеству возопили против меня и прокликали меня нелюбящим Руси и едва не врагом русской чести и славы!

Чит. Это сушая клевета; но мне сказывали, что вы, как нарочно, все русское браните, Руси вовсе не знаете, говорите о каких-то высших взглядах, высшем патриотизме, а это, если не *карбонарство*, то, по крайней мере, *космополитство*...

Соч. Пусть тот, кто с большим жаром преклонял колена перед всем, что было и есть в Руси изящного и великого, кто с большею любовью лелеял всякое доброе начинание, кто пламеннее моего желал добра Отечеству – пусть тот бросит в меня камень! Но хвалить что-нибудь потому только, что оно *русское*; но кричать о славе нашей со времен славян; но думать, что пыль русская лучше пыли германской, что дым русский пахнет розою – все это и всегда я почитал и почитаю решительною нелепостью, несправедливым оскорблением законов Провидения и делом, достойным или дурака, или негодяя, притворщика! Кто любит Отечество, тот желает ему добра; кто желает ему добра, тот хочет ему образования; кто хочет образования, тот прежде всего оставит пустое хвастовство, будет русским и в то же время европейцем. *Высшие взгляды!* Это просто взгляд не на один угол – французский, немецкий или русский, а на все человечество, чтобы узнать свое *историческое* место и верно стать на это место. *Низшие взгляды* оставим китайцам и персиянам. Читали ль вы. «Похождения Хаджи Бабы в Лондоне»¹⁰: «The adventures of

¹⁰ Превосходное произведение Мориера (*Мориер* Джеймс (1780—1849) – английский писатель, дипломат и путешественник.

Најји Ваба of Успрахан». Оно переведено и на рускиј јазык¹¹: жаль только, что не вполне.]? Вот вам верное изображение *квасного патриотизма!* С ним не уедешь далеко. *Патриотизм высший* должен быть уделом народов просвещенных и великих. Если представителем его в России изображают меня журнальные крикуны и малограмотная толпа – благодарю их и признаюсь, что за честь такого названия я готов жертвовать всем, что для меня в мире есть драгоценного, а бояться его никогда не стану!

Чит. Ваши слова убеждают меня; но я боюсь: не требуете ли вы истребления народной гордости, уважения к предкам и переделки в французов, немцев, англичан?

Соч. Вы не совсем меня понимаете. Истребления *невежественной* народной гордости – требую; *просвещенную* народную гордость – молю Бога внушить нам! Уважения к предкам, как *образцам нашим во всем* – не понимаю; уважение к *доброму и великому в предках наших* – ставлю выше всего. Переделку в французов, немцев, англичан почитаю жалким обезьянством; переделку в *европейских россиян* почитаю целью, которой мы всеми силами должны достигать.

Так ли думают те, которые кричат против меня? «Русь, Русь, великая Русь! Гостомысл¹² равен Нуме¹³ и Миносу¹⁴!

¹¹ «Похождение Мирзы Хаджи Баба Исфганц в Лондоне». Спб. 4 части, 1831 года

¹² *Гостомысл* – легендарный предводитель (старейшина) новгородцев (1-я пол. IX в.), инициатор приглашения варягов на Русь.

Нас хотят разлучить с любовью к Отечеству!» И кто ж это говорит? Какой-нибудь полурусский человек, одетый в французский фрак, выщипывающий стихи из Байрона и Шиллера, выписывающий из Карамзина все, что он хочет сказать о России, кропя оду, в которой пошлость выкупается – разве только пустотою мыслей!

Чит. Но как же должно поступать?

Соч. Не берусь учить других, но вот как я думаю. Довольно хвастовства, довольно внешности. Уверимся, что внутреннее образование наше должно начаться сознанием достоинства других народов. Затем:

С одной стороны, философически рассмотрим европейскую образованность и требования века, отделим доброе от худого, *бросим злую половину*, как говорит Шекспир¹⁵, и извлечем для себя *формы европейского образования*.

С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя. В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние недостатки и выгоды наши. Россия – картина, большая часть которой загнута под раму; прочь эту раму! Откройся, мать наша, безмерная Русь, мир-государство, во

¹³ *Нума* Помпилий – легендарный Римский царь.

¹⁴ *Минос* – легендарный Критский царь; после смерти – один из судей загробного мира.

¹⁵ О, throw away the worser part of it, // And live the purer with the other half.
Гамлет.

всей полноте своей! Покажи нам всю сложность, все части своего разнообразного состава. Мы извлечем таким образом *стихию народности*.

Зная *формы европеизма а стихии русизма*, скажите! чего не сделаем мы из Руси нашей, из нашего народа, закаляемого азиатским солнцем в снегах Севера? Мы победили Европу мечом, мы победим ее и умом: создадим свою философию, свою литературу, свою гражданственность, под сению славного престола великих монархов наших!

Вот чего хочу я, вот чего требую. И неужели вы скажите после того, что я *менее люблю, менее знаю Русь*, нежели какой-нибудь рифмач, которому память о *Полтаве* нужна для рифмы к *славе*, а сказание о том, как побиты *шведы*, к рифме *победы*; или какой-нибудь *либеральный* барский сынок, готовый кланяться и кричать о патриотизме, для отыскания *ключа* к счастью; какой-нибудь газетчик, который знает Русь по *отечественным воспоминаниям* своих листков; или какой-нибудь патриот, горящий любовью к отечеству, когда за столом его патрона пьют *чужое* вино за благоденствие России и забывают об этом благоденствии за французским пирожным! Извините – я не могу говорить равнодушно: предмет разговора близок к моему сердцу.

Чит. Благодарю вас за искренность и уверен, что, зная все слышанное мною от вас, каждый благомыслящий, благонамеренный человек пожмет вам дружески руку.

Соч. Но мы отделились немного от предмета разговора на-

шего; впрочем, одно идет к другому: литературного поприща моего и клевет на меня в нелюбви к Руси не мог я изъяснить вам, не изъяснив причин ненависти ко мне многих и – *очень многих!* Довольно странно, мне, незначительному члену общества, думать, что я могу споспешествовать чем-нибудь великому делу истинной славы и прямого счастья России. Но и от маленькой былинки есть тень, как говорит, помнится, Гораций (*Etiam capillus unus habet umbram suam.*), и капля есть нечто в океане. Думай и действуй *каждый*, выйдет, что действуют *все*. Солдат, который под Бородиным убил одного француза, исполнил уже свой долг, участвовал уже в великом деле 1812 года. «Если бы я мог действовать – я действовал бы; теперь я говорю» (*Si j'etois prince ou legislateur, je ne perdrois pas non temps a dire ce qu'il faut faire; je le ferois, ou je me tairois. Руссо.*). Поприще, на которое судьбе угодно было поставить меня, – *литература*. Смею думать, что если бы я умер сегодня, то благодарный потомок не откажет уже мне в воспоминании и в словах: «Он желал добра».

Семь лет журнала – семь подвигов нелегких! Я передавал соотчикам то, что замечал в Европе достойное внимания, что почитал полезным моей отчизне, и в тоже время смело срывал я маску с бездарности, притворства, порока, сражался с предрассудками закоренелыми, родными и наносными, уличал чванство вельможи и хвастливость педанта, пустоту нынешнего, детского нашего образования и тяжелую грубость нашего невежества. Ошибался я – что делать! я чело-

век! Но никто не видал моей головы, преклоняющейся перед кем-либо, когда душа моя не была исполнена уважения к предмету, мною превозносимому. В «Истории русского народа» мне хотелось особенно показать: как должно смотреть на самих себя с точки высшего патриотизма (не боюсь повторить это страшное для близоруких патриотов слово!), хотелось познакомить русских с европейским воззрением на события минувшего. Кто имел терпение читать все писанное мною, тот скажет, что я один и тот же – под личиною *живописца*¹⁶, во взгляде *историка* и в *критике* на пошлых чад бездарности, невежества и литературного хвастовства.

Чит. И мы то же найдем и в *былях* и *небылицах русских*?

Соч. Да, я и забыл было, что мы об них сначала заговорили. И в них я тот же, но здесь вы не увидите самого меня. *Были* и *небылицы* суть любимые дети моих досугов. Мне хотелось в них изобразить те отношения народных стихий русских, которых в истории, и во всяком другом роде сочинений, изобразить невозможно, но которые, между тем, знать непременно должно. Разыскания и диссертации не повели бы меня к моей цели. Я решился писать – *были* и *небылицы русские*.

Чит. То есть, русские *повести* и *сказки*?

Соч. Если вы понимаете под словами: *повесть*, *сказка* та-

¹⁶ ...под личиною живописца... – Имеется в виду сатирическое приложение к «Московскому телеграфу» – «Новый живописец общества и литературы», большая часть статей которого была написана самим Н. Полевым.

кие создания, где сочинитель оболыщает вас вымыслами воображения, украшая существенность или вводя вас в волшебный мир фантазии, то мои *были* и *небылицы* не то, что *повести* и *сказки*. В *былях* мне хочется, как можно проще и ближе, изобразить вам Русь, прошедшую и настоящую. В *прошедшем* верная нить Истории и повествований старинных поведет меня; только там, где нет изъяснений Истории, позволю себе аналогическое прибавление к известному, Русь, как она *была*, точная, верная картина ее – вот моя цель. В *настоящем* то, что я видел и узнал, что в самом деле *существует* на Руси – изображу, сколько могу вернее.

В *небылицах* – я перескажу вам русские сказки, поверья, игру *народного* воображения; я буду только собиратель и издатель, а не сочинитель.

Чит. Любопытно, как все это вы исполните. *Русские сказки* – хорошо! Давно бы пора за них приняться... Но в *былях*, извините, вы, кажется, увлекаетесь общим порывом нынешним.

Соч. Каким?

Чит. С тех пор, как Вальтер Скотт показал нам образцы *исторических романов*, все в Европе пустились в исторические романы. И у нас на Руси распложается их довольно. Дарования сочинителей *Юрия Милославского*¹⁷ и *Димитрия*

¹⁷ «*Юрий Милославский*, или Русские в 1612 году» (1829) и «*Рославлев*, или Русские в 1812 году» (1830) – романы Н. М. Загоскина (1789—1852); «*Димитрий Самозванец*» (1830) и «*Иван Выжигин*» (1829) – романы Ф. В. Булгарина (1789—1859).

Самозванца, Рославлева и Выжигина соблазнили вас... Признайтесь откровенно?

Соч. Не в чем. Если речь идет об исторических романах, не знаю, почему вы думаете, что В. Скотт *первый* показал нам их? Вы почтете шуткою, когда я укажу вам на Иродота, как на первого исторического романиста; но прошу вас припомнить, что исторические романы давно существовали – у немцев, французов и англичан. Даже у нас, лет тридцать назад, жаловались уже на исторические романы. Вспомните слова Карамзина¹⁸. И тот же Карамзин, задолго до В. Скотта, написал исторический роман «Марфа Посадница»¹⁹. Разница в том, что Карамзин не постигал сущности сего рода сочинений так, как не постигали ее Мейснер, Мармонтель, Флориан, Август Лафонтен, Жанлис²⁰, а прежде их те

¹⁸ Вот, что писал Карамзин в 1799 году (см. повесть его «Рыцарь нашего времени»): «С некоторого времени вошли в моду *исторические романы*. Неугомонный род людей, который называется авторами, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли правым) вызывает древних героев из их тесного домика (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия! Один встает из гроба в длинной римской тоге, с седою головою; другой в коротенькой испанской епанче, с черными усами – и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц Леды. Только, привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают, а с ними вместе – и читатели сих исторических небылиц». (Соч. Карамзина. Т. IX, стр. 5, 6).

¹⁹ «*Марфа Посадница*» – не роман, а повесть.

²⁰ Мармонтелевы «Инки, или Падение Перуанской империи»; его же «Велизарий» (бывший в такой славе, что императрица Екатерина сама, с своими приближенными особами, перевела его на русский язык); Флориановы уроды – нечто в

жалкие романисты, с которыми бранился Буало²¹ (См. Буало «Les heros de roman, dialogue a la maniere de Lucien». В этой сатире, Буало осмеивал романы Скюдери, Кальпренеда, Демаре, Гомбервилля, и проч. Нам едва известны теперь имена сих людей, но от их *Киров* и *Клелий* – приходили в восторг и плакали современники. «Comme j'etois fort jeune dans le temps que tous ces romans, tant ceux de mademoiselle de Scuderi, que ceux de la Calprenede et de tous les autres, faisoient le plus d'eclat, – говорит Буало, – je les lus, aussi que les lisoit tout le monde, avec beaucoup d'admiration; et je les regardai comme des chefs-d'oeuvre de notre langue»). В. Скотт постиг сущность исторического романа и разгадал загадку для писателей всех стран. Век догадывался об ней; В. Скотт решил эту загадку, и именно те проигрывают, котррые подражают ему (Купер, Г. Смит, Брониковский), и те выигрывают, которые самобытно творят, как творит В. Скотт (А. Виньи, В. Гюго, Манзони, Цшокке) (Вышеприведенные доказательства, кажется, должны убедить, что *исторический роман* не есть идея, *начавшаяся* в наш век. Мысль: назвать Иродота

роде поэмы и романа, например: «Гонзальв Кордуанский»; Жанлис – «Герцогиня Лавальере», «Госпожа Ментенон», «Рыцари лебедея», и проч.; Мейснера – «Бианка Капелло», «Алкивиад» Августа Лафонтена – «Ромул, Аристомен и Горг», и проч. Добрый Лафонтен написал даже один исторический роман, взяв предмет из нашей истории – «Князь Александр Тверской»!! Не говорим о тысяче последователей всем сим писателям...

²¹ *Буало* Никола (1636—1711) – франц. поэт и теоретик классицизма; Полевой отсылает читателей к его сочинению – «Герои из романов. Диалог в манере Лукьяна» (См.: Буало. Поэтическое искусство. М., 1957).

первым историческим романистом, я заимствовал у Нилья. В своей превосходной книге «The romance of History» (Лондон, 1820 г.) Ниль доказывает, что история началась романом, потом отделила от себя философию истории, и по необходимости после сего должен был явиться исторический роман, как *другая половина истории*. В. Скотт не изобрел исторического романа: он только *узнал истинную сущность его*. Это Васко де Гама, проехавший в Индию морем. – А. Шлегель прекрасно изъяснил, что такое значит ложное подражание природе и истинное подражание (См. очерк его идей в «Телеграфе» 1831 г., т. XXXIX, стр. 415 и след.). – В теории исторического романа вывод будет один и тот же, ибо исторический роман принадлежит к области изящного. – Скюдери, Мармонтели, Мейснеры, Жанлис брали исторические имена, одевали их по-своему, заставляли их говорить по-своему. У Скюдери Кир и Гораций Коклес плакали от любовных горестей; у Мармонтеля перуанские кацики вольнодумствовали; у Жанлис современники Карла Великого кокетничали, как французские щеголи XVIII века. Нелепая мысль: украшать природу и истину, и в этом заключать *изящное* – все портила: и французскую драму, и исторический роман. Так Карамзин, в «Марфе Посаднице», не довольствовался истиною. Он не понял величия кончины новгородской вольницы, вставил множество звонких, но пустых фраз, речей, выдумал небывалых героев, заставил их говорить по-своему. В. Скотт первый бросил ложную теорию исторического ро-

мана. Что исторический роман не достиг еще и у В. Скотта полного совершенства, что В. Скотт не истощил еще разнообразия форм его, доказывают новейшие сочинители исторических романов, последователи В. Скотта. Укажем на трех современников, которые едва ли не выше самого В. Скотта. «Сен-Марс» Альфреда де Виньи, «Обрученные» Манзони и «Церковь богородицы парижской» В. Гюго, по моему мнению, суть огромные, совершенно новые и блестящие творения нашего времени. Истина, с какою, рядом превосходных картин, выразил А. де Виньи: Ришелье, двор и век Людовика XIII; итальянская, оригинальная народность Манзони и глубина страстей, до которой с удивительной отважностью осмелился коснуться В. Гюго, – явления самобытные и далеко превзошедшие все, что писал шотландский романист! Впрочем, кто осмелится оспаривать великие дарования В. Скотта, когда нельзя не сознаться в прекрасных дарованиях даже рабских его последователей – Купера, Г. Смита, Локарта, Брониковского! Мне кажется, сим последним не достает только самобытности, чтобы сравняться с В. Скоттом. Впрочем – не достает немало; но сами ли они в этом виноваты? Заслуга их, состоящая в том, что верно следуя правилам В. Скотта, они изображают стихии своей народности – американской, английской, польской, – достойна великого уважения. Многие ли это сделать сумеют?]

Чит. Положим, что и так; но все вы идете вслед за авторами «Милославского» и «Самозванца».

Соч. Если бы и в самом деле с В. Скотта надобно было полагать начало исторических романов, то в России первые опыты настоящих исторических повествований явились еще в 1822 году, в «Полярной звезде»²² (Разумею здесь повести А. Бестужева «Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Замок Нейгаузен». Это были *первые опыты настоящего исторического русского романа.*). Задолго до «Самозванца» и «Милославского», я печатал опыты *русских былей* в «Телеграфе» (В 1826 году поместил я в «Телеграфе» повесть о походе Димитрия Донского на Новгород. Потом напечатал повесть о падении Суздальского княжества («Симеон Кирдяпа» – это был собственно *отрывок*, который когда-нибудь надеюсь окончить). Другие опыты печатал я в разных альманахах²³). Но дело не в том, я сказал уже вам, что *были* мои совсем не *исторические романы* в роде В. Скотта.

Чит. Что ж это такое?

Соч. Это, чтобы сказать вам короче, – *история в лицах и быт народа в живых картинах.* Барант²⁴ очень мило и остроумно доказывал необходимость *романизма истории.* Прочтите его предисловие к «Истории герцогов Бургундских». Это предисловие мне кажется образцом красноречия, хотя

²² «Полярная Звезда» (1823—1825) – альманах декабристов; издавался А. Бестужевым-Марлинским (1797—1837) и К. Ф. Рылевым (1795—1826).

²³ *Другие опыты печатал я в разных альманахах.* – «Сохатый. Сибирское предание» – Денница. Альманах на 1830 год; «Краковский замок» – Радуга. Альманах на 1830 год; «Постоялый двор» – Денница. Альманах на 1831 год.

²⁴ Барант А. Г. П. де, барон (1785—1866) – французский историк, публицист.

в приложении к истории оно софизм. Любопытно, что говорит Барант о наклонности нашего века к живому повествованию: «Может быть, наша эпоха предназначена для особенной почести исторических повествований. Никогда любопытство не бросалось с такою жадностью на исторические знания. Мы жили тридцать лет в мире, волнуемом столь дивными и различными событиями; народы, законы, престолы так быстро летели перед нами; будущность, даже самая близкая, обременена решением столь великих вопросов, что первое дело нашего досуга и размышления было *изучение истории*. И как бытие каждого из нас, великого и малого, непосредственно соединено с превратностями общими, как жизнь, быт, честь, сущность, судьба, может быть – мнение; словом: каждое состояние и отношение гражданина зависело и еще зависит от общих событий его отечества, или даже целого мира, то ум наш долженствовал взять целью, почти единственную, историю народов. Туда направилась философия, ибо какие причины, какие действия могут быть достойнее разысканий в их источнике? Самой поэзии не внимают ныне, если она не говорит о том, что являет нам столько чудес, возбуждает столько движений. Драма кажется обреченною изображать исторические сцены. Роман, сей род, прежде столь ничтожный и живописью великих страстей сделанный столь красноречивым, увлечен историческим интересом. От романа требуют уже не рассказов о чьих-либо похождениях, но хотят, чтобы похождения сии были живыми и верны-

ми изображениями земли, эпохи, мнения; хотят сих изображений такими, чтобы по ним можно было узнавать частную жизнь народа. Не всегда ли составляла она тайные записки жизни общественной?»²⁵

Чит. Умно.

Соч. Главное: слова Баранта верно показывают требование века, объясняют явления *нынешних* исторических романов и, как изображение народности, нынешнюю драму, поэзию и проч. и проч. – В. Скотт, повторяю, только разгадал требование века в отношении романа так, как – не помню кто (кажется, Нодье²⁶) сказал и сказал очень верно, что Байрон *положил на голос песню своего времени.*

Это уже давно предчувствовали. Послушайте, что говорил один холодный, но умный писатель о классической французской драме:

«Важный недостаток истории есть тот, что она *рассказывает*, и надобно сознаться, что рассказанные ею дела, будь они представлены в *действии*, получили бы совсем другую силу и особливо приобрели бы для нашего ума новую яс-

²⁵ «Histoire des Dues de Bourgogne», 2-е издание, Париж, 1824 г. Т. I, стр. XXXII—XXXIV. «Le roman, – говорит Барант, – ce genre autrefois frivole, et que la peinture des grandes passions avait rendu si eloquent, a ete absorbe par l'interet historique. On lui a demande, non plus de raconter *les aventures des individus*, mais de les montrer, comme temoignages vrais et animes, d'un pas, d'une epoque, d'une opinion. On a voulu qu'il nous servit a connaitre la vie privatee d'un peuple; ne formetelle pas toujours les memoires secrets de sa vie publique?»

²⁶ *Нодье* Шарль (1780—1844) – французский писатель-романтик.

ность. Видя представления Шекспирова „Генриха VI-го“, я с любопытством вновь изучаю в сей трагедии все *историческое* о сем государе, жизнь коего была исполнена волнений, столь разнообразных, столь быстрых, что их почти всегда смешиваем мы в своих воспоминаниях. Признаюсь, что сто раз знал и сто раз забывал я события жизни Генриха VI-го. Посему читал я Шекспира в намерении хорошо представить себе события исторические. Я увидел у Шекспира главные лица того времени в действии; они разыгрывали свои роли предо мною; я узнавал их нравы, их желания, их страсти: они все мне рассказали, и я забыл, что читал трагедию; я думал, что со мною говорит историк, и сказал себе: „Для чего наши историки не пишут таким образом? Как подобная мысль доньше никому не пришла в голову?“

Правда, история научает нас знать события, но научает холодно, потому, что она умеет только *рассказывать* и часто рассказывает смешанно, какой бы порядок ни принял историк, ибо он недовольно живет с событиями: одно дело гонит у него другое и каждое лицо уже бежит от нас, едва мы его завидели. В трагедии нашей (французской) другая погрешность, столь же невыгодная для желающего научиться истории, погрешность, которую, довольно справедливо однако ж, трагедия принимает за главное свое правило. Она изображает одно, *главное* действие и, как живопись, схватывает *одно* мгновение. В самом деле, это тайна трагедии, посредством коей возбуждает она участие наше. Это участие

охладело бы, если б воображение наше повести по многим, различным действиям. Таким образом, история холодно, в сравнении с трагедией, изображает длинный и верный ряд событий, а трагедия, пустая, без события, в сравнении с историей, резко пишет одно действие, которое взялась изобразить. Для чего не попытаются соединить их? Не выйдет ли из соединения их чего-нибудь приятного и полезного?»

Сквозь ошибки теории видите ли *мысль нашего века*, изъясненную Барантом? А это писал, лет девяносто тому, под ферулою²⁷ французского классицизма, старый президент Гено!²⁸

Чит. Как? неужели? Во Франции! За 90 лет!

Соч. И мысль Гено первый привел в исполнение, в наше время, Вите²⁹. Издавая свои «Баррикады», вот что он говорил:

«Это не театральная пьеса; это исторические события, представленные под формою драмы, но без требования на драму.

Воображаю себе, что я хожу по Парижу, в мае 1588 года, в буйный день баррикад и в предшествовавшие оному дни; что я попеременно, то в залах Лувра, то во дворце Гиза, то

²⁷ *Под ферулою...* – т. е. под строгим руководством и страхом наказания; ферула (букв. – хлыст, розга) – так называлась линейка, которой били по рукам школьников.

²⁸ Сочинитель Хронологических таблиц французской истории, умерший в 1770 году.

²⁹ *Вите* Луи (1802—1873) – французский политический деятель и драматург.

в парижском шинке, то в домах граждан, лигистов и гугенотов. Каждый раз, видя живописную сцену, картину нравов, замечая черту характера, я стараюсь схватить их очерки и изобразить их, составляя сцену. Понятно, что из этого выйдет ряд портретов, или, говоря технически – *этюдов, абрисов*, которые, кроме сходства с сущностью, ни на что другое не имеют права.

Но сии сцены не совсем и раздельны; они образуют нечто целое: есть действие, к развитию коего все они стремятся; но это действие находится тут для того только, чтобы представить нам сцены и связать их. Если бы, напротив, я сочинял драму, то надобно бы прежде всего думать о ходе действия; жертвовать, для оживления оною, живописью множества подробностей и частей; возбуждать любопытство задержкою, ставя выпуклее несколько главных лиц, главных событий, на счет других, и показывая остальное в сплошной перспективе. Я почел за лучшее – изображать все так, как я нашел, выводить на первые места всех людей и все события, по мере того, как они мне представляются, ничего не уравнивая и часто перерывая действия разговорами, эпизодами, как это бывает в действительной жизни. Менее хочу возбуждать занимательности, для того, чтобы срисовывать вернее». ³⁰

Вот мысль, вследствие которой явились в наше время *исторические сцены* (*Scenes Historiques*).

³⁰ Les Barricades. Предисловие.

Чит. Но если вы замечаете ошибку в Варантовском *романизме истории*, то, мне кажется, здесь та же ошибка. Зачем сбивать старую теорию? Пишите *историю*, пишите *драму*, пишите *роман*. На месте Вите я творил бы по-шекспировски, а вместо ваших *былей* сочинял *исторические романы*.

Соч. Дай Бог нам ошибок, подобных «Нёйльским вечерам», «Театру Клары Газуль», «Баррикадам», «Смерти Генриха III», «Государственным чинам в Блуа», и таких погрешностей в теории, которые были бы подобны очеркам Вите, Мернье, Фонжере³¹. – Я охотно соглашусь на отступление от *классической элегии* и *эклоги*, пусть только будет оно так же хорошо, как изобретенные Немцевичем³² «Думы» и «Селянки» Трембецкого (Опыты «Дум», в подражание Немцевичу, являлись и на русском языке³³. О «Селянках» см. в «Телеграфе», некрологию Трембецкого³⁴). *Исторический роман* –

³¹ К сожалению, ни одно из этих прекрасных явлений, коими ознаменовывается *перерождение* французской драмы в наше время, донныне неизвестно русской публике и она должна верить на слово. Под именем «Нёйльских вечеров» (Les soirées de Neuilly) издали свое собрание пьес, взятых из современной истории и современных нравов, Каве и Диттмер, псевдонимически назвавшись: *Фонжере*. Мериме напечатал свои драматические пьесы под вымышленным именем Глары Газуль (Theatre de Clara Hazul). Вите изобразил историю лиги в трех драматических пьесах: «Les Barricades», «Les Etats de Blois» и «La mort de Henri III» («День баррикад», «Государственные чины в Блуа» и «Смерть Генриха III»).

³² *Немцевич* Юлиан Урсын (1757—1841) – польский писатель и революционный деятель.

³³ *Опыты «Дум»... являлись... на русском языке...* – Имеются в виду «Думы» К. Ф. Рылеева.

³⁴ *Трембецкий* Станислав (1739—1812), польский поэт. «Селянки» – Имеется в

легко сказать!.. Я не так самолюбив: объявляю менее и от меня потребуют менее.

После нескольких небольших опытов, помещенных в «Телеграфе» и разных альманахах³⁵, вот первый опыт *русских былей*, несколько обширнее. Я выбрал для сего время *второй четверти XV-го века*. Вспомните исторические подробности. На престол московский восходит Василий Темный, внук Дмитрия Донского, сын Василия Дмитриевича, укрепителя единовластия в Руси. Это минута решительного перелома: падения татарской власти, падения удельной системы, начала единодержавия. За Василием следовал уже великий Иоанн III. Время, мною выбранное, есть время сильных характеров, резких черт, которыми ознаменовываются последние усилия татар, князей и Новгорода против тяготеющей над ними власти Москвы и новой системы государственного и общественного устройства. Взор наблюдателя в то же время не опечаливается слишком резкою мрачностью картин и изображением отчаянных усилий человека в дни бедствий, подобных нашествию монголов или падению Ца-

виду поэма «Зофьювка...» (1806).

³⁵ Мне приходила в голову смелая мысль: всю историю русскую XVII, XVIII и XIX веков изобразить в виде подробной исторической повести. Имея образец в сочинении Баранта, которого «Историю герцогов Бургундских» можно назвать *романической историею*, человек с дарованием и обширным знанием Руси мог бы создать творение великое и прекрасное, которое живописью, разнообразием и глубиною далеко превзошло бы сочинение Баранта. Чувствуя недостаток сил и сведений, я отказался от такого подвига.

рыграда³⁶. Уже Литва не страшит московского князя; уже татары не кажутся грозными властителями.

Воображаю себе, что с 1433-го по 1441-й год я живу в Руси, вижу главные лица, слышу их разговоры, перехожу из хижины подмосковного мужика в Кремлевский терем, из Собора Успенского на новгородское вече, записываю, схватываю черты быта, характеров, речи, слова и все излагаю в последовательном порядке, как что было, как одно за другим следовало: это *история в лицах*; романа нет; завязка и развязка не мои. Прочь торжественные сцены, декламации и все *coups de theatre*³⁷! Пусть все живет, действует и говорит, как оно жило, действовало и говорило...

Чит. То есть, как *могло* жить, действовать и говорить, ибо не в самом же деле с природы списываете вы XV век, через 400 лет, в XIX столетии?

Соч. Знаете ли, что в *настоящем* нам гораздо труднее знать и описывать, нежели в *прошедшем*? Труд надобен большой, но есть возможность совершенно *перенести себя в прошедшее* и хорошо понять его. Вот здесь-то необходимо потребны *высший патриотизм* и *высшие взгляды*, которые, соединясь с мелким изучением местностей в подробностей, могут верно *преобразить* нам *прошедшее*, давно оконченное, ибо исповедь веков уже ничего не закрывает от зоркого, испытательного глаза. Люди *сказали* все, что видели, слыша-

³⁶ ...падение Царьграда... – см. КОММ. к с. 58.

³⁷ *coups de theatre* (фр.) – неожиданная развязка.

ли, чувствовали, а время, на гробах действователей, *досказало* эпилог жизни их и общества их. «Прейде позорище, братие!» – дописано – открывайте занавес и смотрите! Воображайте, что я, директор русского театра в XV веке, обещал вам представить: *Комедию о том, как Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, в 1433-м году, и о том, что из того воспоследовало* – не более! Мое дело обставить сцену надлежащими декорациями и одеть актеров. Ваше – взять мою книгу, перейти мысленно в XV век и читать *русскую быль*. Понравится, полюбится она, что вам за дело – исторический ли это роман, *исторические* ли сцены? Было бы верно, дополняло бы историю и увлекало вас.

Чит. Вы возбуждаете мое любопытство. Боюсь только, что, лишённые романизма, ваши были будут сухи и холодны.

Соч. Это будет уже моя непростительная вина, ибо никакая *выдумка* романиста не сравнится с романом *бытия действительного*, и никакой Шекспир и В. Скотт не скажут нам того, что говорит *человек* и что высказывает нам *жизнь его*.

Чит. Но – еще одно сомнение – верить ли всему, что вы расскажете нам? Ведь вы говорите: *быль*, а может быть, все это будет *выдумка*?

Соч. Помните ли вы анекдот о Суворове? Старик терпеть не мог слова: *не знаю*. Он сердился, бранился, называл за это *немогузнайками*. Все это знали и никогда не говорили ему ужасного: *не знаю*. Идет Суворов мимо солдата стоящего на

часах, ночью или поздним вечером. Небо было ясное, тысячи звезд сверкали на голубом пространстве. Суворов остановился, поглядел на солдата и вдруг спросил: «*Знаешь ли ты, сколько звезд на небе?*» – «*Знаю!*» – бодро отвечал солдат. «*Сколько же?*» – «*Сто пятнадцать тысяч четыреста семьдесят две.*» – «*Врешь!*» – «*Извольте перечесть сами; русский солдат не врет.*» – Суворов отскочил, снял шляпу, низко поклонился солдату и пошел, говоря свое любимое: «*Хорошо, помилуй Бог, хорошо!*» Так и я говорю вам: *быль*; вы не верите. – За чем же стало. *Поверьте* меня...

Чит. Хорошо сказано, по-суворовски!

Соч. Уже и та польза будет, что кто станет поверять меня, тот должен думать, обдумывать, соображать, учиться отечественной истории, изучать Русь настоящую и прежнюю. Мне кажется, что в России заставить кого-нибудь *думать* и *учиться* – важная услуга!

Чит. Однако ж, для староверов, вам надобно бы подкрепить мнения свои каким-нибудь *старым* и сильным авторитетом.

Соч. Почему ж и нет? Припомним только Александра Петровича Сумарокова, *действительного статского советника, ордена Св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена.* Он говорил:

Слагай, к чему влечет тебя твоя природа,

Лишь просвещение, писатель, дай уму!³⁸

Или Михаила Матвеевича Хераскова, *действительного тайного советника, члена разных ученых обществ, Московского университета куратора и кавалера разных орденов*. Он говорил:

Во слогах вольный ход поэтам не заказан;
Как новых стран искал Колумб, преплыв моря,
Так новых ищем мы идей, везде паря.³⁹

Чит. Довольно; я с вами согласен во всем, но – послушаем, что скажут другие!

Соч. Примите в заключение добрый совет: *живите своим умом*. Что вам любо, любите, что не любо, не любите, не дожидаясь чужого мнения. Пора, пора опровергать справедливую поговорку, что *русак задним только умом крепок...*

Н. Полевой

³⁸ *Соч. Сумарокова «Эпистола к российским стихотворцам».*

³⁹ Поэма Хераскова «Пилигримы, или Искатели счастья». (См. «Творения М. Хераскова», т. VII).

Глава I

*Воем сыр-бор за горою,
Метелица в поле;
Встала буря, непогода,
Запала дорога...⁴⁰*

Мерзляков

«Экая метель и вьюга: света Божьего не видно!» – сказал старик, входя в избу и отряхивая с шапки своей снег, примерзнувший хлопьями.

– Добро пожаловать, – отвечал хозяин, слезая с печи, – здесь обогреешься и отдохнешь с дороги.

Старик остановился посреди обширной избы, взглянул в передний угол, где на деревянной полочке стояли иконы и теплилась маленькая лампадка, перекрестился три раза, поклонился на все стороны и, оборотись к хозяину с поклоном, проговорил: «Здравствуй, хозяин!»

– Добро пожаловать, – повторил опять хозяин, – аль проезжие?

«Пусти ночевать, добрый человек», – продолжал старик, оттаивая руками длинную свою седую бороду.

– Рады гостям. Много ли вас?

«Пятеро».

⁴⁰ Эпиграф – Строки из песни «Чернобровый, черноглазый...» Мерзлякова Алексея Федоровича (1778—1830).

– Куда Бог несет? Аль в Москву?

«В Москву, родимый. Хотели доплестись до Петрухиной, да такая кура – падает и мерзнет...»

– Что за дорога в эдакую метель! сгинешь ни за что! У нас про вашу милость все спасено, – говорил хозяин, стаскивая с палатей овчинный нагольный тулуп и надевая его. – А откуда Бог несет? – спросил он, зажигая длинную, сухую лучину.

«Из Ярославля. Везем рыбу в Москву. Говорят: там теперь она в цене».

– Бог цену строит; да как и не бывать ценам: чай наехало в Москву народу гибель; ведь теперь дело праздничное, да и веселье княжеское...

Так разговаривая, хозяин и приезжий пошли из избы. Сильный ветер хлынул в дверь, когда они растворили ее. Захлопнув полою тулупа лучину, хозяин светил старику, говоря: «Зги не видать! Экую Бог дал погоду!» – шел к воротам.

Работник хозяина, почесываясь, брел по двору с большим ключом. «Пусти проезжих, да дай сена и овса», – сказал ему хозяин. Молчаливое исполнение было ответом.

Широкое, во все ворота, полотенце заскрипело на деревянных петлях и отворилось. Пять возов, закрытых рогожами, въехали на двор и остановились под соломенным навесом, которым огорожен был со всех сторон двор хозяина. Проводники с трудом распрягли лошадей измерзшими руками и от времени до времени бранили смиренных животных. Между тем словоохотный хозяин стоял подле приезжих

и уверял их, что у него кадушка для овса новгородская, сено хорошее, луговое, и на ужин щи со *свежиною*, каши сколько съешь и пироги с капустою. «Доброе дело, благословенное дело! – отвечал старик. – Скажем спасибо хозяину и хозяйшке поклон положим».

– Уж эта Москва, все щепетко ходит, – ворчал длинный, сухопарый товарищ старика, – в пирогах-то, чай, хоть выспись, а в щах и неводом ничего не поймаешь, не только ложкою.

«Что, товарищ, что?» – подхватил хозяин, подходя к нему, и, видя неповоротливость лошади его, махнул полою тулупа своего, прикрикнув: «Ну, кормилица! вишь, как упарилась!»

– Да, упаришься, хозяин, – отвечал старик, свертывая веревку, служившую ему вместо вожжей, и выкидывая ее на воз.

«Хозяин! ты видно двора-то не топишь!» – заворчал опять сухощавый.

– Топлю, да не нагревается, – отвечал хозяин, смеясь.

«Да как и нагреться: смотри, какие у тебя лазей в навесе-то, – возразил сухощавый, – бык пролезет».

В самом деле, соломенный навес, которым около плетня обнесен был кругом весь двор, во многих местах обвалился; гнилая солома едва держалась в других местах; снег веяло во двор, и груды его намело под навесом.

– Да вот все собираюсь строиться, – отвечал хозяин, – и не хочется уж поправлять старого.

«Кто кладет заплату на ветхую ризу! – усмехнувшись, прибавил старик. – Продерется, и горше старого дыра будет».

В это время вступили в разговор другие товарищи старика, до сих пор молчавшие. – «Хозяин! где же поставить лошадей? Нигде места нет!»

– Как нет? Да вот тут к колоде.

«Да смотри, какой сугроб, они околеют у твоей колоды».

– Что за сугроб? – воскликнул хозяин и пошел показать, что снег не глубоок; но едва ступил туда, как ушел по колени в снег. Не теряя бодрости – настоящий русский человек – оборотился он назад и прибавил: – Ничего, лошадки пообомнут, да еще лучше поедят.

В нерешительности остановились приезжие; но старик между тем подтащил сани к хлеву и растягивал хребтук между оглоблями, приговаривая: «Господи, благослови!»

Тут услышали шум подле закутки, где лежало сено. «Давай еще! – запальчиво говорил кто-то. – Ведь не даром у тебя берут, так и ты меряй по-христиански».

– Что, что там? Ась? – проговорил скоро хозяин и пошел к тому месту, где шумели.

«Видно, Еремку-то обмерять хочет москвич, – сказал сухощавый. – Уж нечего сказать: сенишко, что твоя осока, и то меряют, словно брагу добрую, с пеной».

– И, брат Гриша, – отвечал старик, – стольный град: на мощеной дорожке и хлеб плохо родится; одних бояр москов-

ских не перечтешь, а всякий есть хочет; так нашему брату, мужичку, и плоха разжива – покривишь душою поневоле...

«Полно, даст ли себя москвич в обиду: жида обманет и цыгана проведет! Недаром идет пословица, что Москва бьет с носка».

– Не осуждай, да не осужден будешь, брат Гриша! Подумаем о своих грехах... Ну, ну, мать родная! шевелись! Эх, Гнедко! устарел я, устарел и ты, а то-то был конь добрый... У старого коня, видно, не по старому хода.

«Что теперь доброго на белом свете остается... – ворчал с досадою Гриша. – Наше времечко не вашему чета, дедушка Матвей! Прежде и люди-то жили подолее, да и души-то у них были посветлее».

– Что за молодежь такая стала, Божьи вы дети! – смеясь отвечал старик. – Время все одно, и люди все одни и те же. Доживешь до седых волос, так при тебе станут жаловаться на тогдашнее, а хвалить твое, нынешнее, время. Так уж белый свет ведется...

В это время торжественно шел к ним хозяин. Его поворотливый язык успел уже кончить все затруднения между работником его и товарищами дедушки Матвея. Товарищи старика шли с веревчатыми плетушками, набитыми сеном.

– Что у вас там было? – спросил сухощавый Гриша, «Видишь: сено не нравится, *не хорошо*, говорит, а посмотри какое уедчивое. В убыток, правое слово, в убыток!» – отвечал скороговоркою хозяин.

Молчаливо задавали лошадям своим сено приезжие. Хозяин махал руками, иззябнувшими от сильной стужи, и не переставал говорить: «Нет, братцы-ребятушки, уж если у меня подмен да обвес, так где и правды искать. Просим и напередки жаловать к Пимену Пантелееву! Нас, слава те, Господи! добрыи люди не по один год жалуют, да и бояре не объезжают. Вот о Семенове дни минет двенадцатый год, как отец покойник (дай ему Бог царство небесное!) застроил этот дом, да сколько хлеба-соли едали в нем добрые люди, с благословением! Ведь у нас Москва недалеко: чуть что, так и туда... Калач не успеет простынуть, как здесь очутится...»

На улице снова послышался скрип полозьев по снегу и крик на утомленных лошадей. Хозяин поспешил за ворота; но едва выглянул, и опять спрятался поспешно, задвинув ворота засовом.

– Пусти ночевать, эй ты, кто тут! – закричали охриплым голосом с улицы.

«Места нет, кормилец!» – отвечал хозяин сквозь ворота.

Удар дубиною в ворота был приветствием на ответ. Ругательства раздались затем, и снова хриплый голос требовал ночлега.

«Ступай к соседу: у него просторно и светло, у меня тесно и холодно...»

– А вот я тебя разогрею с правого угла, окаянная собака!

«Эх, родимый! ну что проку будет... Слушай!» – Хозяин что-то шептал сквозь затворенные ворота; с улицы голос го-

ворил тише и тише.

– Что он там, колдует что ли? – спросил Гриша у старика, который сомнительно стоял посреди двора и, сквозь порывы вьюги и метели, прислушивался к разговорам хозяина.

«Нишкни! – отвечал старик, поднимая рукавицы свои с земли, – казенный обоз, прости нас, Господи! разве не слышишь?» Гриша и товарищи его разинули рты и выпучили глаза.

Скрип и шум снова раздались на улице. С радостным восклицанием: «Провалился!» – хозяин шел к приезжим.

– Как ты отнекался от него, добрый человек? – спросил дедушка Матвей.

«Вестимо как: поплатился».

– С нас и сдерет! – заворчал Гриша. – Хоть бы деньги-то пошли в княжескую казну, а то какой-нибудь обдирало, пристав, берет себе подать с православных, а они друг на друге вымещают.

«Прикуси язык, Григорий», – пробормотал дедушка Матвей. Все пошли за хозяином. Изба, в которую вступили хозяин и гости, была обширная, четырехугольная хоромина, у которой в середине одной из бревенчатых ее стен прорублены были низкие двери; днем освещалась она двумя небольшими окошками на улицу, пряма против дверей бывшими, снаружи украшенными грубою резьбою и раскрашенными, отчего и назывались они *красными*; третье, маленькое, продолговатое отверстие, задвигалось доскою и составляло так называ-

емое *волоковое* окно. Огромная печь, безобразная громада кирпичей и глины, занимала левый угол от самых дверей и доходила до половины избы. На правой стороне от дверей, выше печи, были положены доски на перекладинах и прибиты гвоздями; это называл хозяин: *полати*. Под ними, на земле, был помост, уложенный измятою запачканною соломою; вокруг трех стен были устроены лавки. Огромный стол, с выдвигающею сбоку доскою, придвинут был в переднем углу к лавкам, под самые иконы. Ящичек с солью, фигурно вырезанный, и жбан, с опущенным в него деревянным ковшом, составляли украшение стола. То и другое было когда-то выкрашено, но краска была уже не видна от частого употребления. Другой угол против печи отделялся запачканною занавескою, за которою настлано было несколько досок. Пол всей избы составляла крепко убитая земля, сырая от снега, нанесенного на ногах и растаявшего. Окошки затекли льдом, ибо в избе было холодно и сыро. Потолок и стены ее были закоптелые, черные, потому что печь была без трубы. Когда топили ее, дым шел в обширное отверстие печи, расстилался облаком по избе и выходил в двери, которые на тот раз всегда отворяли, даже в самый жестокий мороз. Обитатели во время топленья печи лежали на лавках, чтобы не задохнуться, или уходили из избы. Топленье было обыкновенно поутру; тогда варили кушанье и запасались теплом на целые сутки, закрывая потом печь, которая, разогревшись, делала в избе два разные климата: на полатях и на печи был ужасный жар,

внизу холод, так что мороз, снеговыми, курчавыми полосами выходявший сквозь стены, оставался целую зиму не тающим, как снега на вершинах Кавказа. В избе, кроме хозяина, жены его, матери-старухи и детей, жили и мелкие домашние животные, свиньи, телята: им предоставлен был помост под полатями, и дерзкий теленок, спрыгнувший с помоста, принуждаем был опять криком хозяйки или ударом ухвата снова убираться в свое отделение. Только космополит-кот имел право занимать место, где ему угодно. По приходе гостей он спрыгнул со стола и сел в лукошко, висевшее на веревках, прицепленных к длинной палке: это была люлька, где укачивали ребенка; но теперь была она пуста: все дети хозяина спали на печи, в углу, на изорванном войлоке.

Такое убежище дедушки Матвея от вьюги и метели освещалось *светцом*, лучиною, воткнутою в железную скобу. Неопрятная, в испачканной шубе хозяйка и старуха, мать хозяина, сидели подле светца, пряли с одного гребня и переменили лучину, когда она догорала, зажигая новую, которую брали из кучки готовых лучин, подле них лежавшей. Остатки прежней бросали на землю и она дымилась и чадила.

Не великолепно было убежище, но неопрятность и бедность его не удивляли, казалось, приезжих. Они спокойно отряхивали с себя снег, молились, кланялись хозяйке. На приветствие: «Бог на помощь!» – ласково выговоренное дедушкою Матвеем, хозяйка, до тех пор молчаливо занятая своею работою, встала, поклонилась в пояс гостям и покор-

ным голосом проговорила: «Благодарствую, добрый человек! добро пожаловать!»

– Ну, баба! поворачивайся, угощай гостей: что есть в печи, все на стол мечи! – загремел хозяин. Он успел уже скинуть тулуп, остался в каком-то полушубке и ставил мелом на закопченной стене метку о количестве сена и овса, взятого приезжими,

«Да, благословенная хозяйюшка, – говорил дедушка Матвей, распоясываясь и отряхивая снег, – ты, конечно, не заставишь нас зубы в мошню спрятать, а задашь им работу. Кто протащился верст десятка два, не на подрядной, а на своей паре, тому надобно покормить вот этого дурака!» – он ударил себя по довольно огромному своему брюху.

Неутомимый хозяин, отодвигая в это время стол от лавки, успевал говорить со всеми, кричать на жену и не пропустил отвечать на прибаутку старика.

– Э, приятель! да неужели у вас в Ярославле только по одной паре ног дается каждому, и то на всю жизнь?

«А у вас в Москве разве по четыре ноги у каждого?» – спросил старик.

Все захохотали, хозяин тоже, но он оправился и отвечал без замешательства: «Нет, не по четыре, а по шести: у каждого москвича есть лошадка, а как он сядет на нее, так у него две, да у лошади четыре, ан шесть».

– А правда ли, – спросил Григорий, – что зато у шести москвичей один зипун?

«Всяко случается; да ведь у нас такие широкие шьют, что шестеро завернутся, да еще место останется».

– Не этого ли места доспрашивался у тебя давешний казенный обоз? – спросил дедушка Матвей, залезая за стол в передний угол. Он успел уже скинуть свой тулуп, растянул его на полатах и повесил опояску на стенку. В суконном синем полукафтани своем, с широкою, седою, как лунь, бородою, плешивою головою, которую покрывало немного волосов, с светлым, красным, свежим лицом, оживленным добротою и умом, дедушка Матвей внушал невольное почтение окружающим. Садясь за стол, он благоговейно сделал несколько поклонов перед иконами, творя молитву. Потом оправил он свою бороду и пригладил голову. Видно было из всего, и из уважения к нему товарищей, что это богатый старик.

Товарищи его, одни не скидали тулупов, другие, скинув, остались в изорванных зипунишках. Глупое бесчувствие видно было на лицах их, прикрытых густыми, рыжеватыми и льняного цвета волосами. Только один Григорий отличался какою-то злобною усмешкою и как будто беспрестанно искал случая зассориться.

– Уж эти нам казенные обозы, – сказал хозяин, вытаскивая огромную ковригу хлеба из запачканного ящика лавки. – Не князя, не бояре съедают нас, а вот эта мелкота. Дубина у нее в руках, словно грамота на добро всякого православного.

«Да разве у вас худо смотрят за ними? Нет, вот у нашего

князя Александра Феодоровича не слишком-то смеют они вольничать да поборничать».

– И у нас не велено им озорничать; да где, дедушка, суда сыщешь? До Бога высоко, до князя далеко! Пробьешь лоб поклонами, пока добьешься до правды. – В это время хозяин резал большим ножом толстые ломти хлеба, во всю ковригу, и складывал их на столе перед стариком,

Дедушку Матвей бормотал что-то вполголоса. Можно было только расслушать текст Святого Писания: «Горе земле, в ней же князь юн!»

Хозяйка не вмешивалась в разговоры, но усердно хозяйничала. Крестясь при каждом деле, творя молитвы при каждом порыве бури и вьюги, колеблющем углы дома, она разостлала замаранный столечник на стол, поставила большой деревянный кружок, положила два ножа и пять грубо сделанных деревянных ложек, или продолговатых ковшиков, с длинными ручками. Наконец пошла она к печи. Взоры приезжих следовали за ее движениями, как будто нетерпеливо хотели узнать, что явится из этого убежища съестных припасов. Но хотя хозяин наговорил много об изобилии ужина, хозяйка, светя в печь лучиною, искала, казалось, с большим затруднением, какого-нибудь одинокого горшка, в углу ее стоявшего. Вскоре однако ж горшок нашелся. В огромную деревянную чашу налиты были щи из горшка; на кружок положена какая-то мостолыга, весьма скудная мясом. «Кушайте на здоровье, добрые люди!» – сказала хозяйка, кланяясь.

Осмотревшись кругом и видя, что хозяин ушел куда-то, Григорий проворчал, косо взглянув на дедушку Матвея: «Жиденьки щи-то! Хоть дубиной ударь, так пузырь не вскочет...»

Дедушка Матвей улыбнулся, взял ломоть хлеба, переломил его надвое; из одной половины ломтя два крепкие ряда зубов старика выкроили полукруг; с прибавлением щей в несколько минут в руках его исчез ломоть хлеба. «Ну, братия! приударьте-ка в свои костыльки!» – сказал он при начале; товарищи последовали его примеру: началась работа; тишина нарушалась стуком ложек, которые, сквозь вьющийся над чашею щей пар, казались орудиями истребления. Работа была столь усердна, что пот выступил на лбах работавших и лица их сделались красны, как свекла.

Мы забыли было сказать, что это производительное истребление припасов хозяйки освещалось уже не лучиною, но грубым светильником особого рода, который, кажется, светит без перемены через века, начиная с кровавых пиршеств скифских дикарей до нынешних скудных крестьянских обедов. Ужин дедушки Матвея и его товарищей освещал точно такой вековой светильник. Это было плоское, глиняное блюдечко, утвержденное на деревянной долбешке, налитое салом и жиром всякого рода; опущенный в него длинный, узенький лоскуток холстины, круто свитый, придвинут был к краешку блюдечка и зажжен. Все это называлось *жирником*. Искусство поддерживать ровный свет от жирника надобно

было немалое; должно было беспрестанно поправлять его, то выдвигая из жира, то вдвигая в жир лоскуток холстины, который или делался темен от нагара, или пылал слишком ярким огнем. Дедушка Матвей, казалось, знал это искусство в совершенстве. Когда чаша щей опустела и Григорий начал резать мясо с мостолыги, а потом крошить его в куски, на деревянном кружке, в два ножа, дедушка Матвей утер пот рукавом рубашки и занялся исправлением жирника, едва не угасшего от грубой поправки его товарищей. Разговор, пока все они ели, состоял из отрывистых речей, намекавших, то на дорожные их приключения, то на лошадей, то на цену рыбы в Москве. Разговор этот был непонятен постороннему, испещренный собственными именами: дядя *Андрей*, *Еремка*, *Сидорка*, *Гришуха*, *Пафнутьевна*, *Козел*, *Гнедко*. – «А что, кормилица, – сказал вдруг дедушка Матвей, оборотясь к хозяйке, – много едет в Москву обоза с рыбою?»

– А Бог весть, родимый, – отвечала хозяйка, положив на стол два черствых пирога и поставив горшок крутой каши. Пироги состояли каждый из большого, надвое перегнутого, хлебного пласта. Горшок с кашею был огромный, и большая яма в затверделой почве каши доказывала, что уже дня три тому был этот горшок из печи и много народу принималось после того питаться твердою его почвою. Кружок с искрошенным мясом посыпан был щепоткою соли; собеседники начали брать куски мяса пальцами, разломив пироги, по цвету и вкусу которых трудно было догадаться: пшеничные или

ржаные они были? Заедая слова пирогом, дедушка Матвей продолжал разговор с хозяйкою.

«А что, не останавливался у вас в деревне воевода ростовский? Кажись, он здесь хотел ночевать».

– А кто ж его знает.

«Давно ли прошли здесь свадебные обозы нашего ярославского князя?»

– Не ведаю, родимый! – отвечала хозяйка, вертя веретено и подняв глаза на дедушку Матвея с совершенным бесчувствием. Старуха, сидевшая подле хозяйки и пряхшая беспрерывно, с самого приезда гостей, во все время не говорила ни слова. Казалось, что иногда в этом остатке костей и жил, совершенно лишенном мяса, возбуждалось желание что-нибудь сказать; но усилие оканчивалось кашлем, который не приводил однако ж в движение глубоких складок грубой, медного цвета кожи, присохшей к костям на лице старухи. Можно было видеть, что сии складки положили на лице ее заботы мелочные о вещественном существовании, труды телесные, скорби тяжкие и нужды. Складки сии не представлялись резкими, ломаными чертами – могилами страстей; но были похожи на слои в пне дерева, из которых каждый означает только год его физического существования. Глаза старухи, подобясь двум оловянным кружкам, глубоко укатились в глазные впадины, как будто боясь глядеть на свет, где так много времени означено было для них только единообразным зрелищем бедной, заботливой жизни и нужд беспрерыв-

ных. Но звучный голос дедушки Матвея, казалось, произвел наконец действие, хотя не голоса, но эха в груди старухи. С сильным кашлем выкатились у нее изо рта слова: «Эх, кормилец! наше бабье дело: где нам все это знать!»

Дедушка Матвей встал в это время из-за стола, молился, оставя других доедать кашу, которою наполнена была огромная чашка вровень с краями и полита квасом. Поклонившись на все стороны, с словами: «За хлеб, за соль благодарствую, православные», – он отвечал старухе: «И вестимо, бабушка! Кто больше нас знает, тому и книги в руки, а худо, когда курица петухом поет и баба много ведает».

«Что, дружище, – сказал он потом хозяину, который в это время вошел в избу, со своим работником, – лучше ли на дворе?»

– Кажись, вызвездило с востока, – отвечал хозяин, – а все еще метет да кутит.

Ужин был уже в это время кончен. «Сбирай-ка ты со стола, баба-баба-баба! – воскликнул хозяин жене своей. – К нам еще редкий гость приехал».

– А кто? Из Москвы? – спросил дедушка Матвей, надевая тулуп свой.

«Знакомый человек, – отвечал таинственно хозяин. – Он не будет лишний: добрый человек никогда лишним не бывает». Подобными апофегмами многие любят заключать свои речи.

– Вестимо! – промолвил дедушка Матвей. – Ну, братия!

пойдем-ка мы напоить лошадей, да пора и на печку; старая спина назяблась, надобно ее пораспарить.

Не подпоясавшись, надев тулупы нараспашку, пошли все приезжие из избы.

Глава II

*На пасмурном его челе
Сидит глубока дума в мгле.*

Державин

– Скорее, живее! – Так понукал жену свою хозяин, обмахивая лавки полою своего тулупа.

«А кто ж это приехал? Да куда поздно!» – проговорила хозяйка, сметая со стола крошки замаранною тряпицею.

– Ну, молчи, коли не спрашивают! – вскричал хозяин.

Но женщины всегда и везде женщины. И на этот раз любопытство хозяйки доказало, что, несмотря на вечное безмолвие в присутствии мужа, она не совсем была лишена благородного побуждения: *знать*, чем отличается человек от животного. Работник стоял за занавескою. Как собачонка, обнюхивая объедки ужина приезжих, он нашел корки хлеба и жевал их, с размаха пощелкивая зубами и кряхтя от холода. Быв почти целый день на морозе, он пришел в состояние какой-то окоченелости: не мерз, не зяб, а креп только, имел способность двигаться и говорить, но думать и размышлять уже не мог.

Шепот хозяйки показывал, что она расспрашивает его о новых приезжих.

«А Бог знает! – отвечал хриповатым полуголосом работник. – Трое; одного-то, как-то раз я видел. Помнишь, когда

о радунице⁴¹ проезжал он... Боярский дворецкий что ль...»
– А, э! – проворчала хозяйка, – да, тот милостивый человек...

«Ну! да; да какой же он здоровенный!»

Этот разговор был прерван приходом двух людей, которых хозяин встречал в сенях, кланяясь непрерывно и говоря: «Милости просим! Да за ваше незабытьё и Бог вам заплатит, что не забыли нашего двора...»

Человек, к которому относились сии слова, был высокого роста, красный от холода, с курчавою рыжею бородою, плотный и, по-видимому, силы необычайной. За ним шел старик, худенький, невысокий, с жидкою седою бородою. Оба новые приезжие по одежде походили на купцов и казались одного звания. Волчьи шубы их были покрыты сукном, высокие шапки их были из лисьего меха, огромные теплые сапоги надеты были на их ноги.

Приветствия хозяина не обратили на него никакого внимания старика. Он мимоходом перекрестился, распоясался и сел на лавку молча.

Товарищ его, горделиво, промолвил *спасибо* хозяину и просил поскорее задать овса их лошадям.

– Иду, милостивец мой! – отвечал хозяин, – да не прикажешь ли чего еще?

«Ничего, ничего! Мы только дадим съесть кадушку овса

⁴¹ *Радуница* – день поминовения умерших; приходится на первую неделю после пасхи.

лошадям и тотчас поедем! Лошади умучились по этой ока-
янной дороге...»

– Да куда это, батюшка, Бог несет? – робко спросил хозя-
ин.

«Куда глаза глядят... Ступай-ка, ступай!»

– А боярин-то Иоанн Димитриевич здравствует ли – дай
ему Бог здоровья и долгие веки?

«Здравствует, здравствует! Ступай же, приятель».

– Ну, слава тебе, Господи! Иду, иду!... Ох! ты, мой мило-
стивый благотворитель и попечитель, и благодетель...

Последние слова произнесены были уже за дверьми. Ра-
ботник поплелся за хозяином. Старуха убралась в это время
на печь. Хозяйка выставилась из-за своей занавески и низко
поклонилась. «Здорово, моя родимая!» – сказал толстяк, и
она опять скрылась в свое заветное отделение.

– Кто у него тут? – сухо промолвил старик. «Жена», –
ответствовал толстяк. Недоверчивый взгляд старика, каза-
лось, спрашивал еще о чем-то. Хозяйка, тихо глядя из-за
своей занавески, удивлялась, что толстяк, всегда казавшийся
ей столь великим человеком и равным старику при других,
смирненно стоял перед ним, когда думал, что их никто не ви-
дит. – «Человек надежный... – промолвил толстяк тихо. – Я
давно его знаю...»

– А возы какие у него? Что за народ? – спросил старик
отрывисто.

«Крестьяне; рыбу везут в Москву».

– Чтобы скорее все скипело, смотри. Окаянная дорога! где бы мы теперь были! – Тут старик встал и начал ходить по избе. – Я иззяб; здесь холоднее надворья. Где фляжка?

«Принесу мигом!» – отвечал толстяк и бросился вон из избы

Старик продолжал ходить. Его яркие глаза обращались во все стороны. Хозяйка невольно испугалась, смотря на его сердитые движения. Тут вошел в избу дедушка Матвей. Он спокойно поклонился старику, повесил свою шапку на гвоздик и осматривал незнакомца с головы до ног. «Ну, погодка!» – сказал он, как будто желая завязать разговор.

– Худа? – спросил незнакомец отрывисто. – Божья воля! Что делать! – промолвил он.

«А куда это ваша милость изволит ехать?» – спросил опять дедушка Матвей, садясь на лавку и начиная развязывать лапоть свой.

– Из Москвы едем. – Незнакомец продолжал ходить по избе.

«Сметь ли спросить вашу честь: купец, ваша милость?»

– Да, торговой статьи.

«Благослови же вас Господи. А лошадки ваши добрые, хоть бы боярину такие».

Незнакомец не отвечал ни слова. Дедушка Матвей также замолчал, скинул лапти, расправил свои онучи и, босыми ногами пройдя по избе, отдал лапти своей хозяйке. Она открыла заслонку у печи и бросила их в печь. Не подумал бы кто-ни-

будь, что лаптями дедушки Матвея она хотела заменить дрова. Нет! прадедовский обычай: *сушить лапти в печи ночью*, проходивши в них день, можно видеть у наших крестьян доныне. После того дедушка Матвей принялся читать молитвы на сон грядущий, стоя перед образами.

Совершенную противоположность представляли дедушка Матвей и старик, продолжавший ходить взад и вперед по избе. Ему *не сиделось*, как говорится. Смотря на дедушку Матвея, можно было видеть, что жизнь его всегда протекала в тепле тихих ощущений души и сердца, а светлое лицо его подобилось закату солнца в осенний, ясный день. Как беззаботно и доверчиво смотрел он в молитве своей на окончание дня, проведенного им в труде, и начало ночи, которую отдавал беспечному покою! Сердечная веселость оживляла его доброе, здоровое лицо, показывавшее чертами своими природный, хотя и необразованный, ум. Незнакомец был также старик, как и дедушка Матвей, – но какая старость гляделась из его сухого, морщиноватого лица – Боже великий!... Старость, заключающая собою день, бурный, как выюга на степях приволжских, или кура в лесах сибирских! Волосы старика не белели, подобно снегу старости, упавшему на голову дедушки Матвея, но желтели, как будто желчь, выдавленная старостью из соседства сердца, разливалась по всему телу старика и виднелась сквозь его сухие волосы. Яркий, беспокойный взор его с негодованием обращен был на все его окружавшее, когда самые неудобства бедного быта дедушка

Матвей умел представить себе чем-то хорошим.

«Видно, этому купцу не хочется отдохнуть», – думал дедушка Матвей, лезя на горячую печь, расстилая на ней свое полукафтанье и готовясь спать. В это время возвратился толстяк и принес фляжку с чем-то; старик сел за стол; из дорожной сумы вынуты были серебряная маленькая чарка и белый калач. Молча налил старик чарку из фляжки, выпил, налил еще, опять выпил и, обратясь к спутнику, сказал ему по-татарски: «Пей, если хочешь».

Дедушка Матвей смотрел с печи на все движения собеседников и, разумея немного татарский язык, мог понимать, что они говорили.

«Это меня согревает, – сказал старик. – Но здесь так гадко и холодно... Настоящие скоты – со скотами и живут...»

– Добрые люди, – промолвил толстяк тихо. «Убирайся к шайтану, с этими добрыми! Я сам им верил прежде, а теперь вижу, что Махмет-Айдар прав: все это стоит только – быть повешенным! Это бумага, на которой пиши, что хочешь. Дорого написанное, но надолго ли, когда написанному сегодня, завтра перестают верить? – Осмотрел ли ты повозку мою?»

– Все цело. Еремка стоит при ней; лошадей через час станем запрягать.

«А мой ящичек?»

– Вот он.

Старик осмотрел замочек и печать на маленьком ящичке, который толстяк подал ему. Со злобною усмешкою, он тря-

нул ящичком и примолвил: «О! я за него не вовьму дешево... Они увидят, проклятые злодеи, что я в состоянии с ними сделать! Далеко ли до нашей подставы?»

– Верст десять.

«Какая досада, какая досада! Время течет золотое и невозвратно! Неужели лучше этого гадкого двора здесь нельзя было найти?»

– Все набито обозами. Метель загнала во все дворы множество подвод и проезжих, а после этой деревни верстах на десяти почти нет жилья. Лошади не шли – ты не велел жалеть их от самой Москвы.

«Только бы довели, хоть издохни они.»

Разговор прерван был приходом хозяина, товарищей дедушки Матвея и хозяйского работника. Почтительный вид и голос, каким говорил толстяк с неизвестным стариком, тотчас пропали. Движения его сделались свободны, голос громкий.

– А что, дядя Федор, – сказал он неизвестному старику, как будто нарочно желая показать, что он с ним ровня, – не лечь ли тебе отдохнуть. Чай, старые твои кости болят?

«Да, – отвечал старик, неволью улыбаясь, – но дорогой отдохнем лучше». – Он начал опять ходить по избе, неровными шагами.

«Хорош ты купец! – думал дедушка Матвей, лежа и соображая все им слышанное и виденное. – Бог знает, чем-то ты изволишь торговать... Уж не христианскими ли душами!

А я готов голову прозакладывать, что ты не то, чем кажешься. Экая пропасть: старому человеку, да еще притворяться! Стоит ли доброго слова на старости лукавить и думать еще о чем-нибудь другом, кроме спасения души...»

Товарищи дедушки Матвея залегли на полатах и на печи. Работник хозяйский улегся подле телят и других животных, в углу, на соломе. Хозяин сел за занавескою ужинать. Толстяк положил шапку, кушак, рукавицы в головы на лавке и лег не скидая шубы своей. Разговор хозяина с толстяком не прерывался с самого прихода хозяина. Проворно работая зубами, хозяин успевал отвечать на вопросы толстяка и в то же время жевать, хлебать.

– Тебе, видно, хозяин, и уснуть-то, и поесть-то не удастся порядком? – спросил его толстяк.

«Э, милостивец ты мой, благодетель! Сон наш соловьиный, ходя наешься, стоя выспишься. Была бы работишка. Теперь-таки, слава тебе, Господи! проезжих много...»

– Да, что ты не пообстроишь избы-то понаряднее? «В наше ли время, милостивец, думать о постройке. – Живешь день за днем, только бы прожить. Того и смотри...»

– А что: *смотри*?

«Да то, благодетель, милостивец, что ваше дело не то, что наше крестьянское: нам много не приходится говорить; да и что мы знаем! Мало ли что народ болтает, всему ли верить станешь...»

– А коли не веришь, так о чем же и забота тебе?

«Мало ли что – не заботился бы; но ведь, когда туча Божья над головою, так все равно, боярин ли, крестьянин ли, а бояться вместе, чтобы гром не грянул».

– Полно, приятель, не все ли тебе равно, чтобы ни сделалось? Уж конечно, тебе хуже не будет.

«Бог весть! При худе худо, а без худа и того хуже».

– Что же ты разумеешь под *худом*, без которого будет *хуже*?

«Да что, милостивец, мои слова не с разума говорятся, а так, что ветер нанесет. Вам в Москве больше нашего знакомо бывает...»

– О, в Москве большие чудеса подеялись в последнее время!

«Неужто и в самом деле? – воскликнул хозяин. – Вот недаром же мне сказывали!» – Голос его показывал нетерпеливое любопытство.

– Вот видишь: по Красной площади в Кремле шел козел с козюю, а по Балчугу⁴² петух с курицею и разговаривали промеж себя: «Что, дескать, ныне за время такое нашло: зимой снег идет, а летом дождь каплет, а посмотришь – все вода да вода...»

Тут задумчивый старик засмеялся в первый раз, проговоривши: «Экий шут!» Хозяин, с полуоскорбленным ожиданием, также засмеялся.

⁴² *Балцуг* – район Москвы, расположенный по другую сторону р. Москвы напротив Кремля.

«Шутить все изволишь, милостивец!» – сказал он.

– Вот еще: шутить! Какие шутки! Разве ты этому не веришь?

Хозяин прокашлялся с самонадеянностью, как будто давая знать, что и ему кое-что известно и что московские знатные люди не должны себе воображать их брата, мужика, человеком ничего не понимающим и не знающим.

«Нет, милостивец, – сказал он, – просим прощения, а не во гнев вашей милости будь сказано, так оно вот что...»

– Что, что такое? Скажи-ка, братище, весточку, да не погреси против девятой заповеди!⁴³

«Слышно, благодетель-милостивец, что Москве-то теперь куда жутко приходит, с тех пор, как милостивый и великий боярин и архистратиг земли Московской Иоанн Димитриевич отказался от Великого князя...»

Незнакомый старик вдруг остановился и дал знак толстяку, заметив, что тот хотел остановить речь хозяина.

«И что Василий Ярославич⁴⁴ без того сестры своей под венец отпускать не хочет, пока Великий князь ему отдельной, опасной грамоты не подпишет».

– Ну, что же тут?

«Да то, что и да беда, и нет беда! Подпиши, так тогда матушку Москву по клокам разорвут: Рязани свое, Ярославлю

⁴³ ...не погреси против девятой заповеди... – т. е. не лжесвидетельствуй.

⁴⁴ Василий Ярославич (ум. 1483) – князь Серпуховской и Боровский; его сестра Мария Ярославна стала женою Василия II.

свое, Твери свое, Новугороду свое; не подпиши – так вороным налетят со всех сторон... Князь молод, доброго советника у него нет...»

– Молод, да умен! – сказал толстяк с усмешкою. «Эх, благодетель! всего-то ему, отцу нашему, восемнадцатый годочек! Молодой человек, что плод зеленый, не знаешь – будет ли кисел, будет ли сладок».

– Яблоко от яблони недалеко падает. Он весь в дедушку, восьмой год уже княжит и жениться собрался.

«Да в какого дедушку, благодетель? – Если в матушкина родителя, так прок будет, а если в отцовского родителя, так – Бог знает!»

– Не грехи, приятель! Жаль пожаловаться, чтобы покойный князь Димитрий Иоаннович был не лих на бою, либо негодящ в мире.

«Оно так, кормилец, – да впрок-то его лихость как-то не шла! Били, били мы татар поганых, а все ладу не было. Домостроительство, родимый, больше чести князю приносит, видно, нежели победыще большое. Вот, другой дедушка нашего князя, Витовт Кестутьевич – прости Господи – бусурман не бусурман был, а нехристь какая-то, Господь его ведает, – и били его, да все у него оканчивалось ладно».

– Неужели ты литовца променяешь на своего князя? – спросил толстяк.

Хозяин остановился, как будто испугавшись, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего.

«То-то, отец милостивый, и не приходится нашему брату, мужику простоволосому, толковать с вами, боярскими людьми, да знатными господами. Проврешься, сболтнешь какую-нибудь словесную беду... Да ведь мы, отец мой, сдуру говорим, что слышим – наносные речи – на большой дороге живешь. – Ну! перебывает народу тма тмушая, и всякий скажет что-нибудь... Вам больше ведомо...»

– Полно, полно, хозяин, что ты! Наше дело также темное – *что*, что мы близ бояр-то живем? – Да мы, иной раз, еще меньше вашего знаем.

«Я ведь к тому только говорю, родимый, что время-то ныне стало не прежнее – плохое; и земля-то, кажется, не столь плодуща, как порасскажут, в старые годы, бывало; и народ-то стал щедушнее... Как наши-то старики живали – слушаешь, заслушаешься...».

– Да, частенько их на смычках, как собак, водили в Орду, а теперь, запомнишь ли ты, чтобы в деревне вашей татары были?

«Оно так – да ведь зато денюга-то была тогда наживнее! А не все ли равно: из поганых ли шла она рук, аль христианских? Господь создал серебро пречудно, что к нему поганое не пристаёт – перекрести, да дунь три раза, вот и чисто по-прежнему, у кого бы ты его ни взял».

Толстяк засмеялся и старик, незнакомец, улыбнулся. Ободренный хозяин снова заговорил с прежнею словоохотливостью. «А знаменья-то, отец родимый, ведь уж они да-

ром не бывают. Сказывал мне один приезжий – ведь этакое, подумаешь, диво проявит Господь! Видишь: над самым Звенигородом, будто по три ночи звонило в небесах – Бог весть что, и как! Слышат, чуют все – звонит – а ничего нет! Многие со страсти и от мира отреклись...»

– Да по городу и чудо. Где же и звонить, если не в звонком городе?

«А может статься, что знаменует, что на земле и не будут уже перезванивать в православных церквах? Послушаешь – иное место, волосы дыбом... Ведь и преосвященнейший...»

Хозяин опять остановился.

– Ну, что ж преосвященнейший?

«Упокой, Господи, душу его, – он был святой человек, угодник Божий! Сказывают, за год до его кончины, было у него явление, ночью. Стукнули в дверь келии, святитель проснулся, и с полуночной стороны вошел к нему юноша, красоты несказанной, облит лучами светлыми. „Писано, – сказал святитель, – не входяй дверьми тать есть, а ты кто, удививший меня и не в двери пришедший?“ – И тогда юноша отвечал ему: „Посланник Божий я; блюди седмицу седьмую над христианами!“ И ровно через год и через три месяца, и через двадцать дней – святитель отдал душу Богу, и мы без пастыря, и вот теперь уже третий год пошел, а Бог весть – князь есть, а митрополита нет. „Без владыки духовного словно лицо без одного ока“, – говорил мне недавно старичок – у нас он живет в палатке, так, знаешь, подле церкви Божией...»

О, о, хо, хо!»

Хозяин перекрестился, а на его вздох отвечала хозяйка, также тяжелым вздохом, и перекрестилась.

«Я ведь к тому речь-то веду, кормилец, что вот без эдакой головы, какова голова великого боярина Иоанна Димитриевича, плохо, плохо матушке Москве...»

Незнакомец и толстяк молчали. В это время слез с печи дедушка Матвей и отправился к жбану, стоявшему на столе.

«Видно ты, хозяин, знал этого боярина хорошо?» – спросил дедушка Матвей.

– Кто ж его не знал, первого мудреца в совете покойного князя Василия Димитриевича, – отвечал хозяин. – Тут не к лести слово сказать, а душа говорит!

«Да что же, разве о нем что-нибудь слышно некошное?»

– Да ты сам, старинушка, ярославец, человек, стало быть, видишь, умный и бывалый – так чего же спрашивать.

«Ну, что, говорят, хотелось ему дочку-то свою за вашего князя выдать, да не удалось? Видишь, она будто, говорят, косяя: так молодой ваш князь ни за что не хотел – и руками и ногами!»

Выразительное движение незнакомого старика, громкий кашель толстяка и поспешное старание хозяина перебить речь, изумили дедушку Матвея. Как умный старик, он посмотрел внимательно кругом и, будто ничего не замечая, принялся за ковш с квасом.

– О, о! как же я заболтался, – воскликнул хозяин, как буд-

то боясь возобновления речи дедушки Матвея, – уж и петухи запели! Пора бы доброму молодцу и уснуть.

«Пора, пора, товарищ! – вскричал толстяк. – А нам пора ехать». Он вскочил поспешно, велел хозяину посветить и ушел из избы. Дедушка Матвей опять залез на печь, а старик, безмолвный и угрюмый по-прежнему, яркими глазами поглядел на него и стал подпоясываться. Толстяк вскоре воротился.

«Ну, что?» – сказал ему старик, по-татарски.

– Тотчас будет готово.

«Поедем же».

Они стали прибирать вещи и платье. Тщательно и бережливо завернул и отдал ящичек свой толстяку старик.

«Нет дурака, от которого чему-нибудь нельзя было научиться. Твой разговор с болтуном хозяином удивил меня. Какой черт сказывает им всякую всячину, все перевирает и заставляет говорить то, чего они вовсе не знают и не понимают!»

– Язык на что-нибудь у них да создан.

«Просить милостыню! – с презрением отвечал старик. – Не догадаются наложить подать на русские языки – казна княжеская обогатилась бы тогда. Люблю татар: слова не добьешься у них, а на деле не хуже русского! – Не забыть бы чего?»

Он посмотрел кругом и вышел, надвинув шапку на голову. За ним последовал толстяк.

«Ох, ты, бусурман окаянный! – заворчал дедушка Матвей, глядя с печи вслед им. – Татарин лучше русского! И шапку в светлице надел, и пошел не перекрестился! Ну, хорош!»

Глава III

Мчат, как будто на крылах.

Санки кони рьяны!..⁴⁵

Жуковский

Говорят, что после первого, крепкого сна, или *первосонка*, нелегко уснуть, когда пробудишься нечаянно. По этому ли общему закону сна, или потому, что вид и слова неизвестного старика и его товарища сделали неприятное впечатление на душу дедушки Матвея, он лег на печку по-прежнему, но не мог по-прежнему уснуть. Зевая, кряхтя, переверотился он на другой бок. Глубокое молчание в избе, слабо освещаемой жирником, прерывалось только храпением его товарищей, хозяйки, детей, животных и чириканьем сверчка под печкою.

«Нет, – подумал дедушка Матвей, – старость не радость, не красные дни! Вот, бывало прежде, спишь, спишь, проснешься, опять уснешь и – горя мало! А ныне – полезет тебе в голову всякая дурь – не спится, а думается. И будто то не так, и это не этак, и на людей-то смотришь иначе... Только этот старик, куда мне не понравился! Что он не купец – разгадать не трудно. – Ну, да, Бог с ним, кто бы он ни был. – Чужая душа потемки... Всякому своя дорога...» Дедушка

⁴⁵ Эпиграф – Строки из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

Матвей перекрестился, прошептав вполголоса: «Господь помощник мой, и не убоюсь зла: что сотворит мне человек?»

Он уже засыпал, как вдруг говор на дворе и скрип отворяющихся ворот снова рассеяли его сон. «Это, видно, купцы наши поехали», – сказал он, слушая шипенье полозьев по снегу и звон колокольчиков на дуге. Вдруг опять все замолкло. Потом раздались голоса, понукающие лошадей; слышно было, как борзые, застоявшиеся лошади храпят и фыркают; все заглушалось услужливым понуканьем хозяина и русскими поговорками, сохранившимися в словесных преданиях до наших времен.

В то же время звон множества колокольчиков, шум от полозьев нескольких саней, летящих быстро по улице, поразил слух дедушки Матвея. Казалось, что отчаянные удалыцы скачут по деревне во весь опор; несколько голосов заливалось в веселых песнях. Сделавшись внимательнее, дедушка Матвей расслушал, что сани неизвестного старика в то же время быстро двинулись из ворот на улицу – ехавшие по улице вдруг остановились – и на улице раздались проклятия, ругательства, удары нагайками.

И всегда, слыша какую-нибудь свалку и шум, русский не утерпит. В то время, когда случилось все нами рассказываемое, можно было и кроме того бояться всякой неприятности от начальства. Слыша, что шум на улице усиливается, дедушка Матвей вскочил поспешно, начал толкать своих товарищей, говоря: «Эй! ребята! вставайте, скорее, скорее!»

– «Что там?» – спрашивали они полусонными голосами. – «Да, Бог весь – шум, чуть ли не драка – к возам, скорее!..» – «Ну, уж Москва, дорожка проклятая...» – были первые слова Григория.

Пока товарищи зевали, чесали головы руками – обыкновенное дело русского при вставанье, – дедушка Матвей бросился к печи, вытащил свои лапти и начал наскоро обуваться.

Вдруг дверь настежь отворилась. С ужасом, с криком: «Пропала моя головушка!» – вбежал хозяин.

– Что ты, хозяин? Что с тобой сделалось? – спрашивал изумленный дедушка Матвей.

«Пропадшая голова моя! Согрешил я перед Господом. За что на меня такая беда накинута!»

– Да, скажи, Христа ради! что сделалось с тобою? Перекрестись, опомнись.

«Там дерутся – не на живот, а на смерть!»

– Ну, что ж! Дай Бог правому побить.

«Что ты, старина! Ведь они *его* прибили!»

– Кого?

«Боярина!»

– Какого боярина?

«Что здесь останавливался.»

– Как? Этот старик...

«Ох! он... Да еще хуже вешует сердце...»

– Что, что такое?

«Чуть ли это был не сам боярин Иоанн Димитриевич.»

При сем имени руки дедушки Матвея опустились; платье, которое хотел он надевать, выпало у него из рук; какое-то восклицание остановилось в разинutom рте его, а хозяин усилил горестные свои восклицания.

«*Иоанн Димитриевич!*» – промолвил наконец дедушка Матвей, останавливаясь на каждом слогe, как будто желая вразумиться в предмете выражаемый сими словами.

Имя человека, сильного и знатного, производит волшебное действие и не на простолюдина. Является что-то невольное приводящее в трепет, когда человек незначительный видит перед собою могущего, знаменитого человека. Каково же могло быть чувство страха на доброго дедушку Матвея, когда услышал он, что старик-незнакомец, с которым, как с ровнею, пришлось ему ночевать под одною кровлей, был страшный, свирепый вельможа московского князя, пред которым недавно преклонялись с покорностью удельные князья, друг татарских ханов, человек, о странной судьбе которого носились повсюду рассказы, который с угрозами своему князю уехал, как слышно было, из Москвы, когда Великий князь отказался от руки его дочери, который и в отсутствии все еще страшил Москву своею силою! Быть с ним, замешаться в несчастное смятение, если, в самом деле, этого вельможу осмелился кто-нибудь обидеть – это могло погубить и небедных, незначительных людей! Дедушка Матвей вспомнил, что даже дерзкое что-то сказал он о бояри-

не Иоанне Димитриевиче, вспомнил общее замешательство при сем случае... Холодный пот прошиб его!.. Но боярин Иоанн Димитриевич – на дороге, в виде купца, с каким-то одним человеком и с извозчиком, скрывая свой сан, находится на бедном ночлеге, с крестьянами, в крестьянской избе? Все это казалось дедушке Матвею вовсе непонятным.

– Хозяин! ты не рехнулся ли со страха? – спросил он хозяина.

«Да, уж Бог знает – я и сам не знаю...»

– Почему ты думаешь, что это был боярин Иоанн Димитриевич? Разве ты его знаешь?

«Нет! Да товарищ-то его мне известен: это ближний человек его и управитель поместьев московских»,

– С кем же и как их Бог снес?

«Да, уж так все на беду! Они сели себе спокойно в сани; управитель-то еще сунул мне серебрянку и молвил, чтобы я не болтал о том, что они здесь были; я ему поклон, чуть не в землю – а вдруг лошади-то и шарахнулись! Упарились, да после, знаешь, продрогли, застоялись – ведь словно звери – так и храпят!»

– Да, уж и я полюбовался на лошадок! Куда добры! «Вот, знаешь, начали мы понукать, кричать – бьют, храпят – а тут, прости Господи, словно бес подсунул! Как нарочно, по улице летят сани, другие, третьи – и Бог знает сколько – будто, не здесь будь помянуто, – нечистая сила... Крик, звон, шум! Вот, как вихорь, лошади вдруг рванулись в ворота; те

не успели проехать, не сдержали – эти тоже, и сшиблись, перепутались... и пошла потеха!»

– Уж будто и драка?

«Я и ждать-то не стал. Из саней выскочили двое и подбежали к нашему старику, с кулаками, а управитель им навстречу – ты сам его видел – мужчина – трех ему мало на одну руку – как даст по разу, так они и с ног долой! К ним прибежали на помощь другие... Кроме управителя, извозчик, да еще один, что на облучке сидит – на них – тут уж я и давай Бог ноги! Ведь беда, да и только – пропадешь ни за что. – Вот спал, да выспал...»

Он сжал руки и бросился на лавку. Между тем товарищи дедушки Матвея стояли в стороне, не понимая, что все это значит; но, видя испуг хозяина и замешательство дедушки Матвея, они предчувствовали что-то недоброе. Так овцы прижимаются одна к другой, не понимая опасности, но чувствуя ее.

– Ребята! за мной! – вскричал дедушка Матвей, решительно махнув рукою; он надел наскоро тулуп свой и поспешно пошел из избы.

Метель перестала; снеговые облака облегли горизонт; темнота была ужасная, и на двор всюду намело сугробы снега. Сквозь отворенные ворота дедушка Матвей увидел блеск от огней и толпу народа на улице.

Выбежав за ворота, он разглядел – что у страха глаза велики, и что хозяин, с испуга, увеличил опасность неизвест-

ного старика – купец ли это был, как сказал он сам дедушке Матвею, или боярин Иоанн Димитриевич, как подозревал хозяин.

Драки вовсе не было. При свете от зажженных пучков лучины, которые вынесли выбежавшие из ближних дворов люди, услышав смятение и шум на улице, дедушка Матвей увидел старика. Он бодро стоял подле своих саней и с бранью приказывал скорее распутывать набежавших одна на другую лошадей. Сани его столкнулись со средними санями, из трех, ехавших мимо. У проезжих были тоже лошади сильные и бодрые. Из двух передних саней выскочило несколько человек, одетых в дорогие шубы; задние сани были закрыты огромною медвежьего полстью; видно было, что лежавшие там люди спокойно спали.

Вместо того, чтобы с обеих сторон постараться скорее распутать лошадей, которые бились и храпели, проезжие и старик, с рыжим своим товарищем, в запальчивости кричали друг на друга, беспрестанно угрожая переменить брань на жестокую драку.

– Отъезжай прочь, в сторону, отвяжи лошадь, а не то исколочу пуще Божьего суда! – кричал старик.

«Убирайтесь вы к бесу! Скорее распутывай, отводи!» – кричал рыжий толстяк.

– Да, как ты смел драться, проклятый ты человек? – кричали ему трое, наступая на него. – Ведь ты зуб было ему вышиб!

«Я всем вам их пересчитаю!» – гремел толстяк, не страшась трех противников.

– Да знаешь ли ты, с кем ты говоришь, рыжий пес? – закричал один из проезжих.

«Ты знаешь ли с кем? – отвечал толстяк. – Прочь! дух выбью!»

– Ты смеешь...

«Ты осмелился мне сказать...»

– Я тебе доеду!

«Я до тебя доберусь скорее!»

И вдруг противники быстро устремились на старика и на толстяка. Забывая свою опасность, толстяк бросился к старику, заслонил его и отшиб сильною рукою кулак, на него летевший.

«Наших! Как? наших!» – закричали противники, бросаясь все вдруг. Их собралось уже человек семь, против трех провожатых старика, и от сильного удара одного из них извозчик слетел с ног. На помощь слабым, видя притом смелость толстяка, бросились дедушка Матвей с товарищами, желая разнять драку.

Увидев новую помощь неприятелю, один из проезжих кинулся к задним саням. «Князь Василий Юрьевич, князь Дмитрий Юрьевич! Вставай, отец! смилуйся! Твоих людей обижают!»

Полсть полетела; двое седоков поднялись впросонках и не выходя из саней один из них закричал громким голосом:

«Кто там? Что там за разбойники?»

Дедушка Матвей изумился действию сих слов на старика. С досадою, с негодованием воскликнул он: «Стой, стой! Полно драться, окаянный! Распутывай скорее – провались они ставши...» – Он хотел бежать в ворота постоянного двора, где останавливался.

Это возвратило бодрость противникам. Один из них ухватил старика за ворот, крича: «Нет, не увернешься!» – Толстяк хотел вывернуть его – старик грозно закричал на него: «Стой! Слышишь – то Юрьевичи!» Толстяк смирился, начал уговаривать, останавливать всех: «Полно, полно, товарищи! Что вы, что вы! Да за что драться?»

– А! теперь *товарищи, что вы...* – кричали противники. – Нет, рыжий разбойник, не разделаешься! Постой-ка, мы тебя...

В это время седок из задних саней успел уже выскочить и прибежать к старику, крича: «Кто тут буянит? Кто осмелился?»

Это был высокого роста, средних лет человек, в богатой шубе, подпоясанной персидским кушаком, и в дорогой шапке. Черная борода его, свирепые глаза, хриповатый голос могли испугать всякого, кто и не знал бы, что это князь Василий Косой, так названный от косых глаз его, старший сын Юрия Димитриевича, князя галицкого и звенигородского, двоюродный брат московского Великого князя, муж сильный, буйный, гордый и бесстрашный.

Все остановились перед ним, почтительно снимая шапки свои. Только старик надвинул свою шапку глубже на глаза и глухо промолвил: «Я не буяню; твои люди меня обижают...»

– Нет, князь Василий Юрьевич, не мы, а они на нас наскочили! Мы смирно себе ехали, как вдруг нелегкая вынесла этих разбойников, вот из этих ворот, прямо на нас – чуть было не убили. Мы стали им порядком говорить, а они драться кинулись – вот этот рыжак; да и старичишка-то все поджигал...

«В плети их! Руби у них постромки!» – закричал князь Василий.

– Князь! остановись! – сказал старик, задыхаясь от гнева, – будешь жалеть!

«Что ж вы стали? Принимайся!» – воскликнул Косой, не слушая речей старика.

– Князь! побереги себя и меня. Разве ты меня не узнаешь?

При сих словах князь Василий остановился и, смотря на старика пристально, сказал вполголоса: «Как? это *ты...*»

– Я, я, – отвечал старик, перебивая речь его, и как будто не хотя, чтобы назвали его по имени.

Князь Василий махнул рукою своим людям. «Перестать! – крикнул он строгим голосом. – Вы все в щеть лезете. Я вас знаю, буяны! Разведи лошадей!»

Все умолкли и ворча принялись распутывать и разводить лошадей.

«Мне хотелось бы, – сказал князь старику, – знать... Как

бишь твое имя?»

– Я московский купчина, Иван Лукинич, и готов служить тебе, князь Василий Юрьевич, добрым словом и благим делом. – Голос его еще дрожал от досады.

«Да, да, Иван Лукинич, старый знакомый...» Между тем, как все окружающие удивлялись изменению обстоятельств и перемене разговора, не понимая, чем умел простой купец так мгновенно успокоить, укротить гордого князя Василия, приблизился и другой седок княжеских саней. Он подходил, совсем не сердясь, не бранясь, и шутливо вскричал князю Василию: «Ты заморозил меня, как свежую рыбу... Что у вас за разговоры? Брань или мир!»

– Брат! – сказал ему князь Василий Косой, – узнал ли ты старого знакомого, московского купца Ивана Лукинича, Лукинича что ли? Поздоровайся с ним и поприветствуй его!

«Кажется, он хорошо приветил наших передовых», – сказал товарищ князя Василия.

– Грех да беда на кого не живет, князь! – отвечал старик, не снимая своей шапки.

«Как? что? – вскричал с удивлением товарищ князя Василия. – Во сне или наяву московский дух воочью появляется – недуманно, негаданно! – Так ты ныне начал торговать, Иван... как бишь... Прежде звали тебя Иваном, да прозвище-то было у тебя не то. – Он громко захохотал... – Старый знакомый... Ха! ха! ха!»

Косой с досадою сказал тогда своему товарищу: «Ты сам

не знаешь, что говоришь, – и громко закричал, замахнувшись на окружающую их толпу любопытных зрителей. – Что вы рты разинули тут, голодные галки? Убирайтесь за добра ума! Эй! гоните прочь этих болванов!»

Как дождь, рассыпались при сих словах все собравшиеся вокруг зрители и кинулись во все стороны. Одни спешили бежать в дома свои; другие спрятались за заборами, за грудками снега. Князь Василий, товарищ его и старик сошлись вместе. Заметно было, что старик и князь Василий с жаром начали что-то говорить; товарищ князя смеялся и наконец громко сказал: «Пойдемте хоть в эту избушку на курьих ножках; что за толки на морозе...» Они пошли в постоялый дом, где останавливался старик. «Эй! князь Роман! закрой хорошенько наши сани, – закричал Косой. – Да посветите, провалитесь вы – кто здесь – тут домовую голову сломит...»

Поспешно вынесли из избы пук горячей лучины и прогнали всех, кто там был. Князь Василий, товарищ его и старик пошли туда. Любопытный народ начал выглядывать из всех ворот на улицу, где провожатые старика и князя Василия, спокойно и без ссоры, распутывали лошадей и выправляли сани.

«Дедушка Матвей, дедушка Матвей! где ты?» – тихо спрашивал один из его товарищей, заглядывая под сарай.

– Здесь, – отвечал дедушка Матвей, расправляя оглобли и готовясь запрягать.

«Да неужели ты уж собираешься ехать?»

– Чего ж мешкать? Бог с ними!

«Ты еще спозаранки убрался, а уж что мы видели...»

– Да как увидел я, что старик-то столкнулся с князьями, так и Господь с ними! Близ князя, близ смерти...

«А сам же ты бросился разнимать?»

– Коли видел, что на одного пятеро, так, как же иначе? – а коли эти князья, да бояре, так нашему брату – унеси Господи из посконного ряда без отрепьев! Пусть дерутся, пусть и разделяются сами.

«Какой же это князь-то, дедушка Матвей?»

– Будто не слыхал? Князь Василий Юрьевич Звенигородский с братом.

«С каким братом? Ведь их, говорят, трое у старого князя Юрия?»

– И вестимо, что трое: два *Димитрия*, да один Василий. Вот Василия-то называют *Косой*, одного Димитрия – *Шемяка*, другого – *Красный*.

«Ох, дедушка Матвей! не видал ты страсти! Как закричит на нас этот князь – ну вот так душа в пятки и ушла... И теперь руки не поднимаются – невесть что подеялось, как обморочили будто, – народ-то православный кто куда... А уж этот-то старик, что с нами-то ночевал – словно деревянный – меня вчуже за него морозом подрало по коже, а он стоит себе, глазом не смигнет».

– Полно калякать; запрягай-ка поскорее...

«Да где наши-то ребята, Бог весть...»

– Поищи их, а я пойду, разочтусь с хозяином, да оденусь; ведь я думал было, что добрых людей бьют, да выскочил на-распашку...

«А разве тут не добрые люди?»

– Полно, говорят тебе, не твое дело! Ты парень молодой, твоя стать слушать да молчать, молчать да слушать!

Дедушка Матвей пошел к дверям избы, оставя товарища под навесом; в раздумье ходил этот бедняк с места на место и не знал, за что надобно приняться. У дверей избы стоял рыжий толстяк, и едва дедушка Матвей хотел переступить через порог, толстяк тихо и угрюмо сказал ему: «Прочь! куда лезешь?»

– В избу, родимый, – отвечал дедушка Матвей униженным голосом, как говорят обыкновенно русские мужики, когда кто-нибудь пугнет их порядком.

«Нельзя! Пошел прочь!»

– Мне только взять шапчонку, да опояску, родимый!

«Успеешь после. Ну, что стал!»

Смирненно завернув полы своей шубы, дедушка Матвей пошел к воротам двора, подле которых стояли сани старика и трое саней княжеских. Извозчики и провожатые похаживали кругом саней и, забыв прежнюю ссору, мирно и весело разговаривали о лошадях, о дороге. Так всегда у нас: когда правда высказана кулаком – мир не за горами, а за плечами. Спутники князей улеглись в свои сани и закутались в теплые полсти и одеяла.

Скоро подошли к дедушке Матвею его товарищи, говоря, что лошади готовы.

«Ладно».

– Что же? Поедем, дедушка Матвей.

«Погоди! – Не так живи, как хочется, а как Бог велит», – проворчал он вдобавок.

– А разве опять...

«Погоди, говорят тебе!»

– Никогда не видал я его такого сердитого, – сказал один молодой парень другому.

«А когда дедушка Матвей сердит, так нам белугой выть приходится», – примолвил сухощавый Гриша.

Но что между тем делалось в избе, куда вошли князя и неизвестный старик и не велели никого впускать? Свидетелей после этого не могло быть, но мы узнали однако ж, ибо в жару беседы ни князя, ни старик не заметили, что хозяин, со страху спрятавшись за печку, слышал, наблюдал все и потом пересказал кому-то, тот другому, этот третьему. Нам досталось, конечно, из сотых рук. Послушаем. Не в первый раз люди услышат рассказ о важных делах по заметкам невежды, который делал их – сидя от страха за печкою.

Глава IV

*И он, стряся прах с ноги,
Поклялся местию до гроба:
«Иль он, иль я, иль пусть мы оба
Погибнем – лишь погибни он!..»*

* * *

Быстро, скорым шагом вошел в избу князь Василий Косой и остановился подле стола; старик следовал за ним, снял шапку у входа и низко поклонился Косому, когда тот дал знак удалиться одному из людей своих, светившему им; князь Димитрий Шемяка вошел тихо, весело, снял при входе шапку, перекрестился на иконы, сел на лавку подле стола и, смеясь, смотрел на брата и старика. Свет жирника падал на его русское, цветущее лицо, выражавшее ум и какую-то беспечность, столь общую русским в молодых летах, когда ни одна страсть сильная не кипит в душе и не выражается на лице; кудри русых волос его и небольшая борода обрисовывали щеки румяные, придавая вид мужества молодому князю. Откинув верхнюю одежду, он открыл богатый терлик свой, с золотыми шнурками и пуговками, держа в руке дорогую соболью шапку. Щегольство видно было во всей его одежде.

– Не знаю, – сказал Косой, – не порадоваться ли мне этому несчастному случаю, когда он дал нам средство увидеть тебя, боярин Иоанн Димитриевич?

«И я тоже думаю, князь Василий Юрьевич. Почему же: *несчастный случай*? В своей семье горшок с горшком столкнется. Признаюсь тебе, князь, – нечего сказать, а я рад, когда мог видеть именно тебя...»

– Я желал бы прежде всего знать: давно ли мы стали называться *своей семьей*, боярин? – сказал Шемяка, улыбаясь. – Мы прежде были горшки не из одной глины.

«Кажется, – отвечал боярин, в недоумении смотря на Шемяку, – кажется, мне не нужно объяснять всего, что было в последнее время, и все это, князь, должно быть тебе известно?»

– Мне известно? Менее нежели кому-нибудь другому. Не люблю я вмешиваться не в свои дела; мне довольно забот с соколами и медведями: одних надобно вынашивать, других бить, а девичьи глаза, разве чего-нибудь не значат? Да это страшнее всякого медведя молодецкому сердцу.

Косой посмотрел с неудовольствием на брата и, как будто не обращая внимания на слова его, начал говорить боярину: «Я полагал, боярин, что ты в Твери, и никогда бы не думал здесь с тобою встретиться».

– Что тебе за надобность, куда едет и где живет боярин Иоанн Димитриевич? – возразил Шемяка, насмешливо улыбаясь. – Если тебе есть охота мешаться в чужие дела, то мо-

жешь спросить боярина, как бывает это невыгодно.

«Князь!» – вскричал боярин.

– О, боярин! это говорю не я, а вся Русь православная, не говорит, кричит, что боярин Иоанн Димитриевич не щадил ни забот, ни трудов, вмешиваясь в дела между дядею и племянником, хлопотал, трудился, чуть лба не пробил, кланяясь ханским прислужникам, а потом на себе узнал пословицу, что когда свои собаки грызутся, чужая не вступайся.

«Ты забываешь, брат, – вскричал Косой, – правило предка нашего: *делу время, а потехе час*. Твоя потеха совсем не ко времени».

– Вот? А я думал, что все мы давно забыли правила старых отцов наших, переросли их умом и почитаем речи их заржавелым мечом, который годится крошить крошку на беседах, а более никуда.

«Ты выводешь меня из терпения!»

– Я? Чудо чудное! А я помню, как выходил ты из терпения, слыша, что по милости боярина Иоанна Димитриевича навсегда лишаешься одного словца при имени князя. Словцо неважное: *Великий*... Удержи гнев твой. Я помню еще, как гневался ты, слыша, что по уменью боярина Иоанна Димитриевича – дядя вел лошадь своего племянника перед татарским ханом, старик дядя бил челом безбородому отроку и клялся ему, как старшему и старейшему, в верности и подданстве!

«Если ты шутишь, то забава твоя, повторяю, никуда не

годится; если же твои речи идут от сердца – не стыди себя: ты не младенец!»

– Боже мой, Создатель! – воскликнул Шемяка, – неужели только тем отличаем мы младенца от взрослого, что младенец не желает никому зла и бежит от злой беседы, тлящей обычаи благие, а взрослый сам накупается на злую беседу и на погибель души своей!

«Если не нравится тебе наша беседа, ты можешь удалиться».

– Благодарен; только ты забыл, что мне спрятаться некуда: ведь мы не в княжеском тереме, где столько перегородок и углов, что находят себе место укрыться и злоба, и ненависть, и измена. Здесь тесно и все наружи; что в ухо одному шепчут, то в ухе другого отзывается, будто звонкая русская пощечина. Я залег бы в наши сани, да ведь беседа ваша может так продолжиться, что я успею без покаяния отправиться на тот свет от лихого теперешнего мороза.

С досадою сел на лавку Косой и молчал. Старик злобно улыбнулся и, низко кланяясь, сказал ему. «Нечего делать, князь Василий Юрьевич! Прощай! Видно мне приходится морозить свои мысли и добрые речи в душе до приезда к твоему родителю! Я не знал, что тебя до сих пор водят на помочах меньшие братья...»

– И хорошо сделаешь, боярин, – с жаром воскликнул Шемяка, – если совсем заморозишь свои добрые мысли и речи, а не дашь семенам зла пустить корни в почву русской чести

и семейного благоденствия князей!

«О! я умею возвращать их на гибель того, кто оскорбил меня хоть однажды в жизни... Не тем, так другим... Мономаховы потомки не все еще отказались от доблести и княжеской чести. Найдутся!» – Скрывая гнев свой, боярин промолвил ласково: «Добрый путь вам, князья!» – Он хотел идти.

– Нет! мы должны объясниться с тобою, – вскричал Косой. – Воле Божией угодно было указать тебе путь и нас направить по этому пути. Князь Димитрий! волею старшего брата я запрещаю тебе оскорблять почтенного боярина, или – клянусь тебе всем, что есть для меня на земле святого!.. ты дорого мне заплатишь за каждое свое безрассудное слово! Ты понимаешь меня?

«Понимаю! – печально сказал Шемяка, уклонив взор свой от горящих очей брата. – Но знай, князь Василий, когда напомнил ты о старшинстве, что не такой образец должен подавать старший младшему брату, какой подаешь ты! Я говорил тебе, как говорила бы тебе совесть, берегись теперь: совесть и я – мы отступаемся от тебя. Ты еще чист душою – отступись от этого старика, оскорбителя князей: на языке у него мед, под языком лед! Не хочешь? Гордость увлекает тебя? Знай же, что я умываю руки от твоих замыслов; имейте меня отреченна!»

– Пилаты Понтийские! – тихо проворчал старик, – ты говоришь сладко, пока не лизнул человеческой крови: тогда,

как у дикого зверя, жажда честолюбия делается у тебя ненасытима – жажда кровавая!

Шемяка облокотился обеими руками на стол и опустил свою голову на руки, закрывая лицо. С минуту молчал Косой; внутреннее движение выразилось в чертах лица его. Наконец, глухим, прерывающимся голосом спросил он: «Скажи ж мне, боярин, где ты скрывался до сих пор?»

– Там, где скрывается изгнанник: под кровом всего Божьего неба, когда земной владыка налагает на него гнев свой!

«Но ведь ты не был изгнан и лишен почестей?»

– Как! неужели мне надобно было дожидаться такого позора и унижения? Князь Василий Юрьевич! дочь мою оттолкнули от святого наоя, где рука ее готова была соединиться с рукою Великого князя; гордая литвянка⁴⁶, мною спасенная, и этот восковой князик, которому я сохранил венец и престол московский, выгнали жену мою из дворца княжеского, когда она, твердая обетом и словом княжеским, привела было невесту к жениху! И мне было терпеть это посрамление, мне, опоре княжества Московского, сорок лет бывшего душою советов? О! лучше смертный час пошли мне, Господи, нежели видеть еще раз на старости лет моих, как молокососы – Басенки и Ряполовские хохотали вслед мне, как литвянка едва не прибила меня за мое смелое объяснение с нею и с ее младенцем-князем!

⁴⁶ ...гордая литвянка – Софья Витовтовна (ум. 1453) – жена (с 1391 г.) Василия I Дмитриевича.

«Но, боярин, ты мог ожидать...»

– Но, князь, чего ж мне было ожидать еще? Разве шея у меня алмазная, так, что секира палача не перерубит ее? Разве кожа моя такая броня, что засапожник убийцы не проколется, или отравы смертной не источит из нее каплями остатка крови, уцелевшего в битвах, где не жалел я живота за неблагодарный род твоего дяди? Учиться ли Софье Витовтовне губить верных княжеских людей, когда они не надобны более для ее услуг? Разве батюшка ее, Витовт Кестутевич, не давал ей примера, а Кучково поле⁴⁷ клином сошлось, так, что для плахи на мою голову и места не будет на этом поле?

Он остановился, задыхаясь от бешенства. «Видишь ли теперь, боярин! – сказал улыбаясь Косой, – видишь ли, какова тяжка была обида законному твоему государю, когда ты в несколько часов разорвал цепи, которые сорок лет ковало твое усердие и верность? Ты *не князь* еще, ты не можешь понимать, каково тому, с чьей головы срывают законный его венец!»

Боярин тихо поднял глаза к образу, будто чувствуя раскаяние. «Как человек оскорблен я и готов бы простить *мое* оскорбление – только не этой литвянке, а сыну моего покойного князя Василия Димитриевича! Но дотоле на душе моей будет лежать грех, как камень, доколе не исправлю я вины и

⁴⁷ *Кучково поле* – место в Москве (недалеко от совр. Сретенских ворот), где проходили кулачные бои и совершались казни.

греха перед твоим родителем. Князь Василий Юрьевич! Я, окаянный, я лишил его венца и престола великокняжеского... (с невольною гордостью оглянулся кругом боярин). Я нарушил моею хитростию права законного наследия и, если Господь мне поможет, исправлю все по-прежнему: не видать великого княжества Василию Васильевичу, доколе жив буду я! Родитель твой собирал войска, но не ими поборет он племянника. Силою ничего нельзя было сделать против московского князя; но теперь, без меня, доски его княжеского терема без матицы: от сильного толчка полетят они все вниз и задавят князика московского, беспечно пирующего за свадебным столом, со своими гостями и с литвянкою, матерью его...»

Движение нетерпеливости изъявил Шемяка при сих словах, но удержался. Не замечая сего, продолжал боярин, понизив голос: «А потом, я дал обещание сходить пешком ко гробу Господню; там облечь себя в ангельский чин; возвратясь в Русь, выстроить обитель иноков и в ней оплакивать грехи свои весь остаток дней, если только Господь умилосердится надо мною! Откажусь от мира, тщетного и суетного, где нет правды в устах человека и памяти о добре в его сердце».

– Нет, боярин, есть еще правда в душе человека, и по воле Господней возвращается она в душу его, – сказал Косой. – Бог ведет тебя на дело закона и блага. Но если ты узнал теперь настоящий путь истины и правды, верь, что этот путь

должен довести тебя не в келью отшельника, но к почестям и славе, или – не будь я сын отца моего! Знатен был ты при дяде Василии Димитриевиче, знатен при сыне его Василии, но еще славнее явишься при Великом князе Юрии Димитриевиче... и... при наследнике его... – примолвил Косой, останавливаясь с невольным замешательством. – Поверь моему слову. Итак; ты едешь к отцу моему?

«К нему несу я повинную свою голову и – посильную помощь. Думаю, что старость не совсем еще охолодила кровь его, что в один год он не разучился стоять за свое законное право, как стоял прежде. Я передам ему все, что у меня в руках, а что у меня есть, то стоит большой рати!» – Он замолчал и положил шапку свою на стол.

– Что же ты остановился, боярин? – сказал Косой, вставая от нетерпения и быстро подходя к нему. – Скажи, скажи скорее, – говорил он, взяв старика за руку.

«Старые ноги мои устали, – отвечал боярин. – Прости меня, князь Василий Юрьевич!»

– Садись, садись, сделай милость, – вскричал Косой, усаживая боярина на лавку и сам придвигаясь к нему. Шемяка молча поднялся, сложил руки на груди и тихо начал ходить по избе. Косой как будто забыл о нем, увлеченный речами старика.

«Князь Василий Юрьевич! Прости моей старости, – сказал боярин, после некоторого молчания, – она недоверчива. Наша беседа походит не на беседу двух друзей, но на допрос

преступника или на свидание двух неприятелей, из которых каждый прячет что-то за пазуху, а Бог знает, что такое прячет? Горсть золотых денег или увесистый камень – известно одному сердцеведу! Брат твой юн и много наговорил такого, чего совсем не было надобности говорить, а ты не сказываешь и того, что мне непременно знать надобно, чтобы и со своей стороны показаться тебе в одной рубашке, а не накутанной одеждою хитрости и притворства».

– Неужели ты можешь сомневаться?

«Могу, потому, что худо понимаю твои дела. Я испугался было – нет, не испугался, но не порадовался было твоей встрече. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня на этой дороге, пока я не увижу ясных очей своего прежнего соратника, твоего родителя. Вы князья юные, молодые, кровь у вас красная и не сторает в сердце, а играет на щеках, и как часто девичья русая коса связывала руки молодым князьям, а от бесовского бисера женских слез таяли мечи и щиты их...»

– Боярин! неужели ты меня не знаешь?

«Кто тебя не знает и не хвалит твоей мудрой головы, хоть она еще и не серебряная; но, прости меня: ты едешь в Москву, гостем, а где родитель твой теперь – я вовсе не знаю».

– Гостем! Пришлось гостить, когда нельзя мостить дорогу в Москву мечами да костями! Что выпьем у князя Московского, только то и наше! Но я сниму тебе со стены икону Пресвятой Богоматери, боярин, что не гостьба у меня на

уме... Говорят, что Москва зыблется, как дорога по болоту, и мой зоркий глаз не заглядится на золоченые чаши княжеские; об отце моем скажет тебе все вот эта грамота. Боярин! ради Христа, будь со мной откровенен!

Старик взял грамоту, сложенную и обвернутую в шелковую ткань, развернул ее, пробежал глазами и молча отдал опять Косому.

Он казался задумчивым, но радость блеснула в глазах его. Взор старого честолюбца несколько времени услаждался после того беспокойною заботою, видимо терзавшею душу честолюбца молодого. Наконец, когда он насытился сим зрелищем, когда увидел, что глубоко запало в душу князя зерно гибели и раздора, долженствовавшее процветать для него удовлетворением самолюбивых и гордых надежд, то покачал головою и сказал, улыбаясь коварно:

– Не думал однако ж я, князь Василий Юрьевич, чтобы покамест все твои собственно требования ограничивались только требованием на погреб княжеский: мог ли я ожидать, что внук Димитрия Донского не имеет надежды на что-нибудь более славное, более великое?

«Надежды! – вскричал Косой, – что ж было делать другое, боярин, как только ждать времени и острить втайне меч на врага... Отец мой становится стар... Знаешь ли ты, что сделалось теперь в Дмитрове?»

– Слышал.

«Подумай, что в этот родовой город наш присланы мос-

ковские наместники во время отсутствия отца моего! Не знал я этого, не знал, а то полетели бы они назад в Москву, вверх ногами!»

– И что же из того? *Великий* князь московский приказал бы *удельному* князю звенигородскому и галицкому снова принять их. Вы заспорили бы и к вам послали бы какого-нибудь попа застращать вас, а не то уговорили бы *окупных князьков*⁴⁸ идти на вас войною, и дядя-старик кончил бы челобитьем младенцу – своему племяннику!

«Но уж, по крайней мере, обида не осталась бы без платы...»

– Русский обычай! Сколько раз бывали от него беды русской земле? Вот так-то Александр Тверской поколотил дурака Щелкана⁴⁹ – не вытерпело русское сердце, и – принужден был бежать горемыкой, а потом снова кланяться татарам! Так и покойный дедушка твой, как было размахался на татар

⁴⁸ *Окупные князья* – так назывались князья, которые за определенную плату (окуп, выкуп) отказались от права распоряжаться своими землями в пользу Московского князя при Иване I Калите (см. комм. к с. 337), признав полную вассальную от него зависимость, сохранив при этом прежнюю власть над людьми и хозяйственной деятельностью на территории своих бывших уделов: князья Белозерские, Ростовские, Ярославские и др.

⁴⁹ ...*Александр Тверской поколотил дурака Щелкана*... – Имеется в виду восстание 16 августа 1327 г. в Твери против татарского баскака (посла – сборщика даней) Чолхана (Шолхана, по летописям – Щелкана), которое возглавил Александр Михайлович (1301—1339) – великий князь Тверской с 1326 г. и Владимирский (1326—1327).

– но что оказалось следствием? Через год Тохтамыш сжег⁵⁰ у него Москву... Да, нечего и говорить: это-то и губит нас и землю нашу! Князь Василий Юрьевич! ты еще молод, послушай меня, старика: бери пример с твоего прапрадедушки Ивана Даниловича⁵¹: вот был истинный князь! Иногда читаешь его старые хартии и грамоты – какая ловкость, какое умение владеть людьми и обстоятельствами! Дядя твой, покойный князь мой, Василий Димитриевич, также ничего не делал наудачу. Бывало, слушаешь его, так заслушаешься: он что ни делает, а всегда глядит вперед. Ссорится на мир, а мирится на ссору. Лисий хвост и волчий рот – вот что надобно князю благоразумному... А родитель твой пел и поет совсем не по голосу.

«Боярин Иоанн Димитриевич! Слушаю тебя, словно мед пью и удивляюсь только одному: как с твоею мудростию не успел ты предупредить врагов твоих?»

– Да что ж они у меня взяли? Кроме того, что и на старуху бывает проруха, с дураками и у каши неспорю, а часто дурак перемудряет самого умного человека. От того это и бывает, что готовишься отразить хитрость, отбиваешь меч, а тебя бьют просто сзади, дубиною! Но я заставлю их опомниться и покажу, что, кто выкалывает у себя глаз, тот после не жалуйся, если на всякий сучок натывается. Князю москов-

⁵⁰ *Через год Тохтамыш сжег... Москву* – см. комм. к с. 222 и 225.

⁵¹ *Иван Данилович* – Иван Данилович Калита (1304—1340) – князь Московский с 1325 г., великий князь Владимирский с 1328 г.

скому не избежать сетей, какими я его опутал и еще опутаю, если только на меня положится твой родитель и ты, князь, меня не выдашь...

«Будь уверен, что ты будешь у моего отца дорогим гостем, а я немедленно возвращусь из Москвы».

– Нет надобности, и тебе будет много дела в Москве. Ты знаешь отношения наши с Ордою и с Литвою: и там, и здесь идет такая сумятица, что некогда ни татарам, ни Литве вмешиваться в московские дела. Орда рада еще будет, что Москва станет ластить ее посулами, да послугами. Дела совсем переменяются; но не в том сила. Я оставил Москву, как брагу молодую. И сама по себе она так и бродит, а я подбавлю еще в нее таких дрожжей, что князь Василий и матушка его, как пена, выплывут из великокняжеского чана. Там остались у нас друзья добрые, а со мною все хартии, все грамоты, и есть такие сокровища, что голова затрещит у литвянки...

«Так мы опять можем запеть старую песню о наследствах?»

– Да, потому, что для этой песни именно настало теперь время: Русь от нее не только не отвыкла, но спит и видит ее. Надобно только получше настроить дудку, то под нее все запляшет. Тверь, Ярославль, Рязань, – все слажено...

«Но грамоты последние говорят...»

– Грамоты бумага, князь, неужели ты этого еще не знаешь? И на старые грамоты есть еще старше грамотки. Если на что пойдет, мы докажем, что и по грамотам Василий вла-

деть не должен: ведь он – *незаконный* сын Василия Димитриевича! – Шемяка невольно остановился, лицо его побледнело.

«Как? – воскликнул Косой. – Ты говоришь...»

– То ли ты еще услышишь... – Тут, приклонившись к Косому, боярин долго шептал ему что-то на ухо. Наконец он встал, взял шапку и сказал громко: «Ну, на сей раз довольно. Добрая вам дорога, счастливый путь, князья! Пируйте весело в Москве, а я – поплетусь, куда глаза глядят... Авось еще увидимся в красный денек!»

– Но ты обещал мне дать знак, боярин? – сказал Косой.

«Забыл было...» – тут он снял с руки своей золотой перстень и отдал Косому.

Холодно поклонился ему Шемяка, ласково проводил его до порога Косой.

Когда старик затворил за собою дверь, Косой похож был на человека, оглушенного сильным ударом. В рассеянии сказал он брату: «Пора и нам в путь», – и начал искать свою шапку, которую, в жару разговора, столкнул со стола.

Тогда Шемяка прервал столь долго хранимое молчание. Лицо его было важно и печально. «Мне хотелось бы, брат, – сказал он, – чтобы прежде шапки своей поискал ты своей совести: ты чуть ли не потерял ее! Брат и друг! Послушай меня...»

– Что? – угрюмо спросил Косой. – Что? Опять шутки? Признаюсь, князь Димитрий, я не мог без гнева слышать, как

ты шутил, совсем не вовремя и некстати.

«Я не шучу теперь. Не прячь себя под личину: тебе стыдно посмотреть на меня прямо, твоя душа нечиста, брат, б твою душу запали дьявольские семена и – сохрани, Боже! – какой страшный плод дадут они, если ты не успеешь избавить себя от козней дьявола!»

– Ты дурачишь себя и меня, – сказал Косой. – Что за великая беда, если я поймал старого воробья на мякине и выведаль от него кое-что. Все годится при случае.

«Нет! тебе не обмануть меня: я знаю тебя, брат, – вскричал Шемяка, – и готов проклинать час, в который столкнулись мы с этим старым бесом в человеческом образе – прости меня, Господи! В столь короткое время он вложил в душу твою столько адского зелья, что его достанет на всю жизнь твою! В такой малый час злокозненный язык его изрыгнул хулы на предков наших, оклеветал честное супружество дяди Василия Димитриевича, открыл бездну кромешную зла и погибели. Неужели ты хочешь внять его советам?»

– Полно, полно! Говорю тебе, что я обманул его притворным вниманием.

«Ты обманул его? Но разве обман не есть уже грех?»

– Отмолюсь! – смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою. – Пойдем, пора!

«Брат! умоляю тебя, ради второго, страшного Христова пришествия, забудь, что ты слышал здесь! Да не взойдет солнце над нами, пока злая дума не истребится в душе тво-

ей!»

– Говорю тебе, что все пустяки – поедем!

«Хорошо, брось же этот перстень, который отдал тебе боярин!»

– Вот еще с чем подъехал! Ведь он золотой, лучше сделать из него привеску к образу.

«Брось его! – вскричал Шемяка, ухватив за руку Косого, – брось: ты обручился этим перстнем с духом тьмы!»

Тут с гневом оттолкнул его Косой и, с горящими от злобы глазами, вскричал: «Ты с ума сошел, раб князя Московского! Если в тебе нет нисколько великодушия, если ты не чувствуешь, как унижены и презрены мы, то не смей указывать тому, кто больше тебя знает! Указывай своим псарям и сокольникам!»

– Хорошо, старший брат! – отвечал Шемяка равнодушно, – но знай, что я не завидую тебе, и если слабый старик, родитель наш, на твоей стороне – Бог с вами! я не вступлюсь. Вези на свадьбу родного замысли раздора и братоненавидения! Я еду в Москву добрым гостем и, Богом божусь, что не приму участия в твоих кознях... О лесьть человеческая, о смрадное дыхание уст клеветника и наушника! Тобою гибнут князья, тобою в один час погибают годы добра...

В это время раздался глухой стук за печкою, как будто что-нибудь упало. «Что это? – вскричал Косой, – здесь кто-то есть?» Он бросился с бешенством туда, откуда был слышен стук: там лежал несчастный хозяин. «Он все слышал!»

– дрожа от ярости, сказал князь. Рука его схватила кинжал, бывший у него за поясом.

«Что ты! – поспешно промолвил Шемяка, удерживая руку брата, – он спит и спит крепко!»

В самом деле, хозяин притворился глубоко спящим, да и точно он не бодрствовал, ибо лежал ни жив ни мертв.

«Его надобно допросить, – вскричал Косой, – надобно принять его в плети!» – Грубо толкнул он ногою хозяина, но тот не пошевелился.

– Полно, полно, брат! Так ли платят за постояльство? Неужели и в уголку мерзлой хижины не хочешь ты дать бедняку местечка? Видишь ли: побоялся ли бы, скажи мне, ты этого человека, если бы не боялся черноты слов, какие были здесь говорены? Да, посмотри: вот и еще свидетели – телята, куры, поросята, кот... – продолжал Шемяка, смеясь, – а на печи, вероятно, полдюжины ребятишек, вместе с онучками сушатся...

«Ну, бес их побери! – промолвил Косой, улыбнувшись, – Пора, пора!..»

Князя поспешно пошли из избы.

Глава V

*Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога...⁵²*

А. Пушкин

«Хозяин, хозяин! – говорил дедушка Матвей, держа в одной руке горящую лучину, а другою толкая хозяина. – Что ты, Господь с тобою! Очнись, одумайся!»

Слыша ласковый голос дедушки Матвея, тихо приподнялся хозяин. В избе были товарищи дедушки Матвея, они грелись, ходя по избе и хлопая руками; дедушка Матвей совсем собрался ехать и пришел рассчитывать; хозяйка беспечно шевелилась вокруг печи, готовясь топить.

С испуганным видом и все еще не умея собрать мыслей, смотрел хозяин на старика. «А, а! Э, э! – бормотал он сквозь зубы. – Ничего не слышал, батюшка, отец милосердный! вот тебе Бог порука, ничего!» После долгого, неясного бормотанья добился наконец этих слов дедушка Матвей, и те были произнесены дрожащим, едва внятным голосом.

– Да, опомнись, родимый! Что с тобою сделалось? Сотвори молитву, да перекрестись! – говорил дедушка Матвей. –

⁵² Эпиграф – строки из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

Аль тебя соседко мучил?⁵³

Тут твердо сел на своей скамейке хозяин, словно гора свалилась с его плеч; он опомнился, глядел на дедушку Матвея, на товарищей его, на хозяйку, нимало не заботившуюся о беспокойстве своего мужа, как будто это до нее не касалось. Видно было, что хозяин вглядывался во всех и хотел удостовериться: точно ли он еще существует?

– Что с ним, родимая? – спросил дедушка Матвей у хозяйки. – Аль на него находит?

Хозяйка взглянула на мужа и, кидая в печь полено дров, хладнокровно отвечала: «А кто ж его знает? Николи не бывало!»

Тут хозяин поднялся на ноги и спросил у дедушки Матвея: «Где ж они? ужели уехали?»

– Кто?

«Князья», – прошептал хозяин.

– Давно, родимый, давно; да, вот я все тебя добудиться не смогал. Видно ты что-нибудь не по себе? Видно страшный сон испугал тебя?

«Ох, старинушка! – отвечал хозяин, – прогневался на меня Господь! Да и откуда эта беда на мою голову упала!»

– Да, что такое?

«Схожу помолиться к угоднику Божию, новому чудотворцу, Сергию игумену, а то и не уснешь ночью... Ну! уж бояре, ну уж князья! Да как это с ними люди-то живут, да как голо-

⁵³ *Соседко мучил* – т. е. домовый.

вы-то целы у них остаются!»

– Товарищ! – сказал ему тихо дедушка Матвей, – тут есть лишние бревна. – Если ты что-нибудь слышал, то, послушайся меня, старика – молчи, как могила православного!

«Ох, старинушка! Да если язык у меня пошевелится, так не роди меня мать на свете!»

– И дело; ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами. «А видно, что хорошее слышал он! – примолвил дедушка Матвей про себя. – Ох! большие люди, ох! горе нам! Легче вельбуд сквозь иглиные уши пройдет, нежели богатый в царстве небесное внидет...»

Скоро расстался с хозяином дедушка Матвей. Надолго ли, не знаю, но испуг подействовал сильно на совесть хозяина: он не взял ни одного шелега лишнего, и нигде еще во всю дорогу так дешево не платил дедушка Матвей ни за ночлег, ни за ужин.

И на дедушку Матвея происшествия этой ночи сделали сильное впечатление. Осторожный старик на выездах ранним утром всегда ехал впереди со своим возом, идя потихоньку подле лошади и напевая духовные песни. Теперь почел он за необходимость удвоить свои предосторожности.

Уже несколько верст отъехал дедушка Матвей со своим обозом, как при въезде в маленькое селение вывернулся из-за угла какой-то прохожий и сказал ему: «Путь-дорога, добрый человек!»

– Благодарствую! – отвечал дедушка Матвей.

«А что, нельзя ли мне присоединиться к вам? Вы ведь в Москву едете?»

– В Москву, – отвечал дедушка Матвей, оглядывая незнакомца с головы до ног.

Это был старик, высокого роста, седой как лунь, но, по видимому, еще весьма бодрый и сильный. На нем надет был короткий тулуп, подпоясанный шерстяным кушаком, большая шапка закрывала его голову, в руках его была толстая палка, за плечами небольшая котомка.

«Мне только положить на воз котомку; вчера измучился по дороге, такая стояла погодушка, что и Господи упаси – едва добрел до жилья, а хотел было в Москве ночевать».

Голос незнакомца внушал доверенность; до Москвы было недалеко, в дороге одному скучно, ибо товарищи дедушки Матвея могли только понукать лошадей. И дедушка Матвей согласился, чтобы незнакомец положил котомку на его воз. Несколько минут старики шли молча; заметно было, что бодрый незнакомец уменьшал шаги, чтобы не опередить дедушки Матвея. Наконец дедушка Матвей запел тихим голосом: «Хвалите имя Господне, аллилуйя!» – Он все еще был задумчив и не хотел сам начинать разговора, незнакомец также не начинал.

Вскоре голос незнакомца присоединился к пению дедушки Матвея, голос чистый, звонкий, каждое слово отличал он особенным чувством. Дедушка Матвей сам певал на клиросе и был знаток в пенни церковном. Он изумился искусству

незнакомца. Кончив хваление, незнакомец запел величание празднику и сказал дедушке Матвею, что они пели на московский голос, но что в Киеве поют иначе, а в Новгороде еще иначе. Немедленно после того пел он и по-киевски, и по-новгородски.

Разговор стариков оживлялся после сего более и более. С любопытством дедушка Матвей слушал, что рассказывал ему незнакомец о *демественном* пении⁵⁴, начавшемся при Великом князе Ярославле Владимировиче, о греческом столповом пении⁵⁵ в Иерусалиме и афонских горах, о разных церковных обрядах. Он подробно говорил о *пещном действии* в Новгороде, когда, за неделю перед Рождеством Христовым, среди соборного Софийского храма, против царских дверей, становятся печь, трое прекрасных детей, одетых в белые хитоны, представляют трех святых отроков, и несколько людей, свирепого вида, в пестрых одеждах, с трубками, набитыми плауном, изображают халдеев, махая трубками, из коих огонь летит выше большого паникадила, а печь вся кажется горящею. Наконец огонь попадает мучителей, ангел слетает в печь огненную, и торжественное пение возглашает умиленным христианам бесплодную ярость вавилонского тира-

⁵⁴ *Демественное пение* – торжественное, праздничное исполнение духовных стихов, украшенное мелодически и ритмически.

⁵⁵ *Столповое пение* – чтение нараспев духовных стихов в строго заданной тональности, определяемой интервалом между двумя соседними гласами-нотами (отсюда название – «столповое») из восьми звукопоследованкй (гласов, нот), принятых в православном богослужении.

на, мечтавшего сынов Бога истинного заставить преклониться перед истуканом его на поле Деире.

Со вздохами и беспрестанно приговаривая: «Господи Боже, царь милостивый!» – слушал все сии рассказы дедушка Матвей. В природе ли человека находится такое чувство, что повесть о святом и божественном наводит печальную мысль о суете и бедности мира, или старики грустию сопровождают каждое сильное чувство? Только к однообразным возгласам дедушки Матвея присоединились, наконец, слова грустные: «Господи! прости наше согрешение! Согрешили мы, окаянные!»

– Правда, – сказал незнакомец, – но еще русская земля не совсем прогневала Бога. Еще в земле русской сияет немраченным крест Господен. Но вот в Киеве, друг! горестно смотреть – какое нечестие воцарилось! Латинский крыж стоит подле церкви православной, святая вера забыта, в училищах преподаются неверие и ереси! Как русским человеком правит там литвин и лях, так церковью православною правит еретик. Ведь ты, я полагаю, слышал, какое злочестие учинил покойный литовский князь?⁵⁶

⁵⁶ ...злочестие учинил покойный литовский князь... – Имеется в виду утверждение в Киеве, находившемся тогда под властью Литвы, независимой от русской церкви митрополии. В 1415 г. Витовт созвал всех епископов из подвластных ему славянских земель – полоцкого, черниговского, луцкого, смоленского, туровского и др., которые провозгласили создание Киевской митрополии и избрали своим митрополитом болгарина Григория Цамблака (ум. 1419), безуспешно пытавшегося соединить две церкви – православную («греческую») и католическую («латинскую»). В 1433 г. Киевскую митрополию возглавил смоленский

«Слышал, – сказал дедушка Матвей с видом человека, не совершенно знающего предмет любопытный. – Но слышал не вполне!.. Где же нам в глуши все знать...»

– А такое злочестие, что все Ироды⁵⁷ и Диоклитианы⁵⁸ не причиняли подобного зла. По их воле мученические венцы получали Христовы воины, принуждаемые поклоняться иступканам. Но святотатственная рука литовского князя рассекла нашу святую церковь. Грех паче Ариева⁵⁹ и Савелиева⁶⁰! По его воле Киев теперь уже не повинуется митрополиту *всей Руси*, но волк вторгся в паству митрополита и отторг часть овец словесных.

«Ах, Господи! да как попустил Бог?»

– Он искушает напастями веру нашу и для сего попускает торжествовать врагу. Ловитва диавола – честолюбие: она губит всего более человека. Князю литовскому хотелось власти и чести. Он видел, что пока владыка духовный будет находиться в русской земле, до тех пор души и сердца будут к русской земле обращаться. И выдумал он – разъединить церковь православную. Вот, теперь уже шестнадцатый, не то семнадцатый год минул, как душепродавцы епископы собрались в Вильне и поставили себе еретика-епископа – Гриш-

епископ Герасим (уб. литовцами в 1435 г.)

⁵⁷ *Ирод* – см. комм. к с. 94.

⁵⁸ *Диоклетиан* – см. комм. к с. 99.

⁵⁹ *Арий* – см. комм. к с. 48.

⁶⁰ *Савелий* (конец III – нач. IV вв.) – проповедник, отрицавший учение о троице Бога (Троице).

ку Цамблака. Преосвященный⁶¹ Фотий предал его анафеме и всех приобщающихся ему. С ними не велено православному ни пить, ни есть...

«Говорят, видишь, преосвященный-то уговорил будто покойного князя литовского в православие. Что де ты, князь, славен мирскою славою, а беден ты небесною милостью: владеешь православными, а сам лядской веры. И князь будто говорил ему: „Иди в Рим великий, к римскому папежу, препри его⁶², и я обращусь в вашу веру, а если он тебя препрет, то вы все обратитесь в нашу веру“. – Владыко-то будто и усомнился в духе веры, а оттого, как от ризы Самуила Саул, литовский князь отодрал много душ христианских. Ведь сомнение грех великий, хула на духа святого, невыжигаемая даже мученическим костром!»

– Так; да не верь ты таким рассказам. У этих князей всегда предлоги найдутся и для мира, и для ссоры, и для хищения. Поганые татары, по крайней мере, говорят прямо: хотим пить крови христианской, а эти князья все с благословением будто делают, а все на зло.

Дедушка Матвей недоверчиво поглядел на старика.

– Я не об наших русских князьях говорю, а об литовских, – сказал незнакомец, заметив недоверчивое движение дедушки Матвея. – Хоть бы этот Витовт – поверю ли я ему, чтобы он подосадовал на владыку, и, потому вздумал приставить

⁶¹ Преосвященный – митрополит всея Руси (с 1409 г.) Фотий (ум. 1431).

⁶² ...препри его – т. е. победы в церковном споре (пря – спор).

две главы к телу единые, соборные, апостольские церкви? Сам ты рассуди: на крови ближних основал он власть свою и не щадил даже родных братьев. Подумай, что у него все умышляло зло. Ведь все знают: кто отравил бывшего наместника киевского, князя Свидригайлу⁶³...

«А кто?»

– Да, страшно сказать – архимандрит Печерский поднес ему смертное зелие, на пиру веселом и дружеском!

«Господи Боже мой!»

– Наконец, такими средствами и умыслами составил себе князь литовский и славу мирскую и почести. От самого Новгорода, даже до Черного моря простиралась в последнее время его держава. Как порасскажут о почестях, какие были ему возданы незадолго перед кончиною... Горделиво вздумал он венчаться на литовском троне царским венцом, и от кого благословения-то просил? От римского папежа! Наехало к нему царей и королей, князей и ханов, видимо-невидимо – ну, так, что одного меду выпивали они всякий день 700 бочек, да романеи 700, да браги 700, а на кушанье шло им по 700 быков, по 1.400 баранов, да по сту кабанов! И как еще? Немцу давали пиво, татарину кумыс проклятый, русскому мед. Венец к нему везли золотой, выкованный на Адриатическом море в городе Венеции – и наши русские князья там

⁶³ *Свидригайло* – имеется в виду Скиригайло (Скиригайло) Ольгердович (ум. 1396), князь Полоцкий (1380—1386), великий князь Литовский (1386—1392), князь Киевский (1392—1396).

были: московский, тверской, рязанский.

«Ну, что же?»

– Да когда видано, чтобы худое пошло впрок? Злый зле и погибнет! О венце Витовтовом рассказывают чудные дела: все видели, как везли его – пропал без вести: ни венца, ни человека, который вез его, никто не видал, куда они девались. Старый князь почуял явный гнев небесный, запечалился, да так в печали и умер.

«Слышал я; а теперь, говорят, в Литве и Бог весть что делается!»

– Душегубство! Брат на брата восстал и родной отдыхает на могиле родного. Главным князем после Витовта был там Свидригайло Ягайлович⁶⁴. Есть толки, что будто он и старику-то Витовту пособил на тот свет отправиться без покаяния; видишь, как кровь вопиет за кровь: Свидригайло заплатил за Свидригайла! Этот был, впрочем, человек добрый, но его выгнал из Литвы брат Витовта⁶⁵ – образ человеческий носит, а нравами и ведомом не ведомано! Я таки и сам знавал и видал, но на веку не слыхивал о таком князе. Людей он не губит поодиночке, а так – велит вырезать или запалить город, село, деревню, а сам с утра до ночи в пьяном образе, и вме-

⁶⁴ *Свидригайло Ягайлович* – имеется в виду Свидригайло Ольгердович (ум. 1452), великий князь Литовский (1430—1431), брат Ягайлы (Владислава) Ольгердовича (ок. 1350—1434), Великого князя Литовского (1377—1386); короля Польского (1386—1434).

⁶⁵ ...*брат Витовта* – Сигизмунд (уб. 1440), князь Стародубский, великий князь Литовский с 1431 г.

сто стражи лежат у него двенадцать диких медведей, прикованных на цепях в его опочивальне...

«От него достанется, я думаю, и Руси православной много всякого горя!»

– Куда ему! Теперь бы Руси-то православной на него нагрянуть, так он и сам не усидел бы на своем столе. Забыли мы, как делали наши старики! Эх, товарищ! где теперь наша Русь? Всю-то ее в горсть захватить можно!

«Ну, где же в горсть? Будто от Волги до Москвы, да от Новгорода до...» – Тут дедушка Матвей остановился, затрудняясь недостатком географических сведений.

– Ну, опять *до Москвы* – и только! Знаешь ли, что *прежде* Русь-то была? Ведь Киев-то был матерью русских городов, Полоцк был русским княжеством, Смоленск тоже, Курск тоже, Чернигов тоже, Переяславль на Днепре тоже; а Волынь и Галич⁶⁶? Все это было русское, православное.

«Видно, Господу угодно было разрушить власть русскую».

– Оно так, что без воли Божией и волос с головы человеческой не упадет, но ведь Господь посылает гибель на царство за грехи живущих. Сами на себя мы злым помыслом крамолы ковали. Посмотришь в старые книги: как еще Господь грехам терпит донныне, как уцелело хоть что-нибудь русское! И татары, и Литва, и немцы, и мурмане, и мордва...

«Где же было нашим старикам против всех!»

⁶⁶ *Галич Вольнский* – находился на р. Днестр (ныне – Ивано-Франковская обл. Украинской ССР).

– Достало бы на всех. Вот об литовском князе Витовте речь у нас шла. Вместо того, чтобы перед ним сгибаться, бить ему челом, да родниться с ним – если бы посчитаться с ним русскими ребрами, чьи-то крепче: русские, али литовские?

«Куда было против него!»

– В этом и вся беда, что мы все говорим: *куда нам!* А как князь Димитрий Иванович с Мамаем схватился, так только пар кровавый остался на том месте, где рати татарской и счета не знали!

«Экой ты: ведь литовцы не татары».

– Теперь уж, конечно, иногда татар и палками гоняют, а посмотрел бы ты их прежде...

Видно было, что разговор задевал за живое незнакомца. Добродушный дедушка Матвей был изумлен, заметив силу его движений, жар, с каким говорил он. Все это не показывало в незнакомце старика простого и мирного, каким являли его одежда и наружный вид. Но хитрый незнакомец тотчас увидел новую недоверчивость спутника. Он смирился и начал говорить по-прежнему спокойным голосом:

– И в наше время не раз доказывали, хоть бы тем же литовцам, русскую силу и крепкую надежду на Бога. Когда Витовт подступал под Плесков...

«Да, мы даже все в Ярославле издивовались, услышав, что плесковичи задумали стать против Витовта Кестутьевича!»

– Но что же он взял? Если бы тогда новгородцы, да ливонские немцы подсобили, то куда девались бы вся его рать

и сила великая! Он осаждал Опочку – весь этот городишко доброго слова не стоит! Плесковичи заперлись в Опочке, подрубили мосты, которые через ров вели к городским воротам, – так подрубили, видишь, что мосты-то еще держались. Когда литовцы и всякие бусурманы кинулись в город – мосты обрушились; внизу были набиты острые колья, и враги погибли, как злые преступники, на острых кольях; других хватали плесковичи, рубили им головы, сдирали с них кожи... Видел ли ты бешеного вола? Таков был Витовт в эту страшную минуту! Но Богу угодно было помочь православным! Сделалась Божья гроза – света белого не увидели – полился дождь, раздался гром: шатры литовские поплыли водою, и Витовт скорее велел убираться, грозя, как волк, которого из овчарни гонят добрые собаки, что со временем заплатит обиду. Грозил он, а не знал, что дни его были уже изочтены перстом Господним, и что трех лет не оставалось ему глядеть на светлое солнышко! Явная милость Божия показала и в другой поход Витовта. Через два года он отдохнул, собрал бесчисленную силу. «Вы называете меня бусурманом и бражником, – велел он сказать новгородцам, – я научу вас тому, как литовцы пьют брагу». Огнестрельного снаряда, людей, коней, обозов повел он столько, что хвалился передовым полком вступить в Новгород, а задним не выходить из Вильны. Один проклятый немчин сделал ему такую пушку, что сорок лошадей везли ее, а где она была провезена, там след врезывался в землю локтя на два. Вот, при-

атель, и обступили литовцы город Порхов⁶⁷, что на реке на Шелони. «Ты, Витовт Кестутьевич, – говорил ему немчин, – только смотри, да говори мне: куда направить мою *Галку*, – так называлась пушка, – а уж на что я ее направлю, тому не устоять». Смотря с городской стены на обширный литовский стан, где были народы немецкие и татарские, можно было подумать, что груды снега зимние выюги навеяли на земли православных. Я стоял тогда подле сторожевой башни...

Дедушка Матвей оглянулся на незнакомца, тот не смешался нисколько, улыбнулся, перекрестился и примолвил:

– Что я заболтался! Хотел сказать об одном приятеле новгородце, который мне сказывал... Да, где бишь остановился наш рассказ? Ну, вот видишь: в Порхове заперся посадник Григорий и еще один муж новгородский, Исаакий Борецкий – не много есть таких доблестных мужей в Руси! Они отправились к Витовту, стали его уговаривать – он и слышать не хотел. Шатер княжеский раскинут был на холме, перед ним расстилалась долина, где ярко светилась медная, страшная *Галка*, а вокруг нее стояли литовцы в медвежьих шкурах, немцы в железных одеждах, и подле горящего припала расхаживал немчин пушечник. «Нет вам мира! – говорил Витовт Исаакию и посаднику. – Платите мне десятину, отдайте мне земли по Торжок, откажитесь от Пскова, примите

⁶⁷ *Витовт подступал под Плесков... осаждал Опочку... обступил Порхов...* – имеется в виду набег литовцев на Русь в 1426 г.; Плесков – старинное название Пскова.

моего наместника, или вы увидите, что нет и спасения вам ни за стенами, ни в поле, ни в лесах. Я прорубил дорогу для своего воинства среди дремучих, черных лесов ваших, я помостил пути по болотам вашим для своих снарядов, и вот я подле Порхова. Далеко ли от Порхова до Новгорода?» – «И близко и далеко, – отвечал посадник. – Как ты пойдешь и как Бог тебя поведет!» – «Что ты поешь, старая сова! – вскричал Витовт. – Уставьте дорогу отсюда к Новгороду сплошной ратью, и тут я через три дня буду гостить у вас в Новгороде». – «Государь князь, – отвечал Исаакий, – рати у нас не достанет и на полпяты дороги, но силен Бог русский и защитит нас!» – «Бог? – воскликнул Витовт, – а вот я посмотрю, как он защитит вас!» – Тут кликнул он немчина, и указывая на золотую главу колокольни Святителя Николая Заречного, ярко сиявшую над градскими зданиями, сказал: «Видишь ли эту золотую главу церковную на колокольне?» – «Вижу», – отвечал немчин. «Готова ли твоя Галка?» – «Готова». – «Смотри же: ударь прямо и сшиби золотую главу русского храма!» – «Этого мало, – отвечал немчин, потирая руками по огромному своему брюху, – не стоит терять Порохового зелья; вот еще торчит на стене какая-то башня – прикажи и ее свалить?» – «Хорошо!» – Слезы навернулись на глазах Исаакия, когда немчин насторожил свою пушку, размахнул припалом и зажег зелье пороховое. Огонь блеснул молнией, земля задрожала, дым разостлался по долине... Башню со стены смело, как будто веником, и ядро пушечное за-

визжало вдаль. – «Видишь ли», – воскликнул Витовт, громко засмеявшись и показывая на кирпичи, полетевшие вдали из стены церковной. В церкви производилась в то время литургия и звон колокола возвещал православным, что началась Достойная. «Достойно есть яко во истину, блажите тя, Богородицу! – воскликнул Исаакий. – Церковь цела, князь: ядро твое пролетело насквозь, и крест сияет по-прежнему, а видишь ли, где твоя Галка?» – В самом деле – Галку разорвало выстрелом на мелкие части; немчина следов не нашли: только лоскут его калбата веялся на копье воина, упавший из воздуха небесного; множество растерзанных воинов лежало окрест, и вопль и стенания раздавались вокруг шатра литовского князя. На другой день он помирился и увел свое войско со стыдом и срамом...

«Велика была милость Божия!» – воскликнул дедушка Матвей.

– Если бы мы были правее сердцем, то ли мы увидели бы. Несть спасения во всеоружии, но есть оно в правде! Забыта правда в земле русской, нет православия, ереси терзают церковь, мы развратились, мы забыли Бога и дела отцов, начиная с князей до рабов и с княгинь до рабынь, со слезами съедающих насущный хлеб свой.

«Ты верно, товарищ, новгородец, что Новгород отменно любишь, славишь и знаешь о нем столько диковинного?»

Незнакомец задумался.

– Нет, – сказал он, – я не новгородец, а недавно был там,

живал и прежде.

«Живал? Где же ты живешь всегда?»

– Где? На том месте, где я стою. Много ли человеку надобно: кусок хлеба для утоления голода – он у меня в котомке; чашка воды для спасения от жажды, но – возьми горсть снега, так и напился, а снегу в Руси видишь сколько – не занимать стать (незнакомец обвел около себя рукою, указывая на сугробы, окружавшие все окрест их); сажень места, где прилечь живому... мертвому, – нечего о себе заботиться: сыщется земля-матушка, в которой грешные кости согреются от зимы смертной, найдется лоскут холстины, в который завернут землю, земле отдаваемую, и руки, которыми уравниют твою могилу, чтобы проложить по ней дорогу живым! А нечего сказать – побродил я на веку своем по Руси, православной и неправославной... Где я не был? В Киеве, в Галиче...

«В нашем Галиче?»

– И в вашем Мерском, и в Волынском...

«И в Волынском? Скажи-ка, товарищ дорогой, что там ты видел?»

– Там то же, что и везде: живут люди, с руками и с ногами, а иные и с пустыми головами.

«Ведь, я слышал, там бывали сильные русские, православные князья?»

– Как же. Меня привел Бог поклониться гробам князя Даниила, князя Романа Галицкого, князя Мстислава Мстисла-

вича, князя Владимирка Володаревича, князя Ярослава Владимировича, князя Льва Данииловича... Эх! соколы золотокрылые! Спите вы крепко в сырой земле и не явитесь стать копьем богатырским за землю русскую! Угры, ляхи, литва, татарщина, молдаванщина в областях ваших, а если и бродят там кое-где кочевья русские, то не походят они на русских. Вот, приятель, диковина! Спустился я по Днепру вниз, на Днепровские острова – степь голая, да кое-где виднеются притоны берладничьи, живет русский народ, смесь такая – ночью, как воры стерегут добычу, а днем прячутся в камышах, да в землянках, и считают богатырство только головами вражескими... Они себя и Русью-то не называют. Спросишь: кто ты? отвечает – *вольный казак!*

«А веры христианской?»

– Как же, христианской, и говорят по-русски; расселились до самого моря Черного, как шмелиные гнезда. Много нечисти всякой между ими – и татары, и ляхи, и угры!

«Ты далеко ходил между ними?»

– Был до самого Черного моря, как ходил в святой град Иерусалим.

«В Иерусалим? Ты был в Иерусалиме?» – сказал дедушка Матвей, с невольным почтением.

– Был, был, товарищ. Где я не был! До Иерусалима проплыли мы через три моря: Черное, Белое и Средиземное. Когда проедешь мимо Царяграда, так с одной руки Святая земля, с другой Греческая земля, с третьей Египетская земля.

Море Средиземное, как чаша находится среди мира, и меня привел Бог молиться за Русскую землю на самой середине Божьего творения.

«Какая радость должна усладить душу благочестивую, – воскликнул дедушка Матвей – когда устами своими прикоснется грешный человек к святому гробу Христа Спасителя!»

– Мирскими словами этого не выскажешь, – отвечал незнакомец. – Надобно тебе знать, что святой Иерусалим исполнен запустения на месте святе. Плывешь к нему морями, идешь горами и степями, от солнца сгоревшими, терпишь глад и жажду. Вода в море соленая, солнце печет, стрела разбойника агарянского ждет тебя из-за каждого кусточка, ядовитые скорпионы ползают по горячей песчаной дороге. Сердце православного обливается кровью, когда он видит при том проклятого мугаммеданина владыкою святого храма, и когда в самом храме, подле гроба Спасителя, бьют христиан палками, и святой храм разделен на четыре части: армянам, папежам, арианам... Но поверишь ли? Все я забыл, празднуя святую Пасху, и видя грешными очами своими чудо неизреченное, как нисшел огонь с небеси на свечу христианскую у блаженного патриарха!

Незнакомец утер слезу; дедушка Матвей был весь нетерпение. Он бросил свои вожжи, которые до тех пор держал еще в своих мохнатых рукавицах.

– Помню эту ночь, – продолжал незнакомец, – и буду помнить до последнего смертного часа! Все время, с самого ве-

чера, молились мы в святом храме Иерусалимском. Обширный, темный и без того, храм сей был тогда изредка освещен свечками и лампадками, которые теплились в разных местах, словно звездочки во мраке глубокой ночи. Наконец, патриарх греческий собрал весь клир, облачился, потушили остальные свечи и лампадки и с пением пошли все мы встречать Христа по той дороге, где касались земли его святые стопы. Звуки небесные голоса человеческого: «Воскресение твое, Христе спасе! Ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби прославить тебя чистым сердцем», – вы здесь, в сердце моем, которое на тот час было чисто, как душа младенца! Мы приходим ко гробу Господню, над которым во храме устроен особый храм. Тут, с молитвами и со слезами, пали все мы на колени, и лишь только ударила полночь... струями сошел огонь на свечу, которую держал патриарх, хор воскликнул: «Христос воскрес из мертвых!» Рыдая, зажгли мы свечи от свечи патриаршей – и этот небесный огонь, горевший неземным пламенем, и седовласый патриарх, повергшийся перед гробом Господним, и мы, стекшиеся от всех стран мира, скорбные и радостные, славившие Господа на двадцати различных языках...

Незнакомец закрыл лицо руками; дедушка Матвей зарыдал. Молчание продолжалось несколько минут. Старики шли, не говоря ни слова...

Глава VI

*Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий!
Ты червь земли, не сын небес...⁶⁸*

А. Пушкин

– Неужели, – сказал наконец дедушка Матвей, – неужели до сих пор не было между владыками земными ни одного, который возревновал бы отнять драгоценное наследие христиан из рук неверных, или положил кости свои грешные подле гроба Господня, сражаясь против поганых?

«Были такие примеры, были такие владыки, но – видно, что прегрешения взошли выше глав наших! Теперь кому идти на дело креста! В Иерусалиме выслушал я длинную повесть о том, как стекались некогда отовсюду цари, короли, князья благочестивые и отбивали гроб Господен. Двести лет протекло в сей борьбе кровавой, тяжелой, много мученических венцов получили в эти двести лет христианские воины, умирая за церковь Божию... Но уже лет полтора ста прошло, как последний христианский город в святой земле Иерусалимской взяли неверные. Великое было дело креста Господня: дети шли на битву; установились даже такие воины, ко-

⁶⁸ Эпиграф – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

торые назвали себя *крыжаками*⁶⁹ и давали обет умирать за гроб Господен... Да, суета увлекла и их...»

– Где же они теперь?

«Где теперь? Разошлись повсюду, поддались папежу и воюют за него, приобретают ему земные царства и забывают о небесном! Немцы ливонские – ведь это также крыжаки и каждую войну против Руси православной они называют *крестовым походом*, считая себя христианами, а нас называя *язычниками*. Злохуление богомерзкое, клевета нестерпимая! Они *христиане*? Папежи, обливанцы, крыжовники! Цари греческие умоляют их спасти хоть Царьград, где еще сияет православие, – да никто и не думает!»

– Но ведь Царьград такой город, что, и во вселенной, говорят, другого, ему подобного нет!

«Стены высоки, улицы широки, хоромы позолочены, но худо Царюграду – тьма необозримая поганых облегает его кругом, того и смотри, что возьмут Царьград, и погибнет тогда премудрость и благочестие! И кроме Руси не останется нигде православия – все будет либо басурманское, либо папежское, а это еще хуже басурманского. Оттого-то и больно смотреть, что русские земли, единственный остаток церкви Божией на земле, гибнут в злочестии, ересьях и крамолах».

– Стало ведь есть же басурманских земель и колен многое множество⁷⁰, когда от них никому на земле места нет, ни Ру-

⁶⁹ *Крыжаки* – крестоносцы.

⁷⁰ ...колен многое множество... – Колено – родовое разветвление, часть родо-

си, ни Царюграду?

«О! им и счета не знают! Вот видишь: Господня десница определила Руси быть от полуночи до полуденья, пределом между Востоком и Западом. На запад от нее живет всякий язык западный – литва, ляхи, угры, чехи, немцы, латины – все папежи, а граница им Днепр-река; на востоке живут всякие языки восточные – все басурманы до самых пределов солнечных, где стеклянные острова и Макарийская блаженная земля, где солнце опускается каждую ночь в море Окиян: тут живут татары, турки, кызылбаши, тут Индия богатая и царство попа Ивана, и всякие поганые народы. Они приходят и к нам, но предел им Волга-река. Русь не погибнет от них, ибо есть пророчество в Цареграде, на гробе царя Константина написано, что от полунощи изыдет князь Михаил и победит все народы: полунощь означает Русь, и в Руси родится князь Михаил...»

– Когда бы он, батюшка наш, родился поскорее!

«Нельзя: надобно прежде очиститься от грехов наших. Давно ли попущение Божие минулось, что татарская власть стала распадаться? Началось с Димитрия Иоанновича, молитвами святого чудотворца Сергия, и тут – пятьдесят лет тому, как Тохтамыш грабил Москву, а Эдигееву нашествию⁷¹

словной, поколение.

⁷¹ *Эдигеево нашествие* – имеется в виду поход на Русь в 1408 г. татарского князя Эдигея, во время которого ему не удалось взять Москвы, но он разграбил южнорусские земли и часть северо-восточных земель, захватил и сжег Ростов Великий.

и двадцати лет еще не будет...»

– Нет, будет двадцать пять, если не больше! Вот, как теперь помню, что на самый Николин день татары выжгли Ростов...

«Ну, положим, двадцать пять – а за полтора ста лет до Тохтамыша было нашествие безбожного Батыя и покорение Руси, по грехам отцов наших! Откуда вышли татары, и Батыевы и Темир-Аксаковы, оттуда выходят и сарацины на Иерусалим, Царьград и воюют все земли».

– Говорят, недалеко, видишь, от Иерусалима и самое начало агарян, где-то в Аравийской земле.

«Нет, тут родился только их проклятый Махмет, между армянской и кызылбашской земли, тут и гроб его, окаянно-го, находится: железный, висит волхвованием, ничем не подержан, прильнул к потолку, а земли не касается, потому, что земля его не принимает. А другие говорят, что в потолке вделан проклятый камень магнит весом в сорок пудов, который тянет к себе гроб Махметов. Богу известна правда!»

– Ну, а что же дальше на полдень и на полуночь?

«Никто там не бывал. Говорят, что на полдень лежит пучина Эфиопская и кипит она огнем среди моря, и там премудрый царь Соломон заключил проклятых духов. А на полуночь, за Югрою⁷² и за Заволочью⁷³, стоит пучина ледяная

⁷² Югра – историческое название земель, примыкавших к Северному Ледовитому океану от Печоры до Обской губы, где проживали югра (старинное название хантов и мансийцев).

– конец мира. И там Александр Македонский заключил поганые народы, которые были выгнаны Гедеоном из земли израильской, и о которых царь Давид изрек: „вскую шаташася языцы“. Они выйдут оттуда при конце мира, а дотоле загорожены они каменными горами и затворены медными вратами. Об этом пишет Мефодий Патарийский; Василий же Новгородский другое говорит. Я читал его послание – великое и божественное писание! Он был святой муж, ходил в Иерусалим и получил от царьградского Вселенского патриарха белый клубук».

– Что же он говорит?

«Пишет он, что на ледяной, дескать, пучине есть остров, и на сей остров волею Божиею перенесен рай земной с Востока, и там бывали новгородские путники. Было их всего три ладьи; одна погибла, а две занесло далеко, далеко на полночь и принесло к горам, высоким, светлым и прозрачным. На тех горах увидели они божественный *деусус*⁷⁴, пречудно написан святым Лазарем и издивлен так, что нельзя сотворить руками человеческими! Свет там являлся самосиянный, и хотя солнца не было, но светло было паче земного солнца, и слышны были голоса и ликования веселые. Долго думали новгородские путники и решились послать одного из среды своей узнать, что это за предивное явление в очах их? По-

⁷³ *Заволочье* – Северо-Двинская земля.

⁷⁴ *Деусус* – икона, изображающая Иисуса Христа, по обе стороны которого в молитвенной позе находятся Богородица (слева) и Иоанн Предтеча (справа).

ложили они с корабля на берег корабельную щеглу, и один из путников взобрался по ней на гору. Но когда с вершины горы взглянул он далее, то вскричал, бросился туда и сгиб из глаз. Послали другого, заказав ему оборотиться к ним, но достигнув горы, он, хотя и оборотился к ним, но с воплем веселия и радости бросился далее и также исчез из вида. Третьего привязали наконец веревкою, и когда, взобравшись на гору, закричал он радостно и хотел бежать, товарищи сдержали его за веревку, но он был мертв, и ничего они не узнали, ибо несть слов человеческих сказать о веселии рая, и кто вкусил сладость небесную, горька тому сладость земная! В страхе обратились новгородские путники вспять, прибыли в Новгород и поведали все Василию владыке, а он записал на память родам будущим, да чтут и веруют!»

– Но, говорят, что скоро уже придут к нам с полунощи поганые народы, ибо близко уже время кончины мира!

«Кто же исповесть судьбы Бога? Что мы? Червь, тление! Нам ли ведать?»

– Но знамения страшные поведают нам о кончине мира, и сии знамения всюду видны.

«Может быть, но кто достоверно знает? Кривотолки брешут, что с седьмою тысячею настанет преставление Света⁷⁵, и что только 59 лет останется нам жить. Изведать судьбы Божий кто смеет? Я беседовал на Афонской горе с одним стар-

⁷⁵ ...с седьмою тысячею настанет преставление Света... – О летосчислении от сотворения мира см. комм. к с. 77.

цем премудрым. Он живет уже пятьдесят лет в своей келии на самом берегу Эллинского моря и он говорил мне, чтобы я не верил лживому толку. Знамения кончины мира, – говорил он, – будут таковые...»

Здесь прерваны были слова незнакомца. Передавая читателям беседу двух стариков, мы не говорили о том, что представлялось их взорам.

Чуть только начинал брезжить рассвет на небе, когда незнакомец пристал к обозу дедушки Матвея. Небо закрыто еще было тогда снеговыми тучами, но они, как будто истощенные выпавшими из них горами снега и вихрями метелицы, таяли с проходившею ночью. Звезды загорались одна за другою на небе и вот заалел восток, края неба запыхали от солнечных лучей и исполин небес – солнце, – выкатилось наконец на небосклон. Сильный мороз сделался тогда на дворе, снег хрустел под ногами лошадей и полозьями саней. День зимний, ясный, холодный, прелести которого не знают и не поймут не северные жители, настал в полном блеске. Небо не являло собою мягкой голубизны итальянского неба: оно было синее, как яхонт, солнце горело огромным бриллиантом на краю неба, бесчисленное множество морозных иголок наполнило воздух, лучи солнечные пересыпались в них разноцветными искрами, отражаясь на пространстве полей, покрытых снегом, белым, как фата юной невесты, идущей к алтарю. День зимний безмолвен, когда ветер не переметает полей. Только с окрестных лесов, чем ближе подходили на-

ши странники к Москве, тем более летели стада галок и ворон в Москву и пестрили светлое пространство небес темными, движущимися точками.

Светлый, ясный, зимний день возвышает душу северного жителя. Он безмолвен, сказали мы, как старец, в думу погруженный, и невольно поражает душу высокою думою. Ничто недвижно на земле; снега, развитые белым покровом по лесам и полям, как будто сливают небеса с землею. Летом природа пестра, разнообразна, все развлекает наше внимание: и зеленеющая трава, и лазоревые краски цветов, и игривые струи источников, и колышущаяся мрачность лесов. Зимой – небо и человек – вот все, что отражается в душе путника. По крайней мере, такое чувство ощущал в душе своей дедушка Матвей, может быть, настроенный к тому поучительною ночью беседою неизвестного старика. Тем неприятнее было для него пробуждение людей, зашевелившихся по дороге.

Едва ли не самым ранним путником был дедушка Матвей. Когда он пустился с ночлега, еще ни один воз не двинулся с места, лошади и люди отдыхали после вчерашней трудной дороги в метель и выюгу. Но деревни, через которые он проезжал, были наполнены обозами и проезжими. Ехав по русским деревням, можете с удивлением спросить сами себя: когда спят русские крестьяне? Поздно вечером светятся в их хижинах огни, рано утром светятся они снова. Но чем ближе к Москве, тем более все кипело деятельностью и ожив-

лялось. Дедушка Матвей нагонял выезжавшие обозы, другие поворачивали с боковых дорог. Утром начали наконец попадаться встречные возы и люди, ехавшие из Москвы порожняком. Это было на другой день после праздника и торгового дня. Видно было, что возвращавшиеся выехали из Москвы после продажи, навеселе, и большая часть, застигнутые вьюгою, пропировали ночью на постоянных дворах. Несмотря на раннее утро, множество было пьяных, которые шумели, кричали, спорили, пели песни. Все это причиняло большие неустройства по дороге.

Не надобно воображать себе тогдашних дорог, подобными нынешним *шоссе* от Петербурга до Москвы. И теперь еще во многих местах Руси воткнутые в снег елки и сосенки показывают кривое направление, каким идет узкая дорога, и встретившиеся с трудом разъезжаются. Тогда и близ Москвы было немного лучше. Сосновый лес Алексеевский простирался тогда на множество верст вдаль и рос по обеим сторонам Ярославской дороги, сливая в один бор все, что мы теперь называем Марьиною рощею и Петровским. Среди этого бора шла дорога. Ничто не показывало, что вы приближаетесь к столице Великого княжества, кроме умноженного числа больших и малых деревень, отдельных постоянных, хотя и бедных, дворов. Эти дворы сливались наконец в слободы, бесконечные, кривые, и сии слободы были предместья самой Москвы, составляя Ямские, то есть, места на выезде, где жили ямщики, извозчики и останавливались при въезде

и выезде обозы. В Москву въезжали незаметно.

В самом начале наших рассказов мы видели из разговоров дедушки Матвея с хозяином постоялого двора, где он ночевал, что в Москву шло особенно много обозов, казенных и частных, по причине наступавшей масленицы и княжеской свадьбы. И дедушка Матвей спешил к этому времени, надеясь получить поболее барыша за свой товар. От того движение по дороге было тогда несравненно деятельнее и живее обыкновенного.

Потому и неудивительно, что дедушка Матвей, когда ожил и поплелся из Москвы и в Москву весь этот православный народ проезжающих, должен был возбудить всевозможное внимание товарищей и сам деятельно принялся за управление возами, чтобы избежать столкновений и ссор, неизбежных при таком случае, особливо когда русский народ в полуразгуле.

Грустно было ему, после разговоров, прослезивших его от умиления, после безмолвия ночи и поучительной беседы, перейти к суете мира!

Разъехавшись кое-как с четырьмя санями весельчаков, которым вздумалось ехать по дороге рядом, дедушка Матвей с приметною досадою обратился к незнакомцу, хладнокровно шедшему подле воза, на котором лежала его котомка.

– Экой Божий народ, неугомонный, право так – никак не сладишь! Если бы не нужда, так не ездил бы в эту Москву – прости Господи, будь она там, где есть, кроме святых храмов,

да угодников Божьих, Петра и Алексия!

«Брани Москву, а она и не думает, – сказал незнакомец задумавшись. – Растет себе в длину и ширину, и вашему Ярославлю скоро не сдобровать от Москвы».

– Что ж? Воля Божья! А часто однако ж приходив мне в голову дума: что за притча такая, казалось бы, не велик был городишка, а вот так-то всем нос утирает, что и Новгороду Великому от него плохо приходит, не коли что нашему Ярославлю.

«Неисповедимы судьбы Божии! Святитель Петр митрополит⁷⁶ благословил Москву и переселился сюда из Владимира, с тех пор и пошла она в гору. „Если ты, князь, останешься в Москве, – говорил святитель князю тогдашнему, Ивану Даниловичу Калите, – то благо будет твоему роду и руки твои взыдут на плеча врагов твоих!“ – Новгород больше Москвы, Владимир старше Москвы, Киев великолепнее Москвы, но принуждены уступать и видно, что суждено ей быть царицею городов и княжеств русских».

– Толкуют розно, а не слыхал ли ты, товарищ, досконально, давно ли началась Москва? Ты так много знаешь...

«Как не слыхать; да ведь старой повести от сказки не отличишь. Говорят, что когда-то, давно, очень давно, еще при Владимире Всеволодовиче Мономахе, жил-был боярин

⁷⁶ ...*святитель Петр митрополит...* – *Петр* (ум. 1326), митрополит всея Руси (с 1308), последний год жизни провел в Москве, где умер и был похоронен в заложенном по его инициативе храме, в дальнейшем ставшем местом митрополичьей кафедры – местом пребывания митрополитов всея Руси.

князь Данило. Вздумал он ехать на охоту, приехал на берег Москвы, и там, где сливается Яуза в Москву-реку, рос тогда лес дубовый, и в нем жил мудрый человек, римского рода, по имени *Подон*. И тот мудрый человек принял ласково, князя Данила и сказал ему; „Знаю я тебя, князь Данило, что ты любимец Мономаха; скажи ж ты ему от меня, что на этом месте будет в роде его град великий и будут князья сильные. Пусть приедет сам на это место и увидит того, кто меня мудрее, а тебе того человека видеть нельзя!“ Князь Данило устранился, поехал в Киев и Мономаху все сказал. Тогда были у Мономаха войны великие, и удалился Мономах в Суздальскую область, и там родился у него сын Юрий. Был еще у Мономаха муж мудрый, грек, философ и гадатель по звездам, от Божией премудрости, а не от демонской силы. Мономах заложил для сына своего город, назвав его: *Юрьев*. Но грек говорил ему: „Этот сын твой младший будет всем братьям владыка и одного города ему мало, у него будут *долгие руки*, которыми он и другие города похватает“. Оттого и прозвали потом Юрия *Долгорукий*. Мономах призвал тогда Данилу и сказал ему: „Слышу, что сын мой Юрий города себе заберет, обидит он братьев своих; построю я ему такой город, чтобы незавидно ему было на другие города, и будет третий город во вселенной: *первый* Рим, *второй* Царьград, а *третий* его город; укажи мне место, где ты видел Подона“. Данило, гречин и Мономах поехали; только ездили они, ездили – не могли сыскать места! И вдруг перед ними явил-

ся, в глухом, непроходимом лесу, зверь троеглазый, превеликий и прекрасный. Они поехали за зверем и выехали туда, где стоит теперь Кремль. Тут нашли они мужа мудрого, старца, по имени *Букала*, старшего брата Подонова. И тот указал им место, где заложить город в темном бору, и велел построить церковь божию, и схоронить его ветхие кости. Но потом Мономах поехал в Киев, прошло много лет, и перед кончиною своею заказывал он князю Юрию в Киев не вступаться, а жить в Суздале и построить город на Букалове месте, упокоить кости старца и быть довольным тем, что Бог дает ему. Но только, что Мономах умер, Юрий усмехнулся и сказал: „Я на свою руку охулы не положу, город великий построю, а Киев также возьму“. И велел он ближнему своему боярину Кучку город на Москве-реке строить, а сам стал отнимать у братьев Киев. Вот дрались они, дрались, много лет, и Юрия выгнали наконец из Киева. Приехал Юрий в Суздаль и вспомнил, что Кучку велел строить город, и отцовское заветное вспомнил, покаялся, поехал сам и увидел, что Кучко города не строил, а выстроил себе палаты узорочные, да населил деревни: одну на Воробьевых горах, другую в Сущеве, третью на Симонове, четвертую на Высоцком, пятую в Кудрине, а шестую в Кузнецях. Юрий разгневался и сказал Кучку: „Ты мне дома не построил, так я тебе домовище построю; ты городу не дал еще имени, так я ему имя дам; ты не схоронил Букала, так я тебя схороню!“ – И велел он Кучку повесить, да стрелами расстрелять и похоронить его на да-

леком поле, которое с того времени названо *Кучково поле*, а по тому имени и город называли многие: *Кучков город*, но по реке-Москве дано ему имя: *Москва*. И невзлюбил Юрий города, пошел опять отбивать Киев. Но мудрого человека слова мимо не молвятся. За непослушание Юрия послал Бог на род его казнь: Киев родичи его потеряли, Андрея Боголюбского, сына его, убили дети Кучковича, а из Суздаля выгнали великих князей татары. В четвертом колене, сын святого Александра Невского, мудрый князь Даниил⁷⁷ хотел умилоствить гнев Божий и поселился в Москве, построил храмы Божии и над Букалом воздвиг церковь Спаса на Бору⁷⁸. Но только в седьмом колене Господь простил прегрешения Юрия и дал Димитрию Иоанновичу силу и победу, послал ему святителя Сергия и утвердил в роде его Великое княжество. Велика бы теперь была Москва и Русь, если бы не прегрешил Юрий, да не сделали двух великих грехов его потомки, едва только простил Господь прегрешения предков!»

– Потомки?

«Да, честолюбивая кровь Долгорукого все отзывается в его внуках и правнуках. Первая статья греховная та, что по завещанию отцов и дедов Великим князем надобно быть старшему в роде и чужих уделов не трогать. Это написано во

⁷⁷ Князь Даниил (ум. после 1224 г.) и др. – Галицкие (на Волыни) князья.

⁷⁸ ...церковь Спаса на Бору... – Старейшая московская церковь, находилась в Кремле; в советское время была разрушена и на ее месте поставлен памятник В. И. Ленину.

всех грамотах и заветах старинных. Но Димитрий перевел Великое княжение своему сыну, а тот отдал своему сыну к обиде родных и ближних. Когда ж это видано на святой Руси?»

– Да, николи не бывало!

«Ну, а завладение чужим добром разве не грех тяжкий? Сколько благородных бояр, сколько доблестных князей Мономахова рода погибло в изгнании, в темнице, в бою кровавом за наследия, которыми овладели Московские Великие князья? Князья суздальские, князья рода старинного, бедствуют и донныне, когда младшие братья их пируют и ликуют. . . .» – Голос незнакомца задрожал, глаза его засверкали – он умолк.

– И нашему князю Ярославскому и Тверскому князю куда плохо приходится, да и вольному Новгороду.

«Что до вольницы новгородской – их таки и пора унять: с жиру бесятся! – сказал незнакомец улыбаясь и перемогая внутреннюю скорбь и горечь свою. – Но мы заговорили о князьях, как будто судить их взялись – Господи нас помилуй! Дай Бог им всем долгие веки, счастья и таланту!»

– Господи нас избави, судить Божиих судей! Не в осуд слово говорится, а спроста молвится!

«Помолимся же о грехе нашем, хотя и невольном. Вот и грань Московская!»

Мы сказали, что подгородные слободы составляли предместия Москвы. Чтобы лучше познакомиться с тогдашнею

Москвою, надобно знать, что *городом* называли тогда собственно Кремль – пространство, за шестьдесят шесть лет до событий, нами рассказываемых, обнесенное Димитрием Донским каменного стеною, на нагорном берегу Москвы-реки. Тут были соборные храмы московские, дворцы, великокняжеские терема и хоромы главных бояр и многих князей. Подле Кремля от Фроловских ворот безобразною кучею настроено было множество деревянных лавок, поставленных рядами, криво и неправильно. От этих рядов и бесчисленного множества лавок и балаганов, отдельно их окружавших, шли извивистые, узкие улицы, так же как и от самого Кремля. Замоскворечье составляло особенное народонаселение и называлось: *Скородом*. Улицы от Кремля и Китая были довольно длинны и пересечены множеством переулков, проходных и глухих. Во всей Москве не было тогда ни одного каменного дома, даже самые дворцы великокняжеские были деревянные. Улицы городские оканчивались там, где теперь видим великолепные городские здания. Так, например, Сретенский монастырь был поставлен отдельно на Кучковом поле, монастыри Крутицкий и Андроньев были вне города, Симонов стоял далеко среди леса, на Москве-реке. Вокруг сих монастырей расселены были монастырские слободки. Отделяясь выгонами и полями от городских улиц, растягивались слободы подгородные, где для обитателей, позади домов, отведены были пашни и сенокосные луга. Дома в Москве были большею частию во дворах, обнесенных с улицы забором,

с воротами на улицу. Строение городское отличалось множеством обширных купеческих, боярских, княжеских домов в два этажа, с кладовыми и погребями внизу. Между сими большими хоромами беспорядочно таились хижины и домики, из коих многие были с соломенными крышами. Часто такой домик заслоняло какое-нибудь обширное строение соседа боярина или князя, ибо во дворах знатных и богатых обыкновенно находилось много принадлежностей: конюшни, овчарни, задние дворы, бани, терема, голубятни, соколиные дворы, домовые церкви. В слободах дома были однообразны, построены один подле другого, разделялись только воротами с большим навесом. Это отличало слободы от города. Другое отличие городских улиц составляло необыкновенное множество каменных церквей и часовен, икон под особыми навесами на стенах и домах. Многие церкви стояли среди улиц и оттого улицы тянулись мимо их угловатыми кривизнами; ограды были обыкновенно обставлены лавочками и торгом. На Яузе и Неглинной находилось множество мельниц и берег Яузы весь занимали сады. Великокняжеский сад был против самой Кремлевской горы на берегу Москвы-реки.

Такую странную, безобразную громаду представляла тогда Москва, не обнесенная ни стенами, ни валом, ни рвом. Прибавим, что все это кипело многолюдством народонаселения. Издали блистала Москва множеством церковных глав, а оттого с незапамятных времен была она названа *золотогла-*

вою, прежде *белокаменной*, получив сие последнее название после, когда две белые каменные стены разделили ее внутри от Кремля и Китая-города и когда всюду начали воздвигаться в ней каменные палаты и терема. Однако ж, с Ярославской дороги Москва и донныне не видна издали, ибо возвышение земли, идущее от самого Страстного монастыря мимо Высокопетровского и далее к востоку, закрывает от путника остальную, обширную часть Москвы.

Место, которое незнакомец назвал *гранью Москвы*, была часовня, поставленная там, где ныне Сухарева башня. Здесь оканчивалась подгородная слобода Переяславская, которая вправо соединялась с Троицкою слободою, а влево с Красным селом, полями и огородами.

Тут оба старика сняли свои шапки и помолились с усердием. Уродливый старик, сидевший подле часовни, подошел к ним с кошельком и попросил на церковь Божию; множество нищих, сидевших около часовни, завопило жалкими голосами, прося *Христа ради*. Старики заворотили полы своих тулупов и из маленьких кожаных мешочков дали что могли на церковь и нищей братии. Громко благословляя, желая доброхотным дателям здоровья, а родителям их царства небесного, пошли нищие к своим местам подле часовни. Тогда, после новой молитвы, старики подошли к своему обозу.

Все показывало, что они приехали в город обширный и многолюдный. По кривой, вновь устраиваемой улице, к Кучкову полю тянулись в несколько рядов нескончаемые обо-

зы; множество пешеходцев и всадников пробиралось между ними. Знатные люди и чиновники ехали на гордых конях, в санях и кошевнях, со всадниками и слугами, которые разгоняли обозы и били пешеходцев и лошадей, очищая дорогу. Вправо и влево, по пространству, занятому впоследствии Земляным валом, был обширный торг; множество возов стояло тут рядами; в балаганах и под навесами пекли, жарили, варили, ели; разносчики с лотками ходили между народом. Вправо, на Драчевском *старом* городище, видна была многочисленная толпа народа, слышны были клики, шум, заметно волнение. Множество пьяного народа шаталось повсюду.

– Ни свет, ни заря, а экая, Господи, возня! – сказал дедушка Матвей, завязывая хорошенько вожжи и оправляя сбрую своей лошади.

«Видно уж в Москву приехала Масленица, – отвечал незнакомец, с усмешкою опираясь на свою палку. – Смотри-ка, на Драчевском-то поле уж видно начались кулачные бои! Вон, вон, гляди, гляди – стена на стену – ай-да ребята, рано начали... рано и кончите», – примолвил он, почти про себя, вполголоса.

– А знаешь ли, товарищ, вот я не бывал уже здесь года три, четыре – тогда этого не было. Что это: народ-то год от года хуже становится!

«Да, князь Василий Димитриевич⁷⁹ не подлюбливал ни

⁷⁹ *Василий I Дмитриевич* (1371—1425) – Великий князь Владимирский и Московский с 1389 г.

пьянства, ни дурачества людского. А теперь молодой князь – и масленица скоро, и свадьба княжеская – пускай веселятся! Ты знаешь, – примолвил старик с таинственным видом, как обыкновенно говорит простолюдин вольные речи, – князь радостен, боярин весел, народ пьян...»

– Да ведь, я думаю, еще не во многих церквах и литургия кончилась. Смотри, какая сумятица и беспорядок!

«В порядок обоз!» – раздался хриповатый голос. Дедушка Матвей и незнакомец оглянулись. За ними стоял земский ярыжка и грозил толстою, крашеною палкою.

Хотя никаких застав и укреплений в Москве не было, однако ж, при въездах в городские улицы были поставлены в сторонах рогатки, которыми на ночь улицы были задвигаемы. Днем сии рогатки отодвигали и ставили их подле *будок* – деревянных домов, в коих кочевали *земские ярыжки*. Длинные дома сии походили на нынешние гауптвахты. Это были строения с площадкою и входом с улицы. Тут помещались ярыжки, жили подьячие, находилось особое место для взятых в буянстве и драке, для мертвых тел, пока не отвозили их в *убогие дома* – места погребения всех, кто погибал насильственной смертью. Перед обиталищем ярыжек стояли крашеные палки, в особом надолбе. Ярыжка, бывший на страже, брал одну из таких палок и, держа ее, наблюдал за благочином. Подле каждой палки висела деревянная трещотка. Если надобна была помощь товарищей, ярыжка схватывал трещотку, вертел ее и производил странный звук, на кото-

рый выбегали другие ярыжки и хватались за крашенные палки. Трещотки употреблялись и для призыва на пожар. При появлении дыма или огня ярыжки шли с трещотками по улицам, тогда на ближних колокольнях спешили бить набат и народ сбегался тушить пожар,

Одну из обязанностей ярыжек составляло приведение в порядок ехавших по московским улицам обозов. Возы должны были следовать один за другим и пять возов связаны один с другим. При первом возе должен был идти человек и вести лошадь под уздцы. При каждом из следующих надлежало быть по одному человеку, а по крайней мере при всех пяти возах один, чтобы поправлять их. Следующие пять возов шли в таком же порядке, оставляя для проезда и прохода место после пяти предшествующих им – предосторожность, необходимая при бесчисленном множестве обозов, наполнявших Москву зимою. Не худо бы возобновить сей устав и в наше время, ибо нередко бесконечные обозы запирают и ныне московские улицы, так, что вся улица становится непроездным местом ссор и драк. Но хотя на ярыжек возложена была обязанность устраивать обозы на улицах московских в торговые дни, проезда также не было, как и ныне, и доехать до Кремля считали важным подвигом. С одной стороны, худо исполнялся устав; с другой, несколько обозов, идущих в несколько рядов, делали препятствие; с третьей, надобно поставить препятствием нетерпеливость русскую: как переждать пять возов, едущих шагом! Считалось удалством

проскочить между лошадьми или перелезть через воз, а знатная молодежь прыгала на борзых конях своих через обозы или рубила веревки, от одного воза к другому привязанные, разгоняла лошадей, и хохот означал удальство знатных и замешательство проезжих.

– Тотчас, тотчас, кормилец! – отвечал дедушка Матвей ярыжке. – Видишь: лажу!

«Я тебе полажу спину!» – заревел ярыжка, замахиваясь дубиною.

– Эх, боярин! – сказал незнакомец. – Что старика бить!

«А! вы озорничать? Я вас за то. Вы нарушать порядок...»

Видно, что этот народ и за четыреста лет был таков же, каков всегда. Весьма неприятная ссора с полицией грозила дедушке Матвею и без всякой вины ему легко было попасть при самом въезде под стражу. Он видел, что в то же время множество обозов объехало его потому только, что люди, их сопровождавшие, не хотели приладиться, а он остановился именно для приготовления возов по уставу.

Крик ярыжки собрал уже много любопытных. Ярыжка замахивался палкою и кричал, – «Видно дать надобно!» – шепнул незнакомец дедушке Матвею. – «Да за что дать?» – спросил тот. – «За что почтешь», – отвечал ему незнакомец.

– Ты нарушаешь княжеское повеление – ведь мы княжие рабы, ведь мы его лицо представляем, седой ты бес, прости Господи! Ведь мы управа благочиния!..

«Ох, ты управа бесчиния!» – сказал какой-то молодой па-

рень, идя мимо. Сильною рукою надвинул он шапку ярыжки на лицо его и уже был далеко, когда взбешенный ярыжка освободил свою красную рожу из-под шапки и с ругательством искал того, кто его обидел. Толпа, собравшаяся вокруг, дала между тем дорогу дедушке Матвею, который спешил уехать, и начала хохотать над блюстителем порядка. Он бросился на насмешников со своею дубиною, народ разбежался, издали кричали ему, усыкали его, как собаку, и дразнили.

Между тем дедушка Матвей поспешно ехал по нынешней Сретенке в толпе обозов и народа, снимая шапку и молясь перед церквами, уклоняясь от ездовых и говоря: «*Бог даст*», – нищим, беспрерывно встречавшимся ему; уже некогда было останавливаться.

Доехав до Кучкова поля он должен был однако ж остановиться, ибо тут был обширный торг подле Сретенского монастыря и в тесноте надобно было постоять, пока найдешь проезд. Незнакомец, спутник дедушки Матвея, подошел к нему и, сняв шапку, сказал: «Ну, добрый тебе путь, дорогой товарищ! прощай!» Он взял свою котомку.

– Куда же ты? – сказал ему дедушка Матвей.

«Надобно поискать приюта», – отвечал незнакомец, взваливая котомку на плечо.

– Спасибо за дорогу, за беседу твою. Поверь, что она усладила меня, что я ее во веки веков не забуду!

«Спасибо тебе за ласковое слово».

– Послушай, однако ж на прощание, приятель и товарищ, дозволю узнать твое честное имя?

«На что же тебе знать имя мое? Христианин, русский, да и только».

– Нет! гора с горою не сойдется, а человек с человеком столкнется!

«Бог весть! Нам обоим с тобою жить, кажется, немного осталось; Русь просторна, где нам столкнуться? Помяни меня добрым словом, когда вздумаешь помянуть!» – Незнакомец еще раз поклонился и пропал, в толпе народа.

– Только его и видели! – думал дедушка Матвей. – Что сегодня за чудный мне день выпался на встречи! Недаром вчера пригрезилось во сне, что я одет был в красный зипун, а третьего дня надел я шубу навыворот. Поневоле вздивуешь-ся: на ночлег приехали князья, и чуть было не попались мы в беду. А потом этот, прохожий, Бог знает откуда взялся, куда девался, кто такой! А уж златоуст – нечего сказать – такой-то роде-язык, что не часто встречаются. Где не бывал, чего не видал? – Ну, ну! лошадки вперед! Эй, дружище, по-сторонись!

Дедушка Матвей должен был ехать в большой рыбный ряд к самой Москве-реке подле Константино-Еленских ворот, которые из Кремля вели на Варварку, а потом были закладены наглухо. Для этого надобно было ему проехать по Лубянке, а потом через Неглинную по которому-нибудь из мостов, находившихся на местах нынешних Никольских, Ильинских

и Варварских ворот. Неглинная, запруженная вверху, разливалась широко, текла в глубокие рвы, коими был обведен Кремль, и наполняла их водою. На мостах был особенный затор народа, ехавшего и шедшего в разные стороны. Долго стоял тут дедушка Матвей, как вдруг мелькнуло перед ним знакомое лицо – один из ярославских купцов, издавна поселившийся в Москве. Он узнал дедушку Матвея, известного рыбного торговца ярославского.

– Что, старинушка, видно не проедешь? – сказал ярославец, после обыкновенных приветствий и вопросов: куда, откуда, давно ли?

«Да уж побил я масла по Москве. Скажи, пожалуй: что у вас сегодня? Я давно, правда, не бывал в Москве, да зато никогда и не видывал столько бояр, князей, всадников и такого смятения?»

– Масленица ведь послезавтра, ну а теперь все едет и бежит в Кремль: сегодня княжеская свадьба.

«Сегодня! То-то я смотрю – народ кишмя кишит: и пьяно, и разодето, и все к Кремлю, да к Кремлю!»

– Да как же и не так: по три дня было уже гулянье, да пиროванье, а сегодня выкатят народу бочки с брагой и медом. Князь Великий Василий Васильевич хочет, чтобы все веселились на его свадьбе и молились за здоровье его с матушкою и с невестою! – А что: есть, чай, у тебя рыбка хорошая? Ты ведь гуртом сбудешь?

«Нельзя иначе. Начни вразбой, так и концов не сведешь.

У меня еще назади много идет. Опоздал за дорогой», В это время возы тронулись.

– Зайди же ко мне, дедушка Матвей, мне еще есть тебе дело заказать в Ярославль: Суханко Демкин не платит мне долгишко, вот уж другой год...

«О, да измотался он, сердечный! Не душа лжет, а сума».

Оставим на время дедушку Матвея, московские площади и улицы и перейдем в жилища людей, более дедушки Матвея значительных.

Глава VII

*Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды может принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Спокойною в опасный час;
Но – сон вовеки не смыкает
Ее глубоко впадших глаз!⁸⁰*

Карамзин

Прежде всего, нам необходимо коснуться *родословной* некоторых князей, коих имена упоминали уже мы в нашем рассказе; далее увидим мы их еще более. Что тот за знакомый, которого ни отечества, ни величанья не знаешь! Так, по крайней мере, говорит русское присловье. Мы должны узнать род и отчество князей, которых встретили и встретим в нашем рассказе о старом, *былом деле*. Не станем вполне развертывать пыльных, *огромных* родословных столбцов: довольно, что тщеславие людское слишком часто развертывало их на беду свою и чужую в течение целых столетий; довольно, что страсти людские застилали ими глубокие, кровавые потоки, и что бедные люди составили из них даже особую науку! Кто сам не занимался родословиями, тому скажем мы, что это знание самое грустное и скучное: это наука мертвых

⁸⁰ Эпиграф – Цитируемые строки приписаны Н. М. Карамзину ошибочно.

имен, которые, без жизни *исторической*, похожи на поминки родителей по синодикам, на голые, обнаженные тела, кости человеческие. А бывали люди, иссыхавшие над родословными списками? Но – над чем не сохнет человек! Корпеть над родословными из одной любви к ним конечно странно; не страннее ли однако ж из них, из этих мертвых остовов, добывать себе честь и славу и гордиться этой честью и славою?

Великий князь московский, Димитрий Иоаннович, прозванный *Донским* после победы над Мамаем на берегах Дона, оставил по кончине своей шесть сынов: *Василия, Юрия, Андрея, Петра, Иоанна и Константина*. Старшего благословил он Великим княжеством, другим дал уделы. В присутствии святого игумена и чудотворца Сергия написана была им, в 1389 году, «*грамота душевная*⁸¹, *целым умом своим*», в которой, наделяя детей своих областями, разделил он им и города и села, родовые и своего *примысла* и *прикупа*, тщательно определяя «*волости, с тамгою и с мытами, и с бортью, и со всеми пошлинами, и с отъездными волостями, станами городскими и сельскими, с конюшими, сокольниччами и ловчими путями*».

Древняя грамота сия еще цела; через четыре с половиною века пергаментная хартия грамоты Димитриевой не истлела, и с серебряной печати ее еще не слетела позолота.

Старейший путь отдан был от него князю Василию. «А по грехам, – говорил Димитрий, – отымет Бог сына моего

⁸¹ *Грамота душевная* – духовная грамота, завещание.

Василия, а *кто будет под тем сын мой, тому сыну моему Васильев удел*». Затем благословлял родитель Василия иконой Парамшина дела, цепью золотою княгини Василисы, золотым поясом великим с камнями, без ремней, другим поясом золотым, с ремнями, Макарова дела, бармами и золотою шапкою. Сыну Юрию отдавал он пояс золотой, новый, с камнями и с жемчугом, без ремней, другой пояс, Шишкина дела, *вотола сажена*. Князь Андрей получил от него снасть золотую, пояс золотой, старый новгородский. Князь Петр – пояс золотой, с камнями, пегий, пояс золотой, с калитою, тузлуками и наплечками, а Иоанн – пояс золотой, таур и два ковша золотые, каждый в две гривенки. Константин только что родился, когда Димитрий был уже на смертном одре. «А даст мне Бог сына, – написал о нем отец, – то княгиня моя поделит его, взяв по части у большой его братии. А по грехам, которого сына моего Бог отымет, княгиня моя поделит уделом его сынов моих; которому что она даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не выйдут. Слушайте матери, дети мои! Что кому она даст, то тому и есть».

Так хотел Димитрий предупредить всю вражду и братнюю ненависть, умоляя сынов своих к миру и подтверждая им многократно «слушать матери во всем; старшему брату держать своего брата князя Юрия и свою младшую братию в братстве, без обиды», а младшим братьям «читать старшего в место его и своего отца». Клятва родительская падала на того, кто «нарушит Грамоту духовную». – «Судит ему Бог, –

говорил Димитрий, – не будет на нем милости Божией, ни моего благословения, ни в сей век, ни в будущий!»

Слезящими очами взглянув на детей своих перед кончиною, положив dokonчательный ряд и дело, сказав: «Да будет с вами Бог мира!..» – скончался Димитрий. Тридцать шесть лет княжил после него Василий Димитриевич и мирно слушались его братья. Когда в 1425 году пришел час и его кончины, митрополит Фотий подписал на духовной грамоте Василия, во свидетельство, имя свое. Но не начало мира, как в Димитриевой грамоте, но начало страшного раздора заключалось в сей грамоте, свидетельствованной первосвятителем русским.

Искони веков, коренной закон князей русских состоял в *старшинстве семейном*. После смерти Великого князя, всегда наследовал ему *брат*, и Великое княжество могло переходить к *сыну* его тогда только, когда ни одного *брата* не было уже на белом свете.

Таков был неизменный закон. Кто его установил? Где начался он? Никто не знал, все ему верили – верили, но уже триста двенадцатое лето совершалось в год кончины Василия с тех пор, как Владимир Мономах в *первый* раз нарушил сей закон⁸², и никто с того времени не исполнял его, если

⁸² *Владимир Мономах в первый раз нарушил сей закон...* – Не точно. Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) не нарушал существовавшего закона о престолонаследии. В 1113 г., после смерти великого князя Киевского Святополка, киевляне сами пригласили его на Великое княжение, он отказывался, понимая, что все права на это княжество находятся у Святославичей как старших в

только сила законного наследника не заставляла следовать уставу отцов и дедов. Таковы люди. Как нарочно создают они себе мечту неисполнимую и мучают себя, чтобы достигнуть ее! Право наследства по старшинству в роде почти никогда не было правым, но оно увлажало землю Русскую в течение четырех веков реками крови – и почиталось святым и коренным.

Димитрий сам нарушил его. После Димитрия следовал Великокняжеский престол *не сыну Василию*, а двоюродному брату Димитрия, *Владимиру*, сыну Андрея Иоанновича, дяди Димитриева. Но во все двадцатилетнее княжение Донского, Владимир Андреевич, князь Серпухова, Малоярославца, Радонежа, Перемышля и Углича, был добрым другом и верным подданным знаменитого своего брата. Вместе бились они на Куликовом поле, Владимир решил сию битву отважным нападением в тыл врагов и с тех пор прослыл он *Храбрым*. Но, если он всегда изумлял храбростью, то еще более изумил смирением, *уступив племяннику своему старейшинство и Великокняжеский престол*. Первый, неслышанный дотоле пример, приведенный в исполнение умом и хитростью Донского! Василий Дмитриевич смело сел после того на Великое княжество, и еще двадцать один год, до самой кончины своей, служил ему Владимир Андреевич верою и правдою, как младший, подвластный князь, поручив

роде; но киевляне настаивали, а Святославичи не возражали и не протестовали, и он согласился занять Киевский престол.

по смерти своей детей своих в его *милость и печалование*.

Мог ли надеяться сын Донского, что так же мирно перейдет к сыну его и останется у сына его Великое княжество, если и он нарушит коренной закон, как нарушил его Димитрий? Братья Василия: *Юрий, Андрей, Петр, Константин* были еще живы и не отказывались, по крайней мере, ничего не говорили о Великом княжестве. Дети Юрия, *Косой, Шемяка и Красный*, были князья возрастные и могучие. За два года до кончины написал Василий грамоту духовную, в которой единственного своего сына, Василия Васильевича, «*благословил своею вотчиною, Великим княжением, чем благословил его отец*». Грамоту положили в хранилище княжеское, а через год написана была другая духовная грамота, в которой, с грустной думою о будущей участи десятилетнего сына своего, Василий Димитриевич велел написать: «*А даст Бог сыну моему Великое княжение, и я сына своего благословляю, князя Василия*».

Все, что мы рассказали теперь, рассказывал, хотя не нашими словами, боярин-старик молодому человеку, в Москве, утром февраля 8 дня 1433 года, когда вся Москва была в движении, слыша, что в этот день будет великокняжеская свадьба и великое пиршество в княжеском дворце для князей и бояр, а на площади Кремлевской потеха для народа.

Дом, в котором беседовали боярин и молодой человек, находился в *трети* Москвы, принадлежавшей князю Юрию Димитриевичу, детям его и братьям, дядям Великого кня-

зя московского Василия Васильевича. Может быть, не всем известно, что хотя обладание Москвою было принадлежностью того князя, который считался *старшим* из всех и назывался *Московским* и *Великим*, но Москва не вся однако ж ему принадлежала. *Треть* ее была во владении потомков князя Владимира Андреевича; другою *третью* владели сыновья Димитрия Донского; только одна третья *треть* принадлежала Великому князю, сыну Василия Димитриевича. Каждый был властителем в своей трети и самовластно пользовался судом, расправою, тамгою, восмничьим, гостиным и весчим, пудовым и серебряным литьем, владел путями и жеребьями, бортью, пошлинами, конюшими, сокольничьими и ловчими ездами, и численными людьми, бортниками, садовниками, псарями, бобровниками, барашами и делюями. В делах, между жителями одной трети Москвы с другою третью, был *общий* суд, а при несоглашении выбирались особые *третьи*, из третьей трети.

Разумеется, что в треть Великого князя входили Кремль, ряды подле Кремля и лучшая, обширнейшая часть Москвы, но свободное переселение из одной трети в другую жителям не запрещалось. Князья имели дворы, дворцы и терема в чужих третях. У каждого почти князя был еще двор в Кремле. Но князья обладали однако ж лучшими дворцами в своих собственных третях. Дворы князя Юрия Димитриевича и детей его: Василия Косого, Димитрия Шемяки и Димитрия Красного находились в Сушевской слободе. В доме Косого

сидели и беседовали старик и юноша, о которых мы упомянули.

Этот двор составляло обширное место, огороженное дубовым тыном с воротами на улицу. Против ворот, во дворе, находилось большое деревянное строение, в два этажа, нижний составляли темные кладовые с железными дверьми, на которых были тяжелые затворы и висели большие замки. Высокое крыльцо, украшенное длинным навесом, с фигурками и дубовыми, резными столбиками, вело в теплые сени верхнего этажа, из коих были двери: направо – в *светлицу*, налево – в *заднюю* половину. Ту и другую половину составляли – спереди два огромных, во всю половину строения, покоя, а сзади замыкали их длинные сени во все строение. Большая комната светлицы была приемного залю, столового в большие праздники; за ней следовали оружейная, образная и проч. В задней половине большая комната была местом, где всегда сидели запросто и обедали запросто; другие комнаты были здесь назначены для домашнего обихода; тут всегда теснились слуги, бояре, ближние люди. Особый переход вел к жилищу княгини, или терему, всегда отдельному, обширному и неприступному для гостей и людей посторонних. Женщины, чем были знатнее, тем более невидимы. Обширные переходы вели еще ко множеству других строений: церкви, конюшням, псарной, голубятне, соколиной. Вообще двор разделялся еще на множество двориков, кроме большого двора перед воротами, чистого, вымощен-

ного досками, уставленного столбами с кольцами, к которым привязывали лошадей приезжавшие к князю, и в этих кольцах был большой почет и место: простолюдин был бы избит палками от стражи княжеской, если бы осмелился привязать лошадь к боярскому кольцу, и боярину сказали бы *грубое слово*, если бы лошадь его очутилась при княжеском кольце. Кто хочет иметь понятие о двориках княжеского двора, тот должен заглянуть в ограды старинных московских монастырей, где увидит он множество неправильно построенных и беспорядочно расставленных домиков и при многих домиках отдельные дворики, огороды, сады. Во дворе иного князя жило иногда по несколько сот его дворни, считая бояр, дворян, слуг, псарей, конюхов, сокольников, медоваров, пивоваров, поваров, бортников, слуг, нищих, церковников и проч. и проч. Множество особых сараев, погребов, подвалов, кухонь, амбаров, кладовых, наконец, обширный сад – такова была беспорядочная громада, составлявшая почти каждый княжеский двор. Отличительными чертами их были многолюдство, вечный шум, вечный приезд, толкотня, грязь, не пересыхавшая, особливо в захолустьях, даже и в летние жары.

В большой комнате светлицы, на задней лавке, сидели старик и юноша, одетые богато, и тихо разговаривали. Несколько других, так же великолепно одетых людей, в молчании сидело на других лавках или ходило по комнате; множество прислужников Косого беспрестанно приходили, уходили

ли, переходили через комнату с видом чрезвычайной заботливости, как обыкновенно бывает у русских слуг.

– Что же далее было написано в «Духовной» покойного князя? – спросил юноша старика.

«Далее, – отвечал старик, – определял он, так же, как батюшка его, князь Димитрий Иоаннович, земли и волости, московские, коломенские, костромские, бежецкие, переяславские; потом вычислял сыну движимый *нажиток* и *прибыток* свой: „Святой крест, Страсти большие, патриарха Филофея крест, икона Парамшина дела, цепь крещатая, шапка золотая, бармы, пояс золотой с камнями, пояс на цепях с камнями, пояс на синем ремне, коробка сердоликовая, ковш золотой князя Симеона, судно златскованное, судно каменное великое, Витовтово, кубок хрустальный королевский“.

– И только?

„Только. Я сказал уже тебе, *что* упомянуто было о Великом княжестве“.

– Неужели Василий Димитриевич ничего не говорил об этом братьям своим?

„Мало ли что говорил; но ведь сказано и улетело! Особливо много было толкованья с Юрием и Константином, да толку-то много не вышло. На Духовной грамоте первой подписались князя *Андрей Димитриевич, Петр Димитриевич, Константин Димитриевич*, да два князя Володимировичи“.

– Стало они соглашались на Великокняжение Василия Ва-

сильевича?

„Конечно; да они же, кроме князя Константина, подписались и на второй грамоте. После этого – как хочешь посуды!“

– Неужели ты думаешь, боярин, – сказал юноша, – что Великое княжество неверно Василию Васильевичу? Ведь вот он уже восьмое лето княжит?

Старик наклонился к уху молодого своего собеседника и спросил его шепотом: „Ты зачем сюда прислан от твоего князя?“

– Поздравить князя Василя Юрьевича с благополучным приездом и спросить: здоров ли и приедет ли на Княжеское веселье родитель его, князь Юрий Димитриевич?

„И я затем же прислан от моего князя, поклонимся-ка ему пониже. Это спины не попортит, а худо не сделает“, – при- молвил старик, усмехаясь.

Юноша задумался. „Да, – сказал он, – теперь везде я слышу, что поговаривают как-то все о грамотах, да о грамотах, и кто эти вести разносит, Бог ведает! В самом деле: *главно-го-то* и не было! Ты достоверно знаешь, боярин, что князь Юрий Димитриевич под грамотами брата своего не подписался?“

– Нет! А после того, в великий мор московский⁸³, Господь прибрал князя Петра, и князь Андрей в прошлое лето Богу душу отдал. Ох! товарищ! боюсь я, боюсь, чтобы начавши

⁸³ ...*великий мор московский*... – Эпидемия чумы 1426—1431 гг. Князь Петр Димитриевич умер в 1428 г.

ныне веселье за здравие, не свести за упокой! Может быть ты не совершенно знаешь, как успели удержать донныне Великое княжество за Василием Васильевичем. Много было тут ломки! И покойный святитель⁸⁴ вмешивался, и до драки доходило. Хорошо, что князь Юрий был стар, дети его молоды, а боярин Иоанн Димитриевич умен и хитёр. Только ему можно было со всеми управиться. С тех же пор, как боярина Иоанна Димитриевича не стало, мне кажется, что у Кремлевских стен подставки вывалились. Того и смотри, как рухнутся...

Тут зашумели полозья многих саней подле крыльца. Это взволновало всех бывших в комнате; бросились к окошкам и увидели, что из трех саней, окруженных многими вершниками, выходили три человека.

– Что это за князь? – спросил юноша у старика.

„Это *лихие* князья, как называют их в Москве, дети покойного князя Андрея Димитриевича, о котором я тебе сейчас говорил: князь Иван Можайский, да князь Михайло Верецкий. А третий... – старик усмехнулся, – князь без княжества, Туголукий...“

– Шут княгини Софьи Витовтовны, Иван, беспоместный князь Суздальский?

„Да! – Боже великий! Вот потомок, родной внук мудрого Константина Димитриевича Суздальского! А я еще помню, как Суздаль бывало не уступал Москве и руку об руку спорил с нею о Великом княжестве... Константин Мудрый и

⁸⁴ ...покойный святитель – митрополит Фотий (см. комм. к с. 319).

Иван Туголукий! Боже мой, Господи!“

Громкий смех издалека возвещал приход гостей. Все бывшие в комнате поспешно стали в ряд, по обе стороны дверей.

– Нет! Не спорь, князь Иван Борисович, – говорил Иоанн Можайский, входя в комнату, – не спорь! Суздальцы издавна отличались дородностью тела, и тебе нельзя пожаловаться, что Господь не отличил тебя родовым преимуществом. Твое брюхо – нечего сказать, преблагословенное!

„Да, что вы в самом деле затеяли, некошная молодежь! – вскричал князь Иван, с забавною досадою. – Долго ли изурочить? Особливо твой глаз, князь Иван Андреевич, куда на это негодящий: черен, как уголь, и горит, как будто кощечий!“

– Полно, полно, князь Иван Борисович! Смею ли я тебя урочить? Ведь долго ли до беды! Как ты ухватишься за свой *тугой лук*...

Князь Иван с досадою замахнулся на Можайского; видно было, что князь Иван не терпел этого слова и что его обыкновенно дразнили *тугим луком*. „Он еще не сделан, и дерево на этот лук не выросло“, – сказал смеясь князь Верейский. Князь Иван бросился на него с кулаком. Оба брата захохотали. В это время, из внутренней комнаты, вышел Косой и, обращаясь назад, будто говорит кому-нибудь из своих, громко сказал: „Велите мне хорошенько приготовить сайдак, колчан, пищаль и лук натянуть *потуже*...“ Князь Иван кинулся на Косого, закричав: „Я тебе самого в тугой лук согну!“

Косой и двое гостей его расхохотались. В этой потехе никто не участвовал кроме князей; все другие присутствовавшие стояли молча, тихо, опустив глаза, неподвижны, как статуи.

– Нет у тебя стыда, князь Василий Юрьевич! – начал тогда князь Иван, которого мы будем называть *Туголуким*, ибо так звали его все современники, и даже это название сохранилось на его гробе. – Приехал я к тебе, поздравить тебя с приездом, а ты меня, гостя, так принимаешь!

„Ты бы молодца прежде напоил, накормил, в бане выпарил, да спать положил, да тогда и начал бы у него спрашивать: зачем де ты ко мне, князь Иван Борисович, приехать изволил? Он бы и сказал: приехал я к тебе, князь Василий Юрьевич, с приездом тебя поздравить...“, – проговорил смеясь князь Можайский.

– И солгал бы! – подхватил князь Верейский. – Он мне давеча сказал, что хотел ехать к князю Василию Юрьевичу совсем не для поздравления, а просить заступиться за его обиду.

„Тебя обижают, князь Иван Борисович, – сказал Косой. – Да кто же это смеет?“

– Великая княгиня! – отвечал Верейский.

„Да, да, точно обижает! – вскричал с досадою Туголукий. – Рассуди сам: назначают меня ездить во всю ночь, во круг княжеской опочивальни, с мечом!“

– И без ужина, и всю ночь, и на коне, – сказал Можайский. – Не обида ли? Князь Иван Борисович уже лет шесть,

как на коне вовсе не ездит. Видишь: он худощав, так боится, что никакой конь не сдержит его и расплюснется под ним, словно лепешка!

Новый смех.

„Прошу дорогих гостей садиться, – сказал Косой. – А я только привечу бояр и присланных ко мне“.

Он приблизился к людям, стоявшим подле дверей. Старик, разговаривавший с юношей, выступил первый, поклонился в пояс и сказал Косому:

„Александр Феодорович⁸⁵, князь Ярославский, прислал меня, своего боярина, к тебе, князю Василию Юрьевичу, поздравить тебя с благополучным приездом и узнать о твоём княжеском здравии и как обретается родитель твой, князь Юрий Димитриевич“.

– Благодарю, боярин, князя Александра Феодоровича Ярославского, – сказал Косой, – за его привет и донеси ему, что милостию Бога мы обретаемся здоровы, а как поехали мы от родителя своего, то он, милостию Бога, был здоров и благополучен.

Боярин поклонился, поцеловал руку Косого, поклонился снова и вышел, не говоря ни слова.

Тут выступил юноша и так же, как перед ним старик, спрашивал о здоровье и кланялся от Иоанна Олеговича, князя Рязанского. Однообразно отвечал Косой и отпустил, одного

⁸⁵ Александр Феодорович, прозванный Брюхатый (ум. 1483) – князь Ярославский.

за другим, присланных к нему с вопросами и поздравлениями от Бориса Александровича Тверского, от дяди Константина Димитриевича, князя Углицкого, от Василия Ярославича, князя Боровского, от Иоанна Юрьевича, князя Зубцовского и многих других князей. Все сии князья находились тогда в Москве для празднования великокняжеской свадьбы. Тут выступили московские управители Косого с хлебом, солью и серебряными деньгами на серебряном блюде, донося, что все по милости Господней у них благополучно; наконец, кланялись ему московские наместники братьев его, Шемяки и Красного, наместник отца его Юрия и люди, присланные с просвирами от разных духовных сановников.

Каждый уходил, обменявшись приветствием. Князья Верейский, Можайский и Туголукий сидели молча. Когда князья остались одни и Косой обратился с приветствием к ним, Туголукий схлопнул руками и преважно воскликнул: „Эдакая почесть, Господи ты, Боже мой! Истинно отказался бы от хлеба-соли на три дня, только бы пожить в таком почете! Да и какой же ты мастер, князь Василий Юрьевич, представлять знатного князя! Недаром говорят, что тебе бы надобно быть Великим князем, а не молоденькому нашему Василию Васильевичу. Ты молодец собой, да ты же и старший в княжеском роде, после отца твоего, князя Юрия, да после дяди Константина, да после Василия Васильевича!“

Слова эти были выговорены так скоро, что Косой не успел предупредить их, сказаны так неожиданно, что он не успел

обдумать – шуткою или сердцем отвечать на них; наконец, попали в цель столь удачно, что он совсем смешался и с изумлением смотрел на глупого князя и его товарищей.

Иоанн Можайский перебил безрассудные речи Туголукого. „Полно, князь Иван Борисович, – сказал он. – Если госпожа твоя, Великая княгиня Софья Витовтовна, услышит, что ты говоришь – она тебя башмаками по щекам отхлопает, чтобы ты лишнего не врал“.

„Да, – вскричал Туголукий, – дождется твоя княгиня и хуже моих речей! Смотри, чтобы ее самое не схлопнули с места. Нет уж, князь, нечего говорить, а она совсем зазналась! Ладу никакого не приладишь. Когда это слыхано, чтобы в княжеском совете никто из-за бабы словечка молвить не смел?..“.

– Князь Иван Борисович точно имеет право жаловаться на княгиню, мою любезную тетушку, – сказал Косой важно. – В самом деле: заставлять ездить верхом, без ужина и целую ночь, человека – нет, еще не человека, а князя весом в 15 пуд – это бессовестно! Но несправедливость не оправдывает однако ж тебя в вольных речах, князь, и воля твоя, а я должен передать княгине Софье все, что ты говорил; прошу меня не путать!

Лицо Туголукого, всегда красное, побагровело: это значило, что он покраснел. „Ах, Господи, да что я сказал такое? – вскричал он. – Я повторил, что многие говорят, а слышанного зачем не говорить? Разве Господь дал нам только уши,

а языка не дал? Разве мы этот дар Божий будем пренебрегать? Ведь это грех: пренебрегать даром Божиим? – Однако ж, прощайте, князь! – примолвил он, принимаясь за шапку, с робким видом, – мне пора. Ведь меня, чай, уж ждут у господина моего, Великого князя Василия, и у матушки его, Великой княгини Софьи Витовтовны – прощайте, счастливо вам оставаться“. – Он ступил несколько шагов, Косой и князь, смеясь, кланялись ему и провожали. Вдруг Туголукий оборотился и тихо молвил Косому: „Ведь ты никому не скажешь, князь, что я здесь говорил? Так, ей-Богу, сорвалась с языка дурь...“

– Никому, никому, – отвечал Косой, презрительно улыбаясь, – ведь я знаю и все это ведают, что ты верный раб Великого князя и близкая родня ему по жене твоего брата, дядюшка-простодум...

„То-то же!“ – сказал Туголукий, смеясь рабским смехом и как будто гордясь своим унижением. Он ушел немедленно.

– Каков? – сказал Косой князьям; – а ведь я не ручаюсь, что он не бездельничает и что он не был прислан нарочно?

– Князь Роман! – вскричал потом Косой, хлопая огромными своими руками. Явился молодой человек из свиты Косого. – Ты будешь здесь; примешь, кто придет, и скажешь, что я пошел в мыльню. Пойдемте, князь.

Косой увел князя Верейского и князя Можайского, через переходы, в дальнюю комнату.

– Здесь мы свободны, князья, – сказал он. – Обнимите меня прежде, а потом поговорим душевно.

„Мы думали, – сказал ему Иоанн, – что найдем у тебя брата, князя Димитрия Юрьевича, Где же он? Ведь он приехал?“

– Да, мы вместе ехали, в одних санях, но душами были розно. – Он остановился в кремлевском дворе своем.

„Что же родитель твой? Где он?“

– Был в Галиче, а теперь должен быть ближе. Но – он устарел⁸⁶, князья, устарел! На брата Димитрия я не полагаюсь ни сколько. Он не так глуп, как Туголукий, но думает совершенно по-туголуковски. Меньшой брат, со своею красивою рожицею, также никуда не годится: он способен только увеселять старика моего игрою на гусях. Презабавное дело! Сидят двое, один играет и поет, другой молчит, слушает, гладит сынка по русой его головке и плачет от радости!..

„Законный наследник, старший в роде!“ – вскричал Михаил.

– Когда у него под носом рвут город за городом! – примолвил Иоанн.

„Устарел, друзья! говорю вам, устарел! Авось его золотой язык боярина Иоанна Димитриевича порасшевелит. Что за голова, князья! Что за ум! Не выдавшись с ним, напрасно возбуждая отца и ссорясь с братьями, я ничего не хотел начинать и не начал бы, пока сам не поговорил с вами, князья, не посмотрел сам, что делается в Москве“.

⁸⁶ Устарел – т. е. состарился.

– Здесь все идет – Бог знает как! – сказал Михаил Верейский. – Вот сам увидишь. Володимировичи теперь ног под собою не слышат, особливо князь Боровский, с тех пор, как сестра его сделалась невестою Василия. Управление пошло совсем через руки баб. Туголукий не обманул тебя, сказав, что в советах голоса всех покрывает голос старой княгини, тетки. Вот старуха, князь Василий Юрьевич! Настоящая Витовтовна! И покойный дядя едва ладил с нею, а теперь никто сладить не может. Одной только еще слушается старицы, княгини Евпраксии, которая, как застучит своим монашеским костылем, так все умолкает. Молодежь ездит на охоту с князем, пирует, гуляет, и – мы с ними же!

Косой ходил, не говоря ни слова.

– Слышал ли ты, – продолжал Михаил, – что сделалось с дядею Константином Димитриевичем?

„Нездоров?“

– Нет! в монахи идет.

„Как! в монахи?“

– Да, после свадьбы, мы едва ли не будем праздновать его княжеское постриженье. „Лучше быть первым в монастыре, чем последним в Москве“, – недавно говорил он мне. Теперь почти всегда живет он на Симонове, украшает эту бедную обитель и, показывая ее гостям и посетителям, приговаривает: „Есть чернцы и на Симонове“. „Я тебя понимаю, дядя, – проворчал Косой. – Я сам пойду в монахи, если... Но, тем лучше: он с плеч долой, отец стар, одна ступенька и... – Он

обратился к князьям. – Сказал ли вам князь Роман, что я встретился с боярином Иоанном, и все, что я говорил с ним? Это моя правая рука“.

– Все знаем. Теперь, не достает только нашего Гудочника.

„Он уже здесь, – отвечал Косой. – Перстень боярина вызвал его, как беса из тьмы крошечной. И настоящий бес! – Где таких людей умеет сыскать боярин Иоанн?“ – Тут Косой отворил боковую дверь и оттуда вышел ночной собеседник дедушки Матвея, старик, бывавший везде и знающий так много.

„Добро пожаловать, Иван Гудочник!“ – сказал Иоанн, пожимая руку старика.

– Здорово, Ванюша! – прибавил Михаил. – Что ты принес к нам?

„Все, что нужно, князь Михаил Андреевич! Челом бью тебе и тебе, князь Иоанн Андреевич, от князя Тверского и из Новгорода от князей Василия Георгиевича и Феодора Георгиевича“.

– Давно ли ты виделся с боярином. Иоанном Дмитриевичем? – спросил Можайский.

„В последний раз я видел его в Твери, откуда хотел он ехать в Зубцов. Но я слышал, что он был после того скрытно в Москве и теперь должен быть у князя Юрия Дмитриевича. Время не терпит“.

– Ну, что ты думаешь? – сказал Иоанн. – *Когда* начинать? *Как* начинать?

„Это зависит еще от многого, что должно предваритель-
но решить. Новгород, Тверь готовы. Суздаль – вы знае-
те, вспыхнет, как зелье пороховое, когда вы только скаже-
те. Москва начинена всякими горючими снарядами и стоит
только поднести огонь. Ярославль, Рязань – об них нечего и
говорить: при удаче они ваши, при неудаче – они против вас,
а пока дело уладится – они станут молчать“.

– Мои и братнины дружины в три дня сядут на коней, –
вскричал Иоанн.

„Пока боярин Иоанн Дмитриевич не известит меня о ре-
шении князя Юрия Дмитриевича, – сказал Гудочник, – я
не начну ничего“.

– Я тебе его решение! – отвечал Косой.

Гудочник задумался.

„Я, я решу все за отца моего, все! – повторил с жаром
Косой. – Говори, что тебе надобно?“

– Стало быть, ты еще и условий не знаешь, князь Васи-
лий Юрьевич, хотя перстень боярина Иоанна Дмитриевича
свидетельствует за твое согласие? И притом – прости меня
– ты, все еще не родитель твой! Что голова, то разум. Гово-
рят, будто мысли родителя твоего совсем переменились, по-
сле недавней поездки в Орду.

Косой ходил, в страшном смущении, по комнате и вдруг
оборотился к Гудочнику. „Я более тебе доверяю, старик,
нежели ты мне!“

– Князь Василий Юрьевич! мне можно доверять.

„Я в первый раз тебя вижу, не знаю кто ты и допускаю тебя быть участником всех тайн, за одно слово боярина Иоанна Димитрневича!“

– Меня не знаешь ты, князь, – это правда, но то знаешь ты, что я играю в большую игру – в свою голову, которая у меня одна, и кроме которой нет у меня ничего в здешнем мире! На первой осине, как псу нечистому, заплатят мне за мою ошибку. А ты – князь, первый после отца и дяди своего в Русской земле: тебя не коснется никакое зло, хотя бы открылось, что ты хочешь зажечь Москву с четырех сторон. Но, кроме жизни, у меня есть еще другое добро, дороже самой моей жизни: клятва, которую уже сорок лет стараюсь я исполнить. И теперь, когда приближается время сложить, может быть, с души моей клятву смертную – я не могу отказаться ни на что, пока нога моя будет стоять твердо...

„Какая клятва, старик?“ – спросил Косой гордо.

– Это моя тайна, которой до сих не открывал я никогда, даже на исповеди, перед святым причастием тела Христова!

„Безумно было бы сомневаться в согласии отца моего, – сказал Косой, по некотором молчании. – Условия, если только они не бесчестны, будут исполнены. Скажи мне их“.

– Скрывать не буду, – отвечал Гудочник. – *Первое* – Суздальское княжество восстанавливается по-прежнему, как было оно при мудром князе Константине: Нижний Новгород, Суздаль, Городец на Волге и Мещера. Князья Василий Георгиевич и Феодор Георгиевич владеют им, на всей воле.

Косой махнул головою. Гудочник продолжал:

– *Второе.* Новгород Великий получает все древние права свои по льготным грамотам Ярослава Великого.⁸⁷

„Далее!“ – сказал Косой, скрывая нетерпение.

– *Третье,* – продолжал Гудочник. – Тверь отделяется особым Великим княжеством.

„Как! – вскричал Косой, – вы хотите вырвать честь и славу из венца Мономахова и потом бросить его, обесславленный, на седую голову моего родителя? Это постыдно, это унижительно! Отец мой не согласится; я не хочу! Вы разрываете на части нашу порфиру великокняжескую...“

– Которая еще не ваша, князь Василий Юрьевич, а на плечах князя Василия Васильевича, – отвечал хладнокровно Гудочник.

„Вы отторгаете наши области, разрушаете нашу власть“, – продолжал Косой.

– Их еще надобно добыть, князь! – с горькою улыбкою промолвил Гудочник.

„Братья! – воскликнул Косой, обращаясь к князьям Мишаилу и Иоанну и отворотясь от Гудочника, – если вы заодно

⁸⁷ ...по льготным грамотам Ярослава Великого... – Имеется в виду «Русская Правда» («Устав») – древнерусский свод законов, составленный в 1015 г. при Ярославе Владимировиче Мудром (ок. 978-1054), великом князе Киевском (1015—1017, 1019—1054), которому новгородцы помогли разбить в 1015 г. войска Святополка Окаянного и занять Киев. Первые восемнадцать статей этого свода были составлены с учетом пожеланий новгородцев и законодательно закрепили правила и нормы жизни, отвечавшие их интересам.

со мною – оставим крамольников и пойдем добывать своего мечом! Слабому ли мальчику со старою матерью устоять против нас?“

– Разве этому не было опыта? – сказал печально Михаил, молчавший во все время, пока говорил Гудочник. – Разве не старался об этом родитель твой, целые восемь лет? И возможно ли это ныне, когда за восемь лет, сгоряча, ничего не успел он сделать!

„Ваш покойный родитель князь Андрей, покойный дядя князь Петр, Новгород, Тверь, все было против отца моего; боярин Иоанн управлял думою московскою; Орда стояла за Москву; Витовт был жив и только ждал случая двинуться к Москве. Что же теперь? Новгород, боярин Иоанн, Тверь, вы – за нас; Витовта нет; моя рука выучилась управлять мечом покрепче прежнего!“

– Тверь, Новгород, боярин Иоанн не будут за нас, если не примут их условий, – отвечал Михаил. – Что же тогда? Дядя Юрий, восьмью годами постаревший, если он согласится еще на дело – трудное, смелое, не по стариковским силам; Звенигород, Галич, Верея и Можайск – нас трое и только! Ты сам говорил о слабодушии братьев твоих – родных братьев...

„Князь Василий Юрьевич должен еще вспомнить, – начал хладнокровно говорить Гудочник, – что может быть родитель его скорее согласится уступить неверное на верное и, взяв пять, шесть городов, откажется от права старейшин-

ства, за себя и за детей своих, представляя кому угодно ссаживать племянника с великокняжеского стола. Тогда князь Константин Димитриевич, конечно, согласится на все, чтобы только поддержать коренное правило отцов и сесть на великокняжеское местечко“.

– Монах! – вскричал Косой.

„Еще не монах, а если бы и монах был, то можно достать дюжину грамот от всех Вселенских патриархов, которыми разрешат его. Келья и престол, клобук и венец княжеский... выбор не труден! Ему же только сорок четвертый год и страх как приглядывалась ему дочка боярина Иоанна Димитриевича, бывшая невеста Великого князя...“

Глухой стон вырвался из груди Косого, зубы его заскрежетали, кулаком утер он крупные капли пота на лбу. Он походил на дикого зверя в клетке, которого дразнят подачкой, поднося ее к клетке и тотчас удаляя, когда зверь с яростию на нее устремляется.

Наконец, Косой принял спокойный вид и сказал Гудочнику: „Хорошо, я буду на все согласен. Говори же, старик, что мне делать?“

– Теперь – ничего, повторяю я. Сидеть у моря и ждать погоды, которая затягивает вдалеке. Паче всего, князь, молю вас наблюдать осторожность. Меня вы увидите здесь опять вечером. Я только что сегодня пришел и не успел еще ни с кем видаться. Пойду теперь шататься, по Москве с моим гудком, кочевать, где день, где ночь. Когда вам нечаянно по-

надоблюсь я – знак известный: подле стены Успенского собора начертите большой крест мылом. Когда без того вы мне будете надобны – я приду к одному из вас. Впрочем, Господь Бог да благословит наше дело!» – Он перекрестился; все князья следовали его примеру.

– Я молил бы тебя, князь Василий Юрьевич, – сказал Гудочник, – если мой худоумный совет может годиться, удерживать всячески порывы гнева и княжеского сердца... Может быть, сегодня придется тебе вынести не одно испытание. Будь муж, а не младенец. Чем ласковее ты будешь, тем более тебе поверят; только и надобно забавюкать всех, покамест. И худо сделал родитель твой, что сам не пожаловал в Москву. Оно и ближе, и вернее бы дело шло, и безопаснее было для всех нас.

Казалось, что слова Гудочника имели волшебную силу над буйностию двух молодых князей и над строптивою гордостью Косого. Они безмолвствовали, будто львенки, в тени та попавшие. Старик поклонился и вышел. Но они еще сидели безмолвно.

– Воля Божия исполняется, или козни дьявола осетили меня? – сказал наконец Косой в мрачной задумчивости, вода пальцами правой руки по складкам своего лба. – Кому уверяю я судьбу мою? Кто ручается мне за этого старика?

«Голова его! – вскричал князь Можайский. – Я не уступлю даром: зажгу собственную треть Москвы и стану рубить ее! Двух смертей не будет, одной не миновать! Поедем к нашему

женишку, князь Василий Юрьевич!»

– Поедем поклоняться *Великому* нашему князю, – сказал Косой, – и испытаем – можем ли мы притворяться не хуже других? – Молча возвратились князья в ту комнату, где ждал их князь Роман.

– Одеваться мне! – сказал Косой. – Бархатный, шитый кожух мой, червчатый пояс, ордынскую саблю, шапку с золотом!

Часть вторая

*Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...*

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...⁸⁸*
А. Пушкин

Глава I

*Поклоны – бой для царедворца,
Обряд пустой – и долг, и честь!*

* * *

Нам кажется, что совсем не худо придумали ныне рассказчики не только изображать одни главные действующие лица

⁸⁸ Первый эпитаф – строки из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

и пересказывать их речи, но и подробно говорить все: где было, как происходило, во что были одеты все действующие лица, что они пили, ели – даже все маленькие подробности требуют ныне описания. Зевнул ли один из действующих, когда другие смеялись, сидели ли двое, когда третий стоял, и проч. и проч. Все это оживляет действие, переносит в то время и в то место, где происходило то, что рассказывается. Часто одна черта, изображающая жилище или одежду действующих лиц, дополняет более, нежели длинный разговор. А притом, нет места мечтам читателя, нет места лоску, которым изображение наше покрывает предметы: все раскрыто, все сказано, как что было и как случилось. Так, например, теперь нам хотелось бы перенести читателей наших в Кремль. Это легко; но иной из них *вообразит* себе Кремль XV века таким же *белокаменным* и *золотоглавым*, каков он ныне – с высокими бойницами на стенах, с фигурными крашеными башнями, с часами на Спасских воротах; внутри с обширными площадями, огромными строениями, каменными, узорчатыми теремами, мрачными соборами и далеко в воздух улетевшею главою Ивана Великого; снаружи с зеленоцветными садами, чистым, светлым и всеми радужными цветами пестреющий. Кремль тогда был совсем не таков.

Ветхими, каменными стенами окружалось тогда пространство, Кремлем занимаемое; стены сии стояли с самого построения их Димитрием Донским и, выдержав несколько сильных пожаров, так уже были они дряхлы, что через

пятьдесят лет, после времени рассказа, их вовсе разобрали и построили все вновь. Невысокие бойницы их сведены были низенькими кровлями сверху и покрыты старыми досками; видели тленность, думали строить их, но только починивали, пока они совсем развалились. Так обыкновенно бывает у людей: *сломать старое и строить вновь* они не любят, пока само не упадет, а только починивают, лечат и подлаживают. Кремлевских стен не только построить вновь было некогда от внутренних и внешних забот, но еще важное препятствие оказывалось, когда думали о перестройке. Снаружи окруженные тинистым рвом они обставлены были домами, дворами, даже церквами, рынками, амбарами, лавками. Изнутри к ним также прилеплено было множество строений, дворов, церквей. Надобно было все это очистить, разломать. Иоанн III грозно махнул рукою⁸⁹ – люди посетовали на него и исполнили его приказ; но при юном Василии Васильевиче и старой матери его никто не смел и подумать о таком деле. Если бы надобно было только скинуть для этого платьемойные плоты и мостики, через Неглинную устроенные, с чего брали пошлины и мыты бояре и княжеская казна, то и тогда от крика и жалоб не знали бы куда деться. Пятьдесят лет, после того прошедших, перевернули все дело.

На месте нынешних теремов и дворцов стояли и тогда

⁸⁹ *Иван III грозно махнул рукою...* – Закончив строительство новой кремлевской стены (1485—1493), великий князь Московский (с 1462) Иван III Васильевич (1440—1505) приказал снести все строения, включая церкви, которые располагались за стеной на расстоянии ближе, чем 109 сажень (ок. 230 м).

дворцы, терема, хоромы, избы брусяные, гридни и вышки княжеские, строения обширные, в разные времена воздвигнутые, неправильные, и все деревянные. Между ними, дворами житными, запасными и проч., Успенским собором, старинным и ветхим, церковью Иоанна Лествичника (где Годунов поставил потом Ивана Великого) и Архангельским собором была площадь, *Красною* называвшаяся, и единственная, если судить по нашему понятию о площадях. Но тогда называли площадями пространства весьма небольшие, и потому в Кремле считалось еще с десятков площадей, между которыми вились кривые, грязные улицы. Места между улицами и площадями до самых стен кремлевских были загромождены строениями, которые, как уже мы сказали, льнули даже к самым стенам и как будто просились на волю. В самом деле – в Кремле было довольно тесно. Множество церквей (даже два монастыря: Чудовский и новый девичий, основанный вдовою Димитрия Донского, Вознесенский), домов княжеских, боярских, казарм для воинов, магазинов и запасных мест, на случай осады, домов, дворов и подворьев духовных, монастырских, гостиных, купеческих, больниц, княжеских кухонь, псарен, конюшень – заключалось в стенах Кремля; все это горело несколько раз и выстроивалось вновь еще теснее. В большой отдельной хоромине, соединенной с великокняжеским дворцом переходами, с набранными из маленьких стекол окончинами, собралось множество народа: это были князья и бояре, – а хоромина, где собрались они, назы-

валась княжескою *Писцовою палатою*. Лавки были устроены кругом стен всей палаты. Большой стол, покрытый красным сукном, стоял посредине. Вокруг него поставлено было несколько скамеек, обшитых сверху подушками суконными, и на этих скамьях беспорядочно сидело множество народа. Внимание всех устремлено было на сухощавое, вытянутое, украшенное редкою, длинноватою бородкою человека, который держал в руке множество исписанных столбцов бумаги. Перед этим человеком стояла большая медная чернильница с узеньким горлышком, сделанная в виде кувшина, и огромная песочница. Белая бумага, разрезанная на столбцы, несколько старых рукописей, старинных грамот и книг лежали в беспорядке на столе. В главном месте, за столом, сидел старик, первый боярин Великого князя, князь Юрья Патрикеевич, женатый на тетке его, дочери покойного Великого князя, Марье Васильевне, и следственно, зять Софьи Витовтовны. Другие старики сидели от него по сторонам. Комната, как мы сказали, была наполнена народом. Одни теснились к столу, желая слушать чтение, другие шумели и разговаривали между собою, третьи сидели на лавках вокруг стен, говорили, дремали, спорили.

– От этого содома у меня голову разломило, – сказал наконец Юрья Патрикеевич. – Тише, князья, тише, бояре. Эдак мы во веки веков не кончим. Дьяк! закричи, чтобы молчали! Читай, господин Беда!

«Тише, князья и бояре, тише!» – закричал басом толстый

дьяк.

– Нет, Юрья Патрикеевич, я не допущу далее читать, пока ты не скажешь мне: согласен ли со мною! – проговорил один из сидевших за столом.

«Да дайте ж кончить, Господи Владыко, – отвечал Юрья Патрикеевич. – Господин Беда! изволь сначала!»

Однообразным, приказным голосом, человек, с длинно-ватую, редкою бородкою, начал читать следующее:

«*Чин брачному сочетанию Великого князя Василия Васильевича...* И далее, – примолвил Беда, – впишется, как следует».

Юрья Патрикеевич дал знак согласия. Беда вдохнул в себя сколько можно более воздуха, сухие щеки его раздулись, он откашлялся и продолжал:

«Лета 6941⁹⁰, февраля в... день, волею Божиею и позволением матери своея, Великия княгини Софии Витовтовны, и с благословением отца своего, *имярек*, митрополита Московского и всея России...»

– Как же: *имярек!* – сказал один из бояр. – Надобно поставить именное слово!

«Какое же, когда митрополита у нас нет?» – отвечал Юрья Патрикеевич.

– Все же надобно!

«Это дурное предвещание для свадьбы Великого князя! Без имени и овца баран»

⁹⁰ Лета 6941 – 1433 г.

– Опять!

«Воля твоя, Юрья Патрикеевич».

– Да зачем ты писал все это? – сказал Юрья Беде.

«По уставу прежнему: всегда так писано бывало», – отвечал Беда.

Смущенный шум раздался вокруг стола: «Разве Иона не будет святителем Московским, – говорили многие. – Что ж это! Долго ли стаду быть без пастыря...»

– Тише, бояре! – закричал Юрья, – далее... Истинно мы не кончим. Между тем, готовит ли всякий свое? Право, у меня уж во рту стало сухо; легко ли, с самого раннего утра бьемся. – Ну, скорее, господин Беда!

«И с благословения тетки своей, великия инокини Евпраксии, княгини княж Владимировы Андреевича, и по приговору князей и бояр волил Государь, Великий князь Василий Васильевич, вступить в честное супружество, А поял себе, он, Государь и Великий князь, в супругу княжну Марию Ярославовну, дочь Ярославлю Володимировича, а свадебному чину указал быти тако:

В тысяцкого место быти боярину его, князя, Юрья Патрикеевичу.

В дружки старшего место...»

Тут один из присутствовавших, глядя в бумагу из-за Беды, воскликнул: «Как же? Неужели мои слова не уважены? Я не уступлю, нет, нет!»

– Что ж это? – вскричал другой, – говорили, говорили, а

все пошло на ветер? Как хочешь, Юрья Патрикеевич!

«Нет, нет!» – закричали многие. Смешанные голоса раздались снова: «Моей жене быть ниже его!» – «Послушай!» – «Я знать ничего не хочу! Я пойду сам к княгине». – «Мне сам Великий князь говорил». – «Ты высоко нос поднимаешь». – «Береги свой!»...

Юрья Патрикеевич с досадою ударил по столу кулаком. «Замолчишь ли ты, народ православный! Нечего делать: брошу все и пойду к княгине – пускай сама рассудит».

– Пусть рассудит, – кричали многие. – Что мы: в опале что ли? в гневе княжеском? Как бы не так!

«Мой отец был почище чьего-нибудь другого...»

– Мы, слава Богу, никогда за другими не стаивали...

«Юрья Патрикеевич! – сказал пришедший в эту минуту боярин, – Великая княгиня велела скорее оканчивать дело. Уж начали молебен».

– А мы еще едва с началом управились! – отвечал Юрья. – Истинно, головы не слышу... Нечего делать, князья и бояре! Имена будут читаны при самой княгине – всякий жди ее до-кончатального княжеского указа – говорите с нею. Господин Беда! читай просто *чин свадьбы*, а имена говорим *имреками*...

«Хорошо, хорошо!» – раздалось со всех сторон.

– В поддатни дружке...

«Далее!»

– В большом столе боярь...

«Далее!»

Беда перевернул несколько столбцов и читал: «А будет день свадьбы, и Государь Великий князь, изрядився в кожух золотый аксамитный, на соболях, да в шубу русскую соболью, крыта бархатом золотым, заметав полы назад, на плеча, а пояс его, Государев, Великого князя, кованый, золотой, – пойдет в брусную избу, столовую, а тысяцкому и поезду, и боярам, и дружкам, и головщикам, и фонарщикам, и каравайникам велит идти за ним...»

– И свечникам, и санникам, и конюшему, – заговорили многие. – Именовать, так именовать всех...

«Все, все будут. Господин Беда! поставь тут крыж».

Беда вытащил из чернильницы огромное лебединое перо, обшелкал его и поставил на столбце знак.

«Велит идти за ним, – продолжал Беда свое чтение. – А место в средней палате изрядить по обычаю, да *оболочь* камками, да бархатом, да зголовья положить, да на зголовья по сороку соболей, да третий сорок держать, чем Великого князя да княгиню опаживать. Да стол поставити, да скатерть постлати, да калачи и соль положити...»

– Нет! – сказал один боярин, – об этом говорено: стлать две скатерти, а третью накрест, да перепечу поставить, а по лавкам полавочники постлать, князь Симеоновы, да соль, да сыр держать на руках, и его, Государя, встретить.

«Когда же это бывало так строено? – спросил Юрья Патрикеевич. – Ведь уж боярыни приговорили: быть, как

прежде?»

– Сегодня переменено.

«Переменено! Уж эти мне перемены: переменяют, да отменяют, что и толку не добьешься...»

– А тысяцкого жене, и свахам, и боярыням быть в княжны тереме всем готовым, и свечам, караваям, и осыпалу, и идти...

«Постой, постой. Как, бишь, об осыпале-то велела Великая княгиня?» – сказал заботливо Юрья Патрикеевич.

Беда взял особый листок: «А осыпалу быти миса золотная, а на мису первое положить хмелю, на три угла, в трех местах, да тридевять соболей в три места, да тридевять платков золотных, камчатных и атласных, мерных, в один цвет, да тридевять пенязей, да величества пенязь с одной стороны белый, а с другой позолочен...»

– Свахи решили наконец о караваях, Юрья Патрикеевич! – сказал боярин, поспешно входя в комнату и подходя к нему. Видно было, что этот посланник торопился прибежать и весь запыхался.

«Слава Богу! с плеч гора долой! – воскликнул Юрья. – Ну, и так каравай...»

– Кстати, кстати о караваях речь! Здравствуй князь Юрья Патрикеевич! – сказал Шемяка, вошедший в эту минуту, – здравствуй!

«А князь Димитрий Юрьевич! – отвечал Юрья, вставая. – Давно ли в Москве?»

– Сегодня, ранним утром. Да ты в хлопотах?

«Измучился! Кому веселье, а мне так, право, уж не до того. Хлопот полон рот!»

– Да ведь уж, чай, все готово – пора, пора! Тетушка княгиня уже столом распоряжается.

«Да оно все и распоряжено; ну, да ведь надобно записать, устроить дело на бумаге – всякий свое поет! То бросишься к старухам, то к ведущим людям. Владыко нас упаси, когда что-нибудь да не так».

– Продолжайте, я не мешаю: хочу еще сам поучиться.

«А пора, князь, пора! Тебе не пиво варить, не вино курить».

– Невесты-то нет.

«И! мало ли.. Ну, так о караваих, как же положили?» – Между тем Шемяка сел, облокотясь небрежно на стол. Присланный боярин начал говорить:

«Боярыни приговорили: караваи принести в Красную палату, да тут их на носилы поставить и следки положить, да со свечи стоять тут же, да протопоп читает молитву. А обшить их Великого князя бархатом венецейским, а Великия княгини атласом гладким, а носила – бархатом червчатым; да положить на три места пенязей пополам, по трижды девять, золоченых, да белых. Да как пойдет Государь Великий князь из брусяной, а Великая княгиня из терема, и их из Красной палаты несут вокруг князя и княгини трижды».

Юрья Патрикеевич слушал с величайшим вниманием.

«Дьяк Василий! запиши-ка все это со слов его, – сказал он. – Ты, боярин, ручаешься за все это, а мы станем дочитывать».

Беда продолжал: «Идти и сесть ему на свое княжеское место в Крестовой, а тысяцкий посылает ему молвить старшего боярина: „Государь, князь Великий! велел тебе сказать тысяцкий Юрья Патрикеевич Бога на помощь, а время тебе, Государю, идти к своему делу“.»

– А! Князь Иван Корибутович! – сказал Шемяка, увидев Князя Ивана Бабу, начальника литовских копейщиков, который вошел в это время. Он встал, взял его за руку и удалился с ним к окну палаты.

Чтение без умолку продолжалось. Звонкий голос Беды возвышался из всех голосов и слышен был среди шума волнений и разговоров. Тут беспрестанно люди приходили, уходили, сталкивались.

Если ко всякому богатому человеку можно было применить пословицу, что когда такой человек затеет жениться, то ему *не пиво варить, не вино курить*, тем более шла такая пословица к князю и еще князю *Великому*. Подвалы его всегда бывали набиты годовалым медом, пивом, квасами двадцати сортов и винами греческими и фряжскими⁹¹. Но свадьба Великого князя представляла между тем бесконечные заботы и хлопоты.

Прежде всего надобно было наблюсти все обряды, каких требовала свадьба. Сии обряды умножались, смотря по тому,

⁹¹ ...винами... фряжскими – т. е. заморскими.

чем знатнее бывали жених и невеста. Бедный человек мог за- просто посадить свою невесту в сани, привезти ее в церковь, угостить потом гостей чем Бог послал, и жить да поживать, благословясь. Богатый должен был, напротив, вытерпеть бес- конечный ряд сватанья, смотренья, девичника, красного сто- ла, почетных столов и проч. и проч. Призывали старух, воро- жей, знахарей, колдунов, бывалых людей. Все подвергалось замечаниям, приметам, отношениям, начиная с того, чем по- купал жених косу невесты, до того, кто первый ступал на пла- ток, разостланный перед налоем: жених или невеста? При- мета была верная, что прежде ступивший будет властвовать над любезною своею половиною. Из этого можно заключить, что несмотря на страх и послушание, в каком обыкновенно бывали наши прабабушки у прадедушек, несмотря на то, что они ходили у них, как говорится, *по струнке*, случалось и у них мужьям находиться под башмачком жен: вероятно, ино- гда и невесте удавалось ступать на платок прежде жениха.

Прибавьте ко всему этому обыкновенное поверье русских – хлопотать и заботиться и то, что женщины играли важную роль при свадьбах. Первое доньше осталось в нашей русской природе. Хозяин-русак тогда только уверен у нас в деятель- ности своих приказчиков, когда они бегают высунувши язы- ки, задыхаются от усталости и в сумятице никто уже не зна- ет, за что приняться, чем начинать и чем кончить. *Система* – не русское слово и не в русской оно природе. Мы все на- чинаем вдруг, поднимаем втрое против другого, зато скоро

и бросаем, может быть и потому, что махом хотим все сделать и истощаем силы вдруг, когда при медленном и стройном ходе работы сил у нас осталось бы еще много в запасе. А вмешательство *женщин*, и женщин *русских*, и когда еще они *повелевают* в каком-нибудь деле? Толковать по-пустому, тысячу раз об одном и том же, посылать десятерых за одним делом, беспрестанно забывать ту или другую надобность и все это дополнять бесконечным спором, шумом, сомнениями, вздорливостью – так ведется всякое дело, когда женщины в него вмешались. От простолюдина до князя свадьба и доньше суть область женской власти. Не от того ли в народе пословица: *свадьба без покору не бывает*.

Наконец, к суевериям и повериям, сопровождавшим свадьбу, дополните еще то: какую свадьбу затевали при подобных делах страсти людские! Им открывалось пространное поприще для борьбы с привидениями чести и бесчестия, славы и бесславия, похвалы и осуждения. Княжеский вельможа, готовый уступить во всем другом, как поле чести отстаивал себе должность развернуть под ногами князя ковер или подостлать попону под лошадь, на которой князь поедет, доказывая, что отец и дед его всегда были *в почете* и всегда расстилали попону, когда ездил князь; соперники же его только водили лошадь под уздцы, а ни деды, ни прадеды их не имели великой почести подавать своему повелителю колпак, когда он выходил из княжеской мыльни, или расстилать попону, когда ему надобно было ехать!..

Как бурное море волновалось все это в Кремлевском дворце в день свадьбы Великого князя Василия Васильевича. Числа не было вокруг дворца саням и верховым лошадям, вершникам, провожавшим князей и бояр, прислужникам, бегавшим повсюду, гонцам, скакавшим во все стороны Москвы. Народ с утра уже дожидался в Кремле и вокруг Кремля, бросаясь толпами туда, куда бросался один из зрителей, заметив что-нибудь любопытное. Одни смотрели, как из княжеских погребов везли меды, пиво, квасы, вина, наливки; другие, как по скату горы к Москве-реке расставляли питье и яствы для народа: быков и баранов, громады калачей и пирогов, чаны, в которые, когда будет велено, пустят потоками брагу; третьи, как везли княжеские подарки из кладовых под Чудовским монастырем; четвертые... просто не спускали глаз с окон Кремлевского дворца, хотя ничего не видали в них, кроме мелькающих в замерзлых окошках людей.

Все во дворце – и в теремах, и в вышках, и в палатах – было в движении, начиная с подвала, где откупоривали вина, *До золотого стола*, где обтирали серебряные чары, погары, стопы, братины и носили их на столы, уже изготовленные и *ломившиеся*, как говорится, от тяжести золота и серебра. В соборе Успенском уже обжигали праздничные, новые свечи; всадники, назначенные охранять все входы, выходы, ворота кремлевские и ездить по городу во всю ночь, собирались в назначенных местах Кремля; Юрья Патрикеевич уже дочи-

тывал свои росписи. Внимательно было переслушано, перебрано и решено, как идти жениху в Среднюю палату к месту; как вести туда невесту его; как кому сесть, как резать перелечу и сыры, чесать головы жениху и невесте, обмакивая гребень в медяную сыту, как наложить кичку на невесту, зажигать свечи богоявленскими свечами, осыпать хмелем и обмахивать соболями. Сильным спорам подвержено было: в каких санях и с кем поедет невеста, кто понесет каравай, свечи и фонари над свечами и то – должен ли жених разбить и растоптать чашку, из которой во время венчания будут пить вино он и невеста, или только бросить ее, а не топтать ногами. Еще больше споров было о *железном* невестином и *золотом* жениховом кольце, об убранстве сенника образами, камками и соболями; о том, на скольких снопах соломы стлать брачную постель и с рожью или пшеницею должны быть кадки, в которые надобно поставить венчальные свечи, перед сенником. Большое смятение происходило по случаю спора о *вывороченных* шерстью вверх шубах, в которых сваха должна встретить жениха и невесту на пороге сенника. Одни утверждали, что кунья шуба должна быть внизу, а соболя сверху, другие, что соболя внизу, а кунья сверху.

Наконец все было решено. Утирая рукавом пот, Юрья Патрикеевич торопился из Писцовой палаты отдать окончательные приказы и спешить домой одеваться.

В толпе молодых бояр и князей в одной из палат Кремлевского дворца стоял в то время Шемяка и весело разговари-

вал. Один из собеседников рассказывал другим о цапле, с золотым кольцом и с прехитрою надписью на кольце, которой никто разобрать не мог. Эту цаплю убил сокол его на охоте. Другой говорил о щуке с серебряными серьгами, недавно пойманной в заповедном княжеском озере, такой огромной, что у Великого князя не нашлось посуды, в которой бы можно было сварить ее целиком, а такой старой, что на лбу у нее вырос мох, а во рту не было ни одного зуба.

– Итак, лжет же пословица, – сказал Шемяка, – что щука умрет, а зубы остаются у нее целы. Теперь находят, стало быть, щук, переживших свои зубы?

«Дал бы Бог, чтобы так и у людей было!» – сказал один старик боярин, значительно посмотрев на Шемяку.

– По крайней мере, я этого желаю от всего сердца моего, – сказал Шемяка, значительно обращаясь к боярину.

В это время заметил он верного своего сподвижника, князя Александра Чарторийского, Казалось, что Чарторийский хотел что-то сказать ему.

Неприметно удалился Шемяка от своих собеседников. «Что ты? – спросил он с любопытством у Чарторийского. – Мне кажется, ты страх как встревожен!»

– Князь Димитрий Юрьевич! поди к своему брату. Я не знаю, что с ним сделалось: он мрачен и задумчив. Давно бы пора ему ехать переодеваться, но он ходит там в палате, что за Благовещением.

Шемяка задумался. «Неужели брат мой?.. Но он был так

весел и хорош, когда расстался со мною недавно! Кто мог его оскорбить и опечалить?»

– Говорят, будто он что-то горячо переговаривал с княгиней Софьею Витовтовною.

«Вздоришь! Княгиня так радушна, так ласкова была ко мне...» Шемяка поспешил туда, где был брат его.

От Кремлевского дворца сделаны были тогда деревянные переходы к соборной церкви Благовещенской. Они шли из палаты, названной *Часовою*. Это название дано было палате по часам, какими изумил в 1404 году Великого князя Василия Димитриевича хитрец монах, пришелец из Сербии. Угощенный в княжеском дворце, наделенный богатою милостынею для монастыря, монах этот хотел оставить князю поминки своей благодарности. Он потребовал себе особую комнату, устроил чудную печку и какие-то машины, ковал, топил серебро и золото и наконец сделал князю дивную, неслыханную дотоле диковинку: *часы с боем*. Когда наступал час, являлась статуйка, ударяла столько раз в серебряный колокольчик, сколько было часов, и потом сама собою скрывалась. Князь и бояре его едва верили глазам своим. На память потомству записали тогда в летописи: «В лето 6912, индикта 12, устроился Великому князю часник, или что наречется: *часомерье*; на всякий час ударяет молотом в колокол, измеряя и рассчитывая часы, ночные и дневные. Не человек ударял, но человековидно, самозвонно и самодвижно, странно-лепно некако сотворено есть человеческою хитростью, пре-

измечтано и преухищрено. Мастер же и художник сему был некоторый черлед, от Святыя горы пришедший, родом серб, именем Лазарь; цена же была часам более полутораста рублей».

Князь Василий Димитриевич всегда любовался после того *часомерьем* Лазаря, велел его поставить в палате, что на Москву-реку, и часто сидел тут, подле крыльца Благовещенского собора, откуда видно все Замоскворечье. Он смотрел на Москву, радовался на свой стольный град и слушал, как звонкое серебро дрожало под молотком статуйки часомерья.

Часомерье было уже испорчено; статуйка не выходила, колокольчик не звонил; но часы стояли на прежнем месте, и палату, по-прежнему, все звали *Часовою*.

Против Лазарева часомерья стоял Косой, сложа руки, и – Бог знает, гнев или печаль омрачали лицо его, но он был мрачен и задумчив.

– Любезный брат! – сказал Шемяка, подходя к нему, – что ж ты не собираешься одеваться? Ведь уж пора.

«Пора?» – воскликнул Косой, опомнясь. Он взглянул на Шемяку. Насильственная улыбка оживила лицо его. «Что, пора?» – повторил он.

– Ехать домой и одеваться на свадьбу.

«Да, на свадьбу! – отвечал Косой. – Я одет и готов».

– Не думаю. Ты печален и задумчив, брат! С таким лицом не годится быть на веселом пиру.

«Ведь не я жениюсь».

– И не я, но, право, я так весел, как давно не бывал. Мы погуляем, славно попируем.

«На здоровье!»

– Полно, милый брат мой; посмотри, как все ласковы, приветливы, весели, как все рады нам.

«Только не мне».

– Братец! тебе все это чудится. Неужели злые сны, или... то, что наяву видели мы прошедшею ночью – тебя смущает? Грешно, грешно, брат, за радушие родственное отвечать не ласкою.

«Разве тебя кто ласкал, что ты так убаюкался».

– О если бы ты видел, как сам Великий князь бросился ко мне на шею, как тетка обрадовалась мне...

«А меня Великий твой князь только измучил похвалами своей невесты. Она ему нравится; да мне-то что до того? А тетушка – только что не прибранила меня! Бабий язык, словно нож добрый – так и режет».

– Я слышал, будто ты горячо что-то говорил с тетушкою; но, ради Бога, брат, прошу тебя...

«Отвяжись!» – вскричал Косой и скорыми шагами удалился из палаты.

– Он вечно таков – и что будет из всего этого? Неужели он мыслит что-нибудь вновь затеять? Он и собирался сюда совсем не так, как ездят на веселье родственное. Богом боюсь, что я не буду твоим помощником, брат честолюбивый! и лучше стану за Василия Васильевича, нежели за тебя! По-

ра перестать литься крови христианской, лучше тупить мечи о груди поганых, нежели о груди братьев своих. Но – он занят мечтой: советы мои, советы брата Димитрия, кажется, усмирили гнев родителя. А эта старая змея, этот боярин, эти крамольники, которые ссорят нас еще... не уеду без того, пока не кончу всех старых смут и поводов к вражде. Чистая душа говорит открыто... Что мне!

Последние слова проговорил Шемяка почти вслух. «Хвалю тебя, князь Димитрий Юрьевич, – сказал боярин Симеон Рязановский, подходя тогда к Шемяке. – Такой доброй думы всегда надеялся я от твоего благодушия и высокого разума».

– Боярин! – отвечал Шемяка, – я сам всегда уважал твои честные мысли. Скажи: неужели еще сомневается Великая княгиня в искренности нашего примирения и в слове моего родителя?

«Она так недоверчива от природы, и притом старый человек, и женщина. Молодой князь наш добр, но молод, а люди коварные и смутники везде сыщутся. Ради Бога, не смотри только на пустые речи и уговаривай брата. Мы искренно хотим дружбы и мира».

– Дай Бог! Но не знаешь ли, боярин, что такое было у брата с теткою сегодня?

«Я сам был при том. Так – черная кошка пробежала! Надобно было случиться беде: только, что братец твой подъехал к крыльцу, как ворон – Бог весть откуда взялся – порх в сени и в палату, сел на божницу и закаркал. Княгиня страш-

но испугалась, но когда бросились ловить проклятую птицу, она кинулась опять в сени и улетела, а в эту минуту князь Василий Юрьевич вошел в двери. Я, признаться, не трус, а таки, нечего – испугался столь недоброй приметы».

– Да, – сказал Шемяка, – примета не добра. Но неужели на вороньем полете могут основаться любовь наша, или нелюбие?

«Княгиня – женщина – и Витовтовна! – сказал тихонько Ряполовский. – А люди хуже воронья всегда сидят подле князей и княгинь, да того и смотрят, чтобы у добрых людей глаз выключить. Вы запоздались приездом в Москву, брат твой остановился Бог знает где, вооруженная толпа наполняет двор его. Не от грома загорается пожар, а от серной спички. Да и эти проклятые колдуны, с которыми советуется княгиня, эти люди злее колдунов, которые окружают князя и княгиню... Первое слово княгини было: Насилу пожаловал, батюшка, князь Василий Юрьевич! Ждем, не дождемся – что за немилость! А родитель твой, видно, и совсем не жалуется на веселье к племяннику – благодарны на дружбе, да на родстве...»

– О бабы! – вскричал Шемяка, с досадою, – от вас сырбор горит!

«Моего родителя послали вы угощать в Дмитрове, тетушка!» – сказал твой братец, вспыхнув гневом, но скрывая досаду. Тут слово за слово – и княгиня, и князь наговорили таки друг другу добрым порядком. Я и другие бояре спешивали

ли прекратить ссору, позвали поскорее Великого князя. К счастью, княгине было некогда, но она уходя говорила: «Постой, постой – я ему выпою все добрым порядком, вымою ему голову, так, что и в бане никто ему этак не мывал! Вот все что было – тем ссора и кончилась!»

– Боярин! будь искренен, скажи: не бабьи ли все это сплетни? И неужели из этого опять завяжутся у нас крамолы и вражда? Еще ли нам мало? Восемь лет свар и несогласия – о Господи, и Боже мой великий!

«Удерживай своего брата, князь Димитрий Юрьевич: он точно пороховое зелье – так и загорается! Сам Великий князь и все мы уговаривали потом княгиню. Отец протопоп обещал отслужить молебен с водосвятием в палате, куда влетел ворон. Верь, повторяю тебе, что и Великий князь и все мы желаем мира».

– Я то же слышал от отца моего; да подле него есть теперь ангел-хранитель, младший брат Димитрий. Вот душа, боярин! Светла, как солнышко в день Светлого Христова праздника, чиста, как родник живой воды.

«За искренность мою я попрошу тебя быть искренним. Скажи мне только одно, князь Димитрий Юрьевич: правда ли, что крамольник боярин Иоанн теперь находится у твоего родителя?»

Такой неожиданный вопрос смутил Шемяку. «Лучше приму грех на душу, нежели возмущу спокойство истиною. И ложь во спасение! – Не знаю, – отвечал он Ряполовскому, –

разве этот боярин прятался от меня в мышь норку – я не видал его у моего родителя».

Ряполовский быстро и пронизательно посмотрел на Шемяку. «Князь! – сказал он, – отчего же ты смущаешься? Если и ты таишь что-нибудь в душе своей...» Боярин покачал головой.

Шемяка покраснел невольно. Он чувствовал неправоту и внутренне проклинал боярина Иоанна и случайную встречу с ним, вовлекшую в обман и притворство. Но что было ему делать? Рассказывать, оговаривать брата или таить истину? Так одно приближение зла кладет туск на чистую душу, подобно тому, как от приближения дыхания человеческого тускнеет светлое стекло!

– Боярин! – сказал Шемяка, схватив руку Ряполовского, – согласишься ли ты мне, после того, что я тебе скажу: оставьте меня заложником, окружите стражей мой кремлевский двор, и требуйте от отца моего выдачи боярина Иоанна, если он у него. Довольно ли этого? Но будьте только искренни – моему старику, может быть, осталось немного жить – зачем отравляете вы его последние дни огорчениями? Зачем нет от вас дружбы родственной, чистой и прямой? Зачем было тревожить старика, занимая его удельный Дмитров?

– Окаянный боярин, смутник Старков, да Петр, воевода Ростовский, всему были причиною!

– Скажи, – продолжал Шемяка с жаром, – имел ли право отец мой на Великокняжеский престол? Спрашиваю не

боярина московского, не слугу московского князя, но Рязановского, христианина и честного человека?

«Князь! разве не губило уже это Руси?»

– Нет! говори только: *имел* или *не имел* – оставим все расчеты в стороне. Человеческая мудрость ничто пред судьбами Божиими... *Да* или *нет*?

«Да!» – сказал Рязановский, пожимая руку Шемяке.

– Без боярина Иоанна владел бы Василий Васильевич Великим княжеством, или нет!

«Нет!» – отвечал Рязановский твердо.

– Довольно! Оцени же все; будем молиться Богу, да сохранит он нас всех в мире и тишине для благоденствия рода христианского; но не осудим, да не будем сами осуждены.

Шемяка поспешно удалился.

«Неужели и после этого он хитрит?» – сказал сам себе Рязановский, в задумчивости оставаясь на том месте, где говорил с Шемякою.

Глава II

Растворяйся, Божий храм!

Вы летите к небесам,

Верные обеты!

Собирайся, стар и млад,

Сдвинув звонки чаши в лад,

Пойте: многа лета!⁹²

Жуковский

Говорят, что для человека есть три радости в жизни: *рождение, свадьба и смерть*. Прекрасен день рождения, когда улыбка отца и материнская слеза радости встречают невинный, ангельский взор младенца! Прекрасен день, когда юноша ведет к алтарю Божьему милую подругу свою и дает обет на жизнь до гроба, союз неразрывный и за гробом, если (и кто в этом не уверен?) любовь переживает жизнь человека, а не ничтожество удел замогильный! Прекрасен и день кончины, когда сей день есть конец бытия, утомленного счастьем мирским, великая суббота века человеческого, всеобъемлющая мысль успокоения; когда взор старца с радостей мира обращается на блаженство неба, и слезь ближних смывают с души его последние пятна земного бытия.

Но как извратил, исказил все вокруг себя человек! Горесть плачет над его колыбелью и смерть для него не разлука

⁹² Эпиграф – Неточная цитата из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

с ничтожеством для вечности, но часть страшного расчета за прошедшее. Мутный взор еще силится разглядеть то, что некогда обольщало его, рука судорожно хватается предметы, его окружающие, как будто хочет на них удержать свое бедное бытие.

И редко, редко день соединения двух сердец бывает днем чистого беспримесного счастья! Вместо того, чтобы день вечного упокоения праздновать, как праздник мира, человек окружает его печальными предметами, мрачными покрывалами и погребальными свечами. Так и праздник любви и счастья он окружил тяжелыми обрядами, условленным весельем, записными поздравлениями. Чем богаче, чем знатнее, тем более пышности, великолепия и скуки в день свадьбы.

Если мы сказали выше, что у наших стариков еще более нашего было обрядов и условий при свадьбах, зато они проще смотрели на все, что делали. Они веселились так беспечно, глядели на жизнь так просто, что обряды были для них необходимы, как будто надобно было им останавливаться и хоть раз в жизни важно поглядеть на жизнь. Все сливалось для них в религии: она освящала их договоры с жизнью, невесты их плакали от сердечного умиления при печальных песнях подруг, и подруги расставались с невестами, искренно грустя о том: так ли будет счастлива подруга их в новой доле своей? Тогда еще так мало понимали жизнь человеческую...

И никто не думал ничего подобного, когда, за триста девя-

носто восемь лет, толпами народа заперлась площадь Кремлевская и глаза всех устремлены были на Красное крыльцо в ожидании свадебного поезда Великого князя Василия Васильевича. Думает ли *народ*? Никогда: он только смотрит и живет. И в дворцах никто не думал: один смотрел за своими золотыми чашами, другой мечтал о награде, третий рад был тому, что есть случай попить, четвертому было некогда и многие радовались потому, что жених был светел радостию, как красное солнышко.

Женитьба Василия Васильевича была точно решена сердцем его. С тех пор, как однажды увидел он Марью Ярославовну, сердце как будто сказало ему, что вот его *сороковая* суженая – сороковая потому, что по старому поверью у каждого жениха сорок невест и у каждой невесты сорок женихов, и эту суженую, этого ряженого на коне не объедешь. Василий Васильевич был уже почти помолвлен на дочери боярина Иоанна Дмитриевича. Тут показалась она ему уродом. На коленях стоял он перед матерью своею и просил избавить его от постылой Ивановны. Софии Витовтовне казалось, что боярин Иоанн не нужен им более: сын ее был уже Великим князем. Другие бояре уверили, что не только кажется, но точно так, и боярин, мы видели, скитался, как беглец. Василий Васильевич целовал сахарные уста Марьи Ярославовны и забывал, есть ли какой-нибудь боярин Иоанн Дмитриевич на белом свете.

Марья Ярославовна была внучка Владимира Андреевича,

дочь сына его Ярослава и сестра добродушного князя Боровского, Василия Ярославовича. Как лебедь белая, с бровями соболиными, с павлиньею походкою, она цвела, будто маковый цвет: и точно маковый – яркий, но без запаха. Сперва говорили ей, чтобы она не глядела ни на какого мужчину, ибо это грех страшный – и она не глядела ни на князей, ни на бояр, когда выезжала с матерью в церковь, или встречала их у брата и у матери. Потом сказали ей, что она сильно приглянулась Великому князю; потом, что она должна любить Великого князя, потому что он жених ее. Это сказала ей грозная тетка Софья Витовтовна – и Марья Ярославовна испугалась, заплакала. «А вот ежели я еще увижу, что ты плачешь, то смотри, что с тобою сделаю!» – сказала ей мать – и слезы высохли на ее ресницах. «Ты будешь Великая княгиня, ты будешь первая между всеми русскими княгинями», – говорили ей няньки, мамки. Марья Ярославовна этого не понимала. Но когда принесли к ней парчи золотые, развернули перед ней бархаты венецейские, полотна фламандские, камни персидские, разложили соболей сибирских, рассыпали жемчуг бурмитский и каменья самоцветные – ей стало так весело, так весело и Великий князь показался молодцом статным и в самом деле первым из русских князей.

Он не был однако ж красавец. От величественного лица деда, от умного лица отцовского ему достались только черные волосы и какая-то суровость осанки. Высокий ростом не по летам, он был худ, лицо его было бледно, глаза черные,

большие, навькате, но без жизни, без огня. Оставшись отроком под опекою старой, вспыльчивой матери и старых бояр он привык повиноваться, молчать, потуплять глаза в землю и говорить то, что ему подсказывали. Любовь к Марье Ярославовне, может быть, и потому обольщала его, что едва ли не в первый раз он поступил по своей воле и избавился от одного из самых строгих опекунов, боярина Иоанна Димитриевича. Ему понравилось *повелевать*, после такого случая. В первый раз узнал он и веселье свободы, когда мог ездить к невесте своей, целовал ее, сколько хотел и видел, как все кланяются ему: и мать невесты, и братья, и бояре Владимировичей.

День свадьбы показался Василию Васильевичу скучным, может быть потому, что дня три жила уже во дворце невеста, а ему удалось ее видеть только раза два, мимоходом. Обряды, споры, приготовления измучили его; он гонял даже от себя бояр, прибежавших к нему с вечными жалобами.

Накануне свадьбы было посещение терема невестина, с большими обрядами. Наконец сказали Великому князю, что время одеваться к венцу. Платье его горело в золоте и камнях и радость снова загорелась в его душе от блеска золотого платья. Двор великокняжеский представил стройную картину великолепия, и если золото делает счастливым, обитатели его должны были почитать себя счастливыми, потому что везде заблестало золото – на столах, на одеждах, на оружии, на сбруе конской.

– Скоро, скоро! – закричало множество голосов. – Вот уж

выходят бояре, вот уж ведут лошадей, вот становятся порядком воины, вот поехали невестины сани!

Народ задвигался. «Прочь!» – кричала стража, но тщетно, все взволновалось и сперлось стеною от самого Успенского собора до Красного крыльца.

«Гони народ с дороги; прочь, болваны!» – кричали ясельничие, бояре и воины, когда народ не давал дороги аргамаку, на котором надобно было ехать Великому князю, и саням, в которых должна была ехать невеста. «Бей их!» – закричали наконец бояре. Удары кулаками и плетью посыпались на народ: открылась дорога. Стройного, лихого аргамака, белого, как снег, подвели к Красному крыльцу. За ним вели княжеских лошадей верховых. Каждая из лошадей блистала золотом и серебром, чапраки были унизаны камнями самоцветными и вышиты золотыми и серебряными разводами. Азиатские седла их были также богаты. Красавцы конюшие вели каждую лошадь за длинные поводья, концы которых тащились по земле. После княжеских лошадей двигались великолепные сани, запряженные шестью белыми лошадьми, с позолоченными дугами. Дышло было тогда запрещено под проклятием, как басурманское изобретение. Впрочем, великолепие саней состояло в том, что снаружи были они раскрашены и испещрены резными фигурами позолоченными, а внутри две лавки саней обиты были парчею; эти две лавки находились одна против другой; бока саней обиты были красным сукном с бахромою золото-шелковою.

Зрелище было прекрасно, когда множество бояр и боярынь, князей и княжен показались на Красном крыльце в собольих, куньих шубах и шапках, в золотых и жемчужных кичках, в парчевых и бархатных платьях. Необозримая, пестрая толпа народа замыкала площадь; множество людей влезло на колокольню Ивана Воинственника, цеплялось за стены зданий и соборов; блестящие оружием всадники видны были в разных местах. Двери Успенского собора были отворены и блеск множества свечей отражался в сумраке храма. На всем пространстве прохода, оставленного между толпою от Красного крыльца до собора, разостлано было красное сукно и несколько чиновников держали еще ковры, готовясь подбросить их под ноги великокняжеского коня. Яркие лучи клонившегося к западу солнца горели на главах церквей, отражались на оружии воинов и блестящем уборе поезда. Глубокая тишина воцарилась повсюду.

Прежде всех вышел из дворца и начал сходить по ступеням духовник великокняжеский с крестом в руках. Певчие шли за ним и еще несколько духовных особ сопровождало его. Потом показались драгоценные образа, которыми благословляли жениха и невесту. Затем шли родные Великого князя и князя русские.

Тут показались на крыльце две огромные свечи, над которыми держали раззолоченные фонари ближние бояре. Потом, на двух бархатных носилках, вынесли бояре два каравая или хлеба, перед которыми шли два боярина с серебряными

солонками.

Явился сам Великий князь. Он шел один, только по сторонам были тысяцкий и первый дружка. Глухой шум раздался, как мгновенный порыв вихря, в толпе народа. Князь, молодой, худощавый и бледный собою, в великолепном наряде своем, среди множества вельмож и князей, большею частию или тучных и видных, или украшенных сединами, не возбуждал удивления, но какую-то жалость. Как будто все боялись чего-то за этого юношу, назначенного править Русью и охранять ее от врагов внешних и внутренних. Невольно припоминал народ угрюмое лицо и высокий рост покойного родителя его, Василия Димитриевича. Старики думали, как величественный дед его, Димитрий Донской, являлся, бывало, на Красном крыльце, одним махом руки двигал полки на врагов, одним взором очей внушал благоговение. «Изморили нашего князя; все взаперти!» – «Ветром снесет его», – «Как народ-то ныне вырождается!..» – вот что говорили в толпе.

Невеста шла в некотором расстоянии от жениха. Но ее нельзя было видеть: на лицо ее опущено было длинное белое покрывало. Две толстые свахи вели ее под руки, множество княгинь и боярынь следовали за нею. Потом являлся бесконечный ряд бояр и чиновников.

Внимание народа заняли между тем князья. Каждому из них подводили его лошадь, ибо каждый ехал на лошади – почесть, только князьям предоставленная, все бояре шли пеш-

ком. «Вот и наш князь!» – шумели ярославцы; «Вот и наш!» – говорили рязанцы. «Это что за толстый брюхан, словно овсяный мешок лезет на лошадь! Пособите ему!» – со смехом шумел народ, когда четверо конюших помогали Туголукому садиться на коня. Тут подвели коня лихого: он бил копытами, становился на дыбы и храпел, двое конюших едва удерживали его. – «Ох! убьет, посторонись!» – зашумел народ. Статный князь ступил в это время на последнюю ступеньку крыльца и усмехнулся. «Отпусти его!» – вскричал этот князь, и едва конюшие отдали поводья, едва конь услышал знакомый голос, как стал, будто вкопанный, и радостно заржал. Князь едва дотронулся до стремени, как был уже на коне, и бодрою поступью заплясал под ним конь. «Кто это? кто это?» – зашумел народ. «Это Шемяка, это князь Димитрий!» – говорили другие. – «Удалый, удалый, исполать молодцу!» И в этих восклицаниях не заметили, как сел на своего аргамака Великий князь. «Что это радуется народ? Кого он хвалит?» – спросил Василий у тысяцкого. – «Тебя, Государь!» – отвечал Юрья Патрикеевич.

Подвезли сани. На заднюю лавку села невеста, на переднюю, лицом к ней, четыре свахи едва уселись рядом. Насмешливый народ тотчас заметил затруднение свях. «Экие дородницы!» – говорил один. «Этак отъелись на великокняжеских-то хлебах!» – говорил другой. «Держитесь крепче, голубушки!» – сказал третий.

Таков народ. Недаром один из тех людей, взора которых

трепещут миллионы, не смел являться народу, пока не выучился играть роль свою у какого-то скомороха. Так говорят.

Тихо двигался поезд. И когда князья сошли уже с лошадей у собора, а стоявшие по обеим сторонам бояре крепко берегли, чтобы кто-нибудь не пробежал между аргамаком жениха и санями невестиными, конца поезда все еще не видно было на Красном крыльце.

Долго совершался обряд венчания. Народ ждал нетерпеливо. В церковь, кроме свадебного поезда, никого не пускали. Лошади князей стояли чинно вокруг церкви, сани княжны были в стороне, ясельничий, с обнаженным мечом, сидел в санях и берег место ее от всякого злого человека.

Кто предвидит будущее! Думали, что так же стройно и величественно обратится поезд назад, во дворец. Но вдруг солнышко скрылось за тучами: и откуда взялись эти тучи! Сильным ветром погнало их, как будто волны со дна моря, вихрь полетел по облакам и клочья снега завертелись повсюду, падая большими шапками. Когда надобно было выходить из церкви, на дворе сделалось темно, все было в беспорядке, конюшие едва держали продрогших лошадей, шапки срывало и несло, народ теснился, не давал дороги. Князья, бояре, воины кричали и не знали, что делать. Надобно было приняться за палки и кулаки.

«Так этим-то потчевает нас Великий князь», – шумел народ. Отчаянные головы были уже готовы. «Ребята! – закричало множество голосов, – всех наших золоторогих быков и

баранов снесет в Москву-реку! Примемся-ка! чего ждать?» Общий вопль был ответом. Народ бросился к пиршеству, приготовленному для него, и в несколько минут площадь опустела. Только между Флоровскими воротами и Архангельским собором видна была буйная толпа: там дрались, пили, шумели, кричали, и среди сего волнения поезд свадебный возвратился во дворец, кое-как соблюдая предписанный порядок. Свадебные свечи были потушены сильным ветром, князя и бояре в беспорядке проходили в палату, соседнюю с тою, где должно было встретить новобрачных. Тут, отряхая свои платья, недоверчивыми взорами спрашивали они друг у друга, что предвещает им неожиданное небесное знамение? Говорить никто не смел, но грустное уныние залегло в душах.

Духовник Великого князя снова предшествовал ему, с крестом в руках. Перед Среднею палатою дождался он новобрачных и, захватив руки их эпитрахилью, сложил оные. Сваха закинула покрывало княгини, щеки молодой горели как будто огнем, она не смела поднять глаз своих; князь был радостен и весел. Свечи зажгли снова, богоявленскою свечою.

В дверях Средней палаты ожидали молодых княгиня Софья Витовтовна и посаженный отец, князь Константин Дмитриевич; она держала образ, князь держал хлеб и соль. Прежде всего внесли караваи и свечи и остановились с ними по обе стороны. Потом вступил духовник и прошел к обра-

зам, осеняя все собрание крестом. Тут вступили новобрачные, держа за руку друг друга. Великий князь и молодая жена его смиренно преклонились перед образом. Хор певчих запел: «Достойно есть яко во истину, блажити тя, Богородице!» Три земные поклона положили князь и княгиня перед образом и приложились к нему. Тогда Софья Витовтовна взяла хлеб и соль, передав образ Константину Димитриевичу. Снова три раза в землю поклонились молодые.

Тогда образ, караваи и свечи понесли в сенник; все поезжане вступили в залу; духовник начал молебен и, когда надобно было прикладываться ко кресту, он, держа в руках крест, начал говорить Великому князю:

«Великий Государь, князь Московский Василий Васильевич! Волею всемогущего, всесильного, в Троице славного Бога нашего, по благословению матери твоя, Великия княгини Софьи Витовтовны, и по согласию всех князей и бояр, изволил ты, Государь, по преданиям апостольским и правилам святых отец, сочетаться законным браком с благословенною отраслью доброго княжеского дома, Великою княгинею Марьею Ярославовною. И ты, Государь, Великий князь Василий Васильевич, свою супругу, а нашу Великою Государыню, княгиню, приемли и держи, как премудрый Господь Бог в законе святые, истинные христианские церкви законоположил и устроил, и апостолы и святые отцы предали. И да благословит вас Господь в браке честном, и умножит и прославит род ваш, во славу вашу и на счастье вам подвластных,

во имя Отца, и Сына, и Святого духа!» – «Аминь!» – загремел хор певчих. При громком пении: «Многая лета!» – мать Великого князя обняла его и заплакала. «Дитя ты мое милое, князь Великий! – говорила она, – сподобил меня Господь видеть тебя женатого!» Потом обняла она невестку свою. Князь и княгиня сели на свои места. Каждый подходил к ним. Князь целовали князя, княгини княгиню, бояре, боярыни целовали им руки. Каждый отходил потом и садился на свое место.

Свечи загорелись между тем во всех палатах, и яркий свет отразился во всех окнах княжеского дворца. Буря, снег, вихрь свирепствовали извне, во дворце было все тихо, великолепно, светло. Сколь многим пришло в голову, что это истинное положение Великого князя. Кремль наполняли еще толпы народа, хотя стража великокняжеская разогнала самых буйных. Остатки народного угощения потащили по улицам московским. Пьяницы пели и кричали многолетие Великому князю.

Множество раззолоченных кубков, налитых фряжским вином, внесли на нескольких подносах чашники! каждый поднос держали двое. Тысяцкий взял первый кубок, каждый из бояр и князей брал после него. Когда обнесли всех, тысяцкий встал со своего места и проговорил громко:

«Великий князь, Василий Васильевич, и княгиня Великая, Марья Ярославовна! Бог дал вам сочетаться честным браком, и все мы с тем браком поздравляем и желаем вам

многая лета здравствовать!»

Он обратился к присутствовавшим: «Князья и бояре! Здравствуйте Великого князя Василия Васильевича и Великую княгиню Марью Ярославовну!»

– Буди здоров, Великий князь Василий Васильевич! Буди здрава, Великая княгиня Марья Ярославовна! – загремело множество голосов во всей палате. Кубки заблестали, когда Великий князь с молодою своею супругою встали и поклонились собранию.

Вторично принесены были кубки и выпито за здоровье матери Великого князя. Третьи кубки осушили за здоровье всех русских князей, желая тем, которые женаты, дожидаться радости и видеть сыновей и внучат своих женатыми, а молодым, неженатым, скорее жениться.

Вино веселит сердце человека. Присутствовавшие начали это чувствовать. В это время вошел боярин и доложил, что «сама бабушка Великия княгини княгиня инокиня Евпраксия изволила прибыть из своего отшельнического убежища и хочет поздравить новобрачных».

Неожиданная честь посещения взволновала всех. Бояре отправлены были на крыльцо встречать княгиню, Великий князь с молодою, мать его, князья, княгини стали в палате подле самых сеней. Двери растворились.

Взошла согбенная старица Евпраксия, супруга знаменитого Владимира Андреевича, дочь великого Ольгерда⁹³ Ли-

⁹³ *Ольгерд* (Альгидарс) Гедиминович (ум. 1377), великий князь Литовский с

товского, тетка Софии Витовтовны, бабушка Марии Ярославовны. Некогда славная красотой между литовскими девами, уже несколько лет жила она, постригшись, в Рождественском монастыре. Ей было уже около восьмидесяти лет, но костыля ее боялись все монастырские служки и монахини, а громкого голоса боялась сама Софья Витовтовна.

Величественно было зрелище *черного* платья старицы среди блестящего двора великокняжеского, когда, опершись на костяной костыль свой, она видела целующих руку ее – Великого князя, супругу его и мать. Казалось, что прешедшие поколения, в лице ее, пришли благословить юное, кипящее жизнью поколение, что давно минувшая слава, давно исчезнувшая любовь вызваны были к жизни.

Сам князь под одну руку, княгиня Марья Ярославовна под другую довели старицу к почетному месту Средней палаты. Она села и подала костыль свой Юрию Патрикеевичу, сказав ему: «Подержи, Юрий!»

«Подойди сюда, Василий, подойди сюда, Марья! – продолжала она, обратясь к Великому князю и супруге его. – Я уже худо вижу: много перевидела я на своем веку; пора и ослепнуть».

С почтительным видом подошли молодой с молодой. Знаменуя крест на князе и княгине, Евпраксия говорила медленно: «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа! Благословляю вас благословением великим! Не привел Бог сыну моему, от-

цу твоему, Марья! видеть тебя под венцом. Божия воля!»

Марья Ярославовна заплакала. «Вот вам от меня благословение! – продолжала старица, – этот крест принесен был прадеду твоему, Ольгерду Гедиминовичу, от римского папы. В нем часть Животворящего Креста Господня. Поцелуйтесь!»

Приказание было робко исполнено. «Живите счастливо, дети! – начала опять старица. – Василий! люби жену, но воли ей не давай, а ты, Марья, слушайся его, пуще отца и матери!»

Она взяла костыль из рук Юрья Патрикеевича и задумалась. Все молчали. Казалось, в памяти ее пролетали минувшие события; она забыла, что вокруг нее были люди. Опустив голову, говорила она:

«Много лет, да, много лет! Много горя, мало радостей! Дева литовская! Помнишь ли родные леса? Помнишь ли могущего отца Ольгерда, сильного дядю Кейстутия⁹⁴, грозного брата Витовта! Шестьдесят два года протекло, как праздновали твою свадьбу – также праздновали ее весело! И дай Бог внуку прожить столько же, сколько ты прожила со своим князем-соколом. Тридцать девять лет жила я с ним, и уже двадцать один год, как его косточки покоятся в сырой земле. И где дети мои? где пять орлов моих?.. Велите подвезти возок мой! Довольно! Я благословила их, теперь в мою оби-

⁹⁴ *Кейстутий* – Кейстут (Кейстутис) Гедиминович (ум. 1382), князь Тракайский и Жемайтйский, великий князь Литовский с 1345 г. Правил вместе с Ольгердом. Эпиграф – строка из басни И. А. Крылова «Крестьянин в беде».

тель. Прощай, Софья, прости, Василий, прости, Марья, простите князя и бояре! Веселитесь и празднуйте веселье молодых супругов. Всему череда... Празднуйте и помните, что только истина и добро вековечны! Все тленно, все мгновенно... Я пережила четыре поколения князей сильных и могучих, царей грозных и великих... Да благословит вас всех Бог!»

Глава III

Начнут советовать и вкось тебе и впрямь.
Крылов

Заботы свадебного, шумного дня приходили к окончанию. Оставался только свадебный стол. Он был уже накрыт в обширной *Красной палате*, где обыкновенно пировали Великие князья. Время после венчального обряда до стола надобно было посвятить краткому отдыху. Великий князь с несколькими боярами удалился в свое отделение великокняжеского дворца, гостей увел тысяцкий в другие палаты. Там старики сели в один кружок, молодежь собралась в другой. Княгини и боярыни удалились в терем к Великой княгине Софье Витовтовне и увели с собою Марью Ярославовну. Чинно сели они по скамьям в большой княгининой палате и не говорили ни одного словечка: это был отдых. Марья Ярославовна сидела между свахами неподвижно, опустив глаза в землю.

Все ждали, когда раздастся призывный голос кравчих. Между тем, княгини и боярыни не заметили, что Софья Витовтовна скрылась от них; князья и бояре так же не видали, что Юрья Патрикеевич удалился.

В Думной княжеской палате сидел Юрья Патрикеевич, перед ним стояли двое Ряполовских, боярин Старков, ростов-

ский воевода Петр Федорович, боярин Ощера и еще несколько других бояр.

– У меня сердце вещало, – сказал Юрья Патрикеевич, – что не без злых людей на этой свадьбе: так уж все пошло с самого начала.

«Я говорю тебе еще раз, – с жаром возразил Симеон Ряполовский, – что ты напрасно беспокоишься, боярин! Что за беда учинилась? пустяки! Не нарушай радости Великого князя, не тревожь княгини Софьи Витовтовны».

– Рад бы радехонек, да у меня голова кругом идет! Ведь мы рабы княжеские, ведь на нас вся ответственность, ведь мы должны головы свои положить за них? А? не так ли, бояре?

«Так, так, готовы, готовы!» – заговорили все, кроме Ряполовского.

– И положим их, когда это будет надобно! Уж, верно, не я последний буду из числа вашего, боярин Старков, – возразил Симеон – и не брат мой. – Брат Симеона крепко пожал ему руку.

«Но до того еще так далеко, что у твоего сына успеет борода вырасти длиннее твоей. Говорите: чего вы испугались?»

– Как же чего! – сказал Старков. – С самого утра дурные приметы, одна за другою: ворон влетел в палату, снег и буря поднялись при выходе из церкви, свечи потушило вихрем, в церкви чуть не свалился с невесты венец...

«Да, да, – сказал Юрья. – Избави нас Господи!» Он на-

чал креститься. «Вижу, – продолжал Юрий, заметив усмешку Симеона, – знаю, что ты не веришь этому; но послушай, брат, Ряполовский: ты еще молод – эй! не погуби души своей! С тех пор, как ты пожил между немцами в Риге, да в Кольвани⁹⁵, я боюсь, не опутал ли тебя лукавый злым неверием».

– Об этом мы поговорим после, боярин, – сказал Ряполовский. – Верю я или нет воронам и тому, что у свахи кичку сорвало ветром, тебе что за дело? Если гнев Божий грянет бедою, мы повинны Его святой воле: и кто спорит? Будут или нет приметы, но легко может статься, что Господь накажет нас огнем, трусом великим, или дождем и градом, болезнию и даже нашествием неприятельским, Судьбы Его неисповедимы! Кто поручится, что ты теперь жив и здоров, а через час будешь с отцами нашими...

«Наше место свято!» – воскликнул Юрья, плюнув и крестясь.

– Ну, я, пожалуй, скажу это про себя, ибо уверен, что без воли Божией волос с головы моей не погибнет. Но благоразумие велит отвращать только явные беды и опасности. Где же ты видишь эти явные беды?

«Где! Еще мало...»

– Москва спокойна, крепкая стража бережет Кремль, огневщики ездят по всей нашей трети, у Володимировичей тоже...

⁹⁵ *Кольвань* – древнерусское название г. Таллинна.

«Москва спокойна! А что было давеча? У меня поджилки затряслись, как сволочь московская заорала и бросилась на княжеское угощение».

– И что же? Схватила, съела, выпила и пошла по домам!

«А так ли должно? Ей надобно было дожидаться череду, и когда бы велели ей, тогда бы и могла повеселиться!»

– Грех нашим душам будет, если толпа безоружной сволочи устрасит нас, когда у нас тысяча воинов стоит под оружием.

«Да, будто тем и кончилось? Вот, объездчики извещают, что во всей Москве шумят и гамят, и не спят...»

– Изволь, я сейчас поеду сам в объездную и ручаюсь тебе за Москву! Завтра Масленица – как же не шуметь народу? И зачем же его поили?

«Ну, а вести Петра Федоровича? Слышал? Точно боярин Иоанн теперь у Юрия Дмитриевича в Дмитрове, откуда наших дьяконов взащей прогнали?»

– Вести эти еще недостоверны. И что за беда? Мы сами виноваты: зачем мы совались в Дмитров? Надобно теперь поговорить со стариком, да и уладить все посмирнее. Чего боитесь вы боярина Ивашки? А дети Юрья Дмитриевича и не думают о вражде!

«Все это подлог, боярин! – сказал воевода Ростовский. – Скрывается страшный заговор... Князь Юрий готовит людей, боярин Иоанн сгинул где-то... Где ж ему быть, если не у князя Юрия? Не верьте никому! Город весь наполнен зло-

деями Великого князя. Хоть пытатъ меня велите – одно буду говорить: умру, умру за Великого князя!»

– Если никому не верить, так начнем с тебя, боярин, и не поверим тебе. Заговор у тебя в голове: надобно же ее чем-нибудь набить, если Бог уродил ее без мозгу?

«Бояре, что же это? Меня же за усердие ругают и поносят!»

– Я не поношу тебя, но говорю, что ты первый сплетничаешь и наушничаешь и последний к бою.

«Как! что это?» – зашумели другие.

– От твоих и подобных твоим наговоров смуты и вражды в князьях! Где заговор? Где он скрывается? Пойдем, покажи!

Шум поднялся между боярами. В это время вбежала в палату Софья Витовтовна. Щеки ее покраснели, глаза пылали.

Сказав, что София была дочь неукротимого Витовта, что с дикостью литвянки она соединяла горячую кровь русской женщины, мы изобразим Софию вполне. Часто сам строгий супруг ее уходил от нее, когда она развязывала свой язык. Теперь, шестидесяти лет, она еще была здорова, крепка. Большие черные глаза ее еще не потеряли своего блеска, и щеголеватая одежда, в которой было какое-то смешение русского и литовского одеяния, показывала, что Софья не думала еще отречься от мира. К этому присовокупляла она горячую материнскую любовь к Василию Васильевичу, единственному, оставшемуся у нее сыну. В порывах нежности к сыну своему это была львица, у которой отнимают дитя.

– Что вы, собрались здесь, бояре? – спросила она, удерживая гнев свой. – Что значит это собрание?

«Государыня, Великая княгиня! – отвечал Юрья Патрикеевич, вставая со смущением со своего места, – мы, рабы твои и Великого князя, собрались ради твоей и его государственной пользы, думать о делах его, государевых».

– А кто велел вам собираться, не сказав мне? Ради каких польз осмелились вы здесь своевольничать и шуметь, в моем княжеском дворе? – София обводила кругом глазами, как будто требуя ответа; бояре молчали.

«Великая государыня, княгиня...» – сказал Юрья Патрикеевич, в замешательстве.

– Я без тебя знаю, что я твоя государыня! – вскричала София гневно, – крамольник, старый ленивец! Как смел ты скрывать от меня замыслы врагов? Если бы не боярин Старков уведомил меня, половина Москвы горела бы, а в другой вы все еще спали бы...

Старков, успевший уже подслужиться извещением княгине о совете боярском, униженно поклонился,

Смело стал тогда говорить Ряполовский. «Не отвергаю усердия боярина Старкова, но он напрасно тревожил тебя, государыня, и возмущал радость нынешнего праздника. Слухи, ничем не подтверждаемые, пустая молва, когда все предосторожности приняты, не должны пугать тебя, и твои бояре бодрствуют, Великая княгиня!»

– Ты и при мне осмеливаешься, боярин Ряполовский, го-

ворить твои безумные речи? Старков мне все сказал. Ты ста-
кался со злодеем нашим, князем Юрьем, ты хочешь предать
меня и моего сына!

«Государыня! – отвечал почтительно Ряполовский, – умеи
различить верного слугу от наушника и льстеца!»

– Наушника? Разве у меня есть наушники? – Она быстро
оборотилась к ростовскому воеводе.

– Говори, Петр Феодорович, что ты сказал боярам?

«Я говорил им то, что мне донесли верные люди. Князь
Юрий в Дмитрове, боярин Иоанн у него, они выгнали наших
московских наместников и собирают войско».

– А в Москве, государыня, – сказал Старков, – носятся
страшные слухи. Верные доносчики видели, как у князя Ва-
силия Косого собирались воины и князя.

«Туголукий мне сказывал, – поспешно прибавил Ощера, –
что Косой при нем сегодня, поутру, говорил о тебе вольные
речи».

– Толпа мятежников ходила сегодня по улицам, – сказал
Старков, – и пела песню: *Государыня Масленица*, и уж ко-
нечно не Масленицу разумели своевольные, а что-нибудь со-
всем другое...

«Вы все это слышали?» – спросила София у бояр. Они
молчали. «Слышали, – повторила София, – и дремали?»

– Государыня! – сказал Ряполовский, – умоляю тебя успо-
коиться. Все это пустые слухи. Москву крепко охраняют вер-
ные воины, вести о пребывании боярина Иоанна в Дмитрове

неверны...

«Я давно видела твою верность, изменник! – вскричала София. – Ты узнаешь, чем платят вам за подобные дела».

– Воля твоя над моею головою, – отвечал Симеон, – но польза твоя дороже мне моей жизни.

«Молчи!» – вскричала София. В это время вошли еще несколько бояр, князь Константин Димитриевич, князя Иоанн Можайский, Михаил Верецкий и Василий Боровский.

– Что, что сделалось? – спрашивали они. – Нас вызвали тихо, скрытно. Что такое?

«Государь братец, князь Константин Димитриевич! на тебя надежда и на вас, мои друзья, добрые князья! Гибнет сын мой, гибну я, гибнет Москва!»

– Государыня тетушка, Великая княгиня! – воскликнули Иоанн и Михаил, – готовы кровь за тебя пролить и за нашего Государя, Великого князя!

«Все, все ляжем головами!» – воскликнули князья и бояре.

– Я безопасна, видя вашу любовь, – сказала княгиня, – и не буду беспокоить мое милое дитя, Василия Васильевича.

«Но, Государыня сестрица, – сказал князь Константин, говоривший между тем с боярами, – я еще не вижу большой беды. Если брат Юрий опять что-нибудь затевает, так разве в первый раз ему бегать от московской рати? Пошлем на клятв-вопруга завтра же всю силу московскую».

– Кто начальствует Москвою сей день? – спросил Иоанн Можайский.

«Басенок, – отвечал Юрья Патрикеевич, – а в Кремле князь Василий Баба с литовскими копейщиками».

– Басенок! Как можно было поручить такому молодому малому Москву! – вскричал Иоанн Можайский.

«Юрья Патрикеевич только сидит, да зевает в боярской Думе», – сказала Софья.

– Честь Басенка не помрачена доньше ни одним словом клеветы, – возразил Ряполовский, – даже от врага его произнесенным, а храбрость и верность бороною не меряются.

«Удалите крамольника! – вскричала Софья. – Бояре! возьмите Ряполовского. Посадить его в Чудов и поставить стражу!»

– Воля твоя, Великая княгиня! Но умирая в муках на площади, я буду тебе вернее ростовского твоего наместника, смутника и клеветника!

«Прочь его!» – загремела Софья. Ряполовского вывели.

– Вели и меня взять вместе с братом, – сказал другой Ряполовский, – я то же говорю, что брат: злыми наветами смущают тебя, княгиня! – Он вышел; в другой комнате его задержали.

– Басенок в самом деле слишком молод, – сказал князь Константин, – и надобно человека поважнее. Велеть принять начальство какому-нибудь старому боярину.

«Дайте мне Кремль, – сказал князь Боровский. – Я не усну

во всю ночь и буду на страже».

– Боярину Ощере можно доверить Москву, а в моей части я сейчас пошлю устроить объезды.

«И мы тоже!» – вскричали Можайский и Верейский.

– А завтра соберем Думу, – сказал Константин, – и если брат Юрий снова зашевелится, то все почти князья здесь – Кашинский, Рязанский, Тверской, и все так дружны – он с ума сошел – мы его шапками забросаем!

«С ним добром не кончишь!» – примолвил Боровский.

– Но пора. Наши молодые уж верно соскучились ждать, да и не надобно делать тревоги. – Князья и бояре! как будто ничего не было – пойдем пировать.

«Ты забываешь главное, князь, – сказала София, – немедленно должно схватить детей злодея».

– Косого и Шемяку? – спросил он, задумавшись.

«Да, как в первый раз увидела я сегодня князя Василия, так сердце мне сказывало, что он недаром глядит исподлобья».

– Это мне непонятно, – отвечал Константин, – как могли они приехать и сами в руки отдаться? Княгиня, сестрица! не будем делать шуму! Они всегда еще успеют быть схвачены. Но на свадьбе – наших гостей... подумай сама!

«Что ты веришь этому Каинову отродью, – вскричала София. – А примета, как пришел князь Василий ко мне?»

– Я с ними говорил и мне кажется, они не знают и не мыслят никакого зла.

«Что вы, батюшка, князь, им верите, – подхватил ростовский наместник, – прибрать их к рукам – это безопаснее!»

– Так это можно сделать и ночью, а не теперь, – сказал Константин. – Чего бояться? На свадебном пире такой позор! Что скажут все другие князья?

«Дозвольте мне, государыня тетушка, захватить Василия. Завтра же он будет под такую стражею, что и птица не пролетит к нему!» – сказал Можайский.

– А я закреплю Шемяку, – сказал князь Боровский. «Быть по-вашему, – отвечала София, – скреплюсь; буду хоть искоса смотреть на злодеев моих, а в глаза им прямо смотреть я не в силах, пока они не будут в железзах».

Она вышла. Князья и бояре, остались на несколько минут для совета. Не давая никому и ничего знать, один за другим являлись они в палату, где были собраны другие князья и бояре.

Юрья Патрикеевич вышел после всех и прошел в терем княгини Софии. Он застал ее в дальней комнате. Какой-то старик стоял в углу и держал в руках большую кружку, нашептывая что-то в эту кружку потихоньку. София сидела подле стола, задумавшись, облокотясь головою на руку.

Юрья Патрикеевич был правнук Ольгерда и происходил от Нариманта⁹⁶, убитого Витовтом. Бежав в Москву, он удостоился милости и дружбы Василия Димитриевича, получил

⁹⁶ *Наримант* Ольгердович (уб. 1395); его сын Патрикий спасся, укрывшись в Новгороде.

за дочь его богатые поместья, издавна считался первенствующим в Совете, был строгим, точным исполнителем воли княжеской. Его дразнили тем, что, всегда строго и буквально исполняя приказы, он едва было не казнил боярина Кручину Кошку, когда Василий Димитриевич велел ему повесить *кошку Кручину*. К несчастью, так называлась кошка княжеская. Родня Софии, зять ее, Юрий был любим княгинею.

Юрь Патрикеевичи не редкость при дворах и даже у богатых людей. Он за правило себе поставил: никогда не рассуждать, но исполнять все, что велят ему. Человек без страстей и без желаний, он приучил всех видеть его непрерывно при дворе княжеском. Никто в мире не любил его, и все к нему привыкли, а более этого и не умел ни от кого требовать Юрья Патрикеевич. Самый ум его был какое-то собрание опытов и условий: это была записная книга всего, что случалось при дворе, и при каждом новом случае Юрию надобно было только справиться: как решили такое-то дело в таком-то году? Далее ничего не знал, ни о чем он не думал.

Молча остановился Юрья при входе в комнату. София подняла голову, как будто требуя донесения. Юрья обратил глаза свои на старика. «Это наш литвин, природный – ты можешь говорить при нем», – сказала София.

– Государыня, Великая княгиня! все исполнено. Князь Боровский принял начальство над войсками в Кремле; двор Шемяки окружен тайною стражею, и едва подъедет он к во-

ротам своим, как будет взят. Новые отряды войск поехали по Москве; боярин Ощера придан к Басенку; князя Можайский и Верейский велели собраться дружинам в своей части, князь Константин в своей, князь Боровский в своей трети. Василий Юрьевич со свадебного Пира очутится в тюрьме. князь Можайский будет ждать его, как коршун цыпленка.

«Когда эти два сокола будут в наших руках, мы посмелее можем говорить с их отцом. Однако ж, Бог видимо спасает нас: он отуманил очи этих князей, сами приехали отдаться в наши руки!»

– Божие великое благословение почитет на вашем роде, – отвечал Юрья.

Бедные люди, бедные их замыслы, бедные их помышления и хитрости!

Юрий пошел в палату к гостям. Литовский колдун оборотился тогда лицом к княгине. Мы не будем его описывать, ибо читатели уже знают его: это был *Иван Гудочник*.

Чистым литовским языком начал он говорить княгине:

«Злое думанье, злое гаданье – зубы змеиные сеяли, княгиня, на пути твоём и твоего сына! Но они не дадут плода! Возьми эту воду, прикажи трижды покропить три порога на Восток. А когда завтра сын твой поедет поклониться угодникам, вели заложить ему пегих лошадей. Один черноволосый, да один русский замышляли зло, но оно не удастся им. Спи, почивай спокойно. Завтра я тебе скажу более». – Он поклонился и вышел.

Бывали ль вы, читатели, на большом веселом пиру? И случалось ли с вами, чтобы в то самое время, когда начинается самое разгульное веселье, в доме загорелось? Внизу заботы, смятение, старание потушить пожар, а вверху светлые, праздничные лица, блестящие одежды. Замечали ль вы в это время разнообразные впечатления? Хозяину сказано, что в доме неблагополучно; ему нельзя отстать от гостей; он верит и не верит уверениям, что пожар невелик; он трепещет за себя и все еще боится обеспокоить, испугать гостей своих. А гости его? а домашние? Одним известна уже опасность, но хозяин молчит и они молчат; другие заботливо скрывают свое смятение; третьи, как нарочно, беспечно, открыто веселятся, и иной никогда не бывал так весел, как теперь, ходя по полу, уже горящему снизу, и, может быть, осужденный погибнуть!

Таким представлялся пир Великого князя московского. Несколько чар доброго вина заняли время до ужина и расположили сердца князей к шумному разгулу. Старики рассказывали о старых проказах своих, молодые – о травлях, охотах, ловах и о красных девушках. Но на лицах некоторых мрачная дума хмурила брови и являла смущение. Многие замечали отсутствие того щипца другого.

«Князья и бояре! Князь Великий Василий Васильевич и княгиня Великая Марья Ярославовна просят их княжескому хлебу и соли честь отдать!» – раздались наконец повсюду призывы. Собрание взволновалось; все спешили идти за

ужин.

Глава IV

*На дне чарки правда положена,
Да, правду ту бес стережет:
Ты за нее ухватишься,
А он за тебя уцепится...*

Старинная песня

Мы не будем подробно описывать великокняжеского свадебного стола и только в немногих словах изобразим зрелище пиروвания князей и бояр, княгинь и боярынь, беспрерывно желавших здоровья и счастья Василию Васильевичу, Марье Ярославовне и Софье Витовтовне. Не дивитесь частым изъявлениям их усердия: за желание платы не берут, и каждое желание гостей сопровождалось притом кубком меду доброго, или вина душистого.

Тогда не было еще узорчатой Грановитой палаты, где обильным хлебосольством и восточным гостеприимством удивляли потом собеседников своих русские цари. Тогдашняя столовая палата выходила рядом окошек к житному двору, двумя выходами касалась переходов к дворцовым поварням и к другим торжественным комнатам. Это была обширная зала; у средней стены ее было приготовлено особое седалище, походившее на трон, с высоким балдахином, для молодых Великого князя и Великой княгини. Он и она сидели вместе, на одной широкой скамье, покрытой бархатною по-

душкою. За одним столом с ними сели: княгиня Софья Витовтовна, князь Константин Димитриевич, князя Александр Ярославский, Иоанн Рязанский, Иоанн Зубцовский, Косой, Шемяка, князя Можайский и Верейский, князь Юрья Патрикеевич, князь Василий Боровский, брат Марии Ярославовны и несколько почетных поезжан. За двумя другими длинными столами сели бояре и князья, подручные и служивые с одной, жены и матери их с другой стороны. Красиво устроенные яства занимали середину столов; множество бояр и сановников стояло за поставами напитков; другие наблюдали за порядком яств и услугою, распоряжая блюдами.

Если бы мы хотели удивить археографическими познаниями, нам легко можно бы было выбрать из старинных летописей и записок названия разных блюд, составлявших столы у наших предков. Чем затруднительнее и непонятнее были бы названия, тем более изумились бы читатели нашей глубокой науке и опытности в древностях русских.

Но мы не хотим этого и скажем просто, что в старину не щеголяли изяществом кушанья, а хотели только, чтобы *«яств и питья в столах было много, и всего изобильно»*. Роскошь означала множество кушаньев – холодных, жарких, похлебок, но состав всего был весьма прост: мяса, рыбы, птицы были без затей варены, жарены, подаваны с подливками. К этому прибавлялось множество курников, караваев, сырников, пирогов – рассольных, торговых, подовых, кислых, пряженных, яичных; пряников, блинов, цукатов, смокв, ово-

щей, марципанов, имбирников. Число кушаньев доходило до ста, до двухсот разборов числом, считая подаваемое князьям и боярам, которым подносили яства особо – и похуже, и поменьше. Это не означало скупости, но происходило от *почета*: знатные князья оскорбились бы, если бы их кормили наравне с великокняжескими рабами, хотя сии последние также князьями назывались.

Предоставим на сей раз воображению читателей наших – представить им полную картину великокняжеского свадебного стола: громады кушанья, множество напитков, золото, серебро на столах, чинную услугу, громкий хор певчих, при первом блюде запевших *«большие стихи из праздников и из триодей драгие вещи, со всяким благочинием»*.

Хор умолк. Глубокая тишина настала в столовой палате. Никто не смел прервать ее, потому что старики князья еще ели и не начинали беседы, а молодые не смели из-за них подать повод к речам, неуместным каким-нибудь словом.

Желали бы мы спросить людей, бывавших на чужой стороне: заметили ль они у народа чужеземного русский обычай – за хлебом, солью не ссориться? Когда люди не любовные сели у нас за один стол, то разве только зоркий взгляд знающего их взаимные отношения проникнет в их души, дощупается их сердец. Добр, да и хитер русский. На светлом, праздничном лице гостя не узнаете вы, что обуревает душу его в те мгновения, когда медовая речь льется из уст его в замену меда, вливаемого в уста. Хмель не развяжет языка русско-

му; если он сам не захочет развязать его, иногда и нарочно; оправдываясь потом хмелиною.

Из всего, что мы доселе рассказали, можно понять – в самом ли деле искреннее веселье оживляло гостей великокняжеских, как это казалось по наружному виду их? Но однообразно веселы казались все, кроме двух особ – *Софьи Витовтовны* и *Василия Юрьевича Косого*.

Софья Витовтовна напрасно хотела скрыть гнев, досаду, сердце свое: все это выражалось из отрывистых слов ее, порывистых движений и огня, сверкавшего в ее глазах, когда они обращались на князя Василия Юрьевича. Брови Василия Косого сильно были нахмурены; он казался рассеянным; ему ни пилося, ни елось; мрачная дума виднелась в лице его; он говорил мало, угрюмо, улыбался принужденно и тяжело.

Первая перемена кушанья сошла со стола. Старший по летам, почетный гость, князь Ярославский, утер бороду шитым утиральником, выпил из кубка, поставленного в это мгновение перед ним, и обратил речь к Туголукому, еще не кончившему двойного участка кушанья, им взятого.

– Устарел ты, князь Иван Борисович, как посмотрю я на тебя, – сказал князь Ярославский, – видно, брат, и зубы-то отказываются от работы!

«А с чего бы ты изволил так заключать, дорогой куманек мой?» – возразил Туголукий.

– Как с чего? Отстаешь от других. Хорошо, что хозяйка любит тебя и жалует, а то если бы велела подавать, не до-

жидаясь твоего череду, так ты остался бы в полупире, когда другие его окончили бы.

«С нами крестная сила! – Ведь над нами не каплет, а уж с добрым кушаньем я расставаться скоро не люблю».

– И он не расстался бы с ним, хотя бы ливнем дождь полил на его голову, – сказал князь Рязанский.

Общий смех зашумел между собеседниками, со всех сторон посыпались шутки.

– Вот говорят, что дураки ни к чему не годятся, – сказал тихо Шемяка сидевшему подле него князю Верейскому, – а чем бы начать теперь нашу беседу, если бы нельзя было дать оплеухи по роже Туголукого? ~ Верейский засмеялся.

Туголукий начал креститься. Его спрашивали о причине, «Я радуюсь тому, что князь Димитрий Юрьевич еще не онемел, – сказал Туголукий. – Он так был молчалив во все время, что я начинал думать: не наложил ли он на себя обет молчальника!»

– У тебя плохая привычка, князь Иван Борисович, – сказал Шемяка, – сперва *сказать*, а потом *подумать*.

«Меньше думай, долее проживешь, – возразил князь Тверской. – Иван Борисович следует этому присловью – и дельно!»

– Оно так, – сказал Туголукий, – да не совсем. Кто не закрывает души словами, тому нечего бояться слов своих: скажешь ладно – хорошо; не ладно – так не боишься озадков, посмеются, да простят, когда сказано без умысла.

«Не всякому так думать: иной не захочет, чтобы из десяти слов за девять каяться уму, разуму».

– Каяться на словах не беда, лишь бы в делах не пришлось молить прощения. Так ли, Василий Юрьевич? По-моему: *так!*

«И по-моему, – сказал Косой, принужденно улыбаясь. – Только не знаю, с чего тебе вздумалось кинуть твоею речью в меня, говоря о покаянии: ведь я не духовный твой отец, а тебе не последний конец?»

– Правда. Да, оно не худо – иногда помышлять и о конце жития,

«Только не за обедом, князь Иван Борисович», – сказал Верецкий.

– А на всяком месте владычества Его благослови, душе моя, Господа?

«Что ты пустился в благочестие, князь?» – сказала Софья Витовтовна.

– Да, так, милостивая тетушка, Великая княгиня – к слову приходится.

«Слово не дело, – сказал князь Зубцовский. – Благочестивый на словах бывает иногда не таким на деле».

– Я иногда это сама замечала, – сказала с досадою Софья, – и спасибо Ивану Борисовичу, что он одинаков и на словах и на делах. Я его головы не променяю на голову мудреца, как бы он ни чванился умом своим. – Она взглянула на Косого.

Между тем подали другое кушанье и еще подлили в кубки. Разговор разделился, острые речи начали мелькать с разных сторон, смешиваясь с шутками и прибаутками, какие любят у нас, на Руси, говорить на свадьбах, как будто любуясь румянцем стыдливости, вызываемым этими шутками на щеки молодой супруги,

Вдруг на серебряном большом блюде, с перепечью и солонкою, поставили перед Василья Васильевича жареную курицу, или, как называли ее, *курая верченное*. Блюдо это было на особой, красной скатерти, которую разостлал второй дружка. Главный дружка встал поспешно, завернул курицу в красную скатерть, с перепечью, солонкою и блюдом. Это было знаком *выхода молодого князя с княгинею*. Посажёный отец, тысяцкий, сваты, поезжане, София Витовтовна и все княгини и боярыни повели князя с княгинею. Князя и бояре, не бывшие на свадебном поезде, остались за столом в ожидании, пока от сенника княжеского воротятся провожатые. Женщины, кроме Софьи Витовтовны, уже не возвращались в столовую палату: их увели в комнаты Великой княгини, где было им свободнее и привольнее, так как и мужчинам без них вольнее в столовой палате.

Бархатами и парчами устилали путь от сенника Василию Васильевичу и Марье Ярославовне. Золотом осыпала их сваха в дверях сенника, надев на себя вывороченные шубы.

Когда Софья Витовтовна простилась с молодыми, благословила их и возвратилась в столовую палату *допировать*

веселье свадебное, шумный разгул уже слышен был издале- ка. Речи сшибались, слова мешались, кубки чокались, лица светлели, и даже на боярских столах слышен был смех и раз- говор.

– Садись-ка, матушка, Великая княгиня, благословивши сынка с дочкою на любовь и согласие, да позволь нам выпить за твое здоровье! – вскричал князь Ярославский.

«Здоровье Великой княгини!» – загремело множество го- лосов.

– Многая лета! – воскликнул хор певчих.

«Пусть тот *подавится* заздравным кубком, кто тебе зла желает!» – вскричал князь Зубцовский, оборачивая осушен- ный им кубок на свою голову.

– Постой-ка, посторонись, князь! – сказал Туголукий, об- ращая лукавые взоры на Шемяку. – Не поперхнулся ли князь Димитрий Юрьевич?

В самом деле, Шемяка, занятый жарким разговором с со- седями, поторопился выпить кубок свой и поперхнулся.

Глаза Софии заблестали при намеке Туголукого и неча- янном этом случае.

– Что ты скажешь, батюшка, князь? – спросила она, обра- щаясь к Константину Димитриевичу.

«Ничего, княгиня-сестрица», – отвечал хладнокровно Константин.

– Нет, не ничего, а явно, что Господь простоте дает разум, а на злодее шапка горит!

«Что за обычай ныне завелся у тебя, княгиня, – сказал князь Тверской, – все толковать о врагах, когда за трапезою сидят друзья твои и твоего сына!»

– Богу ведомо, князь, нет ли за трапезою Искарюта, который лобзает нас иудинским лобзанием.

«Так за чем же стало, тетушка, – сказал Шемяка, вмешавшийся в речь княгини, – подай ему кусок хлеба с солью, а между тем прикажи покамест Ивану Борисовичу спрятать язык подальше».

– Нет ли у тебя лишнего кармана? – спросила София.

«Нет! – отвечал Шемяка. – Впрочем, и не стоит труда прятать такую вещь, которая никуда не годится, которую и на улице не подымет, кто об нее ногою запнется».

– Ох! ты молодежь, молодежь! – вскричал князь Зубцовский. – За что ты вздумал гневаться! Будто не знаешь, что Ивану Борисовичу, как ветряной мельнице, никто не указывает ветер – она мелет, хочется ему говорить – он говорит.

«А другие слушают, да подтакивают! – Вот что, князь, нехорошо!»

– Кто же, по-твоему, эти *другие*? – спросила София.

«Кто? – отвечал, улыбаясь, Шемяка, – на злодее шапка горит...»

– Как! Что ты сказал, князь?

«Ничего: я повторил твои слова, Великая княгиня, тетушка».

– Есть о чем толковать, – подхватил князь Ярославский,

предвидя, что София готова была отвечать с гневом. – Тоги правду и неправду в вине!

«На дне останется и выскочит», – сказал князь Можайский.

– И глаз выколет! – проговорил князь Зубцовский.

«Кому выколет?» – спросил князь Ярославский, принимаясь за кубок.

– Тому, кто старое помянет! – вскричал Шемяка, поставя на стол порожнюю чару и стараясь придать разговору шуточный оборот.

«Отними же Бог у меня память», – громко вскричал Туголукий, уже довольно пьяный.

Думали опять напасть на него с шутками, желая всячески изменить разговор, непрерывно принимавший вид неприязненный.

«Что ты говоришь? – вскричало несколько голосов. – Молиться о том, чем уже Бог тебя пожаловал!»

– Коли бы так! – вскричал Туголукий. – Ан нет! вот так все и помнится такое, чего не могу забыть, по вере и правде!

«Еще один кубок Ивану Борисовичу и его желание совершится, – сказал князь Зубцовский, – он все забудет!»

– Здоровье князя Ивана Борисовича! – вскричали многие.

«Его здоровье? Пожалуй!» – сказала София, смеясь.

– Все пьют, кроме князя Василия Юрьевича: только он меня не любит!

«Василий Юрьевич! выпей!» – сказал князь Ярославский.

– Нет! подавится! – вскричал Туголукий.

«Слушай, ты, Тугой Лук, – промолвил с досадою Косой, – помни пословицу: не в свои сани не садиться».

– Ну, что ты его обижаешь, Божьего человека! – вскричал князь Зубцовский.

«Я дивлюсь тому, что вы, князья, не найдете другой речи, кроме глупых слов этого князя Иванушки-дурачка, – отвечал Косой. – Если вы им дивитесь – вас жаль, если над ним смеетесь – его жаль! А ни в том, ни в другом случае, право, не смешно».

– Нельзя ли, брат, уволить нас от твоего совета, – сказал князь Ярославский, оскорбленный словами Косого. – Молоденек еще ты учить других; в наше время, кто был помоложе, тот слушал старших.

«Он считает себя *старшим*», – сказал кто-то из гостей.

– В чужом доме все *моложе* хозяина, – подхватил другой.

«Мне кажется, что у многих голов теперь хозяева удались», – отвечал Косой, озираясь с досадою.

– Слушай, брат Василий Юрьевич, – молвил князь Зубцовский, – непьяному с пьяным не беседа. Отставать от других не надобно.

«И приставать не годится: душа мера; я вам, а вы мне – не указ».

– А если бы тетушка, Великая княгиня?

«Не всякая тетушка матушка, есть и мачехи», – сказал кто-то.

– Что это изволишь ты говорить, князь Василий Юрьевич? – спросила София, вспльчиво.

«Здесь так много и вдруг говорят, – отвечал Косой, – что я не знаю, о чем ты спрашиваешь, княгиня. Ты не отличила моей речи от других».

– Твои речи всегда так разумны, что их легко можно отличить от других, как галку по полету.

Косой промолчал. Это более рассердило Софию. «Ты уж не изволишь и отвечать мне?» – сказала она.

– Иногда молчание лучше речей, – сказал Косой. «Змеиное твоё молчание, – вскричала София, – змея молчит, а только жалит».

– Змея – женщина! – сказал Косой, с гневом бросив вилку на стол. – Не знаю, с чего применять её к мужчине!

София побледнела от досады. – «Князь! Княгиня!» – вскричали многие собеседники, предвидя и желая утишить бурю. Смятенный шум раздался в палате.

– В самом деле, не думаешь ли ты, князь, что ты *старше* других в нашей беседе? – вскричала София. – Так я тебе докажу, что я жена твоего дяди и мать твоего Государя!

«Надо мною один Государь – Бог!»

– А отец разве не Государь тебе? – сказал князь Ярославский, у которого все еще не прошла досада, причиненная словами Косого.

«Видно, князь Юрий *не отец* ему!» – вскричала София, злобно усмехаясь.

– Вернее, нежели *твоему* сыну мой покойный дядя! – отвечал Косой, не в силах будучи переносить обидные речи тетки.

«Наглая душа! как ты смеешь сказать мне такие непристойные речи?» – закричала София. Косой тронул душу ее за самое больное место.

– Полно, полно – князь, княгиня! – заговорили тогда многие.

«Послушайся друзей, Василий Юрьевич, – проговорил сам князь Ярославский, – за что ты гневаешься? Между друзьями что за перекоры!»

– Вижу, какими друзьями окружен я здесь, князь Александр Федорович: не выдают тетушку в слове, – сказал Косой, отодвигаясь от стола и желая встать со своего места.

«Ты осмеливаешься здесь своевольничать!» – воскликнула София, поспешно вставая.

– Умрем за матушку нашу, Великую княгиню! – закричал Туголукий, поднявшись и стуча в стол кулаком. Многие бояре выскочили из-за своих столов, многие князья также поднялись с места.

– Великая княгиня! Тетушка! послушай – внемли доброму слову! – говорили Константин Димитриевич, князья Тверской и Ярославский, но – тщетно. Среди шуму слышны были угрозы, которыми с разных сторон разменивались бояре и князья. Голос Софии раздавался среди всех: «Крамольник – злоумышленник – злодей!» – восклицала она.

«Умрем за Великую княгиню!» – возглашал между тем Туголукий.

– Заткни ему рот, князь Чарторыйский! – сказал Шемяка и обращаясь то к Софии, то к брату старался уговорить их: «Послушайте, тетушка, брат! Побойтесь Бога, постыдитесь людей...»

– Ты думаешь, что я не знаю твоих замыслов? – кричала София, не внемля ничему. – Что я тебя, злодея, за стол-то свой посадила с честными князьями, так ты думаешь, я и отдамся в твои руки?

«Бог с тобой и с твоим хлебом-солью, когда ты ими коришь меня! – воскликнул Косой. – Я не хочу быть твоим гостем – возьми деньги за хлеб, за соль, только не кори! Князья! свидетельствуйте: я ли начал такую позорную ссору?»

– Он! – Нет, не он! – Князь виноват! – Князь прав! – кричали со всех сторон.

«Ты мне заплатишь, князь-голытьба? – вскричала София, вдруг подбегая к Косому. – Да чем заплатишь, ты, князь без поместья? Знаешь ли ты, что только по милости моей и сына моего у тебя есть кусок хлеба, а у твоего отца горшок каши?»

Смятение достигло тогда величайшей степени: шумели во всех сторонах, руки многих падали уже на рукоятки мечей. До сих пор Шемяка старался еще уговаривать, упрашивать. Но когда София упомянула об отце его, он с гневом воскликнул: «Замолчи же, тетка! Сама ты кормишься по милости отца моего! Не смей порочить моего родителя, или – клянусь

Богом, не одобровать тебе с твоими речами!»

– И ты осмеливаешься туда же? – закричала София, обращаясь к Шемяке.

«Прекратите ссору, – сказал Шемяка, опомнившись и снова удерживая гнев свой. – Бог с тобой, тетка: не родная ты нам по плоти, чужая и по душе! Брат! оставим любезную тетушку и добрых гостей ее...»

– Нет! я вас не оставлю! – вскричала София. – Князя, бояре! возьмите меч у князя Василия!

«Княгиня! что ты делаешь! Ты оскорбляешь всех нас!» – закричало множество голосов.

Косой, казалось, был оглушен таким неожиданным решением Софии. Он побледнел, губы его задрожали. Бояре московские не двигались с мест своих.

– Возьмите меч его! – провозгласила София, громче прежнего. – Что вы стали?

«Я посмотрю, кто осмелится подойти ко мне...» – сказал Косой, глухим, задушаемым голосом, обращая кругом пламенные глаза свои.

– Мы не допустим до такого позора! – кричали многие князя.

«Ты *посмотришь?* Вы *не допустите?*» – проговорила София и с яростию, быстро, кинулась к Косому, сорвала меч его с цепочки и бросила в сторону!

Действие это было так неожиданно, что все голоса вдруг умолкли; взоры всех, казалось, были очарованы и не мог-

ли отворотиться от меча княжеского, загремевшего и звучно упавшего на пол.

– Что это? Что я вижу? – вскричала тогда София, устремив глаза на богатый пояс, бывший на Василии Юрьевиче. – Воровская вещь! Бояре, князья! Узнаёте ли вы этот пояс? Он краденый у моего тестя!

Несколько человек хотели разлучить Софию от Косого – уговаривать было уже поздно: хотели только, чтобы кровавое зрелище не заступило места свадебного пира. Глаза Косого налились кровью, жилы вздулись на лбу его – говорить он не мог – рука его, как будто судорожно, шарила меча, на левом боку, там, где всегда был доселе сей знак его чести... Но София вырвалась из рук посредников, ухватила за пояс Косого и громко призывала к себе бояр.

Глухой, бешеный смех вырвался наконец из груди Косого. Он оглянулся кругом, на толпу князей и бояр, с презрением смотрел на Софию, которая вне себя от ярости рвала с него пояс слабыми своими руками. «Постой, Великая княгиня, дай мне самому отстегнуть и снять! Отойди на час!..» – закричал он диким каким-то воплем и оттолкнул от себя легонько Софию, которая от этого легкого толчка едва не слетела с ног.

– Отдай пояс, – кричала София, – отдай пояс. Этот пояс был подарен покойному тестю Димитрию Иоанновичу, тестем его, Константином Димитриевичем. Я его знаю – его украли потом, и вот он, вот он, вот он! Наместник Ростов-

ский! узнаёшь ли ты этот пояс?

«Он самый, клянусь всем, что есть святого!» – вскричал наместник Ростовский, едва держась на ногах.

Тут, в неистовстве, вскочил со своего седалища Шемяка. Скамья, на которой сидел он, полетела на пол. И с неописанным свирепством закричал он громко: «Княгиня! еще одно слово и – я клянусь тебе вторым пришествием Господним – ты расквасишься в своем безрассудстве!»

– Он убьет ее! – провозгласили многие бояре и обнажили мечи. Шемяка не внимал ни клика их, ни звука мечей. Софья не слыхала слов его в запальчивости. Тут высоко поднял Шемяка кубок, перед ним стоявший. «Так, да расточится злоба твоя!» – вскричал он и с размаха ударил кубком об стол: дорогая хрустальная чаша разлетелась вдребезги, кубок согнулся, красное вино, бывшее в нем, потекло ручьями по скатерти. Шемяка бросился к брату, видя уже несколько мечей, на него устремленных. Князя и бояре, многие старались уйти из зала, другие бросились защищать Софью Витовтовну, третьи спешили позвать стражу.

Косой, как мертвец бледный, остановил Шемяку. «Стой, брат! – сказал он, дрожащим, прерывающимся голосом. – Кровь христианская готова обогреть землю. Может быть, мы с тобою стоим в сие мгновение на праге вечного судилища... Если они хотят зарезать нас, как Святополк зарезал Бориса и Глеба – Божья воля!» – Он расстегнул пояс свой и кинул его на стол. «Вот мой свадебный подарок брату Василию!»

– И давно бы так, – сказал князь Зубцовский, – и все бы сладилось. Эх! какой народ... Господи! твоя воля...

«Спорят о мешке, а в мешке ничего нет!» – примолвил кто-то.

Поступок Косого как будто образумил всех. Князь Ярославский, князь Зубцовский, Юрья Патрикеевич стали между Косым и Софьею, которая как будто пробудилась в сию минуту от бешенства сожигающей тело горячки и почувствовала безрассудство, безумие своих поступков... «Ну, ну! кончено, кончено...» – говорила она, отходя в сторону.

– Князь Василий Юрьевич, княгиня, князь Димитрий Юрьевич – полно, полно – что за грех такой... – говорили князья,

«Брат! – сказал Косой, взяв за руку Шемяку. – Князья! – продолжал он, обращаясь на все стороны. – Что это было? Сновидение, или меня кто-нибудь обморочил?»

– Ничего, ничего! Что за пир без побранки! Экая невидаль!

Косой крестился обеими руками. «Меня – баба – обесчестовала – меня – перед князьями! А! голова моя! Ты еще у меня на плечах!» Он сжал кулаки и громко заскрежетал зубами.

– Тише, князь! – шепнул ему Можайский.

«Ну, после рассудим, – говорил Верейский, взяв Шемяку за руку. – Пойдем Димитрий Юрьевич!» Он потащил Шемяку из палаты.

– Что это значит? Куда, князья, бояре? – вскричал Шемяка, вырываясь из рук Верейского. Он взялся за свой меч.

Софии уже не было в палате. Ее уговорили уйти. Пиршество свадебное представляло зрелище страшного беспорядка.

– Ничего, ничего, сладим, помирим! Великое дело: лишнее слово сказано! – говорили князья-старики. – Эдакая Витовтова кровь! – Вот свадебку отпраздновали! – раздавалось со многих сторон.

«Теперь о мире говорить еще нечего, князья. Меня обругали, оборвали, как презренного раба, как колодника на площади! Где меч мой? Отдайте мне меч мой! Разве я пленник здесь, а палата великокняжеская тюрьма моя?»

– Князь Василий Юрьевич, – сказал князь Ярославский, – успокойся...

«Отдай мне меч – я еще не пьян, хоть и крепким вином напоили меня. Неужели вы боитесь отдать мне меч мой? Дратья я не стану и – надеюсь, что меня еще не тотчас зарежут».

– Что за речи такие! – сказал Константин Димитриевич. – Мы тебе ручаемся.

«А если у тетушки уже подготовлены убийцы наши, то мы продадим свои головы не иначе, как за полдесятка голов каждую!» – вскричал свирепо Шемяка, положив руку на свой меч и до половины извлекая его из ножен.

– Мы все отвечаем за вашу безопасность! – говорили князья Тверской, Ярославский, Зубцовский, Рязанский. – Пой-

дем вместе! Кто из бояр и князей московских осмелится противоречить, тот заплатит дорого!

Бояре с их князей и спутники Косого и Шемяки сдвинулись в одну толпу. Юрья Патрикеевич, представлявший самое жалкое лицо во время ссоры, выступил вперед и говорил, что князья могут быть уверены в своей безопасности. – «Огня! Пойдем!» – раздались голоса князей. Косому подали меч его. Все князья и бояре оставили палату.

«Ну, уж было дело!» – сказал князь Рязанский Тверскому. – Вот чему дивишься! – отвечал Тверской. – Посмотрел бы ты в старину: бывало без шуму ни одно веселье не кончалось и часто доставалось даже ребрам; теперь-то уж вы все выродились...

«Что же? – шепнул Юрья Патрикеевич, отведя в сторону князей Можайского и Верейского. – Теперь ли их взять или после, ночью? Я окружил уже весь дворец воинами: только с крыльца – и в цепи».

– Видишь, что нельзя, – отвечал Можайский, – при князьях. Зачем было вам затевать такое позорище? Сами виноваты!

«Как же быть? Ведь княгиня может на меня осердиться!» – Я послал уже сильные отряды к их дворам. Живых ли, мертвых ли, но мы их достанем.

«Пособи нам, всемогущий и благий Господи! А, правду сказать, княгиня слишком *погорячилась...*» – Юрья Патрикеевич боязливо осмотрелся кругом, произнося сии слова.

– Да, чего тут: заварили вы кашу – теперь масла жалеть не надобно, и – Бог знает, как ее расхлебать придется!

Глава V

То обман, то плющ, играющий

По развалинам седым:

Сверху лист благоухающий —

Прах и тление под ним!⁹⁷

Жуковский

С чем бы сравнить нам матушку нашу, Москву? Не с красавицею ли, о которой идет далекая слава, за которую бьются в дальних сторонах и при имени которой звонко сшибаются и пенятся чаши на беседах юношей? Вы видите красавицу эту, вы приближаетесь к ней, с невольным трепетом, и что же? Перед вами милое создание, не дородница, не румяница, дева не гордая, не блестящая! Вы дивитесь: откуда взялась слава о красоте этой девы? – Не дивитесь, не давитесь: взгляните в нее, узнайте очаровательную эту деву, дайте милым, всегда опущенным глазам ее сверкнуть на вас... О, этот взор выскажет вам все! Образ незабвенной будет всегда преследовать вас, как совесть преследует злодея; будет вечно с вами, как вечна память о милом, навсегда потерянном друге! Чем более вглядываться будете вы в деву-очаровательницу, тем сильнее поймете пыл страстей, зажигаемых ею в сердцах юношей и не потухающих ни от отдаленности расстояния, ни от лет разлуки!

⁹⁷ Эпиграф – строки из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1820).

Такова Москва. Громада ее поражает вас, когда вы издали завидели Москву. Въезжаете в нее – и где очарование? Нет ни реки величественной, ни гор высоких, ни лесов, оттеняющих другие города. Но пойдите со мною по Москве, по ее окрестностям. Я укажу вам такие чудные красоты природы, что ни сибирские леса, ни побережье широкой Волги, ни берега Черного моря не истребят этих красот в памяти вашей. Воробьевы горы, где серебристая Сетунь умирает в волнах Москвы-реки, где на несколько верст кругом зритель обхватывает взором и город, и поле – никогда не забудет вас, кто видел хоть однажды!

Таково же чудное местоположение Симонова монастыря, ныне древней, богатой обители. Воздвигнутый на крутом берегу, он глядится в светлые струи Москвы-реки, и оба берега ее – с домами, монастырями, церквями, Кремлем, Замоскворечьем, Воробьевыми горами, Коломенским полем, лугом за Москвою, окрестными селениями – перед глазами вашими! Очаровательное место, когда заходящее, или восходящее солнце являет вам засыпающую, или пробуждающуюся Москву, тени вечера густеют, или ночные мраки тают перед вами, песня пловца оглашает окрестность, и заунывный звон монастырского колокола – этот *скрип дверей вечности* – раздается, будто голос времени...

Через три дня, после события на свадьбе Великого князя, нами описанного, вечером, через глубокие сугроба: снега, от Крутиц, по сосновому бору, пробирался кто-то в Симонов

монастырь, в небольших санях, запряженных в одну лошадь.

Ездок этот остановил сани у задних, маленьких ворот монастыря и начал тихо стучаться в ворота. Сторож монастырский, ходивший внутри двора, с дубинкою на плече, спросил: «Кто там? – и. – За чем?» – «Отвори, брат Федосей!» – отвечал приехавший. «А! это ты, Иван Паломник! – сказал сторож. – Тебе как не отворить. Добро пожаловать! Господи Иисусе Христе, сыне Божий!» – шептал он, отмыкая замок.

Маленькая калитка отворилась. Привязав повод лошади изнутри ворот, вошел в монастырскую ограду приезжий, которого называл сторож *Иваном Паломником*. Казалось, что он был весьма знаком со сторожем и со всем монастырем, ибо не говоря ни слова пошел от ворот, а сторож не спрашивал: *куда* и *зачем* идет он? Прямо к келье архимандрита подошел приезжий и постучался в двери. «Во имя Божие отвори, отец Варфоломей», – отвечал приезжий на вопрос из кельи: «Кто пришел?» – Дверь отворилась; приезжий вошел в келью; слышно было, что за ним задвинули дверь изнутри засовом.

Келья архимандрита состояла из двух небольших покоев, находясь в ряду других монастырских келий. Мрачные стены ее украшались только несколькими образами и то без риз и без всякого убранства: неугасимая лампада горела перед ними. В углу передней комнаты стоял дубовый, ветхий стол, на котором сложено было одеяние архимандрита и лежал клубок его, ибо архимандрит был в келье своей в простой свит-

ке, с открытою головою. Две простые скамейки придвинуты были к столу. Духовная книга лежала на столе, раскрытая; в железном подсвечнике горела перед нею свечка. В сумраке можно было различить, что в другой комнате находился гроб; крышка его стояла подле, прислоненная к стене.

Архимандрит был старец, убеленный сединами. Но при первом взгляде на его бледное, сухое лицо можно было понять, что не столько старость, сколько тяжкие горести и бремя скорбей убелили его голову и сделали его живым мертвецом. Никому не было известно: кто таков был сей благочестивый отшельник? За много лет, еще при княжении Василия Дмитриевича, пришел он в Симоновскую обитель. Его примерное житие, его набожность вскоре заслужили всеобщее почтение и любовь. Он мало говорил, редко оставлял обитель и никогда не являлся в княжеские дворцы, хотя и облечен был саном архимандрита, по кончине своего предшественника. Со слезами молил он избавить его от сего сана; но князь Константин Димитриевич, покровитель и главный вкладчик обители Симоновской, умолил благочестивого мужа, который и после того не переменил своей тихой жизни, не изменил своего молчания. Тогда только отверзались уста его, когда князь Константин приезжал в обитель и наедине с ним начинал беседовать о спасении души, о суете мира, о божественном, святом Писании. Сладостны были тогда речи благочестивого отшельника. Он ежедневно являлся в церковь на каждое божественное служение и часто сам отпра-

лял его; в другое время дня исправлял он, наряду с братией, все монастырские труды и работы: как простой монах читал он духовные книги за трапезою, иногда по целым часам, безмолвный, сживал он при гробе, который поставил в келье своей, завещая положить себя в этом домовище. Одр его успокоения, где на краткое время сон смыкал его глаза, составляла голая скамья, подле гроба поставленная.

Приезжий, *Иван Паломник*, как назвал его монастырский сторож, молча прошел по келье, сел на скамейку подле стола и закрыл лицо свое руками.

– Что с тобою? – спросил его архимандрит, тихо перебирая рукою большие четки и творя молитву.

«Дай мне сил перенести скорби мои, дай мне слез оплакать грехи мои!» – отвечал приезжий.

– Молись, да ниспошлет Он тебе милость свою! – архимандрит указал рукою на образ Спасителя.

«Отец Варфоломей, брат мой, друг мой! помолись ты за меня. Чувствую, что сил моих недостает переносить бремя жизни. Отчаяние, сей грех смертный, часто одолевает меня ныне... – Господи! укрепи меня!» – Паломник поднял руки к небу, но слез не было в глазах его.

– Вижу, что с тобою случилось что-нибудь горестное и неожиданное. Открой мне душу свою, брат Иван, скажи...

«Неожиданное? Нет! я всего ожидаю, все это испытывал я и прежде. – Горестное? Но я однажды и навсегда умер для радостей земных! Унываю, что силы мои истощаются; вижу,

что их недостает уже у меня; чувствую, что сети суеты и страстей так хитро опутали человека... Нет! не достанет меня распутать их... Давно ли ты видел твоего князя, Константина Дмитриевича?»

– На другой день после свадьбы Василия хотел он быть у меня, и недоумеваю, что бы могло его удержать. Еще более не понимаю, почему Василий до сих пор не посетил святых обителей, по обычаю предков своих. По крайней мере, у нас на Симонове он не был.

«Итак, тебе не известно, что случилось на свадьбе Василия, что заняло теперь всю Москву, и – Бог един весть, чем кончится?»

– Кто же мне скажет? Я знаю только то, что содержится *здесь* (архимандрит указал на книгу) – думаю единственно о том, что будет *после него* (он указал на гроб)...

«Так знай же, что на свадьбе Василия произошел раздор, какого давно не видала земля Русская – князья, вместо веселья, поссорились, нанесли друг другу смертные обиды и расстались врагами непримиримыми!»

– Неужели и мой князь, мой сосуд избранный, потемнился в этой суете мира? – Глаза отшельника блеснули необыкновенным образом.

«И он был увлечен общим волнением, хотя не принимал участия в обиде ближних».

– Слава Богу! Но расскажи мне: какое наваждение лукавого посеяло вражду?

Паломник рассказал архимандриту подробно о ссоре князей с Софьею Витовтовною, но он прибавил, чего мы еще не знаем.

Вместо того, чтобы захватить Косого и Шемяку, как обещали, князя Можайский и Верецкий сами вывели их в треть Юрия, где немедленно собралась сильная дружина Косого и Шемяки. Оба князя безопасно выехали после сего из Москвы в ту же ночь, под защиту своей дружины. Великокняжеские дружины ничего не могли им сделать, потому что Косой грозил зажечь собственный двор свой, при малейшем насилии. Выезд Косого и Шемяки был знаком отбытия других князей; Тверского, Рязанского, Зубцовского. Князя Можайский и Верецкий также немедленно оставили Москву и уехали в свои уделы. Софья Витовтовна занемогла тяжкою болезнию, с горя и досады. Великокняжеская Дума была в страшном смятении. Никто не знал, чем начать и что делать. Голоса делились и, как будто нарочно, исполнялись только самые безрассудные предложения. Юный Великий князь вздыхал, плакал. Константин Димитриевич напрасно уговаривал князей остаться, составить общий совет, исправить дело в мире и тишине. Они не поверили словам его, ибо в то же время, когда Константин ласкал и уверял их в дружбе и мирных намерениях, вооруженные дружины великокняжеские заняли чужие трети Москвы, а ростовский наместник отправлен был с войском захватить Звенигород, стараться догонять Косого и Шемяку, узнать, где находится

боярин Иоанн и князь Юрий Димитриевич и, если можно, захватить их лестью или силою.

– Суета суетствий, всяческая суета! – сказал архимандрит, когда собеседник его рассказал ему все. – *Царь скуден уроком, велик клеветник бывает, а ненавидяй неправды долго лет проживет.* – Мне кажется, – прибавил он, по некотором размышлении, – что все это не могло само собою сделаться. Ты, верно, не хотел слушать моего совета, моих молений, моих заклятий?

Паломник молчал.

– Признавайся, что во всем этом были твои умыслы, и ты руководил смятениями и сварами князей?

«Отец Варфоломей, – отвечал Паломник, – снова прошу тебя: не говори мне о том, от чего уже не могу, не властен я отступить. Если это преступление – пусть оно тянет грешную главу мою в пределы адавы: душа моя связана клятвою и разрешить ее может единый Бог, но – никто из человеков!»

– Горе клянущему, горе клянущемуся, но несть меры Божию милосердию. Нет! я не перестану сеять доброе семя, хотя бесплодная почва души твоей отвергает его. Так: я сам связан обетом, тебе данным не открою твоих дел и замыслов; но, как вестник слова Божия, никогда не перестану говорить: брат Иван! оставь суетные свои помыслы!

«Поздно!»

– Никогда не поздно. Неужели сорок лет бесполезного труда и греха не вразумили тебя, сколь суетны помышления

твой, сколь тщетны все твои замыслы? Ты – едва заметное брение земли – мыслишь преобороть судьбы Божий? Горе тебе – блюдись, да не погибнешь до конца! Покайся!

«Но что же и все человеки, если не прах и брение пред лицом Бога – царь и раб, богатый и убогий?»

– Дерзновенный! хулу глаголешь и не трепещешь! Князья и владыки облечены от Бога властью и поставлены выше человеков: они Его образ на земле, провозвестники воли Его, а ты что – раб их, крамолы сеющий?

«Но разве князь не воздвигает брани на князя и царство не восстает на царство, и разве не падают они, не гибнут в войнах и междоусобиях?»

– И ты не видишь разницы между исполнением судеб по воле Божией и злою крамолою преступного раба! Когда Бог движет род на род, воздвигает брани, посылает избранных, да сокрушат они престолы, не то ли это самое, что бури, трусы, знамения небесные Его рукою движимые? Небо и земля вещают тогда человекам о наступлении судеб Божиих! Знаешь ли, что когда приспела година татарского нашествия, звезда власатая⁹⁸ текла по небу, *величеством паче иных звезд*; огонь солнечный палил землю, зажигал леса, иссушал воды, покрывал поля и дебри мглою, среди коей ничто не было видимо, и птицы падали из аера мертвые? А когда Димитрий должен был сокрушить силы ордынские, Бог предвозвестил ему победу глаголами святого мужа Сергия;

⁹⁸ Звезда власатая – комета.

стратиг духовный, инок Пересвет начал брань в ангельском схиме, и Сергей слышал глас его в Троицкой обители: «Игумен Сергей! помоги мне молитвою!» И святой муж стоял тогда на молитве, когда на берегах Дона Пересвет починал брань и сражал великана татарского... И сии великие судьбы смеешь ты сравнивать с твоими смутами?

«О! прискорбна ты, душа моя, прискорбна, даже до смерти!» – воскликнул Паломник. Он встал бодро, подошел к архимандриту и сказал ему твердым голосом; «Умолкни – или мы расстанемся навеки!» – Архимандрит хотел, напротив того, говорить; тогда Паломник воскликнул: «Слушай же и отвечай за меня: себе ли ищу я славы? Своей ли корысти жажду я? Говори, ты, судья чуждому рабу, праведный от человеков!»

Архимандрит задумался. «Говори, – продолжал Паломник, – говори. Не мог ли я прожить век свой счастливо и благополучно? Не всем ли пожертвовал я моему делу, всем, что только красит мир в глазах человека? Сам ли на себя наложил я обет свой? Не стоял ли ты со мною при одре князя нашего, когда он, умирая, потухшими очами не видя уже меня, искал еще руки моей, отверженный людьми, в убогой хижине, почти в рубище, и говорил мне: Тебе вручаю судьбу детей моих – храни их – клянись мне положить голову свою за них?»

– И ты мог исполнить обет его, оставшись их пестуном и хранителем, уча их добру и повиновению судьбам Бога,

утешая их в скорби, жертвуя за них своею жизнью. Но кровь гордая кипела тогда в жилах твоих, сильна крепостью была плоть твоя и ты взял на себя дело судеб Божиих: поклялся возвратить детям твоего князя, прешедшее царство их...

«Так, но и тогда – *гордился* ли я? Надеялся ли я на себя, брат мой и друг мой! Я трепетал, да не увлечет меня мир, и молил Бога принять мою клятву, исключить меня из числа живых – да не будет благословения на мне, если помыслю о себе хотя одно мгновение; да превратится тогда для меня каждая капля воды в яд и каждый кусок хлеба в скорпию⁹⁹ и змию, если вспомню о самом себе! И я оставил свет, прошел водами и землями и при гробе Господнем изрек страшную клятву мою! С тех пор, сорок лет невидим я, погиб для людей, и только ты один знаешь истинное имя мое, знаешь, что я еще живу, существую, дышу для моего обета».

– Но видишь ли, что гордость увлекла тебя и ты не исполнил прямо молитвы князя? Не исполнишь ты и гордой клятвы своей – я предвещаю тебе! – Голос архимандрита сделался торжественным при сих словах. – Убедись, что несть на ней благодати Божией! Горе клянущимся!

«Не исполню? Доныне я не исполнил, но не было дела против Москвы, где отчаянная голова моя не была бы в залоге; не осталось страны и народа, где не восставлял бы я мстителей за моего князя; не было сердца, где не раздувал бы я гнева! Всюду – презренный, гонимый, скрытый, незри-

⁹⁹ *Скорпия* – скорпион.

мый: я был скоморохом, когда душа моя страдала; дружил-ся, когда сердце мое отвращалось; нечистую руку татарина и литовца лобызал я, как десницу праведника! И когда, даже самые дети, внуки князя моего видели во мне только шута, безумца, соглядатая, крамольника, когда они отвергали меня, когда, наконец, иссохли слезы в очах моих, нет вздоха в груди моей, а я все еще живу, дышу одною мыслью, одним помышлением – не есть ли я орудие Бога, мученик за верность к могиле князя моего, когда и после успеха не жду я себе ни награды, ни почести от истлевших давно в осиротелом гробе костей моего князя, когда и на гроб свой не хочу я призывать благословения и памяти грядущих поколений, скрою, утаю от них все дела мои, все труды мои... И ты меня укоряешь гордостью!»

– Козни врага сильны. Испытай душу твою и во глубине ее найдешь ты укор, ибо слова твои уже указывают твое тайное, но гордое превозношение, кичение и высокоумие!

«Да, я превозношусь, так, как превозношится остов человеческий, не преклоняющий черепа своего ни пред Князьями, ни пред сильными земли! Но для чего же хранит меня еще Господь, когда уже двадцать раз мог я погибнуть на морях, в степях, в битвах, на плахе? Для чего голосу моему даст Он силу убеждения, уму моему силу победы над всеми препонами?»

– Брат Иван! не возносись... Испытай себя!

«Я возношусь? Я, пришедший к тебе с растерзанным

сердцем, с отчаянием в душе, чувствуя, что я недостойное орудие Бога...»

– Может быть отчаяние твое есть тайный призыв Господа, спасающего гибнущую душу твою? О! как эта мысль радует меня! Внемли мне, внемли... Ах! одно слово: Бог хочет орудия чистого, брат Иван, а ты, что употребляешь ты для дела своего? Заговоры, крамолы, меч поганых, вражду родных.

«Не я навожу, не я изобретаю орудия, но судьбы Божии являют их мне: я только употребляю их на мое дело. Разве я двигал орды Эдигея? Разве я возбуждал вражду между внуком Димитрия и сыном его, рассорил Василия с боярином Иоанном, грозил Новгороду, вложил честолюбие в душу Витовта?» Взор Паломника сделался мрачен; он вперил его в архимандрита. «Не ты ли более моего, – воскликнул он, – должен страшиться Бога, что малодушно бежал мира, когда мир отказал тебе в благах любви, счастья, почестей...»

– Несчастный! что напоминаешь, что говоришь ты! – сказал архимандрит, как будто испуганный внезапным привидением.

«Я так же, как ты мне, хочу явиться тебе неумолимою совестью. Неужели ты думаешь, я не знаю, что остаток мирского обольщения привлек тебя в Симонов, что доньше мысль о Боге сливается у тебя с памятью о той, которую разлучила с тобою окровавленная тень отца ее, что при самых алтарях она разлучает тебя от Бога... Лицемер пред человеками, но трепещи, судия мой, трепещи...»

– Великий Боже! – вскричал архимандрит, – неужели *единственный* человек, знающий тайны души моей, хранится Тобою для того, чтобы слова его показывали мне всю неразрушимость грехов моих! – Он дико глядел на своего собеседника. – Так, вижу, что ты выше суда человеческого, – сказал он, – и суетен суд человека, непостижимы судьбы Божий. Иди, твори на что призван – но зачем же приходишь ты ко мне? Беги в советы князей, будь у них гудочником, скоморохом, паломником, советником – оставь меня!.. – Он сложил руки; уста его дрожали; он усиленно творил молитву.

Собеседник его начал ходить по келье. «*Последний* человек умирает для меня в мире, – говорил он сам себе, – *последняя* душа затворяется скорби моей... Вижу знамение кончины моей, вижу, что скоро совершиться делу моему... Приими же тогда, Господи! душу мою, яко злато в горниле, очищенную жизнью мира сего! Он только, он один из человеков мог судить меня – и он умолкнет, и не помянется имя мое на гробе моем, и за безвестного брата вознесется молитва погребальная над моим гробом...» – Паломник сел на скамейку и вдруг спокойно начал говорить архимандриту:

«Ты вскоре надеешься окончить обращение князя Константина Димитриевича?»

Как будто от тяжкого сна пробудился архимандрит.

– Вскоре, если Бог благословит, князь начнет искус свой, – отвечал он.

«Ты должен от этого отказаться».

– Как?

«Отказаться, говорю я, и не отнимать князя Константина от мирского жития.»

– Никогда не откажусь, и не могу. Он дал уже мне слово.

«Разреши его».

– Ты хочешь увлечь его в мир?

«Должен. Князь Константин будет Великим князем и супругом дочери Иоанна Димитриевича».

– Никогда, нет, никогда!

«Отдай его миру, говорю тебе, или насильно вырвем мы у тебя слабую душу его. Неужели ты думаешь, он даром не приехал к тебе в последние дни?»

– Куда же вы влечете его, брат Иван?

«Не на худое дело. – Паломник улыбнулся. – На Великое княжение».

– Но князь Юрий, но дети его?

«Они не будут на Великом княжении. Боярин Иоанн уведомляет меня, что Юрий ослабел духом, а презорливый, гордый сын его, Василий, уже и теперь забывает, кому будет он обязан великокняжеским венцом. Если бы Константин был муж духом, то на другой день после ссоры княжеской мог бы уже он сделаться Великим князем. Юрию должен он дать удел, Василию Васильевичу тоже, но – он желает и страшится, хочет и не смеет».

– Совесть, как ангел-хранитель, оберегает его от злых наветов!

«О! успокойся: совесть его давно молчит, только смелости нет, и слово, тебе данное, удерживает его: я глубоко проник в душу князя Константина!»

– И в моих руках, говоришь ты, спасение души его? – Говоря сие, архимандрит быстро взглянул на Паломника. – Знай же, я не отдам ему слова его, – сказал он.

«Разве в мире не может спасти себя князь Константин? Он князь и должен быть не иноком, но князем».

– Драгоценен сосуд серебряный, драгоценнее позлащенный. Боже! подкрепи его, спаси его от козней хитрых, изгони из него дух тщеславия, гордости, суеты, приведи его в сию обитель твою, да променяет он венец на клубук и порфиру на власяницу! О Всемогущий! вся жизнь моя пред тобою – дай только грешным рукам моим довести к избранному стаду овна благородного, потомка Мономахова! Прославь обитель Твою, пастыря коей благоволил быть меня! – В глазах архимандрита, поднятых к небу, светился жар души, с каким говорил он.

Паломник смотрел на него внимательно. «И он говорил мне, – сказал наконец Паломник, – что гордость не должна быть доступна человеку, и он гремел страшными укоризнами против моей гордыни, и он отрекся от мира! И этот человек шел некогда со мною, одушевляемый одним чувством... И что разлучило так души наши, что разъединило сердца наши? И если это не гордость, то что же это такое? Какое чувство оживляет его?»

Паломник сложил руки на груди, несколько раз прошел по келье и остановился перед архимандритом.

«Более никогда не увидишь ты меня. Да судит обоих нас Бог, и да покроеет тайна разговор наш, да не узнает ухо, что изрек здесь язык наш! Благослови меня, отец Варфоломей, и – прости, прости навеки!»

Архимандрит, не говоря ни слова, благословил Паломника. Глаза их встретились и – слезы брызнули из глаз того и другого. «Брат! Друг!» – воскликнули они и – крепко обняли друг друга. Слышны были рыдания их...

Глава VI

Я вечер молода

Во пиру была,

Во пиру была,

Во беседушке...

Русская песня

В полном разгаре была Масленица московская. Как и ныне бывает на праздниках – Бог весть куда спрятались горе и беда, скудость и бедность! Казалось, что в Москве остались все только богатые, да веселые люди, а горемычный народ и нищета отправились из Москвы, куда глаза глядят. Великолепие, блеск, роскошь видны были повсюду – повсюду... да потому, что людские взоры обращаются только туда, где блестит и где весело! Освященные хоромы богача закрывали бедную хижину, таившуюся в тени, подле палат его, а клики веселых пиршеств и стук заздравных ковшей заглушали тихие вздохи горести, задушаемые в груди бедного соседа. Впрочем, Масленица всегда такое время на Руси, когда всякий русский человек веселится запоем. Если бы Масленица продолжалась у нас не неделю, а три, четыре – половина Руси сходила бы с ума, а другая не знала – чем прожить ей остальные одиннадцать месяцев в году! В старину веселье, в каждый день Масленицы, начиналось с самого утра. Надобно было *опохмеляться* от вчерашнего, а потом ехать

в гости, где дорогим гостям были радехоньки, потому, что это оправдывало новое требование – выпить: являлись блины и казались сухи: надобно было *промочить горло*. Потом надобно было *разгулять хмелину*: ехали на бег; сани сцеплялись целыми рядами, и со звоном колокольчиков и бряцаньем побрякушек на дугах сливались песни. Пешеходы бродили рядами и толпами и также пели, кто как мог и кто как умел. Толпы народа, с утра до вечера, собирались на льду Москвы-реки: там увеселяло их зрелище, похожее на забавы древних римлян – *кулачный бой*. Тут русский был совсем на своей воле... Вечером начинались новые потехи – *вечеринки*, где ужин соединялся с обедом, пили, не для того уже, чтобы опохмелиться, а чтобы нагуляться для нового похмелья на завтра. Заздравным чарам и чашам теряли счет, и потому, что они были подносимы без счета, и потому, что под конец веселья никто уже не смог считать их.

А женщины русские? Веселились ли они на Масленице? Говорят, что они сидели уединенно в своих теремах? Как это жалко и как много доставало к веселью стариков наших, если прабабушки наши не оживляли их бесед своими речами, взорами и веселостью!

Нет! не думайте, чтобы веселье не растворяло дверей и в женских теремах. Правда: в старину не было наших балов и женщины не смотрели тогда царицами, но неужели вы, хоть на одно мгновение, сомневались, чтобы женщины и тогда не владели умом и разумом людским, так же как и ныне? И

прежде – сквозь запоры и решетки, прокрадывалась любовь к девушкам, и женщины умели веселиться; только образ веселья бывал инаков. и не походил на нынешний. Ведь и щеголи тогдашние не были похожи на нынешних щеголей. По-слушайте, как водилось в старину...

Наступил вечер; народ гулящий разбрелся, разъехался по домам; двory набиты были санями, верховыми лошадьми, возками. Только на дворе боярина Старкова было тихо, по крайней мере было не так шумно, как обыкновенно бывало в праздники прежние у этого богатого и знатного вельможи. В окнах его хором не светились огни. Зато окна в тереме боярыни его были освещены ярко: боярыня пировала со своими подругами. Наденем шапочку-невидимку, обуем сапожки-тихоступы и войдем в терем, по широкой, но крутой, дубовой лестнице.

Почти никакого различия в убранстве женского терема, против мужских покоев, не было. *Будуаров* и *диванных* тогда не знали. Зеркал и туалетов не ведали, за щепеткое убранство госпожи отвечали рабыни. Пестрая изразцовая печь, с широкою лежанкою, огромная кровать, с толстою рамою у потолка, от которой опускались сплошные, дорогие занавесы до самого пола, пестрые ковры на полу, мягкие тьюфяки на лавках, расположенных кругом стен, поставцы и горки с золотом и серебром – вот, что принадлежало к терему женскому.

Присутствие Масленицы означалось в тереме боярыни

Старковой тем, что на обширном столе разостлана была дорогая скатерть, и весь этот стол заставлен был закусками, вареньями, пряниками, ягодами, яблоками и плодами, сушеными и мочеными, пастилами, *хворостами*, лепешками и блинами. Все это было освещено множеством свечей. Вокруг стола сидело несколько княгинь и боярынь. У дверей, в раболепном молчании, находилось несколько рабынь и подобострастно все они смотрели на угощенье и веселье боярское.

Богато одеты были гости – в бархате, жемчугах, драгоценных камнях. Ферези их, кокошники, серьги, ожерелья, зарукавья, телогрейки – блистали золотом и дорогим шитьем. Щеки их густо были покрыты белилами и румянами. Хозяйка стояла с подносом перед толстою какой-то княгинею и кланялась в пояс, держа в руках серебряный поднос, на котором были поставлены маленькие, золотые чарки.

– Княгиня-матушка, выкушай, – говорила хозяйка. «Мать ты моя, родная, – отвечала княгиня, – не сильна одолеть твоего радушия – не могу».

– Да, сделай же милость.

«Вот тебе слово правое – *не могу!*»

– Да, пожалуй же.

«Не беспокойся: не буду».

– Я сговорчивее тебя, княгиня, – сказала другая гостья, – не в черед беру.

«Покорно просим, боярыня, – отвечала хозяйка, – только

не погневайся на убогое угощение; чем богаты, тем и рады!»

– Ох, ты, моя распрекрасная! Ведь унижение, паче гордости! Сытехонька, пьянехонька – вот, что скажешь, как, побываешь у тебя в гостях! Ну-ка, бери что ли, княгиня!

«Нет, моя родная. Ей, ей! не в силах!»

– Девки сенные! повеличайте княгиню! – сказала хозяйка, обращаясь к рабыням. Они запели хором:

Хорошая княгиня, пригожая,
Ты боярыня умильная,
Свет Авдотья Васильевна,
А ты чарочки не задерживай:
Больше выльется, больше слюбится,
Слаще, крепче поцелуется!

Общий смех раздался по терему. «Ну, уж, что у тебя за песельницы такие, мастерицы-собаки!» – говорили гости.

– Да, живет-таки, хоть поют и спроста. Княгиня! пожалуй же выкушай!

«Что за спесь боярская, – шепнула одна гостья другой, – самой давно хочется, а все-таки отнекивается. Уж куда не люблю я чванных!»

– Машка! – вскричала наконец хозяйка старухе, которая стояла в углу, сложа руки, – стань на колени, проси княгиню! – Эта старуха была кормилица боярыни Старковой.

«Нет, нет! – сказала тогда княгиня, – что ты, милая моя, разурмяная! На что хлопотить старушку твою. – Подай, по-

дай!»

Она взяла чарку. Все другие гости поспешно взяли за нею. «Ну, девки! – сказала хозяйка, взяв в свой черед, и потом отдав им поднос, – спойте, да – смотрите же – не веселую, а заунывную».

– Да, да! – заговорили гости, – когда на сердце весело, то унылой песне, словно другу милому, рад бываешь. Вот тогда печаль ненавистна, когда сама, незваная, пожалует.

В огороде капусташка кочнем свивается,
А у меня ли золот перстень ручку жмет,
Сердце нежное горит, горит, вспыхивает,
В буйну голову от сердца ударило,
На щеках моих румянец выгорел,
Русы волосы на головушке высеклись,
В очах горячи слезы высохли!
Не видать-то мне друга сердечного,
Не ласкать друга задушевного,
Золотым перстнем с нёлюбом обменялася,
От сердечного друга отказалася...

Так пели сенные девушки боярыни Старковой. И вдруг среди этого унылого пения их одна певунья радостно воскликнула: *Гей, Сдунинай Дунай!* Быстрым переходом печальная песня перешла в шумную, плясовую: *Ах! где жена была, где боярыня была!* – Две девушки выступили на середину комнаты и начали русскую пляску. Они сходились, расхо-

дились, подпирались руками, притопывали ногами, искали, манили одна другую, убегали одна от другой. Все говорило в них: взор, поступь, улыбка – это был полный рассказ любви, всех ее страданий, мучений, стыдливости, победы, отчаяния, забвения... Но нам ли описывать *Русскую пляску*, это создание души русского народа, эту поэзию в лицах, и особенно русскую пляску, не изученную, не чопорную, не прикрашенную чужеземными прыжками и кривляньями, но, как чистый голубь, излетевшую из русского сердца, в первобытной ее простоте и красоте, или красоте и простоте, что все равно! Между тем еще раз песня сделалась унылою – запели о том, как любила молодца красная девушка, любила душевно и сердечно, как разлучила сердца их злая судьбина, и девушка обвенчалась с гробовой доскою, а молодец обручился с саблею острою... Вдруг потом, опять звонко раздались голоса сенных девушек:

Что не пир, что не пир, не беседа.
Где я милого друга не вижу,
Где постылый мой муж на почете,
На почете, постылый, в большом месте!
Надо мною, молодой, похвалился:
У меня-де жена молодая,
У меня хороша и гуллива;
По ведру она браги выпивает,
А чарочки, да кубки не считает:
А все хороша, да не пьяна,

А все меня старого любит,
Хоть не любит – лелеет, голубит!

Громкий смех раздался по терему, когда эта песня была окончена. Гости понемногу становились смелее и говорливее. Женский разговор переливается только в два тона: это голос соловья, когда в женщине говорит сердце, и – щебетанье воробья, во всяком другом случае! Мы не станем пересказывать щебетанья, какое началось тогда между боярыней Старковой и ее гостями: сердца их молчали! Следующую чарку доброго вина легче взяла и сама спесивая княгиня Авдотья Васильевна, только надобно было пропеть ей *Чарочку*. Знаете ли вы эту песню, которую перепевали в беседах русских из века в век и при которой все собеседники подтягивают своими голосами? Вот она:

Чарочка моя,
Серебряная,
На золотом блюде
Поставленная!
Кому чару пить?
Кому выпивать?

Здесь хор останавливается, и один голос поет:

Выпить чару
Свет (*поется имя*),
Выпить чару

(Поется отчество)

Хор быстро пристает к голосу и величает того, или ту, кто поет: *Многая, многая лета, многая, многая лета*) В то же время один голос напевает:

На здоровье,
На здоровье,
Чару выпивать,
Другу наливать!

Хор песельниц казался каким-то странным существом: человеком и машиною вместе. Когда приказывали ему петь, плясать – душа, жизнь являлись в хоре, голоса разливались стройно, звонко, радостно. Кончив пляску, пение – рабыни стояли неподвижно у дверей, как истуканы, опустив глаза и руки. Только одна Машка, старая кормилица, имела право подпирать рукою свой подбородок, держа другую руку под локтем поднятой к подбородку руки. Ей также оной позволялось произносить приговорки и слова: «Ах! мать моя! Ох! боярыня! Эх! красное солнышко, белая лебедушка моя, горлица ненаглядная».

– Что ты смеешься, подруга моя дорогая? – спросила наконец боярыня Старкова у одной гостьи, которая не разговаривала ни с кем и не могла удерживаться от смеха.

«Да что, – отвечала гостья, – пришел мне в голову смех, А вот он какой: отчего это в песнях все поется про молод-

цов, про любовников, а если где придется помянуть мужей, то они либо за чужими женами ухаживают, либо свою жену бранят, либо жены на них жалуются? А уж кто у песни в почете бывает, так это все *девушки*, и то *красные!*»

– Вот что вздумала, затейница! – отвечала, смеясь, другая гостья. – Да разве не знаешь ты, что век-то наш только и есть, пока мы в девках, а то уж какой тебе век – словно нехотя чужой доживаешь?

«Слава тебе, Господи! – вскричала третья. – Отчего бы так вам казалось?»

– А вот мы спросим у старушки, – прибавила вторая. – Скажи-ка, бабушка, – продолжала она, обращаясь к кормилице, – что ты думаешь о том, что мы теперь говорим?

«А что, боярыня милостивая, – отвечала старуха, кланяясь, – есть старое присловье: *сказка складка, а песня былль*. Видно, в самом деле так на белом свете и водится».

Гостьи засмеялись. Старшая по летам немного оскорбилась словами старухи.

«Хорошему же ты учишь, бабушка, – сказала она. – Будто так и в самом деле всегда на белом свете бывает?»

– Да уж видно, что *так*: из песни слова не выкинешь.

«А вот я первая, – возразила гостья, – не знала любви вашей до самого замужества».

– Ну, видно, боярыня, к тебе любовь не хотела зайти в гости и ты ей не приглянулась.

Подруги закусили губы, потому, что в самом деле спор-

щица была ряба и коса. Но самолюбие женское еще хотело противиться. «Нет, – вскричала спорливая гостья, – я узнала любовь, когда мой Филипп Яковлевич на мне женился, а посмелся-ка кто другой подкатиться ко мне, я так его скатила бы на зимних салазках, что и не опомнился бы он!»

– Я верю, матушка, что ты своего муженька больно любишь, только вот ведь какие две беды – сказала бы, да не смею...

«Говори, говори!» – вскричали все, и даже сенные девки осмелились оборотить глаза на старуху.

– А вот что, простите вы моему дурацкому рассудку, – начала старуха, – любовь, боярыни, дело вольное, и уж как ты мужа ни люби, как муж тебя ни люби, а все эта любовь похожа на соловейку в клеточке, которой поет, да не высвистывает – потому, что воли-то уж нет у вас, ни у тебя, ни у него.

«Да, что же? Если я этой неволе сама рада?»

– Так, матушка, а все ты будешь думать, что, может быть, он тебя поневоле только любит. А как уж один раз подумала, то – прощай наша Параша! Хоть волосом человека привяжи, хоть кандалами прикуй – все он на привязи. Если невзгоды в самом деле нет, да ты полагаешь, что есть, так и, стало быть, счастье-то вам уж приказало долго жить, а оставило вас так – *бессчастливыми* – ни при счастье, ни при несчастье. А человека Господь на счастье ведь создал, и в эдакой, несчастной-то доле, сердцу его и неловко кажется.

«Нет, нет!» – вскричали многие гости.

– Постоите, – сказала одна из гостей, – бабушка не сказала еще нам о другой беде.

«Да, да!»

– А вот какая другая беда, государыни-боярыни, что опять любовь-таки и невольное дело. Как ты полюбишь и сама не знаешь: иногда вдруг – взглянула, да и не опомнишься, и уж не взмилится тебе ни родня, ни белый свет; ни питье, ни еда на ум нейдут; сердце сохнет, грудь горит, по коже – как будто мурашки бегают; часы кажутся годами, а дней не замечаешь, смотря по тому: розно или вместе бываешь с любимым человеком. А иногда злодейка-любовь подкрадет потихоньку – сперва будто и не любишь, и не воззришься на задушного-то человека, даже больно не полюбится он тебе, а потом – пуще отца и матери, рода и племени...

«О, нет, нет! – заговорили многие, – это все бывает, когда любовь не просто приходит. Ведь есть злодеи, колдуны, нашептывальщики, заговаривальщики...»

– Колдуны! – молвила тихо одна молодая гостья другой, – какое тут колдовство: голубой глаз, русые кудри, богатырская поступь, да горячее, горячее сердце...

– Ах! – отвечала ей та, которой она говорила, – я давно уж забыла такое время, давно пережила его и состарилась...

– Ну, уж будто ты старуха! Хороша твоя старость – ведь и теперь еще двух лет нет, как ты замужем. А скольких лет ты выходила?

«Семнадцати... Ах! я тогда была еще *очень молода...*» –

Слезы навернулись на ее глазах.

Та, которая говорила с нею, задумалась. Другие между тем шумно разговаривали с кормилицей, смеялись, спорили. Задумчивая гостья оборотилась к своей подруге и говорила ей тихо: «Душа моя Анфиса! ты на все так-то горько смотришь, как будто тебя и радостью-то обошли на белом свете...»

– Да, – сказала Анфиса, – мне кажется, что я незваная гостья на пиру жизни.

«Ты, милый друг, все сокрушаешься, кажется мне, о потере твоей хорошенькой малюточки, – сказала ей толстая боярыня, сидевшая с другой стороны, вслушавшись в ее речи, – полно тебе: что Бог дал, то взял... Возложи печаль на него!»

– Ах, матушка! – сказала кормилица-старуха, подойдя к печальной гостье и вмешавшись в разговор, – гневишь ты Бога, если о дочке своей скорбишь, да жалеешь!

«Перестань, бабушка! Мне кажется, я тогда только и спокойна, когда об ней подумаю, да помолюсь за нее, или за упокой души ее подам в церковь!»

– О, худо ты делаешь, гресишь ты тяжко. Знаешь ли, что ты причиною, может быть, *ее непокоя*? Иное дело за помин грешного человека подавать – ты облегчаешь его душу, которая не может от земли оторваться. А младенческая душка, чистая, прямо к Богу идет! Ведь ее на земле и удерживала только любовь твоя; теперь, пока ты горюешь о ней, не расстаться ей с землею и в царствие Божие не войти. А ты благоволити ее, отпусти с молитвою, да и забудь о ней до радостной

встречи на небесах!

Тут пришла в терем другая старуха и начала что-то шептать на ухо боярыне Старковой. Весть казалась любопытною. Все обратились к ней с вопросами.

– А вот видите, дорогие мои гости, хотела я вас угостить всем, чем только могу, и велела сказать одному премудренному старику, чтобы он сегодня пришел к нам.

«Старику? Какому? Зачем?»

– Зовут его *Иван Гудочник*. Был он у меня однажды – согрешила я, грешная – поворожиться у него захотелось...

«Ах, ах! Он колдун, колдун!» – вскричали гости.

– Колдун, правда, а уж такого забавника я и не слыхивала! Чего-то он мне не рассказал – Господи, твоя воля! Говорят, будто он и к Великой княгине ходит часто. – Это было сказано тихо, а потом боярыня продолжала громко. – О чем ни спроси: и бывшее, и будущее, все тебе порасскажет, как будто пять пальцев пересчитает! А как начнет от Писания, так, правое слово, два дня слушала бы его...

«Приведите его, позовите скорее!» – вскричали все гости.

Боярыня дала знак. Через несколько минут, при глубоком молчании, явился старик – Иван Гудочник, Иван Паломник, литовский колдун – как хотите называйте его – и с веселым лицом раскланялся низко хозяйке и ее гостям.

– Что это давно ты не был у нас, дедушка? – сказала хозяйка. Гости с любопытством рассматривали пришельца.

«Куда, боярыня, ведь не успеешь, право – и туда и сюда – совсем замыкался!»

– Поднесите-ка, девки! старику, добрую чарочку.

«Благодарствую, боярыня! После выпью, за твоё здоровье!»

– Где же ты сегодня был? Где ты погулял сегодня, дедушка?

«Дело масленичное, боярыня. Вот, знаешь – и поворожишь, и споешь, и спляшешь! Хм! ведь нашему брату все рука!»

Вопросы посыпались тогда со всех сторон. Откровенный, добрый вид старика ободрил всех. Стали просить его сыграть что-нибудь. Старик вынул свой *гудок*, настроил его, запел, заиграл, пошел плясать, важно, легко, бодро. Смех, хохот, шутки заняли собрание. Пение старика было самое разнообразное, искусное. Песни, с разными тарабарскими припевами, как-то: *Шилды будылды, начики чикалды, таралды баралды, бух, бух, бух*, – песни литовские, казацкие, застольные новгородские, присказки, скороговорки старика и прибаутки заставляли невольно хохотать. Гости, боярыни сами пели и плясали, когда старик подыгрывал и подпевал им.

– Ну, признаться, – сказала наконец одна гостья, – давно слыхала я о тебе, дедушка, но все не думала, чтобы ты был такой сердечный человек! Я все тебя прибаивалась. Ведь неспроста говорят, да и сам ты конечно сознаешься, что немножко и с лукавым ты водишься?

«Нет, пригожая княгиня, я не вожусь с ним, а держу его в руках – таки нечего таить – довольно крепко!»

– Ах! – закричали все, как будто уже видели перед собою духов тьмы, запрыгавших по слову старика.

Гудочник перекрестился. «Наше место свято! – сказал он, – чего же вы боитесь? Вот то-то, боярыни, и правда, что *волос долог, да разум короток*. Ведь колдовство колдовству разница: есть злые колдуны, которые продали себя Искусителю – ведьмы, что в трубу влезают, на помеле летают, пляшут в Киеве на Лысой горе, сеют решетом воду, обращают ее в град и выбивают хлеб на полях у православных – да мало ли этакой дичи есть! Другие же колдуны, как я, примером сказать, – мы христиане и для того мы и трудимся, чтобы зло ненавистников отвращать. Куда бы вы без нас? Как ты иную болезнь исцелишь, если не поколдовать? А на свадьбах-то? Куда деваешься от злого человека, если нас не будет!»

Сими словами любопытство было возбуждено чрезвычайное. Начали спрашивать старика о разных околдованьях.

– Мало ли их бывает, – отвечал он, поглаживая свою бороду и лукаво усмехаясь. – У иного такой глаз, что как взглянет, так вот сердце у тебя будто горячим железом прожжет – уж и не опомниться! Тут-то колдун и делает с тобою что хочет, и тот, кого он заморозил, будто овечка, идет, куда велят ему.

«Правда!» – шепнула печальная Анфиса своей подруге.

– А вот этак, боярыни, слышали ль вы, примером молвить,

что было с прадедушкой вашего Великого князя, Василия Васильевича, как испортили молодую его на свадьбе?

«Нет, мы хорошо не знаем!» – заговорили все присутствовавшие, стеснясь к Гудочнику, будто дикие козы.

– А вот оно как было: дедушка Великого князя, знаете, был *Димитрий*, а у Димитрия отец *Иван*, а у Ивана младший брат Андрей, от которого пошли князья Боровские, братья Марьи Ярославовны, а старший Семен. И после родителя своего, Ивана Даниловича – знаете, что *Калитой* звали, – сел Семен на княжение и задумал жениться. И послал он по княжну Евпраксию, дочь князя Смоленского. Княжна плакала, не хотела – она уж, видите, любила князя Фоминского, Федора Красного.

«Что это! – вскричала княгиня Авдотья Васильевна. – Надоели: все любят, да любят...»

– А что же ты станешь, княгиня, делать? Ведь уж так сотворено все: солнышко любит землю, земля любит месяц, месяц влюблен в утреннюю звезду, а звезда эта в зарю – вот они один за другим и бегают...

«Рассказывай, рассказывай, дедушка!» – говорили другие гости.

– Ну! Слушайте. Только, как люби не люби, Смоленский князь прикрикнул на дочку свою – замерла, бедная, будто сердечушко выскочило у нее из груди... Что же? Ходит, говорит, смотрит глазами, а точно каменная. И как только привели ее к князю Семену, он хочет обнять ее – ан она и по-

бледнеет, хочет поцеловать – она и помертвеет. Князя Семена возьмет ужась смертная, закричит он: *Мертвец, мертвец!* – и убежит от молодой княгини своей. Ведь нечего было ему сделать: призывали знахарей, пели молебны, переворачивали матицу, от семи порогов сор не выметали, по три дня стлали постель на семи стрелах – ничто не пособило! Князь Семен вздохнул тяжело – хороша была княжна Евпраксия, – посадил ее в возок, насыпал ей досканец золота и отправил ее к отцу. Выехала она из Москвы и в первый раз вздохнула, как живая; когда доехала до Можайска – усмехнулась; когда приехали в Смоленск – первый человек навстречу ей был князь Фоминский. Он трои сутки ждал ее на дороге, стоял не пивши, не евши, не чувствуя, как шел на него дождь, как расстилалась над ним темная ночь, как восходило на небо ясное солнце, как роса небесная падала на его русые кудри. Только завидела его княжна Евпраксия – слезы покатались у нее из глаз, будто жемчуг, а на щеках вспыхнул румянец – она *ожила!*

«Ну, ну, что же далее?»

– Ничего. Евпраксия вышла за князя Фоминского и – колдовство разрушилось. Она не была более мертвецом, когда князь Федор обнимал ее, целовал и не мог насмотреться на ее очи ясные, не мог нацеловаться сахарного ее ротика.

«Ахти! какие же чудеса! – сказала одна из гостей, схлопнув руками. – Теперь чуть ли я не понимаю, что сделалось с моею Алексашею...»

– А что сделалось с нею, боярыня, – спросил Гудочник, – разве она не по себе?

«Да уж чего я с ней не делала: и заговорною-то водою, и богоявленскою-то поила, и с четверговою солью из семи квашен тесто сминала, да для нее хлеб пекла».

– А что бы такое, нельзя ли тебе порассказать, что с нею делается, так, авось, делом смекнуть можно.

«Как и рассказать-то не знаю. То она засмеется, то заплачет, то запрыгает, то целый день, как будто окаменелая, просидит в углу, то щеки у нее, словно жар горят, то вдруг бледна, будто полотно... смаялась и я с нею!»

– Который ей год?

«Да уж девятнадцать скоро минет».

– Ну, эту болезнь и легко и нелегко вылечить. Называется она *сердечная лихоманка* – она *сорок первая* сестра сорока лихоманкам, дочерям Ирода, как вы, чаю, знаете. Коли поволишь, боярыня, мы с этим сладим.

«А ты думаешь, дедушка, будто у нее сердце по ком-нибудь тоскует? И, нет: она у нас такой еще ребенок и никого, кажется, и видеть-то ей не удавалось. Да я же и старик мой у нее спрашивали: „Скажи нам, милое дитя наше: не полюбился ли тебе кто? Не вещует ли тебе о ком ретивое твое сердце? Готовы мы отдать тебя за него, хоть бы это был человек небогатый и нечиновный. Одна ты у нас, дитя милое, как солнце на небе, как порох в глазе...“ Молчит, либо скажет: *нет!* да заплачет, и больше слова от нее не добьешься...»

– О, дивны, дивны, речи твои, боярыня, а я уж делом почти смекнул... Такие ли чудеса порасскажу я тебе! Болезнь твоей дочери такова, что с нею ничто в белом свете сравниться не может – ни сребролюбие, ни славолюбие, ни горе великое; не окупишь ты ее ни богатством, ни царством. Золото и самоцветные камни кажутся при ней хуже грязи, а рублище и сухой хлеб с водою – краше боярского, парчового платья, слаще яств лебединых, и соломенная кровля драгоценнее палат великокняжеских! От нее не убежишь ни в монастырь, ни в пустыню. Бывали примеры, что страдавшие славолюбием и корыстью уходили в обители, пред алтарем повергали богатства и славу мирскую и забывали все в посте и трудах. Но эта болезнь – не было еще примера, чтобы в монастырской келье она прошла и угасла: только замрет она, окаменит душу, а не разлучится она с человеком никогда – до гроба и за гробом сливается со славою того, кто сам себя назвал Любовью... Послушайте, спою вам я, боярыни, повесть...

С радостным восклицанием сели на скамейки, за стол хозяйка и гости. Гудочник взял в руки гудок свой, настроил его, стал посредине комнаты, обратился лицом к слушательницам и тихо проговорил:

«Повесть о дивном чуде, бывшем в Цареграде во дни царя греческого Валента¹⁰⁰».

Он сделал несколько переборов на гудке своем, опустил

¹⁰⁰ Валент – император Византийский в 364—378 гг.

глаза вниз, перестал играть и сказал:

Не насытишь души своей мудростию,
Не спасешь от кручины и горести —
Такова, человек! судьба твоя!
А воля Божия не изменится,
Не пойдет волна супротив воды,
Не зацветет дерево засохлое,
Не взойдет солнце среди ночи,
Не являться месяцу в полудень.
Послушайте повесть, люди добрые!

Гудочник поклонился низко и особенным речитативом начал напевать, подыгрывая на гудке:

В славном было городе Царьграде,
Жил-был там большой боярин,
Хоробёр смолоду, а мудр под старость,
Седина его мудростью убелилась,
Золота, серебра было у него без сметы,
У царя был он в чести, в почете,
Первым сидел он в Царской Думе.
Высоки были его красные хоромы.
Могучи были его добрые кони.

«А все суета!» – молвил Гудочник и продолжал:

Но утеха его под старость,
Дороже ему серебра и злата.

Дороже камней самоцветных.
Дочь была у него – родимое чадо,
От супружества честна, многолетняя,
Красавица первая в Царьграде,
Бровь соколиная, ходит, будто пава,
Бела, как снег русский, а щеки румяны,
Будто красное Христовское яичко...

В это мгновение показалась в двери седая голова старика, боярского управителя. Хозяйка поспешно встала со своего места и заботливо начала спрашивать его: «Что тебе надобно, Онисифор? Чего ты ищешь?»

Старик вошел в комнату, помолился образам, низко поклонился на все стороны и чинно проговорил: «Боярыня, государыня! приказал мне известить тебя боярин, что возвратился он домой и изволит обретаться у себя».

Хозяйка и гости вздрогнули невольно. Управитель продолжал: «И велел молвить, что желал бы прийти к тебе в терем, со своими боярскими гостями, если только не помешает он веселью твоих гостей».

– Дорогие мои подруги, конечно, будут рады честным гостям, – сказала хозяйка, обращаясь к гостям своим.

«В твоей воле, дорогая наша подруга», – заговорили гости.

Хозяйка подошла к управителю и вполголоса спросила: «Весел ли боярин?» – «Как ясное солнышко весел и радостен: он получил великие почести от Великого князя», – ти-

хо отвечал управитель. Боярыня махнула рукою; управитель пошел, по данному знаку – Бог знает для чего – служанки убрали все чарки и чашки, оставя на столе только закуски; гости поправили свои уборы, скромно сели рядком, каждая сложила руки, опустили глаза, веселая непринужденность их исчезла. Хозяйка стала среди терема, как будто для встречи гостей.

– Мать моя, боярыня! велишь ли мне выйти, или позволишь остаться и повеселить гостей? – спросил смиренно Гудочник. Мы забыли сказать, что рабыни боярские все скрылись тогда в другую комнату и кормилица боярыни ушла с ними, но, отворив немного дверь, она ждала: не прикажут ли ей чего? – Боярыня казалась в недоумении. – «Меня ведь знает боярин твой, государыня», – примолвил Гудочник, взял гудок свой, вышел в переднюю комнату и остался там.

Вскоре на лестнице послышались веселые голоса и смех боярина Старкова и гостей. Лишь только боярин отворил двери, как раздался звучный голос Гудочника: «Се жених грядет в полунощи!» – «А, старик! ты здесь – вот спасибо!» – сказал боярин. Он и гости его были уже гораздо навеселе. – «Постой же, мы позовем тебя», – прибавил боярин.

Он вошел в терем, за ним шли почетные бояре великокняжеские: Юрья Патрикеевич, Ощера, князь Тарусский, князь Мещерский и другие, всего более десяти человек.

«Здравия и душевного спасения!» – воскликнули при-

шедшие. Хозяйка и гости низко поклонились им. «Княгиня Авдотья Васильевна – матушка Ненила Ивановна – Юрья Патрикеевич – Иван Федорович», – раздалось с разных сторон.

– Что же? Ведь скоро и *прощеный день*, начало поста, – сказал боярин Старков, – а там Светлый праздник; скоро придется прощаться, а тогда христосоваться, теперь же можно просто поцеловаться – дело масленичное! – Он утер бороду и начал целоваться с гостями, по порядку; за ним пошли другие бояре.

– Эх! мало! – воскликнул Старков, поцеловавшись с последнею. – Кого бы еще поцеловать?

«Кубок с добрым вином, – отвечал Ощера. – Какой ты недогадливый!»

– Ах! и в самом деле! И боярыни выкушают с нами!

«Нет, нет! Мы не употребляем ничего хмельного!» – заговорили все они.

– Да ведь в вине хмелю нет!

«Нет, нет! Ах! нет! Не станем!»

– Ин, хоть грушевки, что-ли, хозяйка добрая! А, нам винца либо медку. Да, попочтевай, что тут у тебя, вареное, пряженое...

Гости расселись по лавкам, хозяйка ушла в другую комнату и вскоре явилась с подносом, на котором были чарки по числу гостей и кубки по числу гостей. Начался шумный разговор между мужчинами.

– Ну, где же ты, старик, ступай-ка сюда! – вскричал наконец боярин Старков.

Гудочник явился с гудком своим и с низкими поклонами. «Поздравляю тебя с великокняжескими милостями, боярин», – сказал он.

– Ха, ха, ха! разве уж об этом толкуют в Москве? Да как это народ узнал?

«Княжеская милость, словно орел, по поднебесью летает, и не диво, что все видят и знают ее. Народ знает даже и то, что ты остаешься в Москве главным начальником, а князь Юрья Патрикеевич идет с победоносным воинством разгромить врага великокняжеского».

– А что ты думаешь: разве хуже другого разгромлю? – вскричал Юрья, – да, вот как! – Он осушил разом стакан свой, поставил его на стол и взялся за хворосты.

«Исполать тебе молодцу!» – вскричали другие.

– Однако ж, боярин, – сказал Юрья, – пировать, пировать, да не запириваться – ведь нам в эту ночь много дела.

«Как, батюшка, князь, – молвил Гудочник, – в ночь? Да ведь Бог создал ночь на покой человеку?»

– У кого есть такие дела, как у нас, – отвечал Юрья, – тому все равно, ночь ли, день ли. Завтра утром в поход...

«И сокрушатся враги твои!»

– На здоровье! – вскричали все,

«Да выкушайте, боярыни, княгини, с нами. Эх! родимые! С такими молодцами, да не выкушать!»

– Нет, боярин! отродясь во рту у нас капельки хмельного не бывало, – сказала одна. – «Да и пора со двора», – прибавила другая. Все встали, начали прощаться и целоваться с хозяйкою, тихо, важно, со щеки на щеку и в губы. Бояре выгадали себе по поцелую и весело отправились в большие покои хозяина, оставя хозяйку в тереме. Гудочник успел уже пропеть боярам несколько песен; и особенно угодил следующей песнею:

Не от грома, не от молнии, не от вихоря
Застонала мать-сыра земля, леса приклонилися,
А от великой дружины великокняжеской,
Да от топота борзых коней.
Что в поле засверкало, зазарилося?
Засверкало, зазарилося
Оружье богатырское.
Не ясен сокол во поле выпархивает,
Не молодой орел пошел по поднебесью,
А выезжал воевода Юрья Патрикеевич,
А и конь под ним, будто лютый зверь,
По три сажени конь его перескакивал.
А остается в Москве советный муж,
Что опора Думы мудрая, Думы княжеской,
Свет боярин Филофей Пересветович.

Радостные восклицания не дали кончить сей песни. Со всех сторон набросали в шапку Гудочника множество серебряных денег. И когда Гудочник намекнул, что может кое-

что сказать еще и о будущем успехе, то бояре стали просить Старкова не отпускать Гудочника. Никогда и никто из них не видал этого старого скомороха таким веселым, забавным, говорливым. Казалось, что Гудочник порядком подгулял на Масленице.

Шумливая, гулливая беседа началась в комнатах боярина, откуда все рабы и домочадцы были удалены, кроме старика Онисифора и еще двух рабов. Вскоре приехало к Старкову еще несколько думных людей: надобно было положить окончательные распоряжения на завтрашний день. Приезжие были еще довольно трезвы и хотели выпить и погулять, не приступая еще к делу. Гудочник снова пел, плясал перед собранием столпов великокняжеского совета.

Уже прокричал полунощный петух, когда Юрья Патрикеевич повел рукою по лбу и сказал Старкову:

«Не пора ли, боярин, за дело?»

– Еще...

«Нет! ведь и без того становится тяжела голова на плечах...»

– Ну, так отдохнем, сядем.

«Да не прикажешь ли, боярин, что-нибудь порассказать гостям? – спросил Гудочник. – Ведь у меня есть такие предивные были и небылицы, что люли тебе, да и только...»

– Быть делу так! – вскричали все и спешили сесть, кто как умел и успел. Гудочник стал перед ними и начал – был не был, да и на небылицу не похоже. Вот, что рассказывал он

– послушайте.

Глава VII

*Начинается, починается сказка сказываться,
от сивки, от бурки, от вещеого каурки...*

Начало русской сказки

Никому из вас, князья и бояре, нечего сказывать про Великий Новгород, не про нынешний, а про старый, о котором за морем в прежние годы говаривали: *Кто против Бога и Великого Новгорода?* – Говорят: каменную стеною в три ряда обнесен тогда был Новгород, а Волга текла под его стенами, и по Волхову был ход до океана полунощного. По Волге возили в Новгород золото, серебро и узорочье восточное; по морю, с запада, привозили вина и коренья волошские¹⁰¹; с полуночи корабли приходили в Новгород с мехами пермскими, а с полудня приезжали в него купцы греческие. Через самый Новгород надобно было ехать три дня борзою, конскою выступью; в Софийском соборе помещалось народу по двадцати по две тысячи; воеводы и посадники подбивали подковы коней золотом, кормили коней шафраном эфиопским и выводили в поле воинства по сто тысяч конного, да по двести пешого. Ну! правда не правда – не знаю, а так сказывают.

Повесть времен старых, дела лет прошедших: сам я там не бывал, а что слышал, то и переговариваю, да если и прилгу –

¹⁰¹ ...вина и коренья волошские – т. е. из Валахии; историческая обл., располагавшаяся между Карпатами и Дунаем.

так что же делать? Сказка не сказка, на быль не схожа, хоть и на правду похожа. А ведь и птица без хвоста не красна!

Вот, в это старое, бывалое время жил в Новгороде некоторый человек по имени Железняк Долбило. Смолоду слыл он первым богатырем в Новгороде. Случалось ли новгородцам идти на чудь белоглазую – Долбило ходил всегда в первых рядах. На руки тогда надевал он железные рукавицы, и все оружие состояло у него в одной палочке железной, а весом была та палочка в семь пудов. Как пойдет Железняк в толпу чуди, так всегда бывало ворот у рубашки отстегнет, пояс распяшет – жарко ему станет – перекрестится и начнет крестить палочкой своей на обе стороны: так перед ним и откроется широкая дорога – чудь только визжит да валится! Хаживал он и по Ладожскому озеру, которое называлось еще тогда *озеро Нево*, в ладьях, с новгородскими дружинами. Захаживали они далеко, в Ямь рыжеволосую¹⁰², в леса дремучие, где такие высокие и ветвистые деревья, что летом в тени их никогда снег не тает, а если захочешь на верхушку их взглянуть, то шапка свалится с головы. Кроме всего этого, плавал Железняк далеко, по морям неизвестным, бурным, к Белому морю и к Зеленой земле¹⁰³, где, говорят, есть ледяная гора, а из той горы бьет кипячая, горячая вода на сорок сажен кверху. А однажды плавал Железняк с фряжскими купцами, куда-то на полдень, в жаркую землю, где солнце прямехонько

¹⁰² *Ямь рыжеволосая* – древнерусское название финнов и Финляндии.

¹⁰³ *Зеленая земля* – о. Исландия.

в темя лучами палит. Так знойно было им там, что на корабле их смола растапливалась, а по железу нельзя было ногою ступить. Наконец ходил Железняк за Пермию Великую, за Заволочье, где, сказывают, живали такие звери, что слон перед ними, как мышь перед коровою. И уж этих зверей давным-давно нет: по Божьей воле все они перевелись. Только остались после них целые костяки. Такое диво, что как зверь ходил, так издох, так пролетели над ним годы, кожа и тело с него отвалились, а кости побелели и сделались, словно снег, белые. Так эти костяки и теперь находят, а звали этих зверей *мамант*, и из костей их точат теперь подсвечники и паникадилы перед Божьи образа. Ведь в старые годы и люди были не такие, как ныне: живали они лет по три и четыреста, а кто покрепче, так по шести, семи, восьмисот, а Аред да Мафусаил жили один 962, а другой 969 лет. Были ведь они народ рослый, сильный, исполины пред Господом. Судите по строениям, какие они дельвали: Нимврод построил город Вавилон Великий, и стены у этого города были такие широкие, что семь телег рядом езжали по стене. Диво ли, что такой народ загордился и Бога забыл? А гордым Бог противится. Гордость и Денницу¹⁰⁴ погубила и из светлого архистратига Божия сделала темного духа злобы и родоначальника смертных грехов. Вздумал этот народ шутку: построить столп до небеси! Вы слышали про столпотворение Вавилонское, когда

¹⁰⁴ *Денница* – имя Люцифера (Сатаны) в древнеславянской Христианской литературе.

Бог смешал языки и рассеял племена людские по лицу земли? Да, не о том теперь речь. Это к слову пришлось сказать. Цветной рассказ, как шитье персидское – чем пестрее, тем красивее. Посмотрите на лугах, когда расцветут цветы – и не перечтешь их! Зато, когда они цветут, так сами ангелы Божий любят ими с небеси и поливают их небесною, жемчужною водою всякое утро. А мы на прежнее обратимся.

Вот, после таких, многих походов и подвигов, не диво, что Железняк Долбило сделался богат, да так-то богат, что и счета не знал своим сокровищам. Стал он стариться, перестал из Новгорода ездить. Голова его через волос седела и сделалась, как на добром бобре, серая. Пошел он однажды в Софийский собор, поднял икону Богоматери, велел отпеть молебен и заложил себе хоромы. Три месяца рылись в земле: все вырывали подвалы; да три года строили на поверхности земли; все выводил стены, терема да палаты. Да были же и хоромы – на удивление целому свету! Один вор забрался как-то к Железняку, набрал серебра и золота, хотел выйти, ходил, ходил по хоромам и выхода не сыскал. Так сам и отдался в руки. Камень возили Железняку из-за моря, а ломали его у Ями рыжеволосой, а крышу крыли мурманским железом и потом всю вызолотили так, что вся она от солнышка горела, словно жар. Тут было узорочья и диковинок – и Бог знает сколько! В подвалах стояли престрашные сундуки, от которых и ключи Железняк в Волхов побросал, потому что не хотел отпирать этих сундуков никогда: и без того золота и серебра девать

ему было некуда.

Так и жил, да поживал Железняк Долбило. Нраву был он сурового, неприступного; почти никогда не раздвигались его черные, нахмуренные брови. В праздники веселился у него весь Новгород. Большие люди в хоробах, черный народ перед хоробами, и тут бывало такое разгулье, что не только хозяин яств и питья не жалеет. Поит все вином да медом, но еще мешками кидает в народ серебряные деньги. Народ, как собаки, дерется, кусается, бывало, за серебро, а Железняку любо.

Прошло много лет. Железняк уже и совсем поседел. Где богатого не уважать? Так и Железняка: любить его не любили, а кланялся ему всякий и каждый. Кто и перед посадником шапки не ломал, тот за версту перед Железняком в карман ее прятывал. Наконец выбрали Железняка и в посадники. Но такое чудо: ни богатство, ни посадничество – ничто его не веселило: все он был угрюм и пасмурен. Ходит, бывало, по своим обширным хоробам, сложа руки, нахмурив брови – страшно поглядеть – будто темная туча висит над Варяжским морем!¹⁰⁵

«Седина в бороду, а бес в ребро», – заговорили в Новгороде, когда вдруг услышали, что Железняк вздумал на старости лет жениться, и уже *рукобитье*¹⁰⁶ было у тысяцкого Феофила за молодую его дочку – красавицу, каких всего считалось

¹⁰⁵ *Варяжское море* – Балтийское море.

¹⁰⁶ *Рукобитье* – свадебный сговор.

тогда в Новгороде только три, а Новгород всегда славился красотой дев своих. Судите сами: каковы же были эти три красавицы? Да, вот что сказать вам: об одной из этих красавиц король Мурманчский песню сложил, в которой сказывал, как он по синим, далеким морям плавал, как с врагами бивался, *а меня, говорил король, меня молодца, дева русская не полюбила!* Таков был припев из песни короля Мурманского.¹⁰⁷

Сыграли свадьбу. Стал Железняк жить с женою красавицею, зашил ее в парчи и камки, засыпал в жемчуг, завалил золотом и каменьями индийскими, такими, что от них и без свеч в тереме ее ночью было светло, хоть мелкую скоропись читай. Что же? Сам Железняк не повеселел, да и жена его не была радостна. Прошло времени, сколько, не знаю. Просится у него жена на богомолье. «Отпусти меня, – говорит она, – супружник мой: помолиться Богу, чтобы Бог нам дал сына либо дочь».

Я и забыл было вам сказать, что детьми Бог их не благословлял. Железняк задумался. «На что тебе сын или дочь?» – сказал он жене. – «На то, – отвечала она, – чтобы в молодости было нам утешение, а в старости прокормление». – «Молодость моя уже прошла, а прокормиться под старость есть чем, – сказал ей Железняк. – И неужели ты думаешь, что всякое дитя есть знак благословения Божия?» – Он тяжело вздохнул. Жена его замолчала; слеза, как бурмитская

¹⁰⁷ *Король Мурманский* – Норвежский король.

жемчужина, покати́лась у нее по щеке. «Люблю я тебя, Ма-
рья Феофиловна, – сказал Железняк, – и чувствую, что за-
губил я твою молодость! Не к моему бы сердцу железному
прижиматься было твоему нежному сердцу; не мне бы, ста-
рику, владеть твоими лазуревыми очами... Так и быть: де-
лай, что хочешь!» – Жена съездила на богомолье; Железняк
стал еще угрюмее. Через год, не более, родился у него сын.
Такого чудного красавца, как этот новорожденный сын Же-
лезняка, и в сказках не слыхано. Русые кудри в три ряда у
него завивались; глаза его были, будто киевское небо, голу-
бые, светлые; сам был, как будто молоком облит; на щеках
румянец, как будто облачко, когда глядится сквозь него вос-
ходящее солнышко. Говорили в Новгороде, что у Железняка
родился сын, такой, у которого *во лбу было ясное солнце, в*
затылке светел месяц, по косицам частые звезды, а волос
золотой, через волос с серебряным. Так ведь в сказках гово-
рится, а мой рассказ, хоть не прямая сказка, а сродни при-
сказке, у правды же только в гостях бывал, и тут худо его
угостили: меду сладкого подносили, да по усам текло, а в рот
не попало!

Когда Железняк увидел сына своего, то в первый раз сроду он улыбнулся. По крайней мере, не знали: смеялся ли Же-
лезняк бывши дитятею, а у взрослого улыбки не видывали? Потом перекрестил он рукою своего сына и также в первый раз сроду, заплакал, и поплакал-таки довольно. А потом пу-
ще прежнего задумался Железняк. Крестины были богатые;

гости, все до одного, свалились под столы дубовые, а кубки их простояли на столе всю ночь, вровень с краями налитые и нетронутые. Видно: были гости хорошо употчиваны, и уж душа-матушка не принимала, глаз видел, да зуб не нял. Что же сделал железняк на другой день? Поехал из Новгорода, взял казны многое множество и уехал к Студеному морю¹⁰⁸, на реку – как бишь имя ее? Забыл, да и только! Вот так мимо рта суется, да не схватится! И то сказать: не все переймешь, что по реке плывет, не все упомнишь, что говорят добрые люди. Правда – иное и забыть не грех, а другое грех помнить!

Жена Железняка нянчила своего милого дитятку, любовалась им, утешалась и недоумевала: куда делся его отец, а ее муж, Железняк Долбило? Не было об нем ни вести, ни повести. Но через год пришла весть, перепала повесть: приехал старый, верный слуга его, с грамоткой. Писал к жене своей Железняк, чтобы она не крушилась об нем, не горюнилась; чтобы не ждала его она никогда в Новгород, и что он уже *не мирской*, а *Божий!* Железняк благословлял сына, прислал к жене ключи от всех ларцов, сундуков и кладовых, завещал все своему сыну с его матерью. Сам же он построил близ Студеного моря обитель великую, собрал братию многочисленную, постригся, на третий день посхимился, а на четвертый замуровался в стену так, что оставил себе только маленькое окошечко, в которое подавали ему каждый день по кружке воды, да по сухарю. Братия глядела иногда в окошечко, же-

¹⁰⁸ *Студеное море* – Северный Ледовитый океан.

лая знать, что делает Железняк? И всегда видели они его на коленях, в молитве, в слезах и воздыхании.

Изумилась Марья Феофиловна, услышав такие неожиданные вести. Но что же было ей делать? Тяжело вздохнула она, призадумалась и подошла к колыбельке сына своего. Он спал крепко, дышал сладко, как будто ангел-хранитель навевал на него из рая благовоние райских цветов и доносил к нему пение райской птички! Марья Феофиловна тут же и поклялась: не вздевать на голову венца второбрачного, а посвятить всю жизнь свою милому сыну. Через три года известили ее, что Железняк скончался, а перед смертью послал сыну благословение, хотел что-то сказать отцу-настоятелю обидели, но промолвил только: «Нет! пусть будет, что будет: Божия мудрость мудрее человеческой и положенного предела не перейдешь».

Молода осталась после мужа Марья Феофиловна; много сватов и свах забегало к молодой вдове, от бояр, от князей, от посадников. Но, твердо соблюдала она обет свой, не снимала вдовьего платья, кормила бедную братию, давала вклады в церкви, в обители, никогда не бывало у нее ни пиров веселых, ни бесед разгульных. Главную же заботу и первую утеху составлял сын ее, Буслай Железнякович.

Да и молодец он был: рос не по годам, а по часам, как пшеничное тесто на доброй опаре поднимается, рос дородством и пригожеством, умом и разумом. Прошло лет, не помню сколько, а столько однако же, что Буслай сделался дородник

и удалец, как светел месяц, так, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать, ни в сказке сказать. Что за рост, что за удаль такая, что за поступь молодецкая, что за кудри золотые, что за походка богатырская! Глазом поведет, так рублем подарит; слово скажет, так заслушаешься, а когда песню заведет, так по улице народ идет, идет, да и останавливается. А ума, разума, всякого таланта и дарования было в нем столько, что достало бы на десять посадников, да еще трем тысяцким осталось бы вдоволь.

Но, вот какая беда: хорош, умен был Буслай Железнякович, да удал больно молодец, и удалство его переходило через чур. Бог весть: такой ли у него веселый был нрав, что ему умничать и важничать не хотелось, а проказы с ума не шли, или уж так он с природы уродился! Говорят еще и вот как, добрые люди, будто настоящему человеку смолоду надобно быть молодцом, в средние годы удалцом, а под старость мудрецом. Тогда, дескать, человек бывает настоящим человеком. Бог знает, правда ли: ведь в людском мудрованье правду, как у змеи ноги, не скоро отыщешь.

Только, таким или другим обстоятельством и порядком, Буслай учиться ничему не хотел, указками бил только по рукам учителей и тихонько дергал их за бороды, когда они слишком заговаривались. Учителя жаловались матери и не брали тройной платы за выучку Буслая. С товарищами бывало у него еще хуже: то и дело заводит он их в такие проказы, что нянюшки и дядьки осипнут кричавши, а все толку нет.

То взлезет на крышу и там, как воробей, прыгает и бегаёт; то заведет игры и себя сделает над товарищами воеводой; то взманит их купаться в Волхове – и товарищи его, то руки, то ноги свихивают, то головы проламывают, то Буслай не на живот, а на смерть приколотит их, то едва вытащат их из воды. А он везде, как заговоренный: в воде не тонет, в огне не горит, упадет – только крякнет. Вот и матери, и отцы взбунтуются, придут жалобиться – шум да спор, крик да вздор! Марья Феофиловна не знала наконец, что и делать: отплачивалась деньгами, отпаивалась медом, отговаривалась речами, отмаливалась просьбами. Но что с сыном-то пригадать – все недоумевала! Хотела бы побранить его, а он станет на колени, просит ее умильно, ласково: «Не гневайся, мать моя, милая, не горюй, мать моя родимая!» – Вздумает пожурить его, а он заплачет, так жалобно, так заунывно, что мать думает только о том, как бы его утешить, да приголубить. – Писано: «Любяй сына участит ему раны». – Да ведь это писано об отцах, а не о материнском сердце.

Все еще дело-то так, или сяк, шло бы на статью, если бы Буслай оставался с детскими резвостями. Но приходили по-маленьку те годы, когда и у смиренницы кровь кипятком по жилам льется, и у скромницы щеки огнем пышут, приходили эти годы и пришли – и тут-то с Буслаем вовсе ладу не стало! Явились у него друзья, приятели. Вся вольница новгородская, вся молодежь удалая сделалась ему задушевными спутниками. Пошли у них пиры да веселья, гульба да рос-

кошь такие, что старики и старухи крестились и ушам не верили, когда им рассказывали о Буслае. Лошадь не лошадь, конь не конь, попона не попона, обед не обед, вино не вино, а деньгами – только что Волхова не прудил Буслай. Доброхотство было у него такое, что поит и дарит, кормит и жалует. Кто бы что у него ни попросил – бери: кубок ли старинный, коня ли арабского, ковер ли кизылбашский – тащи, волок, будь только приятель! Если я скажу вам притом, что за друга Буслай и души своей не жалел: в драку ли, в битву ли – давай, подавай – так вы поверите, что и самые посадники не знали, что делать с Буслаем. Иногда он, бывало, идет мимо Веча, где старичье собравшись сидит, да думает, не придумает, – Буслай с товарищами и к ним. Умом их переможет, дело разрешит, да потом – тому щелчок, этому толчок, все будто шутя; они и осердиться не смеют: ведь за Буслая все станут, а против него никто не пойдет. Старики поневоле хохочут с ним вместе, хоть им и до зла-горя приходится. Перестали в Новгороде дивиться и тому, что когда бывало добрые люди к заутрени идут, а буслаевцы с пира едут, да песни поют. Настанет Великий пост – добрые люди говеть, да молиться; а Буслай с товарищами поедет к немецким гостям, да там поют, гуляют; наденут хари, такие страшные, что собаки взвоятся, взлаютя у соседей – шум да сумятица, крик да лай, смех и горе, и – Буслаю все с рук сходило.

Так шло, прошло много времени, и вдруг, ни с того, ни с сего, надоели Буслаю пиры и гулянья веселые, опротивели

товарищи удалые. Сделал он им такое пированье, что и не слыхано было до тех пор. А какое это было пированье, вот я вам расскажу.

По двору широкому разостлали ковры многоцветные, врыли два столба, повесили на них котел браговарный, налили его полнехонек вина фряжского, поставили подле него три чаши – одну в ведро, другую в два ведра, третью в три ведра. Подле них положили лук разрывчатый с калеными стрелами, а каждая стрела косая сажень¹⁰⁹, наотмашь; да еще положили копье немецкое, а древко у него было выше ворот Кремля новгородского; да подкатали еще палицу булатную, весом в девять пуд. Растворил тогда тесовые ворота Буслай Железнякович, скликал всю вольницу, все разгульство новгородское, своих друзей-товарищей. Вот сошлись, съехались, весь двор кругом обставили конями, и каждый конь был привязан к серебряному кольцу, а покрыт ковриком шемаханского шелка.

Засела разгульная молодежь по двору, и Буслай начал им говорить. «Слушайте, скажу я вам, друзья мои, товарищи, что надоели вы все мне, удалому молодцу, напрокучили. Шалливый вы народ, как старая кошка, а трусливый, как заяц, выпугнутый из леса лихими собачонками. Задумал я, удалый молодец, выбрать себе из вас товарищей, которые умели бы попить, погулять, да за себя постоять могли, с которыми не страшно было бы мне ночью, в бурю, по Ильмену

¹⁰⁹ *Косая сажень* – 2,48 м.

в челночке проехать, в полночь в Холмогорском лесу лешего выкликнуть и пойти на врага, не спрашивая счету по головам, а только спросясь своей удали молодецкой. Вот, смотрите, товарищи: кто выпьет эту *меньшую* чарку и натянет этот лук, да выстрелит из него каленую стрелу – тот будет мне *меньшой* брат; кто выпьет эту *среднюю* чарку, да перебросит это копьё через хоромы, за Волхов, тот будет *средний*, ровный брат – это я сам делаю. А кто выпьет вот эту чарку *старшую*, славную, зазвонную, и повернет на руке эту булатную палицу, тот будет мне *старший* брат. С такими молодцами я крестами поменяюсь и на жизнь и на смерть пойду, и что у меня есть, то будет без разделу им, коли захотят они, а что будет у них, то будет мое, без данной и без пошлины». Буслай расстегнул рубашку и показал, что у него на груди висят три креста медные, по русскому православию.

Задумалась молодежь, да и нельзя было не задуматься: велики чарки, туг лук, длинно копьё, тяжела палица! Посмотрят в меньшую чарку – хоть выкупайся; посмотрят в среднюю – у трехлетнего ребенка в ней волоски всплывут; а на зазвонную чарку, так и посмотреть страшно: раздуло у нее бока, как у доброго быка! Начали шептать, перешептываться, оглядываться, перебираться... Вот, смотрят-посмотрят, глядят-поглядят – и вышел наконец *Иван Гостинный сын* по прозвищу *Палило* и говорит Буслаю: «Слушай, Буслай Железнякович! В старшие братья не гожусь я тебе, в средние не смею вызваться, а в младших не выдам!» Все уставились на

него, а он перекрестился, взял чарку малую, сказал: «Господи благослови!» и на лоб – осушил всю ее до капельки так, что и на ноготь нечего было слить. Потом взялся он за лук, взял и калену стрелу, покрутил свой богатырский ус, положил стрелу на лук и начал тетиву вытягивать. Раз потянул – лук гнется, сгибается; в другой потянул – тетива загудела и до щеки дошла; в третий потянул – тетива заныла и зашла за ухо. Тут поднял к небу очи свои Иван Гостиный сын – ищет: во что бы пустить ему стрелу каленую? И вот, под самым дальним облачком летит орел, чуть виден, как маковое зернышко чернеется. Иван спустил стрелу, тетива запела, будто вдова по мужу, тоненьким голоском, лук выпрямился, стрела фыркнула и улетела в поднебесье! – Смотрят: в пустую чарку свалился орел ширококрылый, пробитый насквозь стрелою Ивана Гостиного сына...

Тут все гаркнули, пригрянули: «Исполать тебе, Ванюша Гостиный сын! Удад ты чару выпить, удад ты и стрелою владеть!» Буслай обнял его; тут же с ним побратался, крестом обменялся, посадил его на почет и вызвал другого молодца. Только все отказывались: не хотели осрамиться. И вот взъехал на широкий двор Куденей, сын Авксентия Посадника, поздоровался с вольницею, с гуляками, услышал чего требует Буслай, усмехнулся и говорит: «Ох! ты, гой еси, добрый товарищ! давай просто побратаемся. Силы моей не испытывай: прими меня в младшие твои братья!» – «Нет! – сказал Буслай, – люблю тебя за разум и за удалство люблю,

Куденей Авксентьевич, а силы попробуй: без того приятель, приятель, а братом не называйся!» – Тут Куденей рассердился, соскочил с коня, подбежал к Буслаю, крикнул: «О! коли на похвальбу пошло, так смотри: не хотел принять в младшие братья, примешь в средние, в ровные!» Как царапнет он среднюю чашу, так махом всю ее высушил, кинул выше лесу стоячего, схватил копьё, прошиб чашу на лету, и перелетело копьё через хоромы, за Волхов, ударилось в бел горюч камень, расшибло его на мелкие иверни – только искры брызнули!

«Ох! удаль, удаль!» – загремели все, а Буслай снял шапку, поклонился Куденею, просил у него прощения, что усомнился в силе его и храбрости, и посадил его на лавке, выше Ивана Гостиного сына.

Ну! вот теперь ждут третьего удальца, клич кличут – никто не осмеливается! Уж на дворе смеркается, красное солнышко катится за леса Заволховские – нейдет молодец! «Видно троим нам век коротать, братья мои крестовые, и кинем мы жребий, кому из нас доведется быть старшим, мне, или Куденею Авксентьевичу...» – говорил Буслай; но не успел Буслай кончить своей речи – смотрят: ввалился на двор, будто овсяный сноп, урод уродиной: голова нечесана, одежда запачкана, ростом чуть не кося сажень, между плеч две стрелы татарские улягутся. «Это что за чучела морская появляется!» – зашумели молодцы, захохотали, захлопали руками. Незнакомый устави́л на всех большие, как лукошки,

глаза свои. «Чему же вы рады, бесовы дети? – закричал он зычным голосом, – а вот как примусь я вашу братию с боку на бок переваливать!» – Осмотревшись кругом и видя, что все места заняты, подошел он к первой лавке, взял ее за один конец, стряхнул с нее полтора десятка молодцов, на ней сидевших, и сел сам, развалившись. «Ах, ты, неуч! – крикнули молодцы, – видно, ты думаешь, что ты у отца на печи, да за полку с горшками взялся? Вот мы тебя проучим!» – Они бросились на него кучею. Но незнакомый отвел их рукой, как будто связку соломы оттолкнул, и закричал, что изомнет их, хуже мякины, если они дерзнут к нему приступить.

Тогда подошел к нему Буслай и сказал ему приветливо: «Вижу, брат, что красивый ты малый и порядочный! Больно только невежливо пришел ты в гости: хозяину не кланяешься, а гостей обижаешь. Зачем ты к нам пожаловал?»

– Ты сам клич кликнул на вольницу удалую, – сказал незнакомец. – Давай мне выпить, давай силы попробовать. А гости твои нахалы – места мне не дали и в глаза насмеялись. – Тогда все подбежали к Буслаю и стали пуще смеяться над чучелой. Буслай указал на три чарки и говорил: «Хочешь, добрый молодец! Вот тебе вино доброе поставлено! А потом, пожалуй, и силы попробуем!» – Встал незнакомый, подошел к малой чарке – покачал головою; подошел к средней – махнул рукою; подошел к зазвонной – засмеялся! «Да что это за чарки? – сказал он. – Воробьям пить нечего!» Он толкнул их все три ногою, пролил вино дорогое, замарал

ковер многоценный. – «Коли пить, так пить из полного», – примолвил он, ухватился за столбы, на которых повешен был за ушки котел, вырвал столбы из земли, словно перо из крыла гусиного, приставил котел ко рту, в три роздыха весь выхлебал и порожний котел надел себе на голову. Тут расхоталась новгородская молодежь, кричит, шумит: «Этакий пьяница! Как он себе глаза-то налил: и котел-то ему шапкой показался!» Незнакомый взял в обе руки по столбу, на которых повешен был котел, и обратись к Буслаю сказал: «На этом что ли силу-то пробовать?» – «Нет! – отвечал Буслай, – а коли хочешь, так вот тебе зубочистка железная!» – Незнакомец перешвырнул столбы на задний двор, взял палицу железную, будто лучину расщепанную, и начал вертеть ее вокруг головы и с руки на руку перекидывать так, что все исперепугались, чтобы он, шутя, не проломил кому головы, закричали, завопили: «Буслай Железнякович! спаси беды великой – признавай его скорее старшим братом своим!»

«Ну, удалый молодец! – сказал Буслай, – делать нечего: не чесан ты – купим гребешок золотой и расчешем твои волосы; не умыт ты – вытопим баню, да выпарим удалого! Будь ты мне старший крестовый брат: я твоей милости кланяюсь. Поволь сказать нам честное твое имя и как твое отчество и откуда ты родом-племенем? А мы твоей буйной головушки доселева в Новгороде не видывали».

– Не велика моя порода, не знатен мой род, – отвечал незнакомый богатырь. – Родился я в Старой Ладого, от дьяч-

ка Фалалея; зовут меня, доброго молодца, Иван, по отчеству я Фалалеевич, а по прозванию *Дурачок*, потому что мне книжное ученье не далось. Хотел было меня отец в звонари поставить, но как я ни зазвоню, все колокола не выдерживают, бьются, расколачиваются, а я чуть увижу, что колокол треснул, схвачу его с сердцов за уши, да и швырну в Ладожское озеро. Прихожане наконец на меня рассердились, сказали отцу, что либо со мною ему жить, либо с ними. Делать было нечего отцу моему: обнял меня, заплакал, надел на меня котомку, дал мне посошок и благословил, идти на все четыре стороны. Шел я, шел путем-дорогою и пришел к вам в Великий Новгород...

Что же, князья, бояре, – сказал тут. Иван Гудочник, – видно вам моя сказка не понравилась: вы ее не слушаете, да, кажется, чуть ли уже вы и не уснули?

Мы не хотели прерывать сказки, которую сказывал Иван Гудочник. Не знаем – понравилась ли она нашим читателям, а слушателям Ивана Гудочника сказка эта очень приглянулась и пришлась по нраву. Они нетерпеливо слушали начало ее, дивились, спрашивали, хвалили старика-сказочника, но с половины сказки начали головы их качаться, глаза слипаться, сон одолевал их, так что они забыли наконец все: и дела свои, и сказку, и Гудочника. Напрасно некоторые еще бодрились, протирали глаза: один за другим заснули все слушатели Ивана Гудочника, кто куда склонивши свои головы. Старик управитель уже давно и крепко спал, между флягами

и сулеями. Тишина сделалась такая, как в полночь на кладбище, и только храпение спящих перерывало ее.

Осторожно прислушивался еще некоторое время Иван Гудочник и, понижая голос, говорил: «Что же вы это, князья, бояре, не слушаете? Заснули на таком месте, где пойдет ложь самая пестрая, а правда самая затейливая. Я вам расскажу: как поехал Буслай за море, как попутала его нелегкая и полюбила его княжна заморская, как ее унесла некошная сила, как он с товарищами ее отыскивал: был у Чуда Морского, задушил Кашея Бессмертного, провел царя Высокоброва, обокрал Бабу-Ягу, служил у Огненного царя, заклинал еретика-людоеда, рассмешил царевну Несмеяну, выкупил душу отца своего, связанную рукописанием, данным лукавому...»

Уверясь наконец, что слушатели все крепко спали, Гудочник вдруг изменил вид свой. Он вытянулся бодро, со злобною усмешкою поглядел на спящих и сказал; «Спите же, братья моя, и почивайте! Бог предает вас в руки мои; но – я не вор, не разбойник: отдаю и то, что вы мне подарили...» Тут высыпал он на стол серебряные деньги, которые сбросили ему бояре. – «Но, вы заплатите мне дороже», – примолвил он, смело подошел к спящему Юрию Патрикеевичу, вынул у него из-за пазухи сумку, вытащил из нее великокняжескую печать, взял разные бумаги и положил сумку опять за пазуху Юрия. То же сделал он с боярином Старковым. Неспешно пробегал он потом глазами взятые бумаги; не мог скрывать своей радости, видя их содержание, и спрятал свою покражу

в карман.

Набожно обратился тогда Гудочник к образу и воскликнул: «Боже великий, вечный, святой! направь брENNую руку раба Твоего! Благослови его начинания, пошли сон и слепоту на враги моя, даруй очам моим прозрение, да исполню святую волю Твою!»

Поспешно схватив гудок свой и шапку, Гудочник Осторожно ушел из комнаты. Никто не встретился ему на лестнице; ворота боярского дома были не заперты, хотя возникшие и провожатые боярские ушли в теплые хоромы и спали там. Гудочник отвязал от кольца лучшую верховую лошадь, бодро вспрыгнул на нее, тихо съехал со двора и поскакал потом во всю прыть. Снег хрустел под копытами бодрого коня, продрогшего на сильном морозе.

Глава VIII

*...Младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, обуздывать измену!*¹¹⁰

А. Пушкин

На другой день после пира, бывшего у боярина Старкова, рано утром подьячий Беда прибежал в великокняжескую Писцовую палату, разбудил привратников, придверников, пригнал писцов, велел им поскорее приводить все в порядок, расставлял поспешно скамейки, ставил чернильницы, чинил перья. Нельзя было узнать из его неподвижных глаз и сухощавого лица, был ли он испуган, сердит или печален. Он останавливался среди своих занятий, поднимал бороду свою кверху и, казалось, внимательно прислушивался. Вдруг раздался шорох шагов, послышался голос у дверей. Беда оставил свою работу и почтительно вытянулся. Дверь быстро отворилась; вошел наместник ростовский. Одежда его была в беспорядке, лицо бледно, волосы включены, голос хриповатый, как будто наместник три дня сряду гулял, или две ночи не спал.

– Еще никого нет! – вскричал наместник. – Смилуйтесь, ради Создателя! Послали ль за ними?

¹¹⁰ Эпиграф – А. С. Пушкин «Борис Годунов», сцена «Московские царские палаты».

«Послано уже во второй раз», – отвечал Беда,

– Ох! погубят они нас! – наместник бросился на лавку в совершенном отчаянии. Беда долго безмолвствовал и наконец, тихо и почтительно, осмелился спросить, что причиняет его милости такую жестокую горесть?

«Будто ты не знаешь!» – воскликнул наместник, вскочив со своего места. Размахивая руками, начал он ходить вдоль палаты.

– Меня разбудили поспешно, приказали поскорее явиться и устроить все к заседанию княжеской Думы...

Наместник хотел что-то объяснить Бедe, как двери расхлопнулись настежь и сам Великий князь вошел, смущенный, едва опомнившийся ото сна, неумытый, непричесанный, в простом, легком тулупе.

– Петр Федорович! Что это такое? Что рассказали мне? Я ничего не понимаю!

«Государь, князь Великий! Не знаю *что* и *все* ли тебе рассказано», – отвечал наместник.

– Ты прискакал сюда неожиданно... Говорят, что все погибло, что все мне изменяют, что дядя Юрий поспешно идет к Москве...

«Правда, Государь! Я скакал сюда опрометью – дядя твой идет по Ярославской дороге – моя дружина разбита – я едва спасся!»

Сухое лицо Беды вытянулось при сих словах и сделалось еще длиннее и суше. Князь казался вовсе неразумевшим, что

с ним делается. Он только крестился обеими руками. В это время в палату вошли князь Друцкой и Асяки, предводитель татарской дружины князя.

– Где же мои бояре?

«Где твои дружины, Государь! Спроси лучше: где твои воины?» – воскликнул наместник.

– Я не знаю... Асяки! где твоя дружина?

«Мы оберегаем Кремль, Государь!»

– В Кремле все тихо и безопасно, Государь, – прибавил князь Друцкой. – Мои копейщики на страже у Константиновских и Флоровских ворот.

«Тихо ли в Москве?» – спросил Великий князь.

– Не знаю, Государь! Я начальствую только над кремлевскою стражею.

«Кто же в нынешнюю ночь начальник Москвы?» – спросил Василий.

– Не знаю, Государь!

«Кто же из вас что-нибудь знает! – вскричал Василий горестно. – Но не заметно ли в Москве чего-нибудь шумного? Говори, говори прямо, князь!»

– Москва – море, – отвечал князь Друцкой, – и что на одном конце ее деется, того через три дня не узнают на другом конце.

Тут вступил в палату князь Василий Боровский. Он казался встревоженным, смущенным.

«Государь, Великий князь! – вскричал князь Боровский. –

Треть Юрия все бунтует, и моя треть волнуется! Спешу умирять крамольников!»

– Князь, мой любезный брат! помоги мне! Я не знаю, что мне делать! – говорил Василий.

Поспешно вошел в сию минуту еще боярин. Страх и робость были видны на лице его. «Государь! – сказал он, – спешу к своей родительнице: она очень нездорова! Супруга твоя при ней, плачет, рыдает...»

Жаль было смотреть на Василия в сии минуты: смущенный, встревоженный, пораженный вдруг столькими ударами, он не знал, что думать, не знал, что сказать и куда идти! Палата наполнялась между тем боярами и князьями. Явились Старков, Юрья Патрикеевич, Ощера.

– Думные мои советники, бояре, князья мои! – вскричал Василий, – скажите, что со мною делается? Слышу, что против меня идут в торжестве враги, мать моя при смерти, жена плачет, измена раздирает Москву. Но давно ли, не вчера ли еще, были мы с вами, в великокняжеском нашем Совете, и вы все уверяли меня, что я торжествую, что отовсюду окружен я верными людьми, что народ души во мне не слышит, что вы пойдете с сильными дружинами на вероломного дядю, что князья русские явятся по первому моему слову?

«Князь Великий! утро вечера мудренее – не нами началась эта пословица, не нами и кончится. Может быть, того мы вчера не досмотрели, что сегодня увидим. – Так начал говорить Юрья Патрикеевич. – Но есть еще другое присло-

вье: даст Бог день, даст Бог ум. Мы все слуги твои и рабы твои, мы будем стараться, а ты, Великий князь, успокойся, не унывай, молись, возложи печаль свою на Господа и верь, что погибнут мыслящие тебе зла. Главное дело; будь в этом крепко уверен. Вера дело великое – она все побеждает. Теперь примемся мы советоваться и думать».

– Не поздно ли, когда вы не успели надуматься прежде, – сердито вскричал наместник ростовский.

«Петр Федорович! замолчи! – сказал Юрья Патрикеевич. – Все дело надобно обсудить и посмотреть в старые решения, как все это прежде дельвалось, так мы и решим».

– В каком судебнике сыщешь¹¹¹ ты указ на решение этого дела? – сказал наместник ростовский.

«А ты думаешь, что прежде этого и не бывало? – с жаром возразил Юрья. – Будто новое нам это дело! Посидел бы ты в первом месте в княжеской Думе, так привык бы и не к таким делам. То ли было, когда князь Василий Димитриевич Богу душу предал, и мы с покойным владыкою Фотием ночь ноченскую сидели в Думе, и уже утром боярин Иоанн пришел к нам и сказал, что дело порешено – тогда только решились мы разойтись! А когда, потом раздумье было о поездке Великого князя к Витовту, или о поездке в Орду...»

– Ах! был тогда у меня боярин, за которым не знал я, что

¹¹¹ ...в каком судебнике сыщешь... – Анахронизм. Первый свод законов под названием «Судебник» был издан в 1497 г., составлен при Иване III дьяком Владимиром Елизаровичем Гусевым (ум. 1498).

такое заботы и тоска моего великокняжеского сана! Для чего он сделался лютым врагом моим и злодеем! – проговорил Великий князь тихо, обращаясь к князю Оболенскому, молодому чиновнику, по-видимому, человеку, близкому его сердцу.

«Мне кажется, – отвечал, также тихо, этот юный друг Великого князя, – что дядюшка твой не проспал еще вчерашней хмелины. Я никогда не видал его таким говорливым: откуда рысь берется».

Василий усмехнулся.

– Нет! ты еще не привык к ним. Старики бояре народ такой, что прежде наговорят много пустого, а потом уже примутся за дело. Я всегда дремлю, когда начинаются наши советы, и просыпаюсь только под конец, чтобы слушать, когда примутся советники мои за настоящее дело.

О юность, юность! как мало знаешь ты жизнь человеческую, как весело и шутивно ты играешь ею, и как ты *везде и всегда* одинакова!

Между тем говор голосов заглушил уже слова Юрьи; бояре и князя зашумели, будто пчелы, встревоженные в улье. Тут, придавая себе сколько мог более важности, Юрья Патрикеевич подошел к столу, возвысил голос и провозгласил: «Прежде всего, уверимся в верности рабов и слуг княжеских. Бояре и князя! подымите руки и повторим: да не будет на нас благословения Божия, если кто из нас помыслит зло против Великого князя нашего, Василия Васильевича!»

– Да не будет, да не будет! – раздался общий крик, руки всех присутствующих были мгновенно подняты.

«Прежде хмель станет тонуть, а камень по воде поплывет, нежели я изменю моему князю!» – вскричал Старков.

– Да лопни моя утроба, яко Иудина! – закричал Ощера.

«Батюшка ты наш! дай себе ручки расцеловать!» – вскричали многие, бросаясь целовать руки Василия; другие обнимали даже ноги его.

– Ты что стоишь, татарин? – сказал Ощера Асяки. – Целуй и кричи!

Асяки *усмехнулся*. «Я худо знает, что ваша кричит, – сказал он. – Давай сражаться – пойду, убью, либо убьют Асяки!»

– Вот, – воскликнул Юрья, – главное теперь и сделано! Не беспокойся, Великий князь, благоволи поспешить к матушке своей, Великой княгине Софье Витовтовне: она беспокоится о тебе и ей очень нездоровится, утешь ее, и пожалуй после того к нам. А мы на досуге здесь все дела обдумаем!

Великий князь безмолвно удалился; за ним ушли князь Друцкой и Асяки.

«Молодцы вы, бояре и князья! Как ажио вы пригрянули! – сказал Юрья. – Спасибо, исполать, исполать вас!»

– За нами не станет! – воскликнул Ощера.

«Садитесь же все по местам, да станем судить и думать».

Наместник ростовский потерял последнее терпение. «Если ты хочешь дурачиться, так твоя воля: но за что ты нас-то дурачить думаешь, Юрья Патрикеевич?» – вскричал он.

– Как: *дурачить*?

«Ребят что ли нашел ты? Помилосердуй: то ли теперь время, чтобы растобарывать, когда вся безопасность Москвы висит на волоске?»

– Я еще прежде хотел было тебя спросить, Петр Феодорович: кто созвал Думу Государеву в такое необыкновенное время и что за важные дела такие привез ты, из-за которых даже и помолиться доброму человеку не дали порядком, как будто в уполых ударили?

«Я по приказу Государеву велел согнать сюда всех вас, беспечных стражей его покоя и здравия!» – гневно воскликнул наместник.

Юрья не любил ссор, но не любил и нарушения порядка. Струсив от гнева и слов наместника, он сказал, однако ж, довольно твердым голосом: «Непристойных речей говорить и распорядку мешать – все-таки не должно, боярин...»

– Так вы *распорядком* называете это, бояре и князья, что более недели прошло, как вы должны были немедленно отправить дружины, уладить князей, захватить крепче Москву – и ничего этого не сделали, а только что пили, да гуляли?

«*Во-первых*, – отвечал Юрья, – дружины высланы: одна с тобою, вторая с Басенком, третья с Тоболиным...» Наместник хотел прервать слова его, но Юрья махнул рукою, говоря: «Дай кончить, – и продолжал. – Тебе надобно было захватить Дмитров, взять в полон князя Юрья Димитриевича и злодея Ваньку-боярина; Басенку стать в Сергиевском мо-

настыре и охранять место между Владимиром, Суздаем и Дмитровой; Тоболину идти на Галич¹¹² и Кострому, отрядив дружины в Нижний. Так ли, бояре, было? А?»

– Так! так! – заговорили все.

«Сегодня положено выступить главному отряду воинства под моим воеводством; войско собирается в трети князя Василия Ярославича. – Так ли, князь?»

– Войску велено было собраться, но ты сам приказал ему после того *разойтись*, – сказал князь Боровский.

«Как: я приказал?»

– Да, сегодня в ночь пришел от тебя приказ: выступить части его по Коломенской дороге и идти поспешно на Рязань; Тоболину послан приказ взять Ярославль, а остальным дружинам разойтись по домам.

«Что вы? Что вы? – вскричал Юрья. – Я и не помышлял! – Да разве я с ума сойду! Как – на Рязань – на Ярославль – разойтись?»

– За государевой печатью присланы были от тебя приказы. Где ты сам был – не знаю, не знаю также: кто велел перепойть дружины и кто велел потом отдать на грабеж пьяным воинам дома князя Юрия и детей его? – Там сделалось страшное смятение, началась драка, треть вся взбунтовалась – пьяницы прибежали и в мою треть – я не мог сопротивляться, кинулся сюда; да и что мне было делать?»

¹¹² *Галич Мерский* – город находился на берегу Галичского озера (ныне Костромская обл.).

«В Ярославль – по Коломенке? – говорил Юрья, – распустишь – грабить!» – Он глядел на всех, выпучив глаза.

– Знай же, – сказал тогда наместник ростовский, – что я моею дружиною разбит врагами, не доходя до Дмитрова – едва бежал – и вся вражья сила напирает теперь на Басенка – ему не выдержать – и через несколько часов Великому князю небезопасно будет в Кремле!

«Да; зачем же ты не захватил князей? Зачем: ты не разбил дружин их? А ты, боярин Старков? Так-то смотрел ты за безопасность Москвы?»

– Да, не с тобой ли мы проспали всю ночь, после вчерашней пирушки! – вскричал с досадою Старков. – Ты, полно, сам не кривишь ли душою, Юрья Патрикеевич, что потихоньку спаивал нас, а между тем ночью раздал такие приказы...

«Я раздал? Посмотрите: вот они и печать, здесь...» – Юрья схватился за сумку, в которой всегда лежала у него великокняжеская печать и которую всегда носил он в кармане: печати не было, а вместо оной лежала записка: *«Пей, да ума не пропей!»*

– Измена! – вскричал Юрья. Записка и сумка выпали из рук его. Другие князья и бояре подхватили их и прочли записку. «Пей, да ума не пропей!» – раздалось в палате. Смех, досада, гнев заволновали собрание. Юрья безмолвствовал.

– Сидите вы подле баб своих, да гуляете, – загремел тогда наместник ростовский, – а мы кровь свою проливаем за вас.

Князь Василий Ярославич! – продолжал он, обратясь к князю Боровскому, – в тюрьму этих замотых, скорее, и нечего мешкать! Где князь Константин Дмитриевич?

«Он уехал в Симоновскую обитель и сказал, что отрекается от всех дел», – отвечал Боровский.

– А что же князя Можайский и Верейский?

«Они злодеи! Прислали мне вчера сказать Великому князю: Мы по тебе душами нашими; да есть у нас свои люди и города беречь, а одолеешь ты, князь Великий, князя Юрия и мы тебе кланяемся, да милости себе просим; не одолеешь, против тебя не пойдём, а только ты помышляй сам о себе...»

Шум в палате усилился в это время и напрасно хотели унимать его князь Боровский и наместник ростовский, Ощера, Старков и вчерашние собеседники сих бояр сидели, молчали, угрюмо повеся бороды. Но князь Юрья первый опомнился.

– Князья, бояре! выслушайте меня, – сказал он, – судите и решите. Грешный человек – скрываться не стану: праздничное дело, и кто же о Масленице не гуляет? Но тут было что-то недоброе: нас опоили, околдовали, и видно, что только заступление Угодника, которому вчера я отслужил молебен, со слезами и с водосвятием, спасло меня от напрасны смерти. Все это мы разыщем. – Измена, измена, князья и бояре!

– Измена! – Глупость! – кричали с разных сторон.

«Я первый предлагаю подать пример строгости, – провозгласил Юрья. – Два изменника, братья Ряполовские, сообщ-

ники Косого и Шемяки, сидят в тюрьме; казнить их немедленно, на торговой площади, во страх другим!»

– Казнить, казнить! – закричали Старков, Ощера и многие бояре.

«Москву усмирить войском».

– Да где оно? – сказал князь Боровский.

Тут явился в палату, прискакавший с Троицкой дороги, вестник, молодой боярин, посланный от Басенка. Все окружили его. Едва мог собрать силы смущенный боярин и сказать, что на Басенка напали дружины неприятельские, сбили его, и он едва успел оправиться и остановиться на берегах Клязьмы.

Еще не прошло всеобщее изумление от сего нового известия, как прибежал князь Друцкой и сказал, что в трети Юрья Димитриевича начался пожар, тамошняя чернь вооружилась дрекольями и испуганные москвичи бегут отовсюду в Кремль.

Нестройный крик заступил тогда место Совета. Взаимные обвинения, укоризны, упреки сыпались со всех сторон. Вскоре явился сам Василий Васильевич и тщетно хотел унять раздор, споры, несогласие советников своих. Между тем как смятение в Думе умножилось, вести непрерывно приходили, одна другой хуже и, вероятно, были увеличиваемы приносившими их людьми, испуганными, встревоженными, захваченными врасплох. Лица вестников говорили еще выразительнее слов их. Юрию Патрикеевича, что на-

зывается, *совсем загоняли*; он только уже старался уверить Василия, что не изменял и не изменит ему.

Наконец, Василий, как будто перемог самого себя, как будто сознал в себе новые силы. В первый раз в жизни своей, величественно, твердым голосом, провозгласил он своим советникам:

«Или не знаете вы, в чьем присутствии осмелились забываться до такой степени, рабы мои? Или уже не чтите вы крови Мономаха в лице вашего князя, которому клялись быть верными в жизни и смерти? Умолкните, дерзкие рабы!»

Смелый голос юноши, рожденного на троне, и неожиданность поступка и слов Василия Васильевича, внушили невольное почтение всем присутствующим. Все умолкли.

Несколько голосов осмелились было еще проговорить глухо: «Измена, Государь!»

– Молчать! – громко воскликнул Василий.

Настала совершенная тишина. «Если есть измена, если и между вами, здесь даже, кроются клятвопреступники – я не страшусь их! – сказал Василий. – Идите, окаянные *злодеи*, идите, к моему вероломному дяде, который, забыв крестное целование и слово клятвенное, дерзает восстать против власти, поставленной от Бога и утвержденной его и моим повелителем, великим царем Востока и всея Руси!»

Все молчали. «Чувствую, – продолжал Василий, – чувствую, что десница твоя, Господи! тяготеет надо мною и предвижу все бремя, возложенное тобою на рамена мои, да спо-

доблюсь быть достойный пастырь стада твоего! В то время, когда мать моя находится при дверях гроба – *сатрапи, мучители, цари, начальницы стран варварских, на зло смудрствовавшие, на стадо твое сие, яко же львы и зверие свирепо яростнии рыкающе!*» – Василий поднял глаза к небу и благовейно сложил руки.

– Князь Великий и брат мой по родству! – сказал тогда растроганный князь Боровский, – позволь мне сказать тебе совет мой...

Василий тихо повел рукою на его сторону. «После советы человеческие, – молвил он, – а прежде к Богу-советодателю!»

Он оборотился к одному из бояр и сказал: «Иди, вели отворить Успенский собор, позови отца протоиерея, скажи, чтобы он приготовился к *Последованию в нашествие варваров*. Я немедленно явлюсь в святом храме».

Он умолк и тихо проговорил, после некоторого молчания: «Господь сокрушай брани!.. *Благодатию есте спасены чрез веру и сие не от вас: Божий дар! Но от дел, да никто не похвалится: того бо есмы творение, создани о Христе Иисусе на дела благая, яже прежде у готова Бог, да в них ходим!*»

«Кто идет со мною молиться во храме Божием?» – спросил Василий, обозревая собрание. Он встал и, не говоря более ни слова, пошел к дверям. Все встали, пошли за ним в глубоком молчании. Писцовая палата опустела. Остался только Беда с немногими подьячими и начал приводить в по-

рядок бумаги и скамейки.

Часть третья

*...Тогда по Русской земле редко ратаеве
кикахуть, но часто врани гремяхуть, трупия себе
деляне, а галици свою речь говоряхуть, хотяь
полетети на уедие... Усобища Княземъ на поганые
погибиле. Рекоста-бо братъ брату: се мое, а то мое
же. И начата Князи про малое, се великое молвит,
а сами на себе крамолу ковати...*

«Слово о полку Игоревом»

Глава I

*Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет,
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламеня,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных!¹¹³*

А. Пушкин

Какое противоположное зрелище представляла в это время Ярославская дорога против того деятельного, но мирного зрелища, каким находил ее дедушка Матвей, за несколько

¹¹³ Эпиграф к главе I – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Андрей Шень» (1825).

дней ехавши по сей дороге!

Воинские дружины рассыпались по ней всюду. От Москвы до Клязьмы, пересекающей дорогу недалеко от нынешнего Пушкина, видны были воины Великого князя. С другой стороны, от Клязьмы далее к Троицкому монастырю двигались дружины князя Юрия Димитриевича. В одном из селений за Клязьмою находился сам престарелый Юрий, сыновья его, бояре и князя подручные. Басенок, принявший начальство над дружинами Василия, наскоро укрепился с другой стороны реки.

Война идет и метет – по старинной поговорке. Правда: здесь еще не начиналась кровавая, свирепая война, но ужасы ее были уже видимы всюду. И тем страшнее были они, что война великая, между сильными врагами, не ведет за собою таких бедствий, какие необходимы при войне мелкой и особенно – междоусобной!

Издавна замечено, что друг, или родственник, сделавшийся врагом – ужаснее, непримиримее человека, с которым всегда были мы врагами. Два единоплеменные народа, злее ненавидяют один против другого. Так и здесь было. Дружины Юрия, уже разбившие отряд наместника ростовского, шли не как дружины государя, стремящегося возвратить законное свое наследие, являлись не умирителями своего владыки с людьми, ему подвластными по праву и отторгнутыми насиліем – нет! они являлись злыми врагами, грабили, жгли! Строго запрещено было им всякое насиліе и свое-

вольство; но — *воины, не уснут, аще зла не сотворят!* Когда на ночь зарево пожара багровило темный небосклон, Юрию сказывали, что жители принудили к такой строгой мере своим упорством, или, что дружины московские зажгли селение, выходя из оногo, или, наконец, что один из союзных князей запалил деревню, напрасно требовав добром, запаса и хлеба для своих воинов.

Так поспешно надобно было собрать дружины, так быстро надлежало действовать против Москвы, столько разнообразных требований и страстей следовало соединить вместе, что Юрий невольно должен был смотреть сквозь пальцы на дерзость князей, к нему приставших, на своевольство собственных воевод и даже на нахальство самих воинов. И нельзя было учредить никакого порядка, ибо весь план Юрия состоял в скорейшем походе на Москву, и вся удача зависела от удара, который не дал бы Василию Васильевичу и Думе его опомниться и уговорить князей на помощь, мог бы в то же время споспешествовать волнению и смятению Москвы, для укрощения чего, к несчастью, убедили Василия принять строгие меры.

Просим читателей наших оставить теперь на время Москву и перейти в то село, где отаборился князь Юрий Димитриевич с главною дружиною, детьми и боярами.

О жителях села нечего и говорить: их разогнал страх появления Юриева; одни сами убежали, как испуганные перепелки и жаворонки улетают с зажженной нивы, остальных про-

гнали из жилищ воины Юрия, ибо все хижины заняты были князьями и сановниками. Множество саней, возов, возков стояло вокруг селения; кони поставлены были в разных местах, совсем готовые, рядами; огни зажжены были повсюду; воины собирались, толпились около огней; множество промышленников, как мухи к меду слетевшихся с разных сторон, кормили, поили дружины Юрия. В таких случаях денег не жалеют, и часто отнятое у бедной семьи достояние – труд целого века – в один час пропивается, проедается буйным воином. Стук бубнов, звуки труб слышны были беспрестанно; изредка раздавались выстрелы из пищалей, и хотя был Великий пост, но никто не думал говеть и поститься. Множество народа опохмелялось и напивалось снова, а пьяному без песен не веселье – и клики, и песни раздавались день и ночь. Между тем, казалось, что все это неустройство воинское мало занимало Юрия и других князей, а также и сановников их. Говорили, что ждут посольства от Московского князя, и большая беготня дельцов и бояр показывала, что посольство это было причиною многих забот и совещаний.

В сие время в одной из больших, лучших хижин разговаривали два известные нам человека: боярин Иоанн Димитриевич и Иван Гудочник.

Боярин по обыкновению был мрачен, угрюм; он сидел за столом и, казалось, внимательно слушал рассказы Гудочника, который стоял перед ним и говорил с жаром.

– Ну, – сказал боярин, – если бы зависели от меня награ-

ды, я осыпал бы тебя милостями, старик! Ты работал усердно, и только чудный промысел Божий мог тебя сохранить среди всех опасностей. Но скажи мне еще раз: точно ли нет уже никакой надежды, чтобы Константин решился оставить свое безумное намерение? Ты сам говорил с этим ханжою, Варфоломеем?

«Об этом и думать нечего, – отвечал Гудочник. – Константин вступил уже в Симонов монастырь и дал обещание не оставлять более сей обители».

– Вот так-то всегда, всю жизнь мою бывало, – сказал боярин, – всю жизнь должен я бывал или бороться с тяжкими препятствиями, или быть жертвою случая и людской глупости. Все дела мои обращались ни во что от таких причин, что после подумаешь бывало, так самому смешно. Ну! да что будет вперед, увидим и подумаем, хоть я предвижу, что добром не кончить... Поговорим о настоящем. Скажи, пожалуй, можно ли было предвидеть все, что случилось в последнее время?

«Да, боярин, и признаться, я терял уже всю надежду...»

– Господи помилуй! От того, что ворона залетела в Княжеские хоромы – оборвать князя Василия, затеять войну, и все это делать так невегласно, несмысленно... Мне стыдно за Княжеский Совет, в котором некогда заседал я сам!

«Но, однако ж, не должно ли сознаться, боярин, что кривую стрелу Бог правит, и что дуракам счастье на роду написано?»

– Что ты хочешь сказать?

«То, боярин, что все твои намерения, все, что было так хорошо предположено и так долго готовлено, могло рассеяться и уничтожиться от вороны и от княжеского пояса. Если бы успели захватить Косого и Шемяку, князь Юрий немедленно согласился бы на мир, особливо, когда против него стала бы сильная Московская дружина, которую довольно удачно удалось нам рассеять».

– Как же не видишь ты противного словам твоим? Все доказывает, напротив, что счастье дурачки лезло к Московскому князю, но что им не умели воспользоваться, и что ум всегда побеждает все препятствия. Не залети ворона, не поссорься на свадьбе, никто бы и не заметил, как дружины Юрия подошли бы к Москве. Ведь такая беспечность, что даже наместника ростовского вызвали на свадьбу! Тут оставалось чистое поле для прохода, и конники Юрия были бы в Переяславской слободе, вся Москва еще пила бы и плясала, а ты, да князя Можайский и Верейский возмутили бы Москву, Косой принял бы начальство, и Кремль взяли бы так легко, что Василий, может быть, из-за стола почетного перешел бы в тюрьму, с молодою своею женою и с умною своею матушкою! Смотри же: явная вражда загорелась с Косым и Шемякою; подозревали, хоть и без толку, что в Москве *не смирно*. Чего же тут много думать? Косого и Шемяку из рук не выпускать...

«Они не дались бы живьем».

– Ну, – вскричал боярин и сделал выразительный знак рукою, – мешкать было нечего...

«Но что сказали бы князя другие, которые были тогда в Москве?»

– По городу каждому из них, а не то уделы Юрьи и детей его, кинуть им на драку – вот все и замолчали бы... Только бы удалось, а там кто будет спрашивать; да при том же, когда дело уладилось бы, то можно бы опять отнять у них. Людям, которые стоят выше других, надобно быть выше простонародных суеверий и предрассудков. Если же боишься за голову, что она закружится – не влезай высоко!

Гудочник молчал, а боярин продолжал хладнокровно: – Но только ли еще? Они *меня* боялись. Зачем же было выпускать меня из рук, разобидевши, оскорбивши? А после того начали за мной гоняться, как будто за ласточкой в поднебесье; да и самый Константин? Хорошо, что он выменивает кукушку на ястреба. Скажем и то: боялись они меня, как же не видать, что Совет Княжеский составлен из людей, которых я посадил в него, и из которых делал я бывало все, что хотел? Зачем было опять раздражать старика Юрия, отнимая у него Дмитров? Что ручалось им за Верейского и Можайского? Взгляни также, как запущены теперь дела Орды, Литвы, Новгорода? В Суздаль никто и не заглянул. А последнее-то дело: Старков – хранитель Москвы, Ряполовские – в тюрьме, Юрья Патрикеевич – воевода... Юрья Патрикеевич! ха, ха, ха! Что, думаю, забавно было тебе, как ты воеводу этого и со

всею Думою его засыпил твоим арабским зельем, отчего они проспали свои дружины? Да вот-таки и ты: как не заметить, что ты везде втираешься? Знаешь ли, однако ж, что, судя по твоим делам, можно подумать, будто у тебя еще две головы в запасе, кроме той, которая на плечах: колдун, Гудочник, Паломник... Во дворце, на площади, в монастыре...

«Я думаю, боярин, – сказал Гудочник, после некоторого молчания, – что если бы при тебе еще было замечено мое бродяжничество там и сям, ты не дал бы мне долго бродить, хотя ясных улик и не нашлось бы?»

Слова Гудочника, как будто заставили боярина подумать: не слишком ли откровенно говорил он с ним? Подозрительно взглянул Иоанн на старика и встал из-за стола, сказав: «Это дело другое, старик – в поле съезжаться, родней не считаться! Да, о посольстве-то московском: так этот говорун, гречин, едет сюда?»

– Исидор? Едет, боярин. Я уже тебе сказывал, что отправились Исидор, трое бояр, подьячий Беда и, не знаю, кто-то еще из воевод будет – думаю, Басенок, который на безрыбье сделался важною рыбою.

«Зачем бы Исидору ехать? Разве не метят ли его в митрополиты? Но, мне кажется, он не годится. Я помню, когда он в первый раз приезжал в Москву, за милостынею для Афонских монастырей. Он нечистого православия и чуть ли не волк в овечьей шкуре. – Ну, старик, оставайся, отдыхай; теперь твоя работа пока окончилась...»

– Ты мне ничего не говоришь, боярин?

«А что же мне сказать тебе? Теперь я ничего еще не знаю».

– Ты промолвил давеча, что все кончится худом.

«Это не до тебя касается».

– Может быть – *и не до тебя*, боярин.

Боярин быстро взглянул на Гудочника.

– Я почти могу рассказать, – продолжал Гудочник, – что ты скрыть хочешь: Юрий смотрит на тебя, как на человека, с которым неволя заставляет его дело делать...

Бледное лицо боярина оживилось. «Старик! – сказал он грозно, – помни кто ты...»

– Крамольник, простой, ничтожный человек? Боярин! ты не забыл еще, однако ж, я думаю, с каким условием я обещался служить тебе?

«Помню, – мрачно отвечал боярин, – но теперь, повторяю тебе – ничего сказать не могу!»

– А я скажу тебе, что Косой вовсе не думает выполнить того, на чем все дело было между нами полагено.

«Он сказал это тебе?»

– Он так говорил со мною, как будто Мономахова шапка была уже крепко на голове его.

«Что ж мне-то делать, старик?» – сказал боярин, усмехаясь.

– Я не говорил: *что делать*, когда предался тебе душою и телом и не щадил живота и совести.

Боярин хотел отвечать, искал слов и не находил. «Что за

шум и что за беготня? Не послы ли едут? – сказал он наконец, смотря в окно. – Точно: это они; мне пора – там много будет работы. – Он взглянул на Гудочника. – Сиди у моря и жди погоды», – промолвил он ему и вышел.

Гудочник остался, задумчивый и печальный. «Старый ты пес!» – сказал он, по некотором молчании, медленно взяв шапку и вышел на улицу тихими шагами. Тут было уже большое движение; дружины Юрия стояли рядами, в оружии; конники скакали взад и вперед. Вскоре показались трое саней, в которых сидели присланные для переговоров из Москвы. Они подъехали к избе, где был сам Юрий Димитриевич и где большая толпа князей и бояр теснилась в сенях, по двору и на улице.

Из саней вышли Басенок, Ощера, еще двое московских бояр, подьячий Беда и Исидор. Их заставили скинуть шубы в сенях и потом впустили к князю.

Читатели знают уже Ощеру. Басенок был молодой воевода московский, богатырь душою и телом. Исидор – лицо замечательное, грек, родом из Фессалоник, где научился он церковному языку от славян, живших в окрестностях. Быв уже один раз в Руси, как говорил боярин Иоанн, он снова приехал теперь в Москву с грамотами от Царьградского Патриарха и императора греческого Иоанна Палеолога¹¹⁴. Исидор был почетно чествован при дворе великокняжеском, и изумлял своим красноречием, умом и глубоким знанием богосло-

¹¹⁴ *Иоанн VIII Палеолог* – византийский император 1425—1448.

вия.

Изба, где находился Юрий с двором своим, была обширна. Наскоро выломали в ней лавки и полаты, завесили черные стены ее коврами, набросали по полу соломы и тюфяков и закрыли все это также коврами, заменив таким образом грубые деревенские приборы. Посредине стоял большой стол, покрытый широкою полстью. На столе были поставлены разные коробочки, стояла чернильница, лежали княжеские украшения, меч, бумага и несколько свертков и книг. У стены, за столом, на мягких тюфяках, сидел дряхлый старик в теплом колпаке и легком меховом тулупе – это был *Юрий Димитриевич*, дядя и соперник Великого князя Московского. По сторонам сидели и стояли трое сыновей его: Василий Косой, Димитрий Шемяка и Димитрий Красный; боярин Иоанн Димитриевич, боярин Морозов, любимец Юрия, и еще несколько князей и бояр.

Впереди *московских* послов шел воевода Юрия и остановился перед столом, сказав: «Князь Великий Юрий Димитриевич! молит тебя племянник твой, князь Московский, Василий Васильевич, и прислал к тебе, государю, послов своих бить челом».

При сих словах Басенок сделал выразительное движение, как будто хотел остановить воеводу Юрия, но удержался и только пристально взглянул на Ощеру. Взор его, казалось, спрашивал: должно ли допускать столь унижительные для государя их речи? Ощера дал знак, что необходимость велит

сносить мелкую обиду. Басенок, с досадою, отворотился и замолчал.

Юрий благосклонно наклонил голову на низкий поклон московских послов.

– Желаю знать: кто сия духовная особа в числе послов моего племянника? – сказал он.

«Это архимандрит Исидор, присланный в Москву из Царьграда», – отвечал воевода.

Юрий встал и почтительно подошел к благословению Исидора.

«Князь Георгий Димитриевич! – сказал Исидор, благословляя князя, – Святейший Владыка, милостию Божиею архиепископ Великого Константинополя, Нового Рима и Вселенский Патриарх прислал к тебе со мною пастырское свое благословение и есть к тебе от него, владыки твоего духовного, грамота».

Юрий низко поклонился и спросил: «Для чего же ты, отец архимандрит, являешься ко мне вместе с посланниками Маковскими, пришедшими от моего племянника?»

– Князь Георгий Димитриевич! – отвечал Исидор, – благодарю Господа, что он дает мне средства исполнить вместе христианскую обязанность мою – быть посредником мира, исполняя и препоручение моего владыки, Патриарха и отца всех христиан.

Юрий молча указал Исидору на место подле себя, сел сам и не обращал, казалось, внимания на послов московских.

Величественно обвел глазами все собрание Исидор и начал говорить Юрию:

«Блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся – сии слова Спасителя внемля, притекаю к тебе, князь Георгий, с сими словами, яко с ветвию масличною, исходя, яко Давид пред кивот Господень, во сретение мира, вожделенного, поля утучняющего, села богатящего и князи красящего, еже повелел хранить нам Бог единый, премудрый, страшный и превеликий, превыше небес пребывающий во свете неприступном, на херувимском престоле сидящий и немолчными ангельскими гласами хвалимый, поемый, перевозносимый, в трех лицах прославляемый и в единстве познаваемый».

Шепот одобрения пронесся в собрании. Одушевленный сим, Исидор продолжал:

«Прешедший волнения Понта Эвксинского, мнил я поставить стопу мою на твердой земле Московской и обретаю треволнующуюся войну, гремящую, как праведно изрек Омир, паче нежели десятью тысячами гласов человеческих, зрю раздор, с кровавыми очами, готовый возжечь села и грады, кущи и веси. Мира законно и праведно есть желать человеку, а наипаче князю, ибо всякое враждебное общение неподобно ему, есть-бо начало и вина бед, чего ради явленно показуется мир имети за некое основание нерастерзанное. Все люди послушливо последуют сему обычаю, подражают по силе и действию оному, благому, и отсель твердость является, и царства и земли крепит».

Исидор снова остановился. Снова шепот одобрения раздался между всеми, боярин Иоанн, с досадою, проворчал: «Краснобай!» Юрий казался внимающим и задумчивым.

«Вижу тебя, окруженного доспехами брани и сильными стратигами; видел я Москву, оглашаемую звуком труб бранных; зрел я селян, бегущих от пламени, рубящего избытки их, и – о горе велие и тяжкое! вестник благословения духовного Владыки – узрю смерть, пирующую среди крови и слез! О! никогда! Отверзи слову мира ухо твое, князь Георгий. Говорить ли мне о гибели, следующей за войною? Ты ведаешь сие. Изображать ли тщету бранныя славы? Тебе сие известно. Излагать ли, сколь гибельна вражда? Умолкаю пред разумением твоим! – Грядет война – и царства увлажаются кровию; грядет война – и жители бедствуют; грядет, говорю, война – и мир исчезает!

С сими словами притекаю к тебе, яко с масличною ветвию. Отверзи ухо твое слову мира, княже Георгие! не отринь его, и возвесели меня, убогого, посланного от Владыки духовного всех христиан, да возглашу: *Блаженны миротворцы, столько же блаженны и внимлющие слову их!*»

Исидор встал, сложил руки и низко поклонился Юрию. «Какое красноречие, какая сила слова!» – говорили князья и бояре; у многих показались на глазах слезы; Ощера сделал самую жалостную рожу, с унижением глядя на Юрия; Басенок потупил глаза и оперся на меч свой. Юрий спешил посадить по-прежнему Исидора.

– Сладостны речи твои, отец архимандрит, – отвечал потом Юрий, – и не умею я ответствовать тебе по красному смыслу речей твоих. Но просто, по малому разумению моему говоря, я не начинаю войны, но иду только требовать должного мне, и не виноват я буду, если дело дойдет до войны.

«Вспомни, князь Георгий, слова Писания, повелевающего прощать обиды и любить враги своя».

– Я и готов прощать и любить, – сказал Юрий в замешательстве.

«Если так, то останови пламень войны и опустошений, удержи мстящую руку, благоволи выслушать послов князя Московского, и – примиришь с ним».

Юрий, в недоумении, молчал, не зная, что возразить хитроречивому Исидору. Косой нахмурил черные свои брови. Шемяка изъяснил движением руки негодование; глаза боярина Иоанна злобно устремились на Исидора. Димитрий Красный, прелестный юноша, с русыми, кудрявыми волосами, голубыми глазами, и – говоря русским выражением, румяный, как красная девица, подступил тогда к отцу своему.

«Родитель! – сказал он, – отец Исидор говорит тебе то, что осмеливался говорить я и что внушало тебе собственное твое сердце. Не утушай благодати; из искры ея возгнети огонь, который бы попалил вражду, древнее чадо диавола! Избери мир на честных условиях, прости обидящих, возвесели сердца уповающих на радость блаженных тишины!»

Тут Ощера осмелился начать, самым просительным голо-

сом: «Мой господин, князь Василий Васильевич, кланяется тебе, государю, дяде своему, и готов он исправить все вины, возникшие невольно ко вражде. Приглашает он тебя на общий съезд, где соберутся все князья русские – если тебе это угодно. Он не взыскивает, что ты первый поднял оружие, и строго накажет зачинщиков вражды».

Тогда Косой поспешно встал со своего места, желая сказать что-то, но боярин Иоанн предупредил его, подошел к Юрию и сказал: «Если князь Василий изъявляет такую покорность, чего же более и желать тебе, князь Юрий Дмитриевич? Согласись; пусть объявят условия!»

– Мы согласны, – отвечал Ощера, – скажите: чего вы требуете?

«И благодать Божия явно видна в сем начинании, благом и праведном!» – сказал Исидор радостно.

– О! укрепи его Бог в мысли святой и великой! – воскликнул Димитрий Красный.

«Меня оскорблял племянник, – сказал наконец Юрий. – Он обижал меня и детей моих. Дмитров, законный удел мой, он занял воинством».

– Его возвратят тебе, государь! – отвечал Ощера.

«На старости лет моих терпел я унижение от последнего раба его», – продолжал Юрий.

– Наименуй оскорбителей твоих, и будешь удовлетворен, – отвечал Ощера.

«Я наименую их тебе! – воскликнул Косой, поспешно

приближаясь к Ощере, – слушай: ругательница князей, княгиня Софья, Витовтовна по батюшке, князь Василий Васильевич, называющий себя *Великим князем* – вот имена первых оскорбителей – слышишь ли ты их, кто ты такой, боярин что ли?»

Слова Косого заставили всех безмолвствовать. Красный обратился к брату с умоляющим взором. Юрий, казалось, оскорбился дерзкою смелостью сына. Боярин Морозов подошел в это время к Юрию и начал что-то шептать ему.

– Князь Василий Юрьевич, – сказал Ощера, оправляясь от первого замешательства, – если ты напоминаешь о бедственной ссоре твоей с тетушкой, то мы за тем и пришли, чтобы утушить все ссоры.

«Как: *ссоре?* – воскликнул Косой, – не о ссоре, но о позоре, о бесчестии моем, говорю я – о мечях убийц, поднятых на грудь мою среди дружеского пира – и чем же думает князь твой заплатить мне за этот позор и оскорбление?»

– Василий! – сказал князь Юрий, – ты перебиваешь речи мои, а я тебе еще не приказывал говорить. Сядь на свое место и молчи! – прибавил Юрий сурово.

«Государь, родитель!» – возразил Косой.

– Молчи, повторяю тебе!

Косой хотел отвечать; но боярин Иоанн вдруг обратился к послам. – От кого присланы вы, господа послы? – спросил он. – Что-то я не расслушал хорошо; боярин Ощера так умел говорить, что расслышать было трудно.

«Мы присланы от *Великого князя Московского*», – сказал Басенок.

– Следовательно, от *старшего* из князей? Но чем же почитает ваш князь дядю своего: неужели *младшим*?

«Если ты этого не знаешь еще, – отвечал Басенок, едва удерживая гнев свой, – так узнай; да притом и еще узнай, что выдачи тебя головою поручил нам прежде всего требовать князь наш!»

– На что ему понадобилась она? – сказал Иоанн усмехаясь. – Но, я вижу теперь, что не только *уступать*, но и *требовать* кое-чего пришли вы опять от моего государя, *Великого и старшего князя Юрия Димитриевича*, вы, возмутившиеся рабы его!

Басенок невольно схватился за меч. Иоанн презрительно поглядел на него и громко провозгласил: «Преклонитесь перед Великим князем, Юрием Димитриевичем, рабы его непокорные! – Князь Великий! – продолжал он, обратясь к Юрию, – подтверди им слова мои и то, что уже объявил ты другим князьям. А после того можно будет говорить и о мире с послами племянника твоего, положить, какой удел благоволишь ты дать ему, и благоволишь ли, простить ли ему возмущение против тебя, отнятие городов твоих, несправедливое лишение прав твоих, покушение на жизнь детей твоих, умысел на собственную жизнь твою, когда с оружием посланы были от него дружины на тебя, твоих детей и твоих союзников...»

Видно было, что Иоанн с намерением высказывал все, желая взаимным оскорблением воспалить ненависть и устранить все предлоги к миру. Он знал слабый характер Юрия, гордость Басенка, малодушие других послов, и – не ошибся в расчете.

– Князь Юрий Димитриевич! – воскликнул Басенок, приближаясь к столу, – неужели с твоего позволения этот изменник дерзает говорить при нас столь непотребные речи?

«Великий князь Юрий Димитриевич! – сказал Иоанн, обращаясь к Юрию, – теперь видно: как *просят* мира послы твоего крамольного племянника! Когда, наконец, правое дело твое торжествует; когда сам Бог передает в руки твои прародительский *престол*, которым несправедливо, уже *восьмой* год владеет твой племянник; когда от слова твоего зависит не только *удел*, но и самая *жизнь* его – он смиряется, обольщает тебя – и что же? Послы его буйствуют пред тобою; дружины его идут на тебя, на Ярославль, на Рязань: это ли мир? Это ли смирение и умирение? Я умолкаю, государь – я, раб твой худомысленный, и если для мира действительно надобна голова моя – возьми ее, пошли к князю Василью и действуй, как Бог внушит тебе: сердца князей и владык в руке Божией!»

Иоанн смиренно преклонился. Речи его заволновали всех, шумный говор раздался между боярами Юрия; недоумение старого князя, казалось, было решено. Еще раз осмелился было обратиться к нему Димитрий Красный с умоляющим

видом, но Юрий, как будто стыдился встретиться со взором его, и – отворотился.

Всего тяжелее *мгновение решимости*. Как часто предприятия, которым посвящены были годы трудов, уничтожались от того, что в *решительную минуту* не доставало силы, духа сказать о них! Но и тяжело бывает это роковое слово, за которым уже нет возврата, выговорив которое, нельзя уже обратиться вспять и должно – или погибнуть, или исполнить сказанное!

«Послы московские! – воскликнул Юрий, – если *хотите* вымолить мир, то не буйствуйте, не держайте оскорблять сановников моих, смиритесь и ждите моего ответа!»

Юрий сознал сими словами, что боярин Иоанн говорил с его согласия.

«Если князь ваш желает мира и пощады, – продолжал он, – то, да преклонит оружие и встретит меня близ *отчины моей*, Москвы, как подобает встретить своего владыку, а вы все, рабы мои, целуйте мне крест и присягайте в верности мне, *Великому князю Московскому*».

...Все сии слова проговорил старик с таким усилием, как будто бы они были огненные, задушали его и иссушали гортань его, произносимые вслух. «Дайте мне пить», – сказал он, обращаясь к своим и громко кашляя. Несколько глотков поднесенного ему питья остановили кашель.

«Государь! – скромно начал тогда говорить Басенок, – речи твои изумляют нас. Неужели не научился ты, из предше-

ствовавших событий, суетности подобных замыслов и предприятий? Неужели еще раз, в преклонных летах старости, ты забыл клятвы твои, договоры и крестоцеловальные грамоты? Неужели снова хочешь начать то, что давно уже кончено и предано забвению?»

– Я беру то, что Бог и уставы предков наших передают мне, *сыну* Великого князя Московского Димитрия Иоанновича и *старшему* из всех князей русских Мономахова рода.

«Государь! – продолжал Басенок тихо, но с чувством собственного достоинства, – прискорбно мне было услышать, что Ивашку боярина, изменника и предателя моего князя, называешь ты своим *сановником* и подтверждаешь его злые речи. Но слышать от тебя самого о нарушении клятв, грамот и договоров...»

– О каких клятвах и договорах напоминаешь ты мне? – с негодованием воскликнул Юрий.

«Позволь исчислить их», – отвечал Басенок и дал знак Бедде. Спокойно выступил вперед Беда и начал говорить:

– При блаженной кончине Великого князя Василия Дмитриевича, Духовною грамотою передал он Великое Княжение, чем благословил его отец, сыну своему Василию Васильевичу, что утвердили дяди его и покойный владыка, митрополит Фотий, лета 6931-го. И когда князь Звенигородский и Галицкий, дядя Василия Васильевича, Юрий Дмитриевич, не соглашался на таковое установление, был у него, князя Юрия, владыка Фотий и пастырским своим словом

умирил князей и условил: быть Юрию *младшему*, а Василию *старшему*. В сем и заключена была клятвенная грамота, лета от создания мира шесть-тысячное, девять-сотное, тридесят шестое, индикта шестого, марта в единонадесятый день. И прешедшим трем летам снова воздвиг требование князь Юрий. И положено было, в отвращение пролития христианской крови и в пресечение крамолы и смуты, идти князьям в Орду к Великому царю всея Руси и многих Орд повелителю Махмету, и как решит он, царь, так делу и быть. И бывшим князьям пред царем, разприся¹¹⁵ о Великом княжении, и решил царь Махмет: быть Великим князем Василию Васильевичу, а дяде его, князю Юрию Димитриевичу, быть под ним младшим...

Все сие было произнесено бесстрастным, однозвучным голосом. Казалось, что совесть читает подробную запись прошедшего князю Юрию и никто не смеет прервать страшного ее отчета. Беда продолжал:

«И повелел царь Махмет перед собою ехать на коне князю Великому, а князю Юрию вести за повод коня его. Но Великий князь милосердовал, подарил князю Юрию город Дмитров, а чести не восхотел. И был посажен князь Великий на стол отчий и дедный, в Москве, Уланом царевичем, у Пречистая, у Золотых ворот. И клялся ему князь Юрий, как старшему, и в духовной митрополита Фотия написан был князь Юрий *благородным* и *благодарным*, а князь Василий Васи-

¹¹⁵ *Разприся* – вести спор.

льевич благородным, *благоверным и Великим...*»

– Князь Великий! прости моей ревности, – воскликнул тогда боярин Иоанн, поспешно подходя к столу, – но если ты, смирения ради, терпишь клеветы и лжи, мы терпеть их не будем, мы, рабы твои! Позволь мне запечатлеть уста сего клеветника словами святой истины. – Юрий, не говоря ни слова, наклонил голову, а Иоанн поклонился всему собранию и начал:

«Издравле Бог, испытующий гневом своим владык земли, наравне с низшими и малыми, да ведают, что и они человеки суть и не забывают дела, на которое призваны, насылает казни, смуты и превратности жребия князьям и владыкам.

Так было и в то время, когда Великому князю Юрию Димитриевичу, по судьбам Бога, долженствовало наследовать Великое Княжение, после старшего брата своего, Великого князя Василия Димитриевича, его же да сопричтет всемогущий Господь к лику праведных!

Говорить ли мне о святых и непреложных правах князя Юрия Димитриевича? Кто не ведает, что с незапамятуемых времен *старший в роде князей русских* наследует престол великокняжеский. Благородная ветвь доброго корени Великого Владимира Всеволодовича Мономаха, правнук князя Всеволода Георгиевича *Великого Гнезда*, Иоанн Данилович составил в величии и славе Великое княжение русское, погибавшее, поработенное, униженное. Он перенес его в древний град, новую Византию, Москву, благословенный десни-

цею святителя Петра, первого митрополита Московского и всея Руси. Се начало, се дело судеб Божиих! И когда Господь призвал Иоанна к себе, утвердился великий род его в сыне, князе Симеоне, ему же наследовал брат его, князь Иоанн, и передал сыну своему, Великому князю Димитрию Иоанновичу. Старшие в роде князей русских, по кончине Великого князя Димитрия Иоанновича, остались сыны его: *Василий*, бывший по нем Великий и славный князь, и – здесь зрим мы другого, *старшего по нем* князя нашего Юрия Димитриевича.

Древний устав отцов и грамота духовная Димитрия утверждали право на великокняжение *нашему князю* в случае кончины Василия, если Господу угодно будет продлить дни нашего князя Юрия. И совершилось: перешел к отцам Василий, и продлил Господь дни нашего князя.

Но, о горе великое! Когда, скорбный о кончине брата, его же чтил в отца место, князь наш хотел принять бразды великого дела государственного – открылось хищение, умысел и суетное людское помышление!

Братья юнейшие восстали, владыка духовный прегрешил, бояре сковали крамолу. Духовная грамота, в нарушение всех прав Божеских и человеческих, была составлена Василием, по которой лишался великокняжения Юрий, и племянник, сын Василия, восставлялся против него. Воинство явилось на защиту лжи; князь Литовский, объявленный опекуном юного Василия, как хищный вран, готовил уже кровожадные

дружины свои, да воспользуется раздором. И щадя кровь христианскую, что должен был делать князь наш? Он – уступил, князья и бояре, *уступил...* Оцените великодушие его, познайте славу его смирения!»

Шум раздался после этих слов в собрании; боярин Иоанн торжествовал, горделиво посмотрел на всех и продолжал:

«Но мысля о спасении души племянника, братьев и даже самых рабов своих, не переставал он убеждать их. Вскоре смерть прекратила дни Витовта! Владыка Фотий вскоре отдал неземной отчет в делах, и – язва смертельная поразила Москву¹¹⁶, где пали жертвою гибельной смерти многие князи и бояре. И все сие свершилось в пять лет! Бог являл суд и гнев свой, но – не слушали его глаголов! И тогда князь наш, не прибегая еще к оружию, предложил отдаться на суд царю Ордынскому... Князья и бояре! не спрашивайте у меня: какие крамолы употреблены были затмить правду и истину! Горе нам, горе царству, неправдою зиждемому! Так! Царь Махмет осудил нашего князя, но тогда решил уже князь наш защищать дело свое оружием. Мера неправд исполнилась...»

– Боярин! – воскликнул Басенок, – ты ли смеешь говорить о суде Ордынском? Не нужен был суд сей нашему князю Василию Васильевичу, но он шел на него, ибо хотел доказать правду свою и сим образом. Но кто стоял тогда за нашего князя? Не ты ли, не так ли, как ныне разглагольствовал ты

¹¹⁶ ...язва смертельная поразила Москву... – см. комм, к с. 373.

и убеждал царя Ордынского в пользу нашего князя – двоедушный, двуязычный старец! Вспомни и устыдись!..

Казалось, сии слова должны были смутить Иоанна. Все знали, что он был причиною благоприятного для Василия ханского решения. Красноречиво утверждал он перед ханом – именно противное тому, что говорил теперь. «Повелитель русских земель! – восклицал тогда боярин Иоанн, – твоей воле предоставляет сирота, сын славного князя Московского, судьбу свою! Оставишь ли его, забудешь ли славу твою и слово твое, которым укрепил ты волю отца его? Князь Юрий утверждается на ветхих хартиях и мертвых уставах, никогда не исполняемых на Руси – мы ссылаемся на твое живое слово, утверждаемся на твоей всемогущей воле!» Подробно исчислял потом Иоанн все отступления от права старейшинства и возвышал волю Хана. – Но боярин Иоанн не смутился теперь от слов и напоминаний Басенка.

– Остановись, дерзкий юноша! – воскликнул он. – Кто ты, ничтожный судия совести другого! Если и был я тогда виновен, то не видишь ли теперь явный знак благодати Божией, доказывающий несомненную победу князя Юрия Димитриевича – знак ее во мне, человек, который был врагом его и отверг вражду, вняв угрызению совести и гласу истины! Так: я стоял тогда за крамольного племянника, думая, что стою за правое дело. Привыкнув повиноваться великому родителю его, повиновался я и юному князю Василию. Но не я руководствовал коварными, злобными, вероломными делами

Москвы: Юрья Патрикеевич был первенствующим в княжеской Думе; мать Василия, поругательница князей, дяди его, люди коварные и хитрые, сонм бояр продажный и корыстолюбивый – вот кто руководил Москвою! И я не мог сносить далее тяготы душевной, оставил Москву и перешел к правой стороне. Князья и бояре! Я могу пересказать вам даже и то, сколько золота и серебра дано было которому ордынскому вельможе, чтобы преклонить решение хана Ордынского; могу объяснить, какие у мысды таились после того на погибель, нашего князя и сынов его; какие ковы соплетались на других русских князей для отнятия их уделов. Но – теперь и без меня уже все раскрыто. В безумном ослеплении Москва, послала дружины свои на Ярославль и Рязань, наложила руки убийц на двух сынов нашего князя, и где же? Когда? Среди веселия родственного! Князь Константин хочет прикрыть грехи монашеским клобуком; других братьев уже призвал суд Божий, и – долголетием благословенный, грядет мститель неправд. Се наступил час побед Его! Кто противостанет? Да здравствует Великий князь Московский Юрий Дмитриевич!

Громко повторено было сие восклицание; бояре и воины, бывшие вне избы, где происходил прием послов, также повторили его, и оно разлилось по всей дружине Юрия, соединенное со звуком бубнов и труб.

«Ты слышал ли, воевода московский, и вы, бояре московские, слышали ль речи моего боярина? – сказал Юрий. – Че-

го же ждете вы еще? Вы хотите знать права мои: я ли изложил их? Я молчал, когда говорили вы против меня клеветы свои и когда в ответ вам изрекли истины святые и непреложные...»

– Мы слышали исповедь преступника и изменника, – сказал Басенок, – но не знаем еще твоей воли.

«Остановишься ли ты в своих дерзких словах, раб бунтовщика? – стремительно вскричал Косой. – Еще одно слово – и ты погибнешь, презренный оскорбитель князей!»

Басенок угрюмо взглянул на него. «Послов ни секут, ни рубят, князь Василий Юрьевич!»

– Но какой же посол присылается для того, чтобы оскорблять тех, к кому он послан, и безумно противоречить правде! – вскричал Шемяка.

Басенок оборотился к Ощере. «Боярин! что же ты молчишь? Так ли должен поступать посол Великого князя?»

Ощера, хранивший глубокое молчание, вдруг ступил несколько шагов вперед, преклонил колено перед Юрием и воскликнул: «Государь князь Великий! прими раба твоего и смилуйся над ним. Да здравствует Великий князь Юрий Дмитриевич и да погибнут враги его!»

Сей неожиданный поступок старшего московского посла изумил всех. Подлость, низость поступка Ощеры, как говорится, *повернула сердца*, и – его восклицание умерло в совершенной тишине.

Басенок задрожал от негодования. «Боже великий! – вос-

кликнул он, – могу ли пережить сей позор, сие бесславие!»
Казалось, он не знал: взяться ли ему за меч свой и умертвить изменника Ощеру на месте или удержать свое негодование!

– Встань, боярин! – сказал Юрий Ощере. – Принимаю твою покорность и жалую тебе место в нашей великокняжеской Думе.

«И тако покорятся тебе все!» – воскликнул боярин Иоанн, между тем, как Ощера подполз на колене к Юрию и целовал ему руку.

– Живи, пресмыкайся, – сказал тогда Басенок, с отвращением глядя на Ощеру. – Но теперь я старший посол Великого князя и заступлю место изменника. Князь Звенигородский! отвечай Великому князю Московскому в лице послов его: полагаешь ли ты оружие? Принимаешь ли мир? Отказываешься ли от твоих несбыточных помыслов?

«Дерзновенный! – вскричали в один голос Косой, Шемяка и боярин Иоанн. – Умолкни или за оскорбление великокняжеского величия тебя не спасет звание твое!»

Как будто не внимая сим угрозам, Басенок продолжал: «Выдаешь ли мне изменника Ивашку боярина и другого вора, боярина Ощеру?»

«Удались немедленно, беги, скажи своему князю, что между нами нет никаких условий! – воскликнул Юрий, вставая со своего места. – Покорность, или горе и погибель!»

– Итак, да падет на тебя кровь христианская, нарушитель клятв! – отвечал Басенок. – Брось перед ним его грамоты

крестоцеловальные, – сказал он, обращаясь к Беде. Крик негодования и ярости раздался в собрании. «Мы не потерпим такого надругательства – сковать его – цепи – тюрьма!» – закричали с разных сторон.

– Торжествуй, – сказал Басенок, обращаясь к боярину Иоанну, – но знай, что торжество зла кратковременно! Угля горящие сыплешь ты на главу свою, несправедливо собирая богатства и почести. Плаха – рано или поздно – будет твой удел!

В это время Беда, с обыкновенным своим равнодушием и неизменяющимся лицом, вынул из бархатного мешка и кинул к ногам Юрия сверток бумаг.

Ярость овладела Юрием, детьми его и боярами. Юрий хотел что-то сказать, но, задыхаясь, не мог ничего выговорить и только кашлял. Бояре его, одни кинулись к боярам московским, спутникам Басенка, в намерении вытолкать их вон, другие хотели обезоружить Басенка. Шемяка, дрожа от гнева, схватил одной рукою бумаги, которые бросил Беда, другою ухватил он его за бороду, закричав: «Я заставлю тебя проглотить их, исчадие нечистое!»

Басенок отступил к дверям, заслоня собою товарищей, и громко воскликнул: «Кто ко мне подступит, тот расплатится жизнью!» Он стремительно ухватился за меч свой.

Шемяка первый почувствовал все неприличие ярости и необдуманного гнева. Он оставил Беду и остановил бросившихся на Басенка, как будто желая загладить свое собствен-

ное, излишнее безрассудство.

«Остановитесь, брат, князя, бояре! Стыд, грех – не посрамим себя!»

– Князь Георгий Димитриевич, – сказал тогда Исидор, хранивший глубокое молчание во все время споров и буйного волнения, – позволь мне молить тебя: если уже без плода оказалась принесенная мною тебе ветвь маслины, то, да не произрастит она, по крайней мере, плода гибели. Посланник мира – да не буду я зрителем кровопролития!

Все остановились. Юрий устыдился буйства своих детей и вельмож. «Отпустите их безопасно, и горе тому, кто оскорбит их хоть словом!» – сказал он. «С тобою, отец архимандрит, мы увидимся – в Москве. Боярин Иоанн, боярин Ощера – идите за мною!» – он принял благословение Исидора и поспешно удалился.

Басенок также спешил идти. За ним пошли двое товарищей его. Беда все еще оставался на своем месте, бледный, неподвижный, дрожащий, с той самой минуты, как Шемяка столь жестоко опозорил его. Уже Басенок и бояре были за дверьми, когда он опомнился, молча поднял с земли клочок волос, вырванный из бороды его Шемякою, и не говоря ни слова пошел за товарищами. Он казался обезумевшим; казалось, он сам не понимал, что делает.

Шемяка, сложив руки, погруженный в мрачную, глубокую думу, стоял подле стены и долго не мог дать самому себе отчета во всем вокруг него происходившем. Он опомнился,

наконец, когда уже никого не было в избе. Только Димитрий Красный сидел в углу и горестно плакал...

– Плачь, ангел-хранитель наш, плачь! – сказал Шемяка мрачным голосом. – Не так совершаются дела, Богом благословляемые! Предчувствую, в какую бездну греха и погибели повергнули мы себя, тебя, родителя... Но – кто противостанет судьбам своим. Да будет же то, что будет... В Москву, в Москву!..

Димитрий Красный не отвечал ни слова, закрывая рукою глаза, и слезы обильно текли из глаз его.

Глава II

О боже мой! кто будет нами править!

О горе нам!..¹¹⁷

А. Пушкин

В кремлевских великокняжеских хоромах были покои для житья, залы для пиროванья, палаты для государственных совещаний, церкви и часовни для молитвы, кладовые для золота и серебра, погреба для вин и меда. Но кто прошел бы все эти отделения хором великокняжеских, тот не узнал бы, что в них были еще уголки, назначенные не для веселья, не для пиров, не для хранения великокняжеского богатства, уголки темные, мрачные, лишенные всякого убранства. Это были – *боярские тюрьмы, темницы и княжеские казенки*. В то время, когда в палатах раздавались веселые клики радости, в этих уголках уныние и горесть беседовали с обитателями, нередко переходившими в них с великолепного пира великокняжеского. *Близ царя близ чести, близ царя близ смерти* – эта пословица дошла из старины до наших времен. С удивительным равнодушием повторяли и забывали всегда эту пословицу царедворцы, не боясь близости и все теснясь *ближе и ближе* к Великому князю! И всегда весело пировали они, никогда не помня, что товарищи их, недавно подле них си-

¹¹⁷ Эпиграф – А. С. Пушкин «Борис Годунов», сцена «Красная площадь».

девские, горюют в боярской тюрьме или княжеской казенке.

Так забыты были в это время два молодые боярина, Симеон и Иван Ряполовские. Укор другим, недостойным боярам и царедворцам, жертва смелой правды и женской, необдуманной вспыльчивости, со дня самой свадьбы Великого князя брошены были они в тюрьму и разлучены с родными. У отчества отняты были умы и руки их в минуты величайшей опасности. Мы видели, что злые враги готовили им даже лютую казнь. Но Василий велел умолкнуть требовавшим голов их, не смел освободить Ряполовских, но не велел и умножать тягости их заключения. Ряполовские оставались, как будто неважное дело, решение которого откладывают впредь, до времени более свободного. Нерешительный князь не умел оценить достойно окружавших его людей, не умел и сознать прямо достоинства Ряполовских. Неужели не понимали опасности отчизне бояре и царедворцы его? Неужели злоба затмевала в глазах их невинность Ряполовских и не хотела сознаться, что *теперь* они были необходимы для общего спасения? Можно обольщать себя надменностью, ослепляться гордостью, пока нет еще опасности. Но когда гибель над головою, кто не сознает своего бессилия, не пожертвует всем?

Опасность, гибель! Но какая опасность, какая гибель грозила боярам *Василия*? Гибель *его* разве губила *их*? Опасность *его* разве и им была равно ужасна?

Симеон Ряполовский сидел за ветхим столом в своей тем-

нице; перед ним развернута была духовная книга. Брат его, Иван, ходил по темнице. Заходящее солнце освещало сквозь железные решетки бедную комнату, где заключены были Ряполовские.

«Послушай, брат: как утешительны, усладительны слова Апостола, – сказал Симеон, – *Желаете и не имате; убиваете и завидите, и не можете уллучити. Сваряетесь и борете и не имаете, зане не просите; просите же и не приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших изживете... Не весте ли, яко любы мира сего вражда Богу есть – иже-бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает...*»

– Друг мира, враг Богу, друг Бога, враг миру... Да, святые слова, любезный брат! Но горе нам, ведущим их, и не внемлющим, слышащим их, и не исполняющим: *Враг мира...* Но могу ли быть врагом самого себя, ибо что *мир*, если не *мы*?

«Нет! Мир – владение князя *мира сего* – не есть тот мир, в котором живет человек, исполняющий обязанность свою к Богу, поставленной от него власти, ближнему и самому себе».

– Ах! обязанность ли наша мечты властолюбия, суеты и гордости, которые не перестают терзать нас – даже и на жестком одре темницы...

«Ты сегодня особенно грустен и печален, брат. Что с тобою?»

– Меня убивает мысль, что теперь, когда, может быть, добрые товарищи умирают на поле брани и кровью искупают

грехи свои, мы бездействуем, мы ничего не слышим даже!.. Грешу, но сознаюсь: уже не польза княжья, но кровь, кипящая в жилах, заставляет меня грустить, что и я не там же...

«А страдающий за князя своего в темнице, разве не воюет за него? И что же ты хочешь слышать? Вести о позоре и беславии отчизны, о гибели Москвы, когда ты не в силах отворотить сей гибели?» – Симеон отвернулся, желая скрыть слезы, помрачившие глаза его. Иван безмолвно сел на одр свой.

В это время загремел замок на дверях темницы и явился надзиратель тюрем и темниц дворцовых, дьяк Щепило, возведенный в чины покровительством Юрьи Патрикеевича, ничтожный угодник Софии. Жестокосердие и глупость ясно изображались на лице его. К этому; присоединялось еще у него пьянство. Всякий вечер Щепило сильно напивался, окончивши обзор заключенных. Обыкновенно угрюмый и молчаливый, вечером он делался словоохотным и веселым, когда хмелина попадала в его голову. Видно было, что на сей раз Щепило начал гулянку до вечернего своего обхода. Он затворил за собою дверь темницы Ряполовских и важно сел на скамейку, стоявшую подле двери. Симеон взглянул на него и снова начал читать. Иван глядел на Щепилу и ожидал, что начнет он говорить.

Несколько раз потер лоб свой Щепило, отдувался несколько раз, и рожа его так была смешна, что Иван улыбнулся, смотря на него. Щепило сам засмеялся.

– Ну, что же, бояре? А, ну, что же? – сказал он.

«Да ничего! – отвечал Ряполовский. – Мы ждем, что ты скажешь».

– Я что скажу? Да также – ничего!

«Стало быть разговор у нас будет короткий. Нам теперь ничего не надобно и мы еще не ушли из тюрьмы, как ты видишь. Прощай!»

– Не ушли из тюрьмы?.. Да, ведь этого нельзя: ведь она заткнута моею головою. Ничего не надобно? Стало вы не пожалуетесь на меня, бедняка, чтобы у вас чего-нибудь не доставало? Стало вы мною довольны?

«Очень довольны, потому что нам ничего не надобно и мы ничего не просим...»

– Ну, так вы меня простите... Что ж делать? Немного выпил – да так, с радости, с веселья...

«Что у тебя сегодня за веселье?»

– Не у меня, а в Москве. И есть о чем повеселиться. Великий князь, правда, плакал – ну, что делать! Расстаться с молодою женою, да с мягкой постели ехать на кровавую битву... Хе, хе, хе!

Симеон перестал читать и сделал знак брату, чтобы он разговорился с Щепилою. Иван решился поддержать разговор.

«Разве великий князь отправился куда?» – спросил он.

– Вы люди умные, бояре, и больше меня знаете! Хе! Где же нам знать с ваше!

«Положим и так, хоть похвальба мужу пагуба, почтенный господин Щепило; но ты забыл, что мы уже недели с две сидим взаперти, и кроме того, что от тебя слышали в это время, совершенно ничего не знаем».

– От меня слышали – сиречь я вам, бояре, не враг, а приятель, и все приятельски рассказываю. А вы сору за порог не выносите. Ей-Богу, бояре, бывало вы меня словом не удоставляли, когда были в чести, а вот я вас, так всегда чествовал низким поклоном. То-то же; с тюрьмой, да с сумой никогда не бранись! А я, право слово, вас полюбил, полюбил за то, что вы такие добрые, смирные, ничего не затеваете, сидите себе тихо и ничего не требуете. Я уж и Юрью Патрикеевичу об этом говорил. А он, право слово, вас любит, очень любит, бояре!

«Мы никогда ему зла не делали. За что же ему зла нам желать?»

– А что он не противился, когда вас решили в тюрьму заключить – нельзя же было ему, бояре! Я верю, что вы честные люди – да пало на вас подозрение, будто вы старому Юрию потакаете – нельзя же было вас защищать. Ведь подумали бы и о моем покровителе, князе Юрье Патрикеевиче, что он с вами заодно. Ну, уж лучше же вы пропадайте, нежели стоять ему за вас, да погубить себя! Но Юрья Патрикеевич несколько раз спасал вас после того от явной смерти. Еще вчера, как было поднялись против вас! Кричат: «*Давай нам Ряполовских!*» А особливо этот князь Туголукий: собрал

толпу всякого сбродного народа, наговорил на вас, что вы злодеи, изменники, и заставил подле дворца кричать: *Давай Ряполовских!* Я сам тут же кричал. Да, право слово, нечаянно попался; шел мимо, народ бежит и меня за собой утащил. Я было хотел молчать, так – куда тебе – меня чуть самого не прибили! «Что ты не кричишь?» – стали мне говорить. «Видно ты Юрьевский? Видно потекаешь изменникам Ряполовским?» Делать нечего! Заорал и я; *Давай Ряполовских!*

«Что же сделал великий князь?»

– Ничего! Велел только разогнать нас палками: кто куда бросился, и я рад-радехонек был, что по-здорову уплелся. Хорошо еще, что народ палки боится. Чтобы ты с ним стал делать, если бы палка его не пугала?

«Мы видим, что ты не хотел нам зла, – сказал Ряполовский улыбаясь, – а в честном обществе, делать нечего, – надобно поддакивать. Говорят, что однажды, смотря на пример других, жид женился, а грек удавился. – Но ты не кончил своего рассказа о том, как поехал с Великим князем из Москвы Юрья Патрикеевич», – продолжал Ряполовский, нарочно стараясь запутать Щепилу в словах и выведать от него.

– Да, как поехал он, – сказал Щепило, забывшись и полагая, что он уже рассказал все предшествовавшее. – Но, он поехал, да не доехал... Ох! умная голова благодетель мой, князь Юрья Патрикеевич! Что же ему делать, когда Господь не назначил его от рождения быть воином? Он велик в Совете... Ну, овому талант, овому два...

«Овому ничего», – пробормотал Иван, усмехаясь;

– Да, овому два. А кабы еще к советному, великому уму, да Господь дал храбрость Юрию Патрикеевичу – вот, как дал он ее Басенку, примером сказать, или Андрею Федоровичу Голтяеву...

«Голтяеву!» – невольно воскликнул Симеон и захлопнул книгу, но опомнился, развернул снова и без мыслей перебирал листы в ней.

– Так, кто бы тогда с Юрьем Патрикеевичем сравнялся? – продолжал Щепило, ничего не замечая. – А впрочем, теперь Басенок узнал, как его бабушку зовут...

«Басенок? Как же это?»

– Да, так: храбёр он, больно храбёр, да наскочил на лихого. Нет! видно с Шемякой-то не с своим братом – так его растрепали, что едва ноги унес.

«Добрый друг! – промолвил тихо Симеон, – но и тебя я не узнаю: ты *пережил* проигранную тобою битву!» – Симеон погрузился в мрачную задумчивость.

– И то сказать: видима-невидимая сила идет на них! От одних пожаров так светло бывает по ночам, что в самом дворе княжеском хоть деньги считай.

«И меня нет там!» – невольно воскликнул Иван.

– Нет? – сказал Щепило, – чего нет – все есть! Не только дружина пошла, не только сам Великий князь поехал, но и меды, и брагу повезли – шел, шел обоз из Москвы – конца не было видно.

Долго еще рассказывал и говорил Щепило. Ряполовские узнали от него множество подробностей о том, что после нечаянного разгона дружин московских Гудочником, посланы были послы к Юрию, а ночной разгон войска приписали колдовству; что с бесчестием прогнаны были от него послы, что все князья удельные отступились и не вмешивались в дело, не шли против Москвы, но и не помогали Юрию, который быстрым натиском разбил Басенка. После сего, в буйной, пьяной Думе Великого князя решено было *защитить Москву*, и сам Великий князь отправился с многочисленной, но нестройною толпою, навстречу дяде, приближавшемуся от берегов Клязьмы в грозном ополчении. Между тем Москва волновалась; улицы в трети Юрья закинули рогатками; всякий москвич вооружался; стража, усиленная вдесятеро, беспрестанно ловила вооруженных и разводила драки.

– Да где им! – воскликнул наконец Щепило, – только бы изменщиков у нас не было, а то Великий князь развеет, яко прах разметает ветер, все тьмы врагов. Юрья Патрикеевич сторожит Москву и велел уже приготовить хлеб-соль для возвращения Великого князя. Ведь завтра он, конечно, воротится с победою и с пленным дядюшкою своим, и запоем мы все: *Твоя победительная десница!* А послезавтра – чего мешкать... покатаются по площади головушки Юрья, и Шемяки, и Косого, и еще кое-чьи... – Щепило лукаво взглянул на Ряполовских.

«Умолкни, мерзостная тварь! – вскричал Симеон вне се-

бя. Сердце его переполнилось. – Ты ли смеешь говорить о священных головах дяди и братьев великокняжеских!»

Хмель вдруг выскочил из головы Щепилы от испуга, в какой привели его слова Симеона и неожиданный переход из глубокого, неподвижного молчания в яростный гнев. – Что я разоврался тут! – забормотал Щепило. – Говорю о голове Юрья перед его сообщниками! Как бы убраться? Их двое, а я ведь один – правда, стража подле, но пока прибежит она, то меня уходят эти бесовы дети... – Он робко взглянул на дверь и рассчитывал, как может он в один прыжок быть за дверями. Но к неопisanному ужасу его, Симеон, быстро вскочил, ухватил его за грудь, прежде нежели он успел опомниться.

– Князья, бояре! отпустите душу на покаянье – ради Христа! Тут ведь стража – зареву – все прибегут и искрошат вас в мелкие кусочки...

«Слушай!» – сказал ему Симеон.

Щепило от страха не мог промолвить ни одного слова. Какой подлец не робок? Щепило указывал только на дверь пальцем, давая разуметь, что тут, за дверью, находится стража.

«Слушай, Щепило! – продолжал пылкий Симеон, не внимая знакам его. – Выпусти нас! Чего ты хочешь? Золота – бери, я тебе дам – я тебя осыплю золотом – выпусти только нас – дай нам уйти – выпусти одного из нас, а другой останется у тебя в залоге...»

– Брат, любезный брат! – сказал Иван, отнимая Симеона

от груди Щепилы, – опомнись! Что ты делаешь?

«Да, я в самом деле забылся – взялся за этого мерзавца!» – Симеон отряхнул руку, как будто бы держал в ней нечистую жабу.

Пользуясь этим, в один миг, со страшным криком, отворил дверь и бросился вон Щепило. Стража, испуганная криком его, кинулась в темницу Ряполовских. Щепило столкнулся с воинами и полетел со всех ног. «Батюшки! Спасайте: изменники бьют и бегут!» – заревел он во все горло. Но воины остановились, видя, что Ряполовские неподвижно сидят вместе, обнявшись, и что Симеон плачет.

– Кто кого бьет? – сказал один из воинов.

«Изменники, злодеи! Они подговаривали меня выпустить их», – отвечал Щепило, оправясь и поднявшись на ноги. «Пойдем, пойдем, – продолжал он, толкая вон стражей, – сейчас пойдем к Юрию Патрикеевичу; кандалы на них, цепи – казнить их!» – говорил он, замыкая дверь снаружи замком и стараясь вспомнить, что говорил он Ряполовским, и боясь, не наврал ли им чего-нибудь лишнего.

– Спасают Москву, не заботясь уже о спасении Великого княжества! – говорил Симеон брату. – Внук Димитрия не мог отразить толпы бродяг, набранных крамольным дядею, когда дед его полтора-два тысяч воинов выводил в поле и в прах рассыпал с ними ополчения Орды! Горе нам! Семьдесят лет крамола не будила русских земель, но теперь возродилась она, как неукротимая злоба древнего змия, диаво-

ла...

«На что раздражил ты неуместным гневом своим нашего тюремщика? Мы можем погибнуть...»

– Сил моих неостало более, и лучше, лучше погибнуть, нежели пережить бедственное наше время! Горе нам, брат! О! если бы я мог теперь стать хотя простым воином в ряды братьев! Владычице Богородице! *лук медян соделай людей твоих верных, избранник мьшцы, и перепояши их силою и крепостию, Пренепорочная, с небес подая им силу!*

Шум и стук подле дверей темницы развлек внимание Ивана Ряполовского. Окошечко в двери, забитое железною решеткою, отворилось. Видна была голова Щепилы и еще какое-то другое зверообразное лицо. Как будто боясь войти в темницу, Щепило говорил своему товарищу, указывая на Ряполовских: «Вот эти самые молодцы их первых придется – первых, говорю тебе: это самые злые сообщники окаянного Юрки, чтобы ему ни встать, ни сесть!»

Окошечко снова захлопнулось. Возведя очи к небу, сжав руки, погруженный в молитву, Симеон не слышал ничего, даже и увещаний брата. «Благоприменительный Господи, долготерпеливый и много милостивый, – говорил он, – податель всякия твари, словесныя и умныя, еже быти от не сущих всем даруяй, и еже добре быти, всеумудре нам даровавый...»

– Он молится – слава Богу! – думал Иван, смотря на брата. – Молитва вытесняет отчаяние из души человека. Враги мои и брата моего! Если бы вы могли видеть его в сии мгно-

вения! Как он выше вас, он, в темнице, молящийся за князя своего, скорбящий, что не может пролить крови своей за его спасение – вас, которые на золотых одрах своих согреваете в сердце своем измену...

Взволнованная душа Симеона утихала понемногу. «Брат! – сказал он, – ты видишь на мне тщету мудрости и разума человеческого! Я уговаривал тебя, юнейшего, быть мужественным и твердым и – первый поддался скорби и смертному греху отчаяния! Забыл я, что судьба князей и царей не судьба людей, и если волос с головы человеческой не падет без воли Божией – царству ли пасть без судеб его?»

Еще беседовали несколько времени братья и, спокойные совестью, предались сну. Уже светло было, когда вдруг громкий звон набата поразил слух их. Мимо окон скакали, как слышно было, всадники, и в самых переходах, мимо темницы заметны были беготня, шум и топот. «Слышишь ли, брат?» – сказал Симеон, поднимаясь с бедного одра своего.

– Я уже давно слышу, но не хотел будить тебя.

«Что же это значит? Смерть ли нашу, или гибель Москвы? Но во всяком случае князю тело, Богу душу... Спокойный перед судом человеческим, суда ли Божия утрашуся? *Возстани, возстани, душе моя! что спиши?*» Но грусть снова омрачила просветлевший на мгновение взор Симеона, со слезами на глазах взглянул он на брата и сказал: «Жаль матери – останется старушка сиротою...»

Они замолчали и прислушивались. Набат гудел в Кремле,

медленно и уныло; скоро и в других местах повторился звон его. Подле окна тюрьмы слышен был в то же время шум и крик толпы... Вдруг замок на дверях темницы Ряполовских зашевелился, тихо, тихо – дверь отворилась и – Щепило вошел к ним. Робко, вежливо стал он у двери и низко поклонился заключенникам.

– Князья-бояре, – сказал Щепило, видя, что Ряполовские начинают с ним говорить, – будьте милостивы, жалостливы – простите грешного меня, если я чем избидел вашу боярскую честь! Простите, ради самого Создателя! – Он еще раз поклонился.

«Не опять ли выпил ты лишнее? – сказал Иван Ряполовский, – или просишь у нас прощения, как просят его у мертвых?»

– Избави нас, Господи! Не тем будь помянуто – что нам до мертвых, когда ваша честь и слава теперь-то и начинаются! Даруйте мне такую милость, дозвоьте мне услужить вам: вы мне говорили вчера, чтобы выпустил вас, и сулили даже... Но, Господи избави меня от греха! А теперь, бояре – угодно только будь вам – я немедля выведу вас из тюрьмы... Не забудьте только моей посильной послуги. – Он снова низко поклонился. Недоверчиво взглянули друг на друга Ряполовские. – О! Не бойтесь никакого злого умысла, – воскликнул Щепило, заметив недоверчивые взгляды Ряполовских. – Нет, бояре! Царство нечестивых прешло, и Москва скоро возрадуется под властью законного Великого князя!

«Что ты говоришь?» – воскликнул Симеон.

– Набат лучше меня говорит вам, бояре, что царство Василия кончилось.

«Как? Он убит?» – хладнокровно спросил Симеон. Великость бедствия, после всего испытанного им, не только не воспламенила души его, но, казалось, подавила ее, как тяжелый, надгробный камень, поставленный на горестях и радостях человека, подавляет их и заставляет безмолвствовать холодный труп его.

– Если бы убит, так все хоть с честною смертью можно бы его поздравить, – отвечал улыбаясь Щепило, – а то и этого нет! Он и вся его пьяная сволочь бежали, бежали без оглядки от мечей Великого князя Юрия Димитриевича! Ох! в эту ночь такие чудеса наделались, бояре, что кажется и вовек не слыхано!

«Что же такое сделалось?» – спросил Симеон, тихо встав с одра своего и начав ходить по темнице медленными шагами.

– Вчера был в Думе Василия такой шум и спор, какой бывает у баб торговых на блинном базаре. Хватились за ум народы православные – вздумали идти навстречу Великого князя Юрия Димитриевичу... Явная милость Божия: ослепило умы их! Да и кому было умничать-то? Не этому ли Юрию Патрикеевичу, с его литовскою четырехугольною головою? Не самому ли князю Василию? Сказали ему, что он должен предводительствовать ратью, так он едва не растаял от слез, прощаясь с молодою княгиней. Толпа сволочи поплелась за

ним, да только что дорогою грабила, да буянила. А между тем в Кремле, тайно, уклали все на возы, и в самую полночь Василий прискакал назад верхом, запрягли лошадок и пока- тились возики из Москвы, с князем и с княгинею. Хорош воин: на врага идет, а животы в запас убирает!.. За ними кое- как убрался еще кое-кто...

«Что же Москва?»

– Господи! Как узнали к утру в Москве, да как зашумит народ – своя воля – дружин воинских нет! Слышите, как трезвонят в набат? Ведь это простой народ разгуливает – бежит его в Кремль столько, что и счету нет! Стража осталась только что у дворца великокняжеского – стережет Софью Витовтовну – будто для почести, а в самом-то деле для того, что когда не успела старушка убраться, так теперь ее и не выпустят, а с рук на руки передадут Великому князю Юрию Дмитриевичу. Только бы успела она дожить; ведь она на одре смерти, совсем не встает, и видно ей придется встречать добрых гостей, или отправляться в гости самой!

«Бедная мать! – прошептал Симеон, – понимаю твою скорбь...»

– Бояре и князья, одни сошлись в Думу, другие отправились с повинною головою к Великому князю Юрию Дмитриевичу. А Туголуцкий смышленнее всех – бросился готовить хлеб-соль и хочет у самых Фроловских ворот встретить князя; другие не знают, куда деваться...

«Чего же ты хочешь от нас?» – спросил Симеон.

– Ведомо, что вы были всегдашние радушники правой стороны и стояли за нашего, законного Великого князя, Юрия Димитриевича, за него терпели, в тюрьме насиделись, чуть головы не сложили. Велика честь будет вам от него. Теперь в суматохе никто и не вспомнит о вас – всякому до себя! Я поспешил сюда, чтобы освободить вас. Идите, добрые, милостивые бояре, примите старшую власть, пока пожалует к нам сам Великий князь. Стоит вам появиться, так все замолчит перед вами. Все теперь головы потеряли! В народе сумятица, крик, шум. Иные из простонародья поговаривают поднять на щит дворец; другие грозят Боярской думе; третьи кричат, что надобно выместить зло на сообщниках Василия, ограбить дома бояр его, а между тем заваривают в набат, пьют; разбили княжеский погреб – мелькают и огоньки кое у кого – спасибо, что еще, кто поумнее из народа, так уговаривает других не буяннить, а то давно подняли бы дым коромыслом!

«Стало быть, народ признаёт Юрия? Чего же вам всем бояться?»

– Да, оно так, что нельзя признать законного владыку – но, правду сказать, бояре, народ-то ведь глуп: и не разберешь, что он шумит. Пока Юрий Димитриевич пожалует, так над Кремлем панихиду успеют отслужить. Ведь у всякого из нас есть свои животишки¹¹⁸, малы, велики – ну, и жёнушки, детишки. Смилуйтесь, бояре! Вас народ любит – выйдите,

¹¹⁸ *Животишки* – имущество, достаток.

гаркните о Великом князе Юрии, сладьте думу!

«Но Юрья Патрикеевич, но Старков, но Василий Ярославич! Где же девались все они?»

– Василий Ярославич уплелся за Василием, а другие – коли правду вам истинную сказать – все прислали меня к вам, как радушникам, любовникам Великого князя: примите все под начало и уладьте мир и согласие.

Жар вступил снова в лицо Симеона. Чувствуя это, он скрепил сердце и сказал Щепиле:

«Если точно прислан ты от князей и бояр, то поди и скажи им, что Ряполовские из тюрьмы своей нейдут. Если же все налгал ты на князей и бояр, то вспомни, что ты давал клятву и целовал святой крест Великому князю Василию Васильевичу; что муж, ломающий клятву, потребится от земли, как червь непотребный, а на том свете будет висеть над огнем неугасимым, повешенный за орудие преступления своего – язык, который, по гражданскому правилу, должно у каждого клятвopеступника ископать и вытянуть с затылка. Вот тебе мое слово, и не смей оставаться здесь более, или произносить еще что-либо предо мною!»

– Он помешался от радости, – шептал Щепило, пятась задом к двери и выпучив глаза на Симеона. – Но все-таки не должно оскорблять его. Даром что он с ума сошел – быть ему в великой чести у Великого князя, Юрия Димитриевича! И теперь я не понимаю уже, что он говорит – каково же заговорит он, когда на ум-то взойдет – тогда наш брат не поймет

его речей, хоть три дня слушать будет.

«Суета суетствий всяческая суета! – воскликнул Симеон, оставшись наедине с братом. – Я предвидел твои бедствия, юное чадо, отрасль доброго корени, но плод еще незрелый! С добрым советником и великого стола додумается князь, а с злым советником и малый стол утратит. Сбылись слова Пророка: И устави Господь слово свое, еже глагола на нас и на судей наших, судивших во Израили, и на цари наши, и на князи наши, и на всякого человека Израилева и Иудина – навести на ны зло велие, еже не сотворися под всем небесем, яко же сотворися во Иерусалиме!»

– Но я еще не опомнюсь от всего слышанного, – сказал Иван Ряполовский. – Как? Две недели тому, сильный князь Московский повелевал Русью; все князья русские, как данники добрые, собирались к нему и веселыми гостями пировали на его свадьбе, и враги его были его друзьями... Две недели – и где власть? Где друзья? Где дружины воинские? Он – беглец из родительского наследия; мать его в плену; подданные ослушники, вельможи изменники, друзья и враги или предатели!.. О, моя отчизна, святая Москва!

«Щепило приходит к нам потому, что нас почитают в Москве главными предателями своего князя! – сказал Симеон. – Ищут средств, как измену свою и клятвопреступление сделать еще более отвратительными! А совесть, суд Божий, правота? Святитель Иоанн! право и мудро говорил ты псковичам: *Отдайте нелюбие ваши, дети, зане же видите,*

уже последнее время наступившее... Нет, нет! никогда предки наши и отцы наши не знали этого бесстыдства, этой наглости порока, с какою всюду выставляет он ныне главу свою и все заражает своим смрадным дыханием...»

Симеон остановился, замолчал и, казалось, в звоне набата, не перестававшего греметь во многих местах Москвы, слышал подтверждение слов своих. Он поднял руку и как будто сам с собою говорил: «А князи наши? У меня крепко врезались в душу слова старого летописца, слова, великой мудрости исполненные: Сбывается слово евангельское, яко же сам Спас во Евангелии рече; *в последние дни будут знамения велики на небеси, и гладове, и пагубы, и трусы, и восстанет язык на язык!* И се ныне, братие, не зрим ли восставших? Се бо всташа ратующе, ово татарове, ово же туркове и инде же фрязове – и правоверный князь на брата своего или на дядю кует копие свое и стрелами своими стреляет ближние своя... Понеже последнее время приходит!..»

Он умолк. Но набат не умолкал.

Глава III

*Я с страхом вопросил глас совести моей...*¹¹⁹
Батюшков

Через несколько дней после описанных нами событий, в Архангельском соборе подле гробницы деда своего стоял Димитрий Красный, юнейший, прелестный сын Юрия Димитриевича, и молился. Слабо проницали в мрачное, ветхое здание собора лучи солнца, ярко сиявшего в небесах, как будто показывая собою символ божественного, которое – там, в далеких небесах, горит несгораемым, незаходящим солнцем, а здесь, на земле, во мраке страстей и сует, только теплится свечкою перед Образом Предвечного! Архангельский собор не вмещал еще в себе тогда целых поколений владык России; гроб несчастливца Шуйского не стоял еще там, рядом с гробами царей Михаила и Алексия, и грозный Иоанн не почивал еще наряду с юным Петром императором и двумя царями Феодорами. Но уже обширная могила предназначена была в сем соборе грядущим поколениям князей; один ранее, другой позднее должны были они успокоивать кости свои здесь, в стенах храма, тесными рядами ожидая гласа трубы судной! Уже там, подле древнего гроба Калиты, почивали Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Вла-

¹¹⁹ Эпиграф – строка из стихотворения К. Н. Батюшкова «К другу» (1815).

димир Храбрый, Василий Димитриевич и братья его Петр и Андрей.

Быстро и неожиданно вступил в собор Шемяка. Взглянув на него, Дмитрий Красный изумился выражению лица и не знал, что волнуется брата его – гнев или отчаяние? Глаза Шемяки пылали, щеки горели, грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Небрежно, без внимания, перекрестился он перед святыми иконами и угрюмо подал какую-то монету соборному дьячку, на свечу. Потом повернул к западным дверям Собора, неровными шагами подошел к гробу Донского и остановился в такой мрачной задумчивости, что не заметил даже юного брата, подле стоявшего.

«Счастливым князь! Зачем не твоя участь мне? – сказал Шемяка вполголоса. – Зачем, если твоей участи не суждено мне, не родился я простым князем... Простым воином-смердом быть лучше, нежели родиться князем, потомком Великого, славного князя, и томиться, подобно человеку, мучемому жаждою, хотя и по горло в воде стоящему!» Движение Красного заставило Шемяку опомниться. Он увидел брата, внимательно устремил на него взоры и сказал: «Ты, как совесть, как ангел-обличитель, являешься мне в минуты самых томительных страданий души моей!»

– Молю Бога, – отвечал Красный, – чтобы он сподобил мне, грешному и тленному человеку, уподобиться ангелу благодатным действием на душу твою, любезный брат!

Шемяка молчал.

– Не знаю, любезный брат, – продолжал Красный, – не знаю, что возмутило душу твою; но умоляю тебя не умножать уныния души, что есть уже грех пред Господом, еще большим грехом – ропотом на судьбу Божию. Ты сейчас укорил великого нашего деда близ гробницы его за то, что родился потомком его и князем; ты желал переменить свое высокое звание на звание презренного раба, смерда! Все люди суть равны перед лицом Бога, но, если ты завидуешь бедному счастью смерда, не уподобляешься ли ты тому богачу, о котором Пророк возвестил в притче царю Давиду, богачу, для угощения гостя отнявшему последнюю овцу убогого, когда у него самого были стада многочисленные?

«Да, я согрешил моими словами, – сказал Шемяка, задумываясь, – но я ли виновен?»

– Ты, без сомнения. Все исходит от Бога, все, *кроме греха*, который порождает сам человек. *Откуда брани и свары в вас? Не отсюда ли, от страстей ваших, воюющих в душе вашей?*

«Брат, благодари Бога, что он даровал тебе душу, к которой, как к золоту ржавчина, не может пристать порок и грех! Не таков я: моя душа – океан, взрывааемый каждым мимолетным ветром! Такова судьба моя, что самое святое начинание обращается у меня во зло – и зло, и грех пристают ко мне, как мухи летят к трупу, которого не одушевляет жизнь! Дай мне жребий деда или дяди Василия, окружи меня теми опасностями, какие окружали их, но дай мне и то славное

поприще, какое им предлежало! Что могу я сделать, тем более несчастливый, чем выше других я поставлен? Зачем было возвышать меня судьбам Божиим, когда я связан по рукам и по ногам – туплю меч в междоусобии и томлюсь среди крамол и низких хитростей, в которые увлечен, которых не могу отвратить!»

– Зачем же не удалишься ты от них? Зачем не оградишь себя молитвою от сует, презрением от крамол, доброю волею от хитростей?..

«Брат! ты не можешь судить о душе моей по своей душе, кроткой, согреваемой одною любовью и желанием в горний предел от мира... Знаешь ли ты, что раздражило теперь меня? Добродетельное, великое самоотвержение раба! Как низко стоял перед ним я – сын победительного князя, внук Донского! Ты слышал о Ряполовских, молодых боярах Василия? Подозрение, ни на чем не основанное, злоба товарищей, безрассудство тетки Софьи, были причиною, что за твердую защиту меня и брата в совете бояр их бросили в тюрьму и едва не лишили жизни. По занятии Москвы нами, я узнал все подробности дела, узнал, что Ряполовские могли уйти из тюрьмы и не пошли, страшась, что их обвинят в соумышлении с нами. Я спешил освободить их. Но отец и Дума его сначала противились мне, хотели сберечь Ряполовских, как людей опасных умом и мечом, хотели увлечь их к себе наградами или осудить на вечное заточение. Подобной боязни я не понимал; подобных средств я не умею употреблять. Твердо

стал я за Ряполовских, выпросил им свободу и предложил им свою дружбу. И они не захотели ни благодарить меня, ни дать мне руки, как другу! Неизменчиво сказали они мне, что прежде готовы были отдать за меня жизнь, когда знали, что я не умышлял ничего против Василия и был ненавидим и гоним невинно, но что теперь видят они во мне врага своего. Зная, что князь их в плену, только тогда готовы они будут предаться отцу моему, когда Василий сам откажется от Московского престола и разрешит их от присяги, ему данной! Гнев закипел в душе моей – я укорил их неблагодарностию – они потребовали снова тюремного заключения! Я готов был обнять и – задушить их в одно время! И у Василия такие люди и среди двора, столь ничтожного, презренного, когда все пало и пресмыкается перед отцом моим – я должен остаться врагом Ряполовских, когда готов стать перед ними на колени; должен гнать их, увлеченный в бедственную крамолу отцовскую, когда в душе моей презираю сию крамолу, готов проклинать несчастную вражду честолюбия и виновников ее...»

– Остановись, брат! Что говоришь ты? Кто виновник? Отец наш! Его ли дерзнешь судить?

«Итак, что же я? Нож, слепое, бесчувственное орудие, которое употребляет несправедливая воля других? О, скорее, скорее на битвы – там, по крайней мере, душе легче, там, по крайней мере, свободнее дышу я!.. Здесь – и в храме Божиим нет отрады душе и молитва не облегчает меня...»

Поспешно пошел Шемяка из собора. Красный остался, горестно и печально смотря в след его. «Душа Мстислава Храброго, ярость Романа Галицкого! – Думал он, – что бы сделал ты, если бы одушевила его в прежние, времена? А теперь он изноет от борьбы, и – да сохранит его Господь Бог! Да не падет он в беззаконие, увлекаемый дикою страстью и излишеством душевной силы!»

Надобна была молитва праведника Шемяке: он шел на *совет нечестивый, в беседу злую, тлящую обычаям благие!*

В доме Юрья Патрикеевича, занятом теперь боярином Иоанном Димитриевичем, сидели и беседовали Косой и боярин Иоанн.

Шемяка не любил боярина Иоанна Димитриевича, но взор его, как взор василиска, окаменял кипящий дух Шемяки; ум боярина Иоанна смирял добрую, пылкую, неопытную его душу. Шемяка видел, что в боярине этом заключена была тайна победы и что только он один был в состоянии укрепить и упрочить власть Юрия и успокоить волновавшуюся Русь.

– Добро пожаловать, князь Димитрий Юрьевич, – сказал боярин, вставая из-за стола, за которым сидел рядом с Василием Юрьевичем Косым. – Просим садиться к нам и участвовать в нашей думе. Нам надобны теперь крепкие души, смелые умы, твердая воля. Всем этим обладаешь ты, по милости Божией. Просим садиться!

Все еще неуспокоенный, Шемяка поместился подле Косого, безмолвно сидевшего за столом.

– Мы говорили с братцем твоим о том, что нам должно теперь делать, – сказал боярин. – Он соглашается со мною, что удачная победа над врагом есть только слабое начало всего дела. Обстоятельства требуют работы, труда, и теперь не мечом, но умом должно действовать всего более.

«Признаюсь, боярин! – сказал Шемяка, – я не имею ни опыта, ни способностей к вашему думному делу. Рука моя всегда готова помогать; скажите: куда мне надобно понести войну!»

– Последние события могли уверить тебя, князь, что не всегда меч бывает нужен и не всегда можно им перерубить то, что запутывает ум людской. Чего лет шесть, или семь, добивался родитель твой мечом, то в шесть, или семь дней было кончено, когда у Василия в думе не стало ума.

«И прибавь – когда мечи у него притупились, боярин, – сказал Шемяка, – прибавь это! Посмотрел бы я, что сделал бы твой и всесветный ум, если бы Василий умел сразиться на берегах Клязьмы, если бы воеводы его были похожи на Басенка, а вельможи на Ряполовских...»

Боярин нахмурил брови, принужденно улыбнулся и продолжал:

– Спорить об этом, князь, теперь некогда, и весьма мне жаль даже, что ты поздно пришел и я не имею уже времени объяснить тебе все, что объяснял твоему брату. Он и я просим тебя верить, что мы думаем не на зло: хотим умирить Русь, всем учинить добро и потому надеемся мы, что ты не

откажешься подкрепить нас своим голосом.

«Что же могу и что должен я делать?»

– Теперь назначен первый боярский совет у твоего родителя. Мы все идем туда, и должно чтобы правую речь нашу усилил и подкрепил твой голос, как только можно.

«Думайте, – сказал Шемяка, – я не отстану от вас».

– Этого и ожидали мы. Надобно тебе знать, что родитель твой, к горю нашему, весьма ослабел духом на старости лет. Кроме того, он управляется умом людей, приближенных к нему, а эти люди... не все одарены даром совета, если и не станем подозревать их в злом умысле. Напрасно говорил я ему, что и самый совет боярский вовсе не нужен и что дело решать надобно князю не с толпою, а с немногими. На большом совете только спорят по пустому, или соглашаются без толку, а дело не делается. Но родитель твой, как дитя, любит тем, что почитая себя законным князем, может теперь показать все величие Великокняжеское. Надобно бы спешить управою дел, а он хочет еще разговаривать о всяком вздоре и заниматься обрядами. Дел у нас на руках необозримая громада: решение судьбы князя Василия Васильевича; договоры с Тверью, Рязанью и Новгородом; посольство к хану, а другое в Литву; устройство чинопочаля в Великом княжестве – дела важные! Я сказал брату твоему, что если Морозов, любимец родителя вашего, получит первенство в думе – я не слуга ваш: хлеб насущный сыщу я везде – и у хана, и в Литве.

«Этому не бывать! – воскликнул Шемяка. – Морозова я терпеть не могу: он смутник, – клеветник, и я не знаю даже, за что любит его отец мой!»

– Радуюсь, слыша твои добрые ответы, – сказал боярин, – и прибавлю еще к тому, что подозреваю Морозова в тайной измене.

«Он двадцать пять лет служил отцу моему, – сказал Шемяка, – и никогда не изменял ему ни в беде, ни в счастье».

– Измена измене разница, – возразил боярин, – я не обвиняю Морозова, но *подозреваю* только...

«Долго надобно бы тебе все изъяснять, – сказал Косой нетерпеливо, – а нам теперь всем некогда. Дело в том, любезный брат, что ты не должен отставать от нас и верить, что нам хорошо известны все обстоятельства. Морозов дурак, если не злодей. Воспитанный с отцом нашим, он умел овладеть душою нашего отца – но ему не быть – или нам не быть!»

– Согласен, потому что терпеть его не могу, – отвечал Шемяка.

Тут вошел к ним боярин с известием, что князь Юрий Дмитриевич скоро выйдет из молельни своей и пойдет в совет. Оба князя и боярин Иоанн поднялись с мест своих. Присланный боярин удалился.

– Что же Гудочник? Где же он? – сказал Косой.

«Не постигаю, – отвечал боярин Иоанн. – Ему давно надобно бы здесь быть. Или он обманул меня?»

– Гудочник? – спросил Шемяка. – Нельзя ли мне видеть

его? Хочется узнать этого хитрого пролазу, который услужил нам лучше многих и о котором наслышался я, что он святой, что он колдун и – Бог знает что еще!

«Жаль, что он не явился теперь, а то, может быть, скоро его нельзя уже будет видеть. С ним, именно, пора кончить, князь Василий Юрьевич – так сделать, как я тебе говорил».

– Что же такое надобно сделать с ним? – спросил Шемяка.

«Надобно повесить его», – сказал боярин хладнокровно. Шемяка содрогнулся, а Косой улыбнулся, заметив его содрогание. «Ты еще не привык, князь, – сказал Иоанн, улыбаясь, – к государственным делам и так же боишься подобных пустяков, как набожная старуха боится согнать муху с носа, думая, что она по воле судьбы ей на нос села. Гудочник хитрый соглядатай и человек опасный. Всегда надобно, употребив таких людей для своей пользы, освободиться от них».

– А что надобно делать с изменниками? – пробормотал Шемяка невнятно. Он молча простился со своими советниками и пошел.

– Кажется, – сказал Иоанн, – он будет наш?

«Для чего не поласкал ты его, боярин, какую-нибудь битвою? Сказать бы тебе, что мы пойдем хоть за Каменный пояс¹²⁰, завоевывать Великую Пермию, или полуночное Сибирское царство, которое, говорят, лежит на восток, далеко за Булгарами¹²¹».

¹²⁰ *Каменный пояс* – Уральские горы.

¹²¹ *...далеко за булгарами* – Имеется в виду государство восточных болгар –

– В самом деле! Но неужели его, как ребенка, убаюкивать надобно? Кажись, князь, что мы обо всем условились? Помни, что о тебе идет речь и что именно тебе, а не отцу твоему, который, может быть, скоро переселится к отцам нашим, надобно радеть о Великом княжестве.

«Боярин! повторяю снова, что твои пользы неразлучны с моими».

– Ради Бога: настоять на том, чтобы родитель твой учредил отдельный совет и прогнал всю эту вздорливую толпу.

«Да!»

– Новгороду поход, Василию тюрьма, боярам его суд, со всеми другими пока мир, и ты соправитель отца.

«Аминь!» – сказал Косой, крепко обнял Иоанна и поспешно удалился.

– Конец ли моим заботам? – пробормотал Иоанн, оставшись один. – Теперь, когда все думают, что я превознесен честию и славою, меч судеб, может быть, висит на волоске над моею головою! Нет, Иоанн! не успокоиться видно тебе до могилы! Тщетно собираешь ты – кто подкрепляет тебя? Только Косой может еще несколько понимать твои предприятия; но его дерзость, гневливость, неопытность.. Горе, горе! А Шемяка? А Красный?.. Они ни к чему не годятся: один воин, другой монах! Несмотря на младость Василия я видел в нем признаки отцовского нрава... Теперь поздно возвращаться... О София, София! Для чего погубила ты себя и –

меня!

Он вздохнул, отворил маленький поставец и налил в небольшую рюмочку из серебряной фляжки драгоценного и редкого тогда напитка. Это была: *живая вода*, как называли тогда хлебное вино европейцы, или *рака*, как называли русские. – Голова у меня кружится, – продолжал Иоанн – последние дни в таких заботах провел я... Прежде, бывало, все ничего, а теперь старость дает себя чувствовать – пора бы мне на покой... Но что за мрачные мысли приходят ко мне в голову сегодня? Если бы только время, надобно бы сходить помолиться... Ну, Бог милосерд и долготерпелив! Он не то, что мы грешные...

В это мгновение, по задним дверям, вдруг вошел к боярину Иоанну Гудочник.

– Насилу ты, приятель, приплелся, – сказал боярин. – Добрые ли вести? Говори скорее!

«Если весть об измене можно назвать доброю, – сказал Гудочник с улыбкою, – да! Через час – письменное свидетельство вероломства его будет в руках твоих».

– Старик! я построю монастырь и ты будешь игумном в этом монастыре, чтобы лучше отмолить грехи.

«Шутишь, боярин! Ты обещал мне также сказать добрую весть?»

– Твое дело кончено, – отвечал боярин, немного подумавши, – да, кончено: князя согласны и добрый старик Юрий не спорит. Хоть завтра можешь ты отправиться в Новгород к

твоему любимцу Василию Георгиевичу и позвать его на княжество.

«Ты поспешил исполнить», – сказал Гудочник, внимательно смотря на боярина.

– Ты видишь, что теперь и жить-то спешат, – отвечал боярин, отворачиваясь. – Особенно нам с тобой – долго ждать не должно! Вручи мне письмо Морозова и я обменяю его грамотою на Суздальское княжество. – Боярин остановился, как будто собираясь с силами. Гудочник не переставал смотреть на него пристально.

– Вот тебе Бог порукою и Пречистая его мать! – сказал наконец боярин глухим и дрожащим голосом.

«Бог страшно карает клятвопреступников! – сказал тогда Гудочник твердым голосом. – Благодарю тебя за весть твою, но скажи мне, боярин: от чего же Косой и вчера еще думать не хотел?»

– Разве Косой княжит в Москве? – сказал Иоанн угрюмо.

«Разве Юрий княжит в Москве?» – повторил в свою очередь Гудочник насмешливо.

– Я! – воскликнул Иоанн с нетерпением.

«А ты? – отвечал хладнокровно Гудочник. – Полно, так ли боярин? Ты мог бы отпилить голову Морозова и без письма его, если бы ты княжил. Боярин, боярин! то, что изрек ты мне – дело великое, а ты так легко все это выговорил! Бог страшно карает клятвораушителя!»

– Я и без тебя знаю, что он карает, – вскричал с досадою

Иоанн, – и сдержу клятву свою – *слово* свое, хотел я сказать...

– Нет! *клятву*, боярин! Ты призвал господу Бога и Пречистую Его Матерь во свидетели, а по слову Евангельскому человек может называть словом только: *ей, ей, или ни, ни* – всякое другое слово есть уже клятва...

– Письмо Морозова!

«Грамоту Василию Георгиевичу – только грамоту – и более ничего нам не надобно, ни людей, ни денег!»

– Дерзкий старик!

«Гордый боярин! Ты должен был наперед знать, с кем ты имеешь дело! Не бывать плешивому волосатым, не взойти песку хлебом и не провести тебе меня! Поди, узнай, что ты еще не знаешь, спроси в чьих руках будет печать великокняжеская и кто засядет первым в думе Юрия? Товар у меня налицо – я готов продать его – от тебя все это зависит – и через час письмо Морозова будет в руках твоих!»

Он начал тихо отступать к двери, оглядывая боярина с головы до ног. Свирепо оглядывал его также боярин Иоанн. Видно было, что это два опасные соперники и что равно страшились они друг друга.

Стройно и величаво открылось заседание Великокняжеской думы в Кремлевском Дворце. Несмотря на быстрое завладение Москвою, походившее на набег, никогда, со времен Василия Димитриевича, то есть более семи лет, не видано было такой сановитости в совете и во всех подробностях об-

рядов и учреждения. На великокняжеском престоле восседал теперь убеленный сединами старец; подле него, с одной стороны, сидели трое сыновей его, мужественные, смелые, величественные князья. В длинных рядах, по обеим сторонам около стен, сели бояре, князья откупные и сановники. Блестящие воины окружали комнату и стерегли вход, стоя у дверей. Лучшие ковры, дорогие подушки, редкие подзоры вынуты были из великокняжеских кладовых. Великолепие это, многочисленность и величавость собрания, и взгляд на самого Юрия, и детей его, внушали невольное почтение. Никогда юный Василий, сухощавый, невидный собою, не мог передать сердцам присутствовавших столь сильного чувства благоговения. Софья Витовтовна, присутствовавшая в совете Великокняжеском, всегда казалась в нем каким-то необычным видением, и никогда не могли приучиться к ее виду, никогда и не умела она поддержать важности своего сана.

Впрочем, кто мог бы проникнуть в души собравшихся на совет Великокняжеский, кто, не ослепляясь блеском и наружным видом, умел бы смотреть беспристрастно, тот увидел бы и узнал с первого мгновения, как нестройно, несогласно, наскоро составлено было все это собрание. Ковры, паволоки, подзоры взять из кладовой и положить, развесить близ престола было и легко и недолго. Но тут являлось странное смешение людей, лиц, мнений, отношений, характеров. Кто не покраснел бы от стыда, не потерявший еще способности краснеть, если бы произнесены были в собрании сло-

ва: *изменник, вероломец, клятвопреступник?* Впрочем, этой беды опасаться было нечего. Кроме того, что, где все виноваты, там никто не прав и, следовательно, все правы, спрашиваем: кто осмелился бы сказать все сии слова, заставляющие краснеть? Наконец, удивительно гибкая совесть царедворцев умела уладить все слова и лица так же хорошо, как уложенны были уборы, ковры, оружие, одежда. Все глядели благоговейно вниз, потупив глаза, сложив руки; седые бороды стариков были гладко расчесаны; русые и черные кудри молодых примаслены и разглажены. Уже найдены были приличные слова и выражения для того, чтобы говорить о воцарении Юрия, падении Василия, переходе бояр, войска и народа к новому князю и завладении Москвою. И надобно было приискать эти слова и выражения: все, кто заседал в совете Василия, были теперь в совете Юрия, все – кроме *Басенка, Рязоловских и князя Василия Ярославича*. Тут видны были Юрья Патрикеевич, Старков, Ощера, Туголукий и с ними – Иоанн Дмитриевич и боярин Морозов, всегдашний наперсник Юрия. Страшное сомнение возникло было о том, где кому сесть; но Юрий прекратил его, объявля, что до его великокняжеского рассмотрения, все должны быть *без мест*, то есть не должны считаться местами. И что же? Честолюбие умело и тут отделить себе уголок! Все старые, почетные бояре сели ниже и оправдали пословицу: *унижение паче гордости*. В то же время разные партии и отношения размежевали все собрание на разные части. В одной стороне особен-

но собрались бояре московские, покорившиеся Юрию и думавшие быть отличенными за гибкость совести; в другой бояре звенигородские, гордые победою своего князя и думавшие торжествовать над московскими своею случайною верностью; в третьем месте молодые честолюбцы, надежные¹²² на то, что ими при перемене властителя заменят старых бояр; в четвертом люди, желавшие только того, чтобы их не трогали и дали им средство, как медведям в зиму, лежать спокойно в берлоге и сосать лапу.

– Прежде всего, мои верные, добрые сановники, князья, бояре и думные люди, – сказал Юрий, – воздадим единодушно хвалу единому победодавцу Богу, им же *царие царствуют и сильные творят правду*. Буди имя его благословенно, всегда, ныне и присно и во веки веков!

Он стал медленно креститься. Руки всех зашевелились, и с глубоким, набожным вздохом, многие вслух повторили слова Юрия. «Постой, постой, – говорит Туголукий соседу, – дай же и мне руку-то вытащить, да перекреститься. О дай, Господи! такое же долголетие и благоденствие Великому нашему князю, Юрию Димитриевичу, как тесно теперь в собрании нашем от великого множества людей, приверженных к нему душою и телом!» – проговаривал он вслух.

Туголукий не был выгнан из собрания; он исполнил свое намерение – поднес у Фроловских ворот хлеб-соль Юрию, поклонился ему при всем народе в ноги и теперь спокойно

¹²² *Надежные* – т. е. надеявшиеся.

сидел в ряду с другими.

– Хочу означить победу правого дела и возвращение мне законного моего, отчаго и дедняго стола, – продолжал Юрий, – жертвою новому преподобному чудотворцу Сергию, его же святые мощи уже десять лет явлены миру пребывают. Духовный отец мой, игумен Савва, молил меня, да прейдет в основанный им Звенигородский монастырь, что на Сторожах. Исполняю его желание и вдаю богатый вклад в сию милую для меня обитель, которую почитаю моею, особенною, великокняжескою обителью. Но, да вознаградит обитель преподобного Сергия потерю сего святого мужа: умолил я старца Зиновия, гробового монаха¹²³, при мощах преподобного Сергия находившегося, принять звание настоятеля Троицкой обители. Начатый строением над мощами преподобного Троицкий собор повелел я, мою великокняжескою казною, выстроить велелепно, весь из белого камня и повелел расписать его корсунским писанием¹²⁴ изографу Даниилу, и сопостнику его Андрею. Вдаю в обитель святого Сергия 5 сел, 6 приселков и 12 деревень. Подчиняю ей на веки веков: монастырь на Москве, что Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; да еще монастырь

¹²³ *Гробовой монах* – монах, приставленный для охраны мощей и княжеских захоронений, находящихся внутри церкви в ее приделах (боковых пристройках).

¹²⁴ ...*корсунское писание* – т. е. в древнегреческой и византийской манере, присущей иконописи Корсунских храмов. Корсунь – древнерусское название г. Херсонеса, основанного греками в 5 в. до н. э. неподалеку от нынешнего Севастополя на берегу современной Карантинной бухты.

Николай Чудотворец, в Дерязине, что в Переяславле, да еще Девичий монастырь, церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на Хатькове, и по всем тем обителям игумен Зиновий избирает, управляет и ведает в церковных чинах, в монастырских строениях и во всем, духовне и телесне. Все сущие и сущия в обителях сих, да чтут его и да повинуются ему во всем, по Боге, без всякого прекословия; имеют же его честна, во всяком опасении и порадовании, яко присного своего господина, отца, пастыря и учителя, зане обрели мы его во всем благоговении и чистоте, боголюбива, боящегося Господа, сокрушенна сердцем и приводяща себя во вся благая и спасительная дела. И отныне на веки вотчины, села, деревни, починки и весь быт святыя Троицкия обители Сергия Чудотворца тарханною грамотою освобождаю я от всякия посохи, ямского, тяглого, осмичного, косток, поженного. И все люди, кои суть обители сея, на яму с подводами да не стоят, ни лесу, ни камня не возят, ни конских и проезжих кормов не дают, полоняничных денег не платят, проводников татарских и немецких не ставят и в своры, на волки, лисицы, медведи и лоси не ходят, и ловчие, и охотники, и псары к ним не въезжают, станов у них не чинят¹²⁵, и собак у них не кормят. А куда кто поедет по делу обители, чернец или белец, водою и землю, пеш будет, или на коне, или в ладье – тамги и мыта, головщины и весного, медового и соленого, серебряного и медного, и оловянного никогда, ни с чего и никому не дает,

¹²⁵ ...станов у них не чинят – т. е. не располагаются на постой.

безтаможно, безмытно, безпошлинно, без отзову, без отворота, поворота, подъема и явки. И люди монастырские пошлин и податей никоих не дают и городов не делают, тюрем не ставят и не стерегут, и целовальников к нашему государеву делу не отправляют, и никакого тягла не тянут, и к ямчужному амбару сору и дров не возят. И суд даю обители бессудный, как только им Бог по сердцу положит, и в смешном суде, не с монастырскими людьми, судит настоятель с братиею, а наместники наши, и волостели, и тиуны, и суд наш от всего отступаются. Кто с дерева ли убьется, в воде ли утонет, или водою кого мертвого принесет, или кого возом сотрет, или мертвого подкинут, или зверь съест, лошадь убьет, или кусом кто подавится, громом кого ушибет, или кто от своих рук утерется – все то судит Бог, да по Нем настоятель, а не я грешный, Великий князь Московский, Божию милостию.

Несколько раз останавливался и отдыхал по несколько мгновений Юрий, произнося свою длинную речь, в коей надобно было удивляться его знанию всех подробностей и мелочей тогдашнего законоведения.

«Слава и честь Великому князю Юрию Димитриевичу!» – воскликнули все бояре и князья.

Тут по данному знаку введены были послы князей Тверского, Рязанского, Ярославского, Можайского, Верейского, Тарусского, Новосильского и других. Они успели уже приехать в Москву и как за несколько недель Василию, так теперь Юрию говорили о дружбе, мире, спокойствии, тишине,

с клятвами на того, кто порушит первый крестное целование.

– Да не возносится никто же, – начал снова Юрий, когда послы князей вышли из места заседания, – да смирится всяк, и да помнит всяк власть свою преходящую, и пребывает в миролюбии, и тишине, и братолюбии, яко же заповедал нам Бог – хочу устроить я жребий моего племянника и судьбу церкви православный всея Руси.

Сии слова произвели сильное движение во всех присутствовавших.

– Задушевный советник мой, боярин Морозов, объявит вам, добрые мои советники, князья и бояре, волю мою, – продолжал Юрий.

Взоры всех мгновенно обратились на боярина Иоанна.

Молча сидел он до того времени и безмолвно и неподвижно перенес он сей общий взор и радостный шепот, раздавшийся в собрании, когда Юрий отозвался так горячо о Морозове, назвал его своим душеприказчиком, ни слова не сказав о боярине Иоанне. Иоанн знал, какое чувство произвело эту, убийственную для него радость: «Никто из нас, да и не он!» – такова была мысль, мгновенно пролетевшая между всеми. Иоанн не показал никакого знака оскорбления, когда после сего, мгновенно, лица всех обратились на Морозова, как будто на величественно восходящее светило. Заметно было, как на губах каждого вертится уже приветствие новому временщику.

Торжествуя поднялся с места своего Морозов, низко поклонился Юрию и обратясь к собранию начал говорить:

«Волею Господа и молитвами святого чудотворца Сергия, даровал Господь победу на враги Великому князю нашему, Юрию Димитриевичу, покорил ему под ноги вся враги и супостаты. Племянник его Василий, сын брата Василия, и жена его, Васильева, Марья, и мать его, Васильева, Софья, преданы волею Божиею ему Великому нашему князю и бьют челом ему, просят о его княжеской милости. И он, Великий государь, милосердуя о племяннике своем, все вины его простил и пожаловал его: даровал ему удел, город Коломну со всеми волостями, сборами и пошлина. И отпускает он его, Василия, в сей город, с женою его Марьею, и с матерью его Софьею, по сем да целует Василий крест честный: Быть ему всегда в уделе Великого князя».

Изумление изобразилось на всех лицах. Никто не говорил однако ж ни слова. Морозов продолжал:

«А всем его, Василия, людям, кто захочет к нему, Василью, ехать и при нем быть, свобода ехать и при нем быть и пожитки свои, и поместья, и вотчины сбыть и перевезти до Петрова дня. А всем, кто не захочет у него, Василия, быть и к нему ехать, прощение и оставление всего, что было, и почитать все минувшее так, яко же и не бысть».

– Слава и честь Великому князю! – воскликнуло несколько голосов, но Морозов махнул рукою, все умолкли, и он продолжал:

«И да будет всем ведомо, что болезнью об участи православной нашей церкви, сиротствующей без духовного пастыря и главы уже третье лето, святейший кир-Патриарх, Вселенский и Царяграда, нового Рима, благоизволил избрать Москве и всея Руси духовного пастыря и отца. Сей пастырь, будущий митрополит Руси, есть святой человек, муж веры и добродетелей, и златословия великий, архимандрит Исидор, присланный с грамотами к Великому князю. И сие избрание, внушенное Великому Святителю духом Божиим, князь Великий приемлет и благословляет».

Глубокое молчание следовало за сими словами. Неудовольствие изобразилось на лице Юрия, когда он увидел, что решение его о Василии не возбудило никакого восторга, а решения об участи бояр его и о будущем митрополите встретили даже холодный прием. Он побледнел, покраснел потом через одно мгновение; взоры свои робко обвел он по всему собранию и потом обратил их на Морозова.

«Так хочет Великий князь, и да ведает всяк его веление и волю, и да повинуется всяк его велению и воле!» – сказал Морозов твердым и грозным голосом.

Это привело еще в большее смятение всех, бывших в собрании, и самого Юрия. Он поднялся, благословил всех и сказал: «Да будет над всеми вами благословение Божие, и да идет всяк восвосяси в мире и тишине. Волю мою обо всем другом возвещу я в грядущие дни».

Все преклонились пред Юрием, кроме детей его, стояв-

ших подле него, и чинно пошли вон из палаты.

– Он благословил нас, как митрополит. – «Да по бороде он и походит на него». – С ним житье будет хорошо. – «Что за князь Великий: какой благочестивый, истинный христианин, кроткий, милостивый!» – Что же это было: совет или простой приказ? – «Молчи только и слушай». – Бог знает, лучше ли это будет! – Так перешептывались и потихоньку переговаривали между собою князья и бояре, расходясь из дворца.

Мрачно сидел во все время собрания Косой; яростно смотрел на Морозова Шемяка, когда Морозов говорил от лица Юрия, и беспокойно озирал лица всех Красный. Боярин Иоанн упорно безмолвствовал до конца заседания. Он подошел к Юрию, когда тот поднялся идти.

– Позволишь ли мне, князь Великий, поговорить с тобою? – спросил он хладнокровно.

«Ты мой всегдашний собеседник и опора моего совета», – возразил Юрий с заметным смятением.

– Мы о том же хотели просить тебя, государь родитель, – сказал Косой, едва скрывая свое бешенство.

«Идите со мною», – отвечал тихо Юрий.

В ближней комнате, подле большого стола, сел Юрий, утомленный продолжительным заседанием, и указал места Иоанну, Морозову, следовавшему за ним неотлучно, Косому и Шемяке. Никто из них не сел и все только поклонились.

– Я, признаюсь, устал, добрый мой боярин, – сказал Юрий,

стараясь казаться веселым, – наше стариковское здоровье не позволяет того, что бывало делаешь в молодости, да и не думаешь уставать.

«Всему время, государь», – отвечал Иоанн, не зная, как начать разговор после сих слов Юрия.

– То-то же и есть, – продолжал Юрий. – Премудро сказал пророк венчаный: время есть всему и время всякой вещи под небесем: время рожать и время умирать, убивать и целить, плакать и смеяться, рыдать и ликовать, любить и ненавидеть...

«Милостивые слова твои, – сказал Иоанн, – показывают, что я еще не вовсе лишился твоей милости, государь».

– Ты лишился? Опомнись, боярин! Всегда будешь ты оставаться в любви моей.

«Позволишь ли и мне с братом того же надеяться?» – спросил Косой.

– Можете ли вы сомневаться в любви вашего родителя? – отвечал ему Юрий. – Дети мои, дети мои! Для кого же я и забочусь? Для кого же стараюсь о мирском деле? Истинно, мне самому ничего не надобно – для вас, други мои любезные, все это делаю я для вас!

Косой казался растроганным словами отца, в которых видна была открытая душа его. Он не знал, как продолжить разговор, но Иоанн предупредил его.

– Дети твои и я, раб твой, государь, – сказал он, – могли усомниться после всего, что недавно видели и слышали мы

в совете.

«А что же я сделал богопротивного или такого, чем мог оскорбить вас? – спросил Юрий с явным замешательством. – Дела мира, дела тишины, дар святой обители, прощение вины...»

– Почему же, государь, не угодно было тебе сказать все это предварительно – не говорю мне, которого однако ж удостоивал ты своей доверенности, который имел счастье оказать тебе некоторые услуги и полагает за тебя жизнь и голову свою – но даже и детям твоим? Думая быть призванными на совет, с изумлением услышали они уже окончательное твое решение!

«Я советовал об этом и решил все это с совестью моею, – отвечал Юрий, краснея, – по слову Евангелия, что о таких делах не должна ведать шуйца, что творит десница».

– Позволь мне сомневаться, государь, и думать, что к совести твоей присоединялись-таки и людские советы и что внушения людские способствовали твоей решительности.

«Я никому не обязан давать отчета в делах моих. Господь, увенчавший меня победою, внушает мне думу, и я поступаю так, как хочу!» – сказал Юрий, стараясь показаться суровым, когда увидел, что ласковость его не помогает.

– Но ты сейчас говорил, что трудишься и мыслишь только для сынов своих, государь? Если так, то неприлично было тебе поступать с достоинием твоим и с ними, как будто только о самом себе и ни о ком другом ты не помышляешь.

«Я повторяю тебе, боярин, что в моей воле никому отчета не даю!»

– Ты не так говорил прежде, государь, – возразил Иоанн, едва удерживаясь от гнева, – я, прости мне, не узнаю тебя! Молю Бога, да сохранит он тебя от гордости и ослепления. Конечно, Бог дарует победу, но – вижу, что я более не боярин и не советник твой.

«Воля твоя, боярин, – сказал Юрий, раздраженный словами Иоанна. – Что же? Не в первый раз тебе переменять властителей – Русь велика!»

Морозов улыбнулся с видом самодовольства. «Ты чему смеешь осклабляться?» – воскликнул Косой, заметив его коварную улыбку.

– Я не осклабляюсь, – отвечал спокойно Морозов, – но дивлюсь, как мудрость твоего князя умеет проникать души и сердца.

«А я тебе объявляю, что если еще осмелишься ты удивляться этому, то я удивлю тебя гораздо сильнее!» – воскликнул Косой.

– Василий! Ты опять забыл мои слова; опять дерзаешь ты в моем присутствии своевольствовать! Долго ли мне прощать твою дерзкую буйность? Долго ли извинять доброотою сердца твой дерзкий язык? – сказал Юрий.

«Государь! – отвечал Морозов с оскорбленным видом, – я не смею быть причиною гнева твоего на князя Василия Юрьевича. Знаю, что я давно заслужил его негодование, хотя

и не понимаю чем. Уже давно просил я уволить меня от дел и устранить от твоей доверенности – прошу тебя еще раз...»

– Государь! – сказал Косой, – гневайся на меня, как тебе угодно, но я дерзаю открыто сказать перед тобою, что с этим лицемером я не могу быть вместе. Пока дело шло о небольшом твоём уделе, он мог еще быть при тебе, но теперь, когда судьба всей Руси возлегла на рамена твои – не таких советников тебе надобно!

«Ты, кажется, хочешь мне самому указывать?» – воскликнул Юрий.

– Избави меня Бог! Но ты сказал, что заботишься о детях своих, и я, как старейший сын твой, думал, что имею право советовать и говорить. Прости же меня – я удаляюсь – твори, как тебе скажут твои советники, или – внушит Бог... – Косой насмешливо улыбнулся.

«И мне, государь! Позволь также удалиться», – сказал Шемяка.

– Прости мне, государь! – вскричал Морозов, – отпусти лучше меня, да не разлучатся с тобою дети твои! – Он упал на колени и поцеловал руку Юрия.

«С меня, государь, начать тебе должно, – сказал Иоанн. – После слышанного мною от тебя, бесчестно было бы тебе держать меня!»

Слабый Юрий решительно смешался. Он совсем не воображал, что должен вытерпеть нападение, столь дружное и сильное. «Встань, боярин, и молчи! – сказал он Морозову. –

Боярин Иоанн! Право, я не помню, что сказал тебе. Прости меня, старика, если оскорбил я тебя неосторожным словом. Истинно, это без умысла!» Он протянул к нему руку. Иоанн почтительно поцеловал ее. «Государь! – сказал он, – жизнь и кровь моя тебе посвящены навеки!»

– Ты сам начал мне говорить что-то не по нраву.

«Берегись тех людей, государь, которые только *по нраву* говорят тебе, и береги тех, кто говорит смело против тебя».

– Дети мои! – сказал Юрий, – обнимите меня – забудем все, что было! – Холодно подошли к нему оба сына. – Ты, Василий, удерживай однако ж свой язык, ради Бога! Ей, ей! хоть и не от сердца идут речи твои – это я очень хорошо знаю – но часто оскорбляют меня. Ну, да благословит вас Бог! Скажите, друзья мои, что вас так оскорбило? Правое слово, что любовь и доверенность моя к вам нисколько неизменны!

Видно было, что он говорит это от чистого сердца. На этот раз очередь торжествовать перешла на сторону Иоанна. Морозов, скрывая досаду, кусал губы. Он видел, что тайная работа нескольких дней могла уничтожиться в несколько мгновений; видел, что пылкость Шемяки, свирепость Василия, хитрый ум Иоанна соединенные вместе составляли такое препятствие его уму и власти над душою Юрия, которое едва ли можно будет ему преобороть.

– Скажите, что оскорбило вас? – продолжал Юрий. – При помощи Божией, все дело устроилось: Москва наша, враги

рассеяны, все покорно!

«Скажи, государь, – начал Иоанн, – кто присоветовал тебе скрыть от нас твои распоряжения об участии Василия, бояр его и избрании митрополита?»

Юрий не знал, что отвечать. «Признайся, государь, родитель мой, – сказал Косой, – что ты наперед не ожидал одобрения нашего на все сии распоряжения и потому скрывал их?»

Как дитя, пойманное в шалости, Юрий оробел и полушутливо отвечал: «Что же? Признаюсь! Я чувствовал в совести моей правоту всех сих распоряжений, но знал, что вы не одобрите их, и решился, не говоря вам, исполнить их, чтобы нельзя уже было возражать...»

– Государь! – сказал Иоанн и, не кончив речи, захватил рукою голову и платком рот. Косой боязливо обратился к нему. Все были встревожены внезапною переменою его лица.

– Ничего, ничего! – сказал Иоанн. – Труды и заботы обременили меня в последнее время. Это пройдет! Позволь мне сесть, государь!

«Зачем же запускаешь ты свою болезнь? – сказал Юрий. – Береги здоровье, после души, всего более на свете! Не пойдешь ли тебе успокоиться?»

– Ничего, ничего, государь! Не беспокойся обо мне – это пройдет. У меня голова немного кружится. – Иоанн не смел сказать, что кровь идет у него горлом, и скрывал свою тяже-

люю боль, одного боясь, чтобы Морозов не порадовался его страданию и чтобы не упустить благоприятного случая, когда можно было разрушить все предприятия сего опасного соперника.

«Признаюсь, что первую мысль о прощении Василия и о даче ему Коломны, – продолжал Юрий, – внушил мне один мой доброжелатель. И как же было мне поступить иначе, отнявши у него отцовское наследие? Неужели не дать ему и куска хлеба?»

– Но разве он давал его тебе и нам? – сказал Косой. – И нам, и тебе не было от него нигде житья и вновь грозило нам даже гибельное умышление на жизнь!

«Послушай, любезный мой сын Василий, ведь все это так *говорится* для людей – между нами будь сказано. А собственно, враждовали мы все, отнимали друг у друга, что могли. И теперь, когда решительно Бог дал нам победу, когда власть наша так крепка, все нам так послушно, все так хорошо уладилось – стыдно было бы нам не оказать победительного великодушия!»

– Первое правило для государя, – сказал тогда Иоанн, собравшись с силами, – должно быть правило государя, а не простого человека. Величайшее различие должно полагать между тем и другим. Высокая доброта и великодушие твое, государь князь Великий, видны из твоих дел и речей. Но позволь мне сказать, что, как государь – ты поступил весьма неосторожно, готовишь себе погибель и смотришь на насто-

ящие обстоятельства несправедливо!

«Вот видишь, боярин, – сказал Юрий, добродушно обращаясь к Морозову, – я тебе тоже говорил, что мы затеяли не совсем ладно!»

Морозов покраснел, видя, что простодушный Юрий, совсем не думая об этом, выдает его на жертву врагам. Взоры Иоанна, Косого и Шемяки устремились на него, и он невольно содрогнулся, замечая ненависть и подозрительное презрение, какое выражали сии взоры.

«Государь! – сказал Морозов, закрывая веками глаза, покачивая головою и смиренно преклоняясь, как всегда он делывал, говоря со знатными, – когда тебе угодно было спросить моего совета, я представил от искренней души причины, сильные, которые убедили тебя поступать так, как поступил ты. *Во-первых*, если теперь разбирать вины и казнить виновных, то кто окажется прав? Не лучше ли усвоить себе сердца всех полным, неизъемлемым всепрощением? Такое милосердие важно будет и в глазах народа, ибо народ, утомленный сварами, нетерпеливо ожидает правления мирного и кроткого, жаждет спокойствия и тишины. Благодеяние твое привяжет к тебе самого Василия неразрывными узами благодарности, когда он ясно видит уже, что бороться с тобою у него нет сил, и когда он будет лишен дружин и советников. Кроме того, бывши в Коломне, он всегда в глазах, и если бы у него возникла какая-нибудь тайная, злая дума, то не успеет он вверить ее своей подушке, не только другому человеку,

как ты будешь уже иметь средства предупредить его! И чего бояться тебе, победителю, обожаемому народом, почитаемому князьями?»

– *Мерзость пред Господом уста льстивы, а князю пагуба!*
– воскликнул Иоанн, перебивая слова Морозова. – В таком ли виде должен ты представлять положение государственных дел в настоящее время, советник близорукий и косой, если не... – Иоанн остановился.

«Но что же находишь ты несправедливого в совете Морозова, боярин? – спросил Юрий недоверчиво и робко. – Разве народ не любит меня в самом деле?»

– Ни то, ни сё, и об этом я ничего не скажу, государь!

«Как? Разве не кричал он радостно при моем появлении, не бежал мне навстречу, не приветствовал меня повсюду, где только являлся я?»

– А за две недели также кричал он Василию, государь; также побежит он и за тем, кто исторгнет у тебя власть! Крик и шум толпы ничего не значат, но важно, государь, то, что в тебе нравится народу твоя величественная старость, близость твоя к Димитрию, которого всегда любит он за Куликовскую битву, забывая все его ошибки и остальное несчастное княжение. Это, государь, должно тебя укреплять, исторгнув из памяти народа все, что разделяет твое княжение от княжения отца твоего. Надобно притом ослепить глаза народа новостью, блеском; надобно самому тебе явиться в каком-нибудь суде перед воинскою дружиною, срубить две,

три головы у каких-нибудь судей-взяточников и высесть кнута несколько сборщиков податей. Все это легко тебе сделать можно: взять первых, какие попадутся, и всего лучше нелюбимых народом. Народ закричит тогда о твоём правосудии. Кроме того, сложи какую-нибудь подать, раза два, три созови к себе почетных людей из простого народа и уговори их согласиться на то, что ты им прикажешь. Они заважничают и прокричат на всю Москву о твоей благости и о своей значительности. Можно еще раза два покормить и попоить толпу народную. После всего этого ты будешь крепок со стороны народа и видя жезл в руках твоих он станет кричать повсюду о любви к тебе. Но, все это безделица, государь! Приобретаемое столь легкое, ничего и не стоит. Опасность твоя не здесь. Что хочешь ты делать с князьями самовластными? Вот важный вопрос.

– Избави меня Бог покушаться на их добро! Кто чем владеет, тот тем и владей, с Богом!

«Это никуда не годится, государь, и потому-то напрасно ты согласился на их дружеские послания и велел заготавливать мирные грамоты. Надобно было отвечать им не миром, ни войною, стараться унижить их перед властью Москвы, перессорить их, и потом отнимать попеременно все, что тебе нужно».

– Могу ли, – воскликнул Юрий, – когда они так дружески предаются мне!

«Здесь я буду говорить тебе совсем не то, что говорил те-

бе о народе. Народ уподобляется смирной корове, которая иногда бодает, а удельные князья – волкам, которых сколько ни корми, а они все в лес глядят. Их надобно травить собаками, собак же этих кормить волчьим мясом. Видя, что ты хорошо понимаешь их и будешь держать в руках, они все сами прибежали бы к тебе опрометью, купили бы у тебя мир, а теперь – ты уступил им мир, не выгадав себе ничего. Нерасчетливое дело, государь!»

– То есть, – осмелился сказать Морозов, – надобно было ожесточить их, заставить их передаться к Василию...

«Какое невегласное рассуждение, государь! – воскликнул Иоанн. – Можно ли ожидать общего союза между Тверью и Новгородом, Рязанью и Ярославлем, когда ты будешь уметь накормить ярославцев рязанцами, а тверитян новгородцами! Василий, правда, такая болячка, на которую всегда слетятся мухи; но потому-то я и не одобряю поступка твоего с Василием, государь! Эту болячку надобно было *вырезать и выжечь*, а не согревать под удельною шубою».

– Как? – вскричал Юрий, содрогнувшись.

«Так, государь! Пока *жив* Василий, ты не тверд на престоле».

– Ты думаешь, что ему не надобно было отдавать княжества и свободы?

«Более, государь!»

– Неужели ты думаешь, что надобно было... – Юрий не смел договорить.

«О таких делах *не говорят*, государь – их только *делают*...»

– А его мать? Его жена?

«Для них есть монастыри, где за временное княжество приобретут они царство небесное...». Иоанн хотел улыбнуться, но жестокая боль заставила его остановиться. Юрий со вздохом обратился тогда к сыновьям своим,

– И вы, дети мои, и вы также думаете? – сказал он, пригорбленно смотря на них.

«И мы, государь родитель, также думаем», – сказал Косой твердым голосом.

Казалось, что Юрий искал отрадного голоса. Он обратился к Шемяке.

«А ты, Димитрий?» – спросил он.

– Государь родитель! Или не должно было приступить к чаше, или надобно пить ее до дна... – отвечал Шемяка в замешательстве.

Юрий уныло опустил голову. Но вдруг он снова обратил глаза на Иоанна. «Ну, а поступок мой с боярами Василия, Иоанн Димитриевич?» – спросил Юрий быстро.

– Внушен тебе добрым, незнающим людей сердцем твоим, государь! Ты мог даровать им жизнь, только *жизнь*, но даже не должен был давать свободы. Москву надобно было вымести от этого сора, от этих пустых голов, глупых бород, которые теперь сели тебе на шею. Строгость к боярам порадовала бы народ. И чего ждешь ты от них? Если надобны те-

бе толстые пузаны и длинные бороды, то разве мало их у тебя своих? И почему не кликнул ты кличи из Твери, из Новгорода, из Рязани? Лучший народ понял бы тебя и перешел бы к тебе. Через это ты еще ослабил бы власть князей. Теперь же ты связал себе руки в Совете, посадив Васильевых бояр. Попробуйся: вели им теперь молчать и они оскорбятся и будут недовольны, когда просидев года по два в тюрьме на хлебе и воде они кланялись бы тебе в ноги за жизнь свою, а ты имел бы время устроить все по-своему.

«Но почему не одобряешь ты, боярин, выбора Исидора в митрополиты?»

– Кроме того, государь, что о нем идет в народе молва, будто он тайный сообщник Римского Папежа...

«Клевета!»

– Но народ должно уважить в подобных клеветах, и лучше тебе свалить десяток голов, любимых народом, нежели поставить над ним одну, им нелюбимую. Кроме того, государь, ты оттолкнул от митрополитства доброго Иону, которому давно голос народа присуждал сей высокий сан, когда еще был он просвирником в Симоновской обители. Подобные поверья народные всегда надобно уважать тебе, государь!

«Боярин! – сказал Юрий, задумавшись, – не это ли все греки называли *политикою* и не об этой ли страшной науке правления, основания которой ты высказал теперь нам, сказано: *эллины премудрости ищут?*»

– Не знаю, государь, как это называется по-гречески, но я передаю тебе плод опытности десятков лет, проведенных в делах государственных, слова усердия, дела ума, который, смело говорю, признали во мне самые враги мои! Я не прошу тебя верить моей добродетели, но только тому, что верность к тебе есть моя *необходимость*. Да! – продолжал Иоанн, разгорячаясь, – с падением твоим – я погиб, между тем, как всякий другой твой советник найдет милость и у Василия! Этой милости я не возьму – первый по князе, или ничто! Но мне нет уже спасения у Василия, и я не могу у него быть не только первым, но и последним – ссора моя с ним кончится только гробом...

«Но, почему знаешь ты, боярин, что гроб уже недалеко от тебя! Нам ли старикам...»

– Князь и советник его вечно юны! Ты знаешь, государь, что у князей *цветное платье не носится, добрые кони не ездятся и верные слуги не стареются*. Или о мире думать, или о гробе...

«Нет! – сказал Юрий, обратив глаза на образ, – нет! Я искал венца великокняжеского потому, что он принадлежал мне по праву. Я грешил пред Богом, употребляя иногда человеческую помощь, суетную; но, ни тогда, как покойный Владыка Фотий убеждал меня, ни тогда, как несправедливый хан присудил первенство племяннику, душа моя не переставала скорбеть пред Господом! И он услышал меня, и я княжу в Москве. Если для власти моей необходимы подобные тво-

им советы, боярин, я – отрекаюсь от власти и *царство мое несть от мира сего!*»

– Что же готовишь ты детям своим? – спросил нетерпеливо Косой.

«Не говоря еще об том, я прореку тебе, князь Юрий Дмитриевич, что ожидает здесь самого тебя, – сказал Иоанн. – Ты презираешь моими советами, ты хочешь княжить и не знаешь науки княжения – горе тебе! Знай же, что ты увидишь новые крамолы Василия, что ты узришь новые смуты князей, должен будешь или уступить им все, или восставить их на себя. Москва, обманутая ожиданием нового порядка, вознегодует, перейдет снова к Василию. Боярская дума твоя, волнуемая взаимною ненавистью, первая предаст тебя. Как змеи хищные, обовьют тебя страсти и измены, крамолы и смуты людские, и ты с позором увидишь свое изгнание и... я не смею договорить!...» – он снова захватил платком рот.

– Что же готовишь ты детям своим? – снова спросил отца своего Косой.

«Мир и благословение, сильные, крепкие уделы, тишину отчизны, благоденствие подвластных», – отвечал Юрий задумчиво.

– А Великое княжество кому? – воскликнул Косой, бледнея.

«Слушай, сын мой. Был один предок твой – может быть, ты слыхал о нем – благочестивый Константин¹²⁶, и у него был

¹²⁶ ...благочестивый Константин. – Имеется в виду Константин Всеволодович

брат Георгий¹²⁷, возведенный на Великое княжение волею отца, но незаконно. Скоро утратил Георгий свое достояние и очутился пленником своего старшего брата. Что же Константин? Он не хотел мстить брату, бывшему его врагом и незаконно овладевшему престолом. Он простил его, призвал его к себе, благодеянием привязал его сердце и, умирая, с чистою совестью препоручил ему Великое княжество с тем, чтобы два племянника Георгия, сыновья Константина, были сильнейшими по нем князьями. Георгию принадлежал престол после Константина – Константин свято соблюл завет отцов. Константин мог лишить его хлеба, не только престола – Георгий помнил благодушие брата и свято хранил заветы братние. И благословил господь сих князей, и потомки Константина через двести слишком лет владеют донныне родными землями. И самого Георгия сподобил Господь венца мученического... Вот, что я готовлю вам!»

– О родитель мой! Такие-то думы скрываешь ты от нас во глубине души своей! – возопил Косой. Он обратился к Морозову с пылающими от гнева взорами: – Такие-то советы держишь ты подавать отцу моему? – воскликнул он, дико смотря на Морозова.

«Изменник!» – возопил Иоанн удушаемым голосом, как будто собирая последние силы, и с яростью отнял он от уст

(1186—1218), великий князь Владимирский и Суздальский (1216—1218); занял великокняжеский стол, разбив войска своего брата Юрия (Георгия).

¹²⁷ *Георгий* – Юрий II Всеволодович (1188—1238), великий князь Владимирский (1212—1216, 1218—1238).

своих окровавленный платок.

– Что это? Ты весь в крови? – вскричал испуганный Юрий.

«Да, горесть и гнев мой перешли все пределы! – сказал Иоанн. – Кровь течет из меня и может быть предвещает мне близкую, близкую кончину... Государь! Боярин Морозов изменник – он имеет тайные сношения с Василием! Спешу сказать тебе...»

– И ты еще дерзаешь изрыгать хулы и клеветы, когда нечистая совесть твоя исходит вместе с твоею кровью? – воскликнул Морозов. – Государь! Видишь ли, как близок к человеку Судия Правосудный! – продолжал он, указывая на боярина Иоанна.

Иоанн не мог уже более говорить. Ослабевший, чувствуя, что кровь задушает его, он хотел выйти и упал без чувств на лавку – кровь хлынула из него ручьем...

«Иоанн! Иоанн!» – закричал с ужасом Косой, бросаясь помогать ему. Иоанн пришел в чувство.

– Вели отнести меня домой – или куда-нибудь... О Боже Господи!.. – сказал Иоанн и снова обеспамятовал. Косой поспешно кликнул стражу; прибежали воины и взяли Иоанна. «Несите его прямо ко мне в мои палаты!» – говорил Косой и остановился посередине комнаты, как будто громом оглушенный, когда поспешно унесли боярина Иоанна.

Юрий и Шемяка оцепенели и не могли во все это время ни пошевелиться, ни вымолвить слова. Особенно ужас и страх начертаны были на лице Юрия. С торжеством смотрел на ги-

бельное состояние врага своего Морозов. Бремя тяжкое спало с груди его – умолкал язык, страшивший Морозова, затмевался ум, перед которым трепетал он. Взор его прояснел. Люди! вы не стыдитесь подобных взоров...

– Боже великий! Прости грехи его, и укрепи меня в благих моих намерениях! – сказал наконец Юрий, перекрестившись.

«Нет! – воскликнул тогда Косой с яростью, – он еще не умер и не умрет никогда во мне! Государь родитель! Прости меня, но я дерзаю восстать против твоих велений. Для собственной твоей пользы дерзаю говорить: *Морозов изменник* – советы его пагубны!»

– Умолкни, Василий! Если еще не казнишься ты примером Иоанна, я повелеваю тебе.

«Нет, государь! Он гибнет от верности и усердия к тебе, он не мог перенести ужаса будущей судьбы твоей, судьбы нашей, он, скиталец, продавший тебе всю душу, всю кровь, весь ум! Ты погибнешь, изменник! Одно уважение к отцу моему спасает тебя в сию минуту от гнева моего!»

– Дерзаешь ли мне противиться? – воскликнул Юрий.

«Ты меняешь детей своих на презренного раба!» – сказал тогда вспльчиво Шемяка, оскорбленный унижительным положением брата и торжеством Морозова. Он обратился к этому любимцу отца своего и грозно воскликнул: «Сенька Морозов! прочитай свою отходную: или тебе, или мне не жить!»

– Дети непокорные! – вскричал Юрий, – вам ли отдам я после себя судьбу земель Русских? Проклятие на том семействе, в котором сын не трепещет от воли отца!

«Государь...»

– Остановитесь, – продолжал Юрий в запальчивости, – если руки ваши прикоснутся к Морозову, или вы осмелитесь противиться моей воле, то будьте вы...

«О родитель! остановись, остановись! Не предавайся гневу, не доканчивай страшных слов твоих!» – сказал Димитрий Красный, поспешно входя в комнату и обняв колена отца своего.

– Сын мой, сын мой! Что ты делаешь, праведная душа! – сказал растроганный Юрий, поднимая Димитрия.

Тут поспешно вошел Роман и обратился к Косому: «Боярин Иоанн зовет тебя к себе, князь – просит идти поскорее!»

– Он жив еще! – вскричал Косой.

«Жив и велел сказать, что вручит тебе важные бумаги и грамоты, что к нему доставлено сейчас известное тебе письмо от Гудочника. Только, ради Христа, просил поспешить...»

– От Гудочника! – воскликнул Косой, радостно и быстро взглянув на Морозова, – понимаешь ли ты, изменник?

Он поспешно вышел, не заметив, что при имени Гудочника смертная бледность покрыла лицо Морозова. Шемяка поспешил за братом.

«О Боже всесильный! Не благословил ты меня!» – сказал Юрий, смотря в след двух сыновей своих. Он закрыл глаза рукою и заплакал. «Суетные человеки! Собираем и не ведаем кому собираем...» – говорил он.

– Где же теперь боярин Иоанн? – спрашивал Косой, поспешно идя с Романом.

«Он в больших княжеских сенях, – отвечал Роман, – далее не могли его донести».

Косой и Шемяка вступили в эту обширную палату, первую подле Красного крыльца; на дороге встретилось им несколько бояр и сановников, бывших в сомнении и недоумении. Но в самых сенях никого не было, кроме начальника дружины, находившегося тогда на страже, нескольких воинов, принесших Иоанна, лекаря армянина, которого наскоро позвали к больному, и *Гудочника*. Боярин Иоанн, полураздетый, сидел на широкой скамье, поддерживаемый двумя воинами – боярское, золотое платье его было окровавлено, лицо бледно, как полотно, голова склонилась на плечо. Кое-как успели прекратить кровотечение, но видно было, что Иоанн не жилец земли.

Гудочник смотрел на него с горестью, помогал лекарю, приготовлявшему какие-то пособия.

– Что? Каков он? – спросил тихо Косой. Лекарь пожал плечами и отвечал шепотом: «Нет никакой надежды!» Косой с отчаянием сжал кулаки и возвел дикие взоры к небу.

Иоанн открыл глаза свои, уже помутившиеся и помертве-

лые. «Скоро ли священник?» – спросил он тихо. Тут встретился взор его со взором Косого. «Ты ли это, князь Василий Юрьевич?» – спросил Иоанн.

– Я, боярин, – отвечал Косой.

«При дверях гроба скажу тебе, что я желал вам добра. Когда могила отворена, люди не лгут. О Боже! прости грехи мои! Князь! У Гудочника письмо Морозова к Василию. Гудочник переносил их грамоты. Ради Бога – сбереги этого старика – он, только он один, твоя помощь – и *никто больше!*»

– Но ты мне говорил о нем...

«Я слишком надеялся на себя – тебе этого нельзя – и мне не должно было! Он, только он, спасет тебя... я был несправедлив против него – исполни то, чего он требует, и он будет верен... Там, у меня, в большом сундуке – вот тут ключ – бумаги... возьми их... О Боже!.. – кровь опять хлынула из него. – Горе, горе! – бормотал Иоанн, – Священника, священника! Мир, мир с Богом – помилуй меня, милосердный Отец!...»

Священник явился с запасными дарами, но не мог приобщить Иоанна святых тайн, потому что кровь не переставала течь. Прочитали над ним молитвы покаяния, и глухою исповедью священник очистил грешника от тяжести грехов. Еще раз опамятовался Иоанн, глядел на Косого уже неподвижными глазами и пробормотал: «Жена и дочь моя – тебе их поручаю – они в Новгороде... Господи! верую – помоги моему неверию!...»

Его не стало. Безмолвно стояли вокруг него Косой, Шемяка, Гудочник, Роман, священник. Слезы крупными каплями текли по угрюмому лицу Косого. Он не чувствовал их. И эта горесть человека, никогда не умилявшегося, никогда не плакавшего, была поразительнее всяких воплей.

«Чувствую, чего лишился я с тобою, чувствую, что с тобою много я потерял!» – говорил Косой.

– Великий ум государственный, великий муж совета, – сказал Гудочник, смотря на бездыханный труп Иоанна, – и горе тебе, что ты более верил уму людей, а не сердцу, не душе их!

«Велите немедленно отвезти тело в дом его, – сказал Косой. – Честь праху его будет воздана великая». Он сам задернул тело Иоанна его окровавленным боярским одеянием и отвел Гудочника в сторону, «Старик! – сказал он, – забудем все, что было. Отныне ты видишь во мне своего покровителя. Говори мне смело, говори все! Чего тебе надобно? Денег? Почестей?»

«Ничего, князь Василий Юрьевич! Позволь мне объяснить сегодня вечером, наедине, чего хочу я. И вот тебе первая моя услуга!» Он подал ему сверток: это было письмо Морозова к Василию Васильевичу, в котором боярин обещал быть ему верным и послушным его слугою.

– Смотри, брат! – вскричал Косой, пробежав письмо и отдавая его Шемяке. – Изменник, клятвонарушитель, предатель! Зачем письмо это не было раньше в руках моих! – Ше-

мяка прочитал письмо и не мог опомниться от изумления.

В это время поспешно вошел Димитрий Красный и с ним Морозов. Дикий, глухой крик вырвался из груди Косого, когда он увидел Морозова.

– Зачем явился сюда этот клеветник, клятвопреступник? – вскричал Косой. – Пришел ли он ругаться над трупом друга моего и радоваться моей скорби?

«Брат любезный! – сказал Красный, – я пришел молить тебя, ради имени самого Создателя, умерить гнев твой и послушаться велений отца! Едва умилосердил я его не предавать тебя проклятию – так разгневан он на тебя! Послушай слов моих...»

– Проклятие его ничтожно, если изречено несправедливо! – вскричал Косой. – Но, чего он хочет?

«В знак смирения твоего, отдай меч твой боярину Морозову – он избран от родителя нашего первым боярином великокняжеским. После сего ты должен отправиться во двор свой и ждать отцовского решения».

– Скажи старику, отцу нашему, что он помешался на старости лет! – заревел Косой в совершенном неистовстве. – Я покаюсь Морозову? Тебе? – продолжал он, подбегая к нему, – тебе?

«Князь Василий Юрьевич! Повинуйся воле отца своего!»

– Несчастный! – вскричал Шемяка, – удались, удались скорее!

«Не заставляйте меня призвать стражу! – сказал Моро-

зов. – Воля родителя вашего священна».

– А это что? – возразил Косой, показывая ему письмо, – а это что? – продолжал он, ударив Морозова по лбу так сильно, что тот зашатался.

«Брат, брат! – закричал Красный, – что ты делаешь!»

– Дружина! – возгласил Морозов.

«Прежде дух из тебя вышибу я вон, нежели ты успеешь призвать дружину!» – вскричал Косой, бросаясь на Морозова. Будучи силен, Морозов ухватил его за руку, и Косой едва не споткнулся и не упал. Губы его посинели от ярости. Как безумный, он схватил Морозова за горло, повернул из всех сил и неистово ударил о пол.

Шемяка бросился к ним. Морозов лежал неподвижен: он ударился виском; кровь бежала у него из лопнувшей жилы; смертные судороги кривили его тело. Косой стоял и смотрел на него, как будто в забвении самого себя, и через минуту лицо Морозова посинело и почернело.

– Он умер! – вскричал Шемяка, прикладывая к сердцу его руку, – он уже холодеет? – и в трепете отскочил Шемяка от охолоделого трупа.

«Я убил его!» – сказал Косой глухим голосом и мрачно повел рукою по лбу. Не говоря более ни слова, он пошел поспешно вон. В беспокойстве, в ужасе, поспешил за ним Шемяка.

Здесь, в одной комнате, лежали два взаимные врага, два первые советника Юрия. Димитрий Красный не мог выго-

ворить ни слова. С ужасом глядел он на трупы бояр и сжимал руки в судорожном движении. Гудочник безмолвствовал. Другие также стояли безмолвны и неподвижны. Казалось, каждому раскрылась тогда таинственная книга судеб будущего и каждый, читая кровавые буквы ее, окаменел и не мог промолвить ни одного слова.

Глава IV

Мне ль было управлять строптивыми конями?

*И круто напрягать бессильные бразды?*¹²⁸

А. Пушкин

Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается – говорит старинная русская пословица. Между тем, как повествование летит на крыльях, события влекутся на свинцовом костыле. *Не всякая песня до конца допеваётся* – есть еще русская пословица; мы перевернем ее по-своему и скажем: не все высказывается в были и в повести, что в самом деле было. Прошло несколько месяцев после гибели Морозова и смерти Иоанна. Что происходило в сии месяцы? Рассказывать ли? Нет! Лучше снимем с полки несколько хронографов и летописей и послушаем рассказ наших стариков. Может быть, многим читателям нашим неизвестно даже, как и что рассказывали наши предки? Развертываем *записки современников* и читаем:

«Лета 6941-го, сел на великом княжении, в Москве, князь Юрий Димитриевич. А бывший князь Василий, со слезами и с плачем многим, добил челом дяде своему, через любовника его и боярина, Семена Морозова, ибо сей Семен был в великой ладе и в любви у Великого князя Юрия Димитри-

¹²⁸ Эпиграф – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Андрей Шенья».

евича. И сей Семен, многомогущий у Великого князя, испечаловал Василию мир, любовь и удел, и город Коломну. И отселе началось княжение Великого князя Юрия Димитриевича, его же Господь на благоденствие людям поставил и невидимое своею помощию оградил. И об этом радовались все московские люди. И князя окрестные прислали к нему с поклоном, мира и любви прося. И он, Великий князь, дал всем мир и любовь. И в церкви многие дары вдал, и в обители святые. И в обитель преподобного Сергия многие вклады, и села, и дары вдал. В то же время, в Новгороде был большой пожар: погорели *Загородский конец* и *Людин конец*, до Лукиной улицы.

В то же время, в Смоленске появился волк, безшерстный, и людей много поел; а в Литве в городе Троках озеро, называемое *Жидовское*, три дня стояло кроваво.

О том же продолжим, как мы выше сего сказали, что Семен Морозов испечаловал Василью Васильевичу удел Коломну. Боярин же Иван Димитриевич сильно вознегодовал о сем, и не любо ему было такое дело, что не только Василью *простыню* Великий князь пожаловал, но еще и удел дал. Но не только сей Иван о том вознегодовал, но и другие многие, и два сына Великого князя, Василий, да Димитрий средний. И видев злобу сию, боярин Морозов убоился, и те два сына князя Великого, Василий, да Димитрий, воспалились яростию, и побуждаемые издревле человеконенавидцем диаволом, нелюбящим братския любви, пришли к отцу своему, и

много вопияли, и негодовали. И боярин Иван с ними был. И оттоле вышед, убили они боярина Семена Морозова в на-бережных сеньях, говоря ему: „Ты злодей, крамольник и нам лиходей!“ – Князь же Великий, сведав о том, печален был и злобе сыновей не попустил. Но быв умолен юнейшим сыном своим, не облек их проклятием за то кровавое и богомерзкое дело, но возложил только гнев на них, старейших своих сынов. И они, князя Василий и Димитрий, как Каин братоубийца, боясь гнева отцовского, из Москвы бежали. И не хотя покориться воле отца, начали собирать войско, думая Василия из Коломны изгнать. Боярина же Морозова повелел Великий князь схоронить честно, и со многими слезами гроб его провожал. После сего сотворил князь пир великий, отпуская братанича своего Василья на Коломну. И по сем пошел он в Троицкий монастырь, и много молился у мощей преподобного Сергия. За молитвы князя благоденствует народ.

В то же время, в Новгороде, владыка Евфимий поставил у себя на дворе Владычную Палату, каменную весьма изрядную. Дверей в ней было тридцать, а мастера делали ее немецкие, из заморья, вместе с новгородскими мастерами.

Тогда же чудо было во Пскове: явились столбы на небе, весьма страшны, сияющие, как молнии, но мало побыли и исчезли. Молитвами святых твоих, Господи! спаси нас!

А месяца июня 29-го на праздник святых апостолов Петра и Павла был стол у Великого князя. Ели у него бояре и

духовные власти, в его столовой избе. У стола стоял крайчий князь Шелешпанский; в Большой стол смотрел боярин Овдера, а в Кривой стол боярин Затычка-Булатов, а вина наряжал Хованский-Сумка.

Месяца августа в 1-й день на праздник происхождения древ Честного и Животворящего креста Господня был государь, князь Великий, в Симоновой обители, и у князя Константина Димитриевича был, коему Господь благовую мысль вложил принять иноческий чин. И беседовал Великий князь любезно с настоятелем, и с братиею, и с князем Константином. И по сем был у Великого князя посол литовский. Великий князь принимал его в Золотой палате, и бояре его были в золоте и в черных шапках.

Того же лета сотворил Бог чудо великое и неправедному стяжанию положил конец, за молитвы православных, и восставил на Великое княжение добрую отрасль доброго корени, Великого князя Василия Васильевича. Сей князь, бывши в Коломне, в уделе неправедного дяди Юрия, начал звать к себе людей отвсяду. И все пошли к нему, как пчелы к матке, ведая его благосерда и законна. Видев же князь Юрий, что непрочно ему Великое княжение, Москву оставил и утек восояси в Звенигород, послав к Великому князю, моля у него любви и мира, и добил ему челом. Милосердовав же о нем Великий князь Василий Васильевич не погубил его до конца, дал ему мир и любовь и удел его Юрия, Звенигород, за ним оставил. И о сем было крестное целование, чтобы

Юрию с мятежными сынами его, князем Васильем, да князем Димитрием средним, за одно не быть. На том поставили грамоту, и город Дмитров Великий князь у дяди своего Юрия, помощью Божиею, взял. И отселе началось Великое княжение Василья Васильевича, благословенного внука Димитрия Донского. Порадовались сему все люди Москвы и народы других стран. И пир великий сотворил Великий князь, и дары многие вдал в обители святые и в церкви, и духовный чин и нищую братию кормил. Величия своего смиряясь, меньший всех казался сей благословенный Великий князь Василий Васильевич.

Тогда же был мятеж великий в греческой земле, а в Новгороде начали новую колокольню строить у Спаса Нерукотворного.

В сие же время, услышав Великий князь Василий Васильевич, что крамольные сыновья дяди его Юрия многую дружину собрали, послал на них свои дружины московские и воевод и князей, с главным воеводою Юрием Патрикеевичем, и повелел ему тех князей, Василья, да Димитрия, изгнать и самих добыть...»

Остановимся здесь. Люблю читать эти обломки веков, переживающие все страсти, все отношения людские, эти летописи и хладные хартии, где сохраняется мгновенно пролетающий, изменчивый говор современников! Да, также хладнокровный летописатель передаст память и о *наших* временах, теперь кипящих бешенством страстей и возмущаемых

кликами толпы; также совет он события месяцев и лет в несколько букв, которые покроет пыль, забудут потомки и только пытлиное любопытство деесписателя будет стараться облечь в живые, светлые образы жизни! Но тщетно будет его старание, когда строгая Истина будет сторожить каждое слово его, а века передадут *безотчетный* рассказ давно минувшего! Только ты, огонь воображения, только ты, Поэзия, неугасимый светильник истины сердца! можешь обновить перед нами жизнь минувшую в полном цвете ее, можешь облечь силою сухие кости, вложить страсти в истлевшие сердца, заставить их биться от давно истлевшей крови!

Станным стечением обстоятельств, не проведя и полугода в Москве, Юрий снова был в своем Звенигороде, *униженный* торжеством племянника. Василий снова сидел на Великом княжении. Дела совершились столь быстро, что Василий приехал в Москву и застал в ней все так, как будто Юрий никогда и не княжил в ней, и как будто Василий съездил куда-нибудь в дальнее богомолье, на Бело-озеро или в Колязинский монастырь. «Здравствуй, добрый мой боярин!» – говорил он, встречаясь с кем-нибудь из бояр, не успевших выехать к нему навстречу, когда он возвращался из Коломны в Москву. – Батюшка, государь, князь Василий! – кричал боярин, целуя руку Василия. – «Что давно не видать тебя, боярин!» – продолжал Василий, улыбаясь. – Ох! Батюшка, князь наш Великий! Да столько было хлопот... – «И мне немало», – прибавлял Василий. Боярин снова целовал ручку

Великого князя и разговор прекращался так, как будто бы боярин три дня только не являлся в Кремль пред светлые очи великокняжеские.

Впрочем, такой прием видели бояре, как мы сказали, не встретившие Василия, но их было немного. Почти все <они> были приняты Василием ласковее потому, что почти все отправлялись к нему навстречу в Коломну. Удивительное было зрелище! За три дня до выезда Юрия Кремлевский дворец совершенно опустел. Все дворские люди его, как будто истреблены были какою-нибудь повальной болезнью. Ни один из послов княжеских к нему уже не являлся. Москва была тиха. Но каждый москвич, встречаясь с другим, спрашивал: «Кто у нас *Великий князь?*» Ужас гибели Морозова и смерти Иоанна окаменил все сердца. Рассказывали об этом шепотом, потихоньку. Никто не бунтовал, не своевольничал. Никто из бояр не решался и приступить к каким-нибудь действиям в доказательство ревности своей к Юрию или Василию. Никто еще и не говорил о Василии. Воины не знали, что им делать. Косой и Шемяка уехали из Москвы в ночь после смерти Иоанна. Долго не знали куда отправились они, где находятся и что хотят предпринять. В то же время носились глухие слухи, что Василий уехал из Коломны, что с ним соединились бесчисленные дружины русские и татарские и что он в грозной силе скоро явится перед Москвою. Москва уныла. Собраний княжеской Думы более не было видно. Юрий сидел в своем дворце, запершись с Димитрием Красным и с

духовником.

В одно утро Москва была изумлена звоном колоколов в Кремле. К Красному крыльцу подъехали возки, верховые лошади и собралась звенигородская дружина. Повестки о сборе московской дружины не объявляли. Толпа любопытных сбежалась в Кремль и увидела, что Юрий с Димитрием Красным вышли, отправились в Успенский собор, со слезами отслужили молебен у гроба Святителя Петра митрополита, поклонились потом гробам отцов в Архангельском соборе и поехали из Москвы. Успенский протоиерей проводил их благословением св<ятого> креста Господня. Юрья Патрикеевич взошел после того на Красное крыльцо и объявил народу, что *Божшим благословением, Великим князем Московским будет отныне Василий Васильевич.*

В молчании разошелся народ из Кремля. Такое невиданное дотоле зрелище, такое неожиданное следствие после смятений и битв, предшествовавших воцарению Юрия, произвели неописанное действие на умы москвитян.

Но к вечеру Москва зашевелилась. Народ столпился на улицах и площадях; слухи о прибытии Василия усиливались. «Он погубит нас за вероломство!» – говорили одни. – За что губить нас? Не мы бунтовали, а Юрьевны, – говорили другие. «Понесем ему повинные наши головы!» – был наконец общий говор народа.

На другой день толпы народа кинулись по Коломенской дороге. С утра заблаговестили во всей Москве и духовенство

стало у церквей в полном облачении для встречи Василия. Он появился к полудню. За ним и перед ним ехали бояре, шел народ толпами. Дружин воинских почти не было видно. Юрья Патрикеевич встретил Василия у Кремля, как хозяин, с хлебом и солью. Народ ждал, что будет, и ничего нового не дождался. Прочитаны были только на площадях повестки, что Великий князь *учинил мир и исправу с дядею своим, князем Юрием, и какие Юрий, сидя в Москве, чинил суды, пересуда не будет, а у кого князь Юрий брал займы, те займы выполнит Великий князь*. Треть Юрия в Москве осталась за ним.

Но бояре вскоре увидели, что Василий во многом изменился. Краткий, но тяжкий опыт сделал его мрачнее, угрюмее, недоверчивее прежнего. Он не изменился ни в наружной ласке, ни в приветливости. Но совершенно изменился он в Совете и расположении душевном. Думы бояр не собирал он более и только Ряполовские, Басенок, Василий Ярославич и Юрья Патрикеевич составили его тайную Думу. Софья Витовтовна не выходила из своих теремов. Никто не знал, ни при дворе, ни в городе, что хочет предпринять Василий. Видели, что он собирает сильные дружины, что Басенок и Ряполовские устраивают их. Но назначения их никто не знал. Юрий спокойно сидел в Звенигороде своем. О Косом и Шемяке ничего достоверного не было слышно. Все окрестные князья пребывали мирны, хотя не присылали послов, не являлись и сами в Москву. О Литве и Орде слуху не было. «Ку-

да пойдём мы?» – спрашивал ратник у своего товарища. – Куда велят! – отвечал тот.

Наконец, в один воскресный день, велено было собраться всем дружинам на Девичье поле и все поле это покрылось толпами вооруженных воинов. Давно уже не видала Москва столь блестящего воинского сборища. Оно напомнило старикам времена Куликовской битвы. Казалось, что толпы воинов делали Василия величественнее и мудрее в глазах народа. «Нет! Не таков он был, наш батюшка, пока горя не испытывал от Юрьевичей!» – говорил народ, когда увидел Василия, верхом, перед дружинами. «Как он получил, как он подороднел!» – говорили зрители, хотя видели перед собою прежнего, невидного, худощавого Василия.

Отслужили молебен, окропили хоругви и воинов святою водою, и дружины, одни заняли Москву крепкою стражею, обставя караулами Кремль и весь город, другие выступили по Владимирской дороге. Василий возвратился в Кремль и велел готовиться в дорогу. Дружина, отправленная в поход, находилась под началом Басенка и над ним Юрьи Патрикеевича, как будто имя *старого боярина*, хотя известного склонностию к миру, надобно было для послушания воинов и вождей. Блестяща и многочисленна была московская дружина. Но, кроме главных вождей, все еще никто не знал, куда идет она. Из Владимира вдруг повернуло войско на Суздаль, на Юрьевец-Повольский¹²⁹. Здесь объявили воинам, что идут

¹²⁹ Юрьевец-Повольский – ныне находится на правом берегу Горьковского во-

на мятежных князей, Василия Косого и Димитрия Шемяку; велено было сражаться с дружинами сих князей, где их встретят, бить их, стараться достать самих князей-мятежников, живых или мертвых. Войско московское растянулось на обширное пространство. Дальний, трудный поход утомил его, особливо когда дружины вступили в лесистые, болотистые места северные. Тогда начали появляться отряды Косого и Шемяки, малые, легкие. Их преследовали, били, брали в полон, и полоняники объявляли воеводам московским, что нигде нет большего сборища воинов Косого и Шемяки. Услышав, что сии князья укрепили Галич, москвичи быстро кинулись туда, но нашли Галич оставленным. Шемяка, занимавший его, бросился к югу и, казалось, хотел прибиться на Волгу. Поспешно погнались за ним. С другой стороны, от Костромы, отдельные отряды гнали Василия Косого, не державшего остановиться и сражаться с ними.

Непонятную войну вели эти князья. Известно было, что у них только малые, рассеянные дружины, и видно было, что они не смели нигде стать против москвичей. Но едва отставал от других отряд московский, дружины Косого и Шемяки брались, Бог знает откуда, неистово нападали и истребляли сей отряд. Потом опять все рассыпалось и бежало от соединенных сил московских воевод.

Наконец, очистив Галич, Кострому и все северные обла-

сти, на берегах Куси¹³⁰ собралось войско московское и ярко запылала огни в обширном его таборе. Воеводы положили дать отдых своим воинам.

В это время, из-за темного бора, с закрытой горы, как два хищных коршуна, смотрели на них Косой и Шемяка. «*Теперь, или никогда, брат!*» – сказал Косой Шемяке, который внимательно обглядывал расположение московского стана. – Да! Теперь или никогда! – отвечал Шемяка. – Русскому не в привычку бегать. Еще две недели медления и воины наши сами собою разойдутся. Мы измеряли довольно областей шагами нашими. Пора померяться мечами!

«И померять ими, или Великое княжество Московское, или гроб наш!» – отвечал Косой.

– Гроб вымерян – три аршина – для самого взрослого человека, – сказал Шемяка, улыбаясь. – А желаниям человеческим меры нет! Неужели, сидя в Галицких болотах, ты все еще видишь отсюда, брат, золотой престол Московский?

«Неужели не видя его вдали, ты сражаешься?»

– Да, и буду сражаться. Своей судьбе кто владыка? Я не отставал от тебя с самой Москвы, не отстану и теперь.

«Вижу любовь твою ко мне, добрый брат мой! Ты не оставил меня в горе и беде!»

– Я не оставил бы и врага моего. Но, признаюсь, не знаю, что хочешь ты предпринять после сего? Если мы падем в бою – спрашивать нечего; но если мы выиграем бой – чудное

¹³⁰ Кусь – река в Костромской обл.

дело! Я не знаю, куда денемся мы с нашею победою!

«В Москву, в Москву!»

– Слушать поучения отца о том, что напрасно побили мы рать Василия и что он не хочет сесть на престоле московском? Разве кинем тогда жребий: кому из чужих выпадет эта дорогая потеха, Великокняжеский престол?

«Нет! Я не показывал еще тебе грамоты отцовской, по которой он готов снова сесть на Великокняжение, если только кто-нибудь возмется загрести жар не его руками...»

– Грамота? Я не видал ее!

«И некогда было тебе видеть. Пойдем! Я покажу тебе и другие, от Тверского, Можайского и Верейского князей».

Князья сошли с горы и пропали в чаще леса. В это время в московском стане беспечно сидели воины вокруг кашеварных котлов, размачивали сухари и ели, пока сварится кашлица, пили некупленный мед и даровую брагу и думали уснуть так, как давно не спали. Да, в самом деле: многим суждено было уснуть навеки...

Храбрый, смелый, но горячий и неопытный Басенок неспособен был к войне такого рода, какую принудили москвичей вести Косой и Шемяка. С чистого боя, меч на меч, или, как говаривали наши старики – *око за око и зуб за зуб* – Басенок был непобедим. Но не его дело было хитрить в бою, рассчитывать сто мест вдруг, чтобы выгадать одно, и с этого выгаданного – отступить для верной победы на сто первом; купаться самому в болоте, чтобы утопить врага, и

подстергать целые дни неприятеля, как охотник стережет дикую утку. Притом же Басенок был связан другими начальниками и хотя приказывал им делать все, что ему было угодно, через Юрья Патрикеевича, который дан был ему вместо полномочной грамоты, но беспрестанно встречал он препятствия и неудовольствия, и все делалось не с доброй воли, но по наказу и приказу, нехотя.

«Видишь, воевода: теперь слава Богу, мы безопасны!» – сказал Басенку Юрья Патрикеевич, когда тот прочитал уведомление, полученное от Василия о том, что Василий выступил наконец из Москвы с новыми дружинами и пойдет с другой стороны на Косого и Шемяку, уведомясь от Басенка, что они, соединясь, отступают от Галича и Костромы по направлению к устью реки Унжи.

– Только безопасны? – отвечал Басенок. – Я, признаюсь, и не видал доньше опасности от врага, который бежит, словно заяц. Что это за война, лукавый побери ее!

«Наше место свято! – воскликнул Юрья. – Ей Богу! какой человек – говорит и не оплунется, да еще и нечистого призывает! Нет, воевода! Я, признаться, так очень подтрушивал. В самый день выхода нашего из Галича видел я сон, куда негодящий! Снилось мне, что иду я по моему московскому саду – а сад у меня добрый, сам ты знаешь – что за яблоки наливчатые, что за сливы, что за дули чудные – сотью вспомянешь теперь, как сухарик надобно размачивать водицею, да охать на голой земле, вспоминая доволье московское...»

– Юций захохал, прихлебнул меду из серебряной стопы и поправил лисье одеяло на своей постели.

– Ну, что же сон твой, князь! – спросил Басенок, улыбаясь.

«Сон? Да шути ты им! Вижу я, что золотистое, наливное яблоко падает с моей любимой яблони. Дай-ка, подумал я, чтобы лишнего труда не было, подставлю рот и оно само ввалится ко мне в рот так, что и руками пошевелить не будет надобно! Вот, подскочил я, подставил рот – ан, вместо яблока – откуда ни возьмись – галка, да прямо мне в рот! Тьфу, ты, бесова дочь! Вскричал я и чуть не подавился! Ну, что! Как ты растолкуешь такую диковинку, воевода».

– Не мастер я толковать сны, а пожелаю тебе доброго сна и уверяю, что ты завтра проснешься жив и здоров, – Басенок засмеялся и ушел, а Юрья Патрикеевич покачал головою в след его и принялся читать в молитвеннике своем *молитвы на сон грядущий*, крепко стуча лбом в землю и тяжело вздыхая. Стан московский затих, огни угасли...

Уже крепко спал и давно сильно храпел Юрья Патрикеевич, когда ему показалось, что его будят и толкают немилосердно. Спросонков не мог опомниться он, видя страшное зарево, толпу полуодетых рабов своих, бегающих в ставку, слыша в то же время ужасный крик, шум, стон, проклятия, бой в бубны и звук трубный.

«Что такое? Что такое? Неужели преставление света? Готов, Господи, готов!» – вскричал он. Видно, добрый был человек!

– Вставай, князь, вставай! – кричали ему. – В стане суматоха, резня – надобно спастись!

«Да что сделалось?»

– Шемяка напал на нас врасплох, все режет, бьет, гонит...

«Да откуда он взялся? Да, где Басенок?» – спрашивал Юрья, второпях надевая навыворот дорожный тулуп свой. «Ну! либо пьяну, либо битую быть мне сегодня!» – сказал он, заметив свою ошибку.

Поспешно выскочив из ставки, с ужасом глядел Юрья Патрикеевич на кровавое, страшное зрелище.

Темная ночь облегла небо. Сквозь густые тучи, как сквозь сито, сеялся дождик. Холодный ветер веял с севера и пронизал тело резким холодом. Огонь расстилался по ставкам воинов и освещал мрачные окрестные леса, отражаясь заревом на темных тучах. Пищальный огонь сверкал из-под леса на главный отряд. Кони, сорвавшись со стоек своих, ржали, бегали, умножали смятение, и по всему стану шел рукопашный, смертный бой, среди криков, воплей и стонов. Нельзя было различить: где враги и сколько их? Воины, полуодетые, полусонные, бегали, хватались за оружие и падали под непощадными мечами и секирами врагов.

«Ах, ты, Господи! Да что это такое! – вскричал Юрья Патрикеевич. – Ведь эдак пропадешь ни за что! И никто не прибежит сюда защитить главного воеводу!»

Но упрек был несправедлив. Отвсюду сбежалось к ставке его множество воинов, хотя ни один не знал, что делать, и

некоторые пришли совсем без оружия.

– Друзья мои! – говорил воевода, ободренный сбором воинов – где Басенок? Кто видел его? Где наши кони?

«Да, теперь уж трудно разобрать, князь Юрья Патрикеевич, – отвечал ему урядник, – изволь-ка одеваться поскорее. Мы за себя постоим, а других пусть Бог спасает!»

– Довольно, довольно, старик! – сказал Юрья Патрикеевич и бросился в свою ставку. Впотьмах, торопясь, ничего не могли найти, и пока воевода оделся кое-как, умноженное смятение вблизи, звук мечей, усиленные крики, возвестили приближавшуюся опасность. Опротетью выбежал снова Юрья Патрикеевич и увидел, что неприятель режется с воинами его вблизи самой ставки. «Шемяка, Шемяка!» – раздавался крик сотни людей.

В самом деле, это был сам Шемяка. Секирою с двумя остриями бил он направо и налево. За ним шел отборный его народ. Все дрогнуло и побежало. Едва успели подать лошадь Юрье Патрикеевичу и он поскакал, сам не зная куда; бросился было по Юрьевской дороге, но тут ждал бегущих особый отряд галичан. Воевода кинулся сломя голову в лес и деревья, казалось, ожили – явились отовсюду воины, посыпались стрелы. «Стой, стой! – закричал испуганный Юрья Патрикеевич, бери лучше живого, чем бить!»

Трое подбежали к нему, схватили за узду его лошадь, другие стащили самого воеводу. «Не бей меня, народ православный, а веди к князю Василию Юрьевичу, или князю Димит-

рию Юрьевичу: я главный воевода московский, князь *Юрий Патрикеев!*»

При сем имени остановились взнесенные на него мечи, радостный крик раздался между воинами. Один из них снял шапку, поклонился и сказал: «Добро пожаловать, князь Юрий Патрикеевич! Зла тебе не будет. Чин чина почитай, а меч свой пожалуй нам».

– Вот: ведь хорошо воеводою и в полону быть? – сказал Юрья Патрикеевич, видя вежливость воинов. Его повели через лес.

Поражение московских дружин было совершенное. Немного воинов успело избежать смерти или плена; весь обоз, все снаряды москвичей достались победителям. Утро осветило трупы и пожарище на том месте, где вчера еще было многочисленное, сильное воинство.

Следствия сей битвы на берегах Куси были весьма важны. Ярославские князья немедленно выслали свои дружины Косому. Из Звенигорода поднялись воины Юрия. Василий Васильевич спешил пересечь дорогу Косому и Шемяке, быстро двинувшимся к Москве. В бессильной ярости отряд дружин его громил галицкую область и сжег Галич, вновь оставленный Юрьевичами, когда судьба Василия свершалась в новой кровопролитной битве у Николы Нагорного близ Ростова. Здесь, уже не врасплох, не ночью, но днем, и грудь к груди, сразились москвичи и северские жители. Накануне приехал в стан Косого и Шемяки сам Юрий и молился в став-

ке своей, между тем как храбрые сыновья его врезывались в ряды Васильевых дружин. Свирепо горела битва, когда один из бояр Юрия вошел к нему в ставку с видом горести, уныния и безмолвно остановился у входа.

«Что хочешь ты сказать, боярин?» – спросил Юрий. Слезы омочали его бледное лицо. Боярин безмолвствовал. «Говори! – продолжал Юрий, – я готов ко всему! Не смерть ли сына возведишь ты мне?» Он содрогнулся.

– Не смерть, но скорбь тяжкую. Князь Димитрий, твое любимое чадо...

«Мой Митюша!» – воскликнул Юрий, быстро вскочив со своего места. «Всемогущий Господи! – продолжал он, воздевая руки и глаза к небу. – Твой гнев умел выбрать самое чувствительное место моего сердца и явно показывает великость греха моего великостью наказания!» Старец утер после сего слезы и спокойно спросил у боярина: «Что сделалось?»

– В пылу битвы, сражаясь подле старшего брата, князь Димитрий был поражен обухом секиры в самую грудь и принесен без чувств.

Юрий поспешно пошел из шатра своего. У входа встретил его присланный от Косого и воскликнул: «Радуйся, Великий князь! Победа – враги бегут! Самого Василя Васильевича преследуют!»

– Вели остановить убийство и преследование! Довольно, довольно! – воскликнул Юрий и с трепетом взглянул на поле, покрытое дымом, залитое кровью, заваленное трупами

и усеянное бегущими неприятелями и преследующими их победителями. Клик победы сливался с воплями смерти. – «Они также дети мои, подданные мои!» – возопил Юрий, протягивая руки к москвичам, беспощадно рубимым волнами Юрия, вслед и вдогонку.

Он застал Дмитрия Красного уже в памяти; но тяжкое, багровое пятно было на груди его, и юноша едва мог дышать.

– Зачем отпускал я тебя! – сказал Юрий, с горестью смотря на бледного Дмитрия.

«Не говори, родитель! – отвечал Дмитрий, – остаться в обозе было бесчестно, а бесчестие хуже смерти!»

– Великое княжество! *Чего* ты стоишь мне и на *что* ты мне! – воскликнул Юрий.

Он остался в Ростове, куда перевезли Дмитрия Красного. Остатки дружин Василия бежали в беспорядке к Галичу, Костроме, Нижнему. Сам Василий ускакал в Тверь, но был туда не допущен, и отправился в Новгород. Косой и Шемяка через четыре дня были под Москвою, и в Переяславской слободе смиренно встретили их москвичи с хлебом и солью.

Ласково приняли москвичей сии князья, но вступили в Москву, как в завоеванный город. Всюду расставили они дрзоры, стражу. Князь Василий Ярославич заперся в Кремле с остальными боярами Василия. Легко могли взять Кремль приступом. Но Юрий запретил строго проливать кровь и требовал у Василья Ярославича мирной сдачи. Через неделю открыли ворота кремлевские, и снова записано было совре-

менником в летописи;

«Да того же лета, князь Великий Василий Васильевич послал воеводу своего, князя Юрья Патрикеевича, а с ним двор свой и многих людей на Кострому, на Юрьевичей, на князя Василия и на князя Димитрия Шемяку, а с сими князьями были Вятчане и Галичане. И стали на бой, на речке Куси, и сии князья рать Великого князя побили, а воеводу Великого князя, Юрья Патрикеевича, поймали. И уздав о сем, князь Юрий Димитриевич послал к детям своим и совокупился с ними. Князь Великий Василий Васильевич, слышав о том, пошел против него, и встретились в Ростовской области у Николы у Святаго, на горе, и был бой, силен и страшен. И одолел князь Юрий Димитриевич, а князь Великий бежал к Новгороду Великому. Пришед же князь Юрий Димитриевич под Москву, стоял под городом неделю и город взял, и княгинь Великих поймал, и послал их в Звенигород, а сам сел на Великом княжении».

Почему летописец так умеренно отзывался о князе Юрии и о князе Василии? Кому *доброхотствовал* он? Почему не прибавил ни одного благочестивого рассуждения? Некогда было – думаем мы. Видно, не в наше только время люди спешат жить, а всегда торопились они на пути жизни.

Глава V

*Во прах венец, во прах порфира,
Мир ложный, суетный – во прах!
И гордый царь, властитель мира —
Пред алтарем, святой монах...*

* * * *

Через несколько дней по том толпа народа валила в Симоновский монастырь. Бояре, военачальники, чернь, все собиралось смотреть на зрелище новое, неслыханное с незапамятуемых времен: брат Юрия Димитриевича, дядя Василия Васильевича, Василия Косого, Димитрия Шемяки и Димитрия Красного, юнейший из сынов Донского, князь Углича, Бежецка и Ржева, *Константин Димитриевич*, должен был в этот день принять монашеский чин. Бывали примеры многие, что князья облакались в клобук и даже схиму перед кончиною; но неслыханное совершалось дело, что князь, старший после Юрия, еще в цвете лет своих, менял венец на клобук, мир на тесное житие монаха, роскошь двора, на тяготу отшельнической жизни! Уже год с лишком Константин держал искус, жил в обители, ходил в грубой ризе, отягчал себя веригами, терзал тело власяницею и исправлял самые тяжелые работы для братии монастырской. Унылый звон колокола возвещал Москве сие торжество святой веры, торжество

духа над плотью и мудрости над суетою, ибо не болезнь тяжкая, не печали и скорби заставляли князя Константина прибегнуть в обитель и проститься с миром, но крепкая воля духа, неутолимая жажда венца небесного.

За три дня до того сам Юрий Димитриевич приезжал в Симоновскую обитель проститься с Константином, ибо Константин хотел после пострижения уединиться от всех и постом, трудом и молитвою приготовить себя к великому сану схимника. Казалось, что душа его, боясь, да не увлечет ее снова прелесть мира, спешила рвать последние цепи, привязывавшие ее к миру. При обряде пострижения Юрий не мог быть, чувствуя себя весьма нездоровым, и притом Димитрий Красный, все еще страдавший после Ростовской битвы, привлекал отца к болезненному одру своему. Дворец Кремлевский был домом скорби.

Шемяка хотел присутствовать при пострижении и отправился в Симонов монастырь верхом на богато убранной лошади в сопровождении блестящей свиты молодых придворных и военачальников.

Когда он подъехал к Крутицам и пустился после сего основным бором к Симоновской обители, звон монастырского колокола, мрачный бор, не колыхавшийся ни от малейшего ветра, ясное, чистое небо – этот вечный, однообразно голубой шатер, раскинутый над пестрою, суетливою землею – заставили его погрузиться в задумчивость. Почтительно умолкал говор и шум стремившейся по дороге в Симонов

толпы народа при виде юного князя; всякий, снимая шапку, останавливался и ждал, пока проедет Шемяка. Свита его не смела приблизиться к нему и ехала поодаль. Шемяка был *один*. И это одиночество среди многолюдства, звон колокола, противоположность величия, какое видел он, взглядывая на небо, с мелкою говорливостью земною, умолкавшею в его присутствии, родили мрачные думы в душе Шемяки. Тихо ехал он. В голове его пробежала вся прежняя его жизнь: веселое, беззаботное детство; лета юности, проведенные в занятиях мирных, в охоте, гульбе с товарищами, изредка тревожимой слухами о событиях государственных; первый поезд его с отцом в Орду, где унижены они были решением хана; смуты и волнения, непрерывно начавшие терзать после сего Русь и душу Шемяки; буйный поступок Софии на свадьбе Василия, бегство их, завоевание Москвы, смерть Морозова, битвы и походы, новое овладение Москвою!.. «Неужели участь и судьба князей, – думал Шемяка, – уподобяетесь вы небу, которое или горит безмолвными, уединенными звездами во мраке, удаляя от себя все земное, или гремит и блещет молниями, страша род человеческий – неужели только это высокое одиночество звезд, или горящее молниями, гремящее громами величие, когда земля трепещет и гибнет – участь князей? Нет! Она не похожа на небо, участь тяжелая, отшельничество венца и престола! Издали только блестит и обольщает оно ложным спокойствием и неприступным величием. Но вблизи раскрывается в ней ад страстей, гибели,

тревог, волнений! Нет сердца близкого, нет души родной... Теперь дряхлый отец стенает в Кремле при одре больного брата, а мы готовимся на новые брани, на новые опасности, мечем удерживая Москву... Дядя Константин! Не твой ли слышу я голос в звоне этого колокола, который говорит мне: *все суета*? Неужели гробом, или келиею только умиряется, счастливится человек? – Нет! Мир Божий прекрасен! – думал Шемяка, глядя окрест себя, – есть что-нибудь такое в жизни, чего я не понимаю! Для чего-нибудь поставлены князья выше народа! Есть, конечно, и для их жизни в мире цель великая и свои радости, и свое счастье, выше радостей и счастья людей низших!»

Ярче блеснула сия мысль в душе Шемяки, когда он взъехал на высокий берег Москвы-реки подле Симонова, откуда открывалась по обоим сторонам реки бесконечная Москва. «Тысячи их, – думал Шемяка, смотря на жилища москвичей и на толпы людей, шедшие в монастырь, – и *один* над ними, *одна* воля его закон и счастье их! Нет! Он должен быть счастлив, этот *один*, безсудная голова над тьмами других, неподвластный никому из ближних и только Богу отдающий отчет! Но *моя* ли участь быть этим единым из многих? Нет!...» – и с новым унынием, втеснявшимся в грудь его, Шемяка подъехал ко вратам обители, сошел с коня, отдал его провожатым, сотворил три низкие поклона пред образом, выставленным на налое у монастырских врат, где стоял монах, собирая подаяние от проходящих. Задумчиво пошел Шемяка после то-

го по двору монастырскому.

В это время Исидор встретил его, низко поклонился и благословил князя. Еще не начиналась литургия, в продолжение которой надобно было без всякой пышности, как умолял о том Константин, совершиться обряду пострижения. Шемяка вступил в беседу с Исидором, и нечувствительно заговорились они и пошли по монастырскому погосту.

«Я не имел еще случая беседовать с родителем твоим, князь Димитрий Юрьевич, и видел его только мельком, после нового торжества вашего, – сказал Исидор. – А тебя и брата твоего не имел даже случая поздравить с великими победами и явным благословением Божиим, оказавшимся в последних делах».

– Благодарю тебя, отец архимандрит, – отвечал Шемяка, – и думаю, что твое поздравление идет от сердца. Кому же и доверять, если не такой особе, которая предназначена уже к великому сану первосвященника земли Русской?

«Сердце мое пред человеками, как пред Богом, равно и всегда открыто».

– Признаюсь тебе, святой отец, после сего, что твое поздравление с победою – кажется мне излишним. Горестна мне эта победа, и сердце чуждо торжества в настоящее время!

Шемяка грустно преклонил голову свою; испытующие взоры вперил в него тогда Исидор. «Что с тобою, князь, сделалось? Отчего грусть твоя? Слава Богу! Тебе и брату твое-

му пособил Господь утвердить дивною победою престол родителя и укрепить его роду своему. Отныне только велика будет власть ваша, ибо мечом брани утверждена власть сия и не подвигнется она коварством и злобою врагов».

– Не знаю отчего, отец Исидор, но, напротив, тяжкое чувство скорби отягчает мою душу. То, что совершилось перед вторичным пришествием нашим в Москву, никогда не выходило из головы моей ни в трудах брани, ни в торжестве победы. Поверишь ли ты, что когда отец мой, старый и дряхлый, въезжал ныне в Москву со скорбящим братом моим, в закрытом возке, без плесков и ликований народных, мне казалось, что я провожаю – не на лихое будь сказано – погребальное шествие отца и брата! И что такое победа наша? Недоверчивость и опасение существуют между нами и жителями Москвы: вижу, что только головы их, а не сердца, покорны нам. Такая же недоверчивость видна между князьями другими и нами. Они все явились к отцу, когда он овладел Москвою в первый раз, но теперь их нет. Как будто боясь, что одна победа может передать снова престол Василию так, как одна победа передала оный из рук его нам, князья ждут, пока родной не погубит вконец родного, и тогда придут они, на трупе одного поздравлять другого победителем. По неволе, из-под меча, Ярославский князь был с нами; недавно прискакали в Москву буйные князья Верейский и Можайский, задушевные друзья брата, похвастать, попировать, погоняться на охоте. Но более нет никого – все, как будто точат мечи

на досуге, и мы живем в Москве, как будто на временном ночлеге. Что за жизнь, если князь, ложась спать, кладет меч под подушку! Что за власть, если первая неудача в бою заставляет его бежать из своей столицы!

«Напрасно, князь, мыслишь ты, что битва не есть высшее решение победодавца Бога. Он решает судьбы владык в боях и возводит, и низлагает их мечом, да все познают, что Он всесилен, судьбы Его непреоборимы и против них бессилён ум человеческий, и в единый час мечом-решителем низвергаются годы мудрования, по воле Господней».

– Хороша победа над врагами, добр бой, когда он ведет за собою тишину и благоденствие. Но, с горестью думаю я, что благословения нет над битвами нашими, ибо, кто враги наши? Родные! Кто гибнет в усобице нашей? Люди, Богом нам вверенные! И где конец битве? Василий снова тревожит теперь пределы Нижнего, к нему снова стекаются дружины, и завтра мы выступаем снова из Москвы, пойдем преследовать его, губить, искать живота его...

«На нем и будет грех, если он противится воле Бога и уставу отцов».

– Но тот, кому он противится – едва дышит от дряхлости! Дай Господь здоровья родителю, но – умри он, когда дядя Константин примет монашеский сан – Василий *должен наследовать* престол Великокняжеский, и не остановит ли тогда совесть меча, на него поднятого?

«Престол должен отныне укрепиться в роде вашем,

КНЯЗЬ...»

– Но тогда, где же устав отцов? Да и в каком роде? Брат Василий был бездетен в браке своем.

«Он опять вступит в брак, или – ты старший по нем...»

– Я? Молитва моя, да продлит Бог живот отца и брата. Если же Бог повелит мне пережить их, чего я, право, не желаю и Богом клянусь в этом – мне, в старости лет, после жизни, проведенной в смятениях и усобицах, мне сесть на престол... – Шемяка горестно улыбнулся.

«Все от Бога, князь! Верь, что судьбы Его правят все на земле».

– Конечно от Бога, отец Исидор, – отвечал Шемяка, задумчиво срывая травку у ног своих, – и это былие без Его власти не произросло бы, но кто уведает судьбы Его? И от Бога ли наши злые страсти, наши житейские смущения и помыслы? Если за грехи предка Бог казнит потомка даже до седьмого колена, то, может быть, на роде нашем лежит тяжелое Его наказание, и еще не очистилось оно двухвековым страданием Русских земель, и от того кипит усобица, и ни одно доброе произрастание не прозябает в душах наших? Неужели ты думаешь, что я могу без скорби смотреть на унижение самого Василия! Говорят, что он хочет бежать в Орду, когда будет еще раз побежден. Родной наш будет искать хлеба у поганых; князь Великий будет нижаться перед ханом, когда труды деда, кровь предков положены были, да падет наконец сие унижение! Жаль, что я не умею высказать всего,

что скрыто в душе моей... Знаешь ли ты, отец Исидор, как ничтожно кажется все это величие, когда порассмотришь его пристальнее, вблизи?..

«Оно не ничтожно, если Бог ставит его над жребием всех людей...»

– Я не то хотел сказать. Тогда человек благословен от Бога, когда он каждый день говорит в молитве: «благодарю Тебя, Господи! за протекший день и молю даровать и наступающий таков же, как протекший!..»

«Кто же более князя имеет право говорить так?»

– Я, – сказал Шемяка, задумываясь, – я – признаюсь... не говорю этого...

«И согрешаешь пред Господом! – возразил Исидор. – Тебе ли, сыну *первого* из русских князей, роптать на жребий свой?»

– Не ропщу, и если бы мирно пришел мне престол Великокняжеский, сколько дел, сколько дум великих возникло бы тогда в душе моей! И все это я должен задавить теперь в моих помышлениях! *Второй* по князе, или *тысяча первый*, не все ли равно? Ступенью выше, ступенью ниже – невелика важность... О! пусть же пройдет моя жизнь, как маленький ручеек протекает между лугами! Мне всегда думается, что благо не дается даром, а продается в мире и притом за столько зла, что не стоит покупать его! Я никогда не женюсь, отец Исидор: не стоит хлопот навязывать себе жену и детей на шею; никогда не пожелаю я и Великого княжения – меня

не достанет на эту долю, тяжелую, одинокую...

«Что же сделаешь ты с твоею жизнью, князь?»

– Проживу ее, как живут другие... как проживется...

«И ни однажды помыслы более великие не заставляли трепетать твое сердце?»

– Я душу их, отец Исидор! – воскликнул Шемяка, схватив его за руку, – да, я и не умею сам себе рассказать их!

«Позволь же мне объяснить их тебе, князь добрый, благо-словенный Богом!»

– Ты объяснишь их мне, святой отец? Ты? Но, или вижу я сердцеведца в тебе, под монашескою рясою сокрывшего страсти свои?

«Я, да, я... ибо, прости мне, я опытнее тебя и, пока не надел я монашеской рясы, я был воином и сановником при великом дворе Византии; годы целые прежде того провел я в уединении, изучая человеческую мудрость; много странствовал я потом – посетил Египет и искал следов мудрости в обломках таинств египетских; видел Рим, град вечный; был в Святой земле; скитался между дикими и просвещенными народами...»

– И что же ты нашел? Ты кончил тем, что надел монашескую рясу! И этот звон, который слышим мы в сию минуту, не то ли говорит нам?

«Судьба моя, – и тяжкий вздох вылетел из груди Исидора, – судьба моя странная и долго было бы надобно объяснять ее тебе – это после!.. Скажи мне лучше, князь: знаешь

ли ты, что была прежде Русь? Известно ли тебе, что русские единственный народ, которому Эллада передала свою святую веру и свою мудрость? Знаешь ли, что за много веков, некогда, твои предки покрывали кораблями Черное море, владели Киевом и Новгородом, ходили по Волге за Хвалынское море и в Таврической земле¹³¹ владели великими царствами?»

– Знаю.

«И можешь говорить так хладнокровно, что ты *знаешь* это!»

– Могу, ибо знаю и то, сколько мучеников, предков моих заплатили потом страданиями, искупая наказание Божие, разрушившее нашу славу и честь Руси! Былое невозвратимо!

«Возвратимо, князь, возвратимо! Твое уныние, твоя пламенная душа, возвещают мне, что година наказания Божия для Руси миновалась! Подобных твоим мыслей не могли иметь ни дед твой, ни прадед. Ты предназначен к подвигам великим, ты рвешься за пределы тесных свар и междоусобий княжеских...»

Исидор замолчал.

«Говори, говори, продолжай! – воскликнул Шемяка. – Ты угадываешь меня! Ах! Нет! высказываешь мне то, что я чувствовал и не умея сказать!»

– Да, Русь должна *восстать*, и скоро восстанет в величии, силе и славе! Я предугадал это, я оставил родину и назвал

¹³¹ Таврическая земля – Крым.

Русь моим *отечеством*, чтобы употребить все силы мои к ее восстанию, и чести, и славе. Как первосвященник Руси, как сановник в числе первых святителей вселенной, с крестом в руке пойду я тогда перед вами. Посмотри, что теперь Орда, что Литва? Будь теперь, явись теперь в Руси Мстислав Галицкий, соедини он души и сердца, поставь себя выше смут и междоусобий... О, князь Димитрий Юрьевич! Мстислава ли вижу в тебе я или юношу, который, утомясь в цвете жизни, уже предвидит конец жизни своей в келье инокa?

Шемяка затрепетал, как будто новое чувство вспыхнуло в душе его. С жаром продолжал Исидор:

– То ли был Мстислав, что ты теперь, то ли, когда в бедном уделе своем задумал он воскресить Русь православную? С горстью людей кинулся он в Новгород, и через три года потом отдал великокняжеский престол законному наследнику, решал судьбу Киева, Новгорода, Смоленска, Галича. А ты, князь, ты, когда Русь крепко восстает всюду, когда все трепещет перед Москвою, когда ты можешь передать престол Москвы в крепкие руки своего брата и сам быть Мстиславом Руси, смеешь ли ты унывать?

Шемяка молчал.

– И можно ли думать о праве какого-нибудь Василия Васильевича, о суете мира, о тщете престола, когда душа твоя не вместит дум высоких – так обширны они, не обоймет помыслов великих – так велики они! Здесь должны умолкнуть все ваши мелкие расчеты семейные. Волю Бога должен ты

видеть во всех делах своих и, как орел, парить выше земли, где голодный коршун терзает цыпленка, исполняя завет, ему предназначенный!

Еще молчал Шемяка, хотя взоры его уже горели.

– И одною ли Русью ограничишь ты обзор твой? Разве, соединив крепкою рукою силу Руси, отняв у Литвы Киев, где покоятся святые предки твои, равноапостольный Владимир, предтеча, заря веры Христовой на Руси, Ольга, святые Борис и Глеб, святители и угодники Божий, нетленные на радость и утеху мира – ты не воспенишь под русскими ладьями Днепра, не возмутишь веслами русских кораблей Волги, не сдвинешь пятна с Руси, последнего гнезда Орды, и не прибьешь к воротам Царяграда щита своего, как предок твой прибил его, за пятьсот лет?

– «Щит на вратах Царяграда! – воскликнул Шемяка. – О, красноречивый отец Исидор! Не обольщай, не обольщай меня!»

– Нет! Я не обольщаю тебя, князь добрый! – сказал Исидор, и голос его изменился. – Бог видит душу мою – не обольщаю! Судьба Руси заключает в себе судьбу многих стран, и в голосе души твоей я слышу голос человека, предназначенного к великому Богом. – Слезы навернулись на глазах Исидора. – Я русский теперь; но в то же время могу ли забыть и родину мою, мудрую и славную Элладу! Она, трепетавшая некогда жителей Севера, теперь на Север простирает руки свои и отселе ждет спасения! Отвсюду обложенная врагами,

гибнет Греция и погибнет, если Русь не спасет ее! Весь Запад ждет клика русского, все соединится с Русью, когда меч ее блеснет на берегах Босфора. Какое будет великое зрелище, когда тебе суждено, может быть, не на Куликовом поле, но на полях древней Трои, на берегах Кедрона и Теревинфа вознести хоругвь, предводить ратями Востока и Запада, исторгнуть гроб Христов из рук неверных, укрепить Царьград и соединить святую церковь Запада и Востока!

«Что говоришь ты?»

– То, что знаю достоверно. Римский владыка, первосвященник латинский, готов покориться православной нашей церкви; западные князья придут толпами; корабли их покроют Белое море¹³² и Архипелаг, когда *единый* восстанет и соединит в себе силу и мудрость. Император Иоанн Палеолог обнимет его как брата, и слава избранного загремит от Востока до Запада, когда он поведет от Севера спасение и величие! Бог, побораяй великому, облечет его своим громом и молниєю и пошлет пред ним архангела с огненным мечом! Приди ко мне, князь, я покажу тебе *Хризовулы*¹³³ Иоанна Палеолога, и *буллы*¹³⁴ папы Евгения. Я расскажу тебе о поприще чести, какой можно тебе удостоиться! Не говори мне о

¹³² *Белое море* – здесь имеется в виду Мраморное море.

¹³³ *Хризовулы* (хрисовулы) – жалованные императорские грамоты на владение землями, имуществом.

¹³⁴ *Буллы* – наиболее важные грамоты (акты) римских пап, содержащие в себе обращения к верующим, постановления, распоряжения по религиозным, политическим, экономическим и другим вопросам.

бессилии: кто одною битвою в Галицких лесах вырвал престол московский из рук врага, кто сочувствует великому подвигу предка своего Мстислава, кто видит себя выше мелких междоусобий и твердо глядит в бесконечность будущего – тот силен и велик! С тремясками воинов победил Гедеон тьмы мадиамские, и от руки слабого смертного остановилось солнце в долине Гаваонской! Неужели ты, князь, думал, что я оставил Элладу, претекал моря и пустыни, презрел уединение мудрости, странствовал в далеких пределах, чтобы простым, мирным иерархом, смиренно просидеть на святительском престоле святых митрополитов Петра и Алексия? Если *инок* Сергей воздвиг руки деда твоего на победу Мамая, неужели ныне, через пятьдесят лет возраста Руси, нельзя *митрополиту* благословить десницы вашей на победы более великие? И неужели бесплодно погибнет крепкая вера моя в спасение Эллады, в соединение церквей, в освобождение Иерусалима из среды Руси? Нет, нет! – Исидор воздел руки к небу и со слезами воскликнул: – Забвенна, да будет десница моя, да прилипнет язык мой к гортани моей, если забуду тебя, отчизна героев и мудрецов, Эллада дивная, тебя, богосущественный Сион, тебя, гроб Господа! и если не возбужу и от камня глас во спасение ваше!..

Не мог более удержаться Шемяка, «Нет! это не мирская гордость. Нет! это не суета! – сказал он. – Отец Исидор! Ты раскрыл мне очи души моей, ты возбудил ее от дремоты смертной!.. Да, я чувствую, что голова моя в огне и душа

не вмещает новых дум моих... Выслушай же, выслушай меня...»

Звон во все колокола, начавшийся на монастырской колокольне, показал им в это время, что вскоре начнется литургия. «Пойдем во храм! – воскликнул Шемяка, – пойдем, посмотрим, как дядя мой смело поругается миру¹³⁵; но я чувствую себя выше, выше!..» Он поспешно пошел в церковь. Казалось ему, что бытие его тогда обновилось, что перед ним поднялись покровы, закрывавшие от души его таинства вселенной. «Из примера дяди научусь я твердой воле, – думал Шемяка, – и проразумею будущую участь свою в его смелом желании – оттолкнуть от себя мир низкий и мелкий!..»

Более года не выдав дяди, Шемяка так, как и все зрители, воображал себе величественное позорище в пострижении Константина. Каждый думал увидеть, как горделиво по прет ногами своими сын Димитрия Донского славу мира, блеск и величие и благоговейно преклоняясь пред владыкою владык унижением превысит других. Люди так воображают себе все великое, не понимая истинной сущности его. Тогда только ценят они величие, когда оно является в резкой противоположности с его окружающими! Так, подходя к телу великого победителя, на лице мертвого героя думают они увидеть глубокую мысль Вечности, запечатлевшую земное его бытие и с ужасом усматривают безобразный труп, изможден-

¹³⁵ ...смело поругается миру – т. е. прощается с мирской жизнью, отвергает ее, постригаясь в монахи и уходя в монастырь.

ный смертную болезнью, обезображенный тлением, снедаемый червями, гнездящимися прежде всего там, где блистали некогда, при жизни, яркие очи великого человека!..

Умолк великий звон. Раздался звон тихий, похоронный, и сквозь толпу народа, в церкви и вне церкви находившегося, четыре инок повлекли бледное какое-то привидение. Согбенный, полузакрытый длинными, нерасчесанными волосами, в беспорядке падавшими с головы, в бедной ризе, босой веден был в церковь Константин из его келий. Грубая власяница покрывала его тело. Три раза падал он на землю, творя молитвы, пока дошел до амвона церкви. Потом пал он в ноги настоятеля; слезы текли обильно из глаз его; рыдания слышны были, замиравшие в груди его. Наконец, обратился он к народу, стал перед ним на колена и тихо проговорил: «Братия и други! Простите меня, грешного раба Божия, князя Константина, простите, кого обидел я делом, словом, помышлением!» Голова его преклонилась к земле – Константин распростерся во прахе¹³⁶ и учинил народу три земные поклона.

Слезы полились тогда у всех; многие стали на колена и с земными поклонами начали молиться за смирение, оказанное в глазах их знаменитым князем. Запел протяжный, унылый хор: «Отверзитель мне отчие объятия! Тщетно изжив житие мое, вижу неизживаемое богатство щедрот Твоих, Спаситель! Молю: не презри обнищавшее мое сердце!»

¹³⁶ ...распростерся в прахе – т. е. встал на колени и лицом коснулся пола, земли.

– При глубоком молчании; народа прочитаны были молитвы, и настоятель громогласно начал обычные вопросы: «Зачем пришел ты, брат, и припадаешь к святому жертвеннику? Вольною ли мыслию приступаешь ты ко Господу! Не нуждою ли и насилием? Пребудешь ли до последнего издыхания в монастыре и постничестве?»

Невольный трепет проник в сердца присутствовавших, когда, после тихих ответов Константина, громогласно провозгласил настоятель увещание, или *оглашение*:

«Узнай, чадо мое, какие обетования даешь ты Господу Инсусу! Ангелы стоят здесь невидимо и пишут исповедание твое, и во второе пришествие Бога страшно истяжут тебя за нарушение!» Изображая тягость иночества, бедность, скорбь его, «знай, – говорил настоятель, – что враг не престанет подлагать под душу твою лукавые помыслы прежнего жития. Подумай: не расквесишь ли ты? Вспомни, что обратиться вспять тебе будет уже невозможно. Вспомни, что отречешься ты отца и матери, мира и роскоши, даже самого себя, по слову Божию: *кто хочет во след Меня идти, да отвержется самого себя, возьмет крест свой и по Мне грядет!* Ты будешь алкать и жаждать, нищенствовать и нагствовать, будешь укорен, презрен, уничтожен, изгнан... Надеешься ли ты на силы свои?»

После утвердительного ответа, прочитаны были поставительные молитвы, и – не стало князя *Константина* – имя инока *Кассиана* было провозглашено. Собственною рукою

Кассиан подал настоятелю ножницы. Трижды отталкивал их настоятель... еще увещевал ставленика, и при унылом пении: «Господи помилуй!» – совершился обряд. Порог келии навеки разлучил Константина от мира. С крестом и зажженной свечою в руках, облеченный в черные ризы инока, стоял он, преклоненный пред царскими дверями, бледный, изнеможенный; никакого выражения страстей не видно было на лице его; не видно было и вдохновения. Глаза его не обращались к небу, хотя слезы не текли уже более из глаз его. Он казался мертвецом и в совершенном бесчувствии не произнес ни одного слова, поздравляемый, лобзаемый братиею. Настоятель повергся перед алтарем и долго в горячей молитве благодарил Бога; но Кассиан был безмолвен и неподвижен.

Шемяка не плакал, подобно другим, когда земные поклонны творил Константин перед народом, моля прощения во грехах; невнимательно смотрел он потом на весь обряд пострижения; невнимательно слушал он и пение и молитвы и увещание. Так сильно поразил его первый взгляд на дядю, его, который с душою, полною высоких дум и чувств, никогда до того времени не испытанных, пришел во храм Божий – видеть торжественное, смелое отвержение земного для небесного. Он увидел, напротив – падение силы, робкую волю, с отчаянием бежавшую от мира и с трепетом приступавшую к алтарю Всевечного. Тогда мысль о суете и слабости человека сильно врезалась в его душу. «Неужели так все

должно кончиться! – думал Шемяка. – Неужели все великое только в слабости и бессилии познается? Суета суетствий! Это ли князь Константин? Это ли смелый его подвиг? Се человек! А я что же? И я дерзнул помышлять так гордо о будущей судьбе своей? Я осмеливался презирать в будущее, осмеливался мечтать о бессмертии, когда две недели жестокой лихорадки могут убить все телесные и душевные силы мои, отнять все гордые помышления и меня, изможденного и слабого, уподобить этому живому мертвецу, в котором я не узнаю князя, за год тому блиставшего радостью, здоровьем, великолепием!..»

В глубокой задумчивости стоял Шемяка. Литургия приходила к окончанию. Вдруг заметил он боярина звенигородского, пробиравшегося к нему сквозь толпы народа. Бледен и печален был сей боярин. «Не меня ли ты ищешь?» – спросил его Шемяка. – Тебя князь Димитрий Юрьевич, – отвечал боярин. – Родитель твой зовет тебя к себе. – «Еду незамедля – дай только обедне кончиться». – Нет, князь! Он просит тебя немедленно – поспеши, оставь все! – «Но, что сделалось? Скажи: здоров ли родитель?» – Нет, князь! Он очень нездоров. – Едва не воскликнул тогда от ужаса Шемяка: «Суд Божий! Не ты ли такими уроками слабости и смерти указываешь мне на тщету моих помыслов!» Но он удержался, не показал смятения, только побледнел и – «Говори, боярин, откровенно: жив ли отец мой?» – спросил тихо. – Не знаю! – прошептал боярин.

Через несколько минут Шемяка мчался во весь опор, один, без всякой свиты, прямо к Кремлю и в нетерпении бил и гнал своего летучего бегуна.

Глава VI

Кая житейская пища пребывает печали не причастна?

Кая ли слава стоит на земли?

*Надпись на одной из княжеских гробниц в
Архангельском соборе*

Если грусть невольная одолевает сердце наше после живой радости, если мысль о ничтожестве человека налегла на нашу душу после гордой, высокой мысли, должно ли это почитать предвестием бедствия, грозящего нам? Не всегда; но – не презирайте предчувствия! Неизъяснимое, скрытое таинство заключено в этой безмолвной беседе души человеческой с будущим. Это грустный ангел, остерегающий вас... О, благоговейте перед его предостережением...

Недаром невольная грусть тяготила Шемяку, как мы видели это из разговора его с Исидором. Чуден человек тем, что все зависит от взора души его на окружающее! При весельи души его радужится пред ним будущее, цветится настоящее и воспоминание пережитой им горести покрывает прошедшее легкою грустью, похожею на радость, ярко представляя ему одно счастье былого! Но когда змея-горе сосет сердце человека – мрак облекает перед ним всю природу, темнит будущее, отравляет настоящее и клеветает на прошедшее, закрывая все его радости жалобой и горем. Заметили ль вы

еще грустную игру судьбы человеческой? Как неверный друг сердца, поссорившись с вами, она вдруг, как будто раскается, спешит утешить, обласкать вас, помириться с вами... О! не верьте ей тогда, не верьте: это коварное обольщение перед побегом радости, перед разрушением счастья вашего! Ваше счастье хочет в последний раз напомнить вам о себе, дать вам почувствовать, чего вы лишаетесь, и – немилосердное! передает ваше сердце злодейке-печали!

Так и Шемяке пришлось испытать все это. Среди грустного, печального предчувствия беседа с Исидором освежила было душу его, упоила было ее думами, дотоле ей неизвестными. Но безжалостно указала ему потом судьба на ничтожество человека в лице Константина и с злобным смехом повела его после сего в Кремль...

Что же там ожидало его? Что увидел он в Кремле? Много народа стеклось там на площадях и толпилось вокруг Кремля и около дворца, но это не были кипящие говором, шумные толпы; напротив, разделяясь на небольшие собрания и беседы, отдельно, тихо, уныло разговаривал между собою народ. Многие, особливо старики, сидели и лежали на крыльцах и около стен, безмолвные, в грустном каком-то ожидании. Лошади бояр и чиновников дворских стояли в стороне, но были без всякого великолепия. Шемяка с ужасом предугадывал страшное событие и мысль, что за мгновенным порывом гордости судьба ведет его на зрелище смерти отца, как будто нарочно посмеиваясь ему – поразила князя! В то же

время он помыслил, что лишается, хотя и слабого, но доброго, нежного родителя, и *что будет теперь*, если он скончался внезапно? – было последнею мыслью Шемяки...

Бледный, вне себя, вошел он в Большую дворцовую палату. Множество бояр и сановников, без всяких знаков пышности, сидели в сей палате в совершенном безмолвии. С изумлением увидел тут Шемяка князя Василья Ярославича, Юрью Патрикеевича и вообще всех Васильевых бояр, которые были взяты в плен, или захвачены в Москве, и находились под стражею. На лицах многих изображалась скорбь; некоторые тихо плакали, и все встали и почтительно ему поклонились.

– Что сделалось? Каков родитель мой? – поспешно спросил Шемяка.

«Он здравствует еще», – отвечал один из бояр.

– Слава Богу!

Но боярин продолжал: «Давно зовет он вас, князь, тебя и Василья Юрьевича, к себе; нам всем повещено собраться сюда; велено освободить и призвать всех бояр Василия Васильевича (примолвил боярин тихо). Мы собрались, ждем приказа – велено еще подождать – ужасная неизвестность заставляет душу ныть и сердце трепетать... Теперь у него священник с святыми дарами. О, князь, князь! До чего мы дожили!..»

Не отвечая ни слова, Шемяка пошел в комнату Юрия Дмитриевича; тихо, но быстрыми шагами шел он, как буд-

то желая скорее узнать меру своего несчастья. Все безмолвствовало вокруг Шемяки, и это безмолвие ужаснуло его, когда он подошел к дверям комнаты, где находился отец его. Дверь была затворена. Казалось, что за эту дверь ждало Шемяку будущее – и кто не ужаснулся бы, если бы ему сказали, что таинственный покров спадет в одну минуту с безвестного лица грядущей его судьбы? Невольно затрепетал и оцепенел Шемяка – «Помедли еще одно мгновение! – шептал, казалось ему, таинственный какой-то голос, – еще судьба в твоей власти; переступив этот порог, ты не будешь уже владеть ею! – Но, каждое мгновение есть, может быть, ужасный вычет из последних часов моего родителя. О Боже! Благословение, благословение его потребно мне, и от всего я отказываюсь!..» Шемяка медленно растворил дверь...

Окна комнаты были затворены изнутри ставнями. Летнее, светлое небо не было видно в этой обители скорби. Огромная, великолепная кровать великокняжеская стбляла у стены порожняя; широкая, отодвинутая от стены скамья, закрытая ковром, с одною большою подушкою составляла одр, на котором лежал в это время старец Юрий, сильный победитель, Великий князь Московский. На нем была надета белая рубашка; до половины тела закрыт он был собольим своим тулупом. Димитрий Красный поддерживал его голову; священник стоял перед ним с крестом. Глаза Юрия были закрыты. Длинные седые волосы и борода его были в беспорядке; благодушное лицо его было бледно... смертный колокол звел

нел в груди.

Невольно сжались руки Шемяки. Но Димитрий Красный дал ему знак молчать. Священник оборотился к пришедшему. – Неужели все уже кончилось? – спросил тихо Шемяка. – «Нет! он сейчас говорил, – прошептал священник. – Не тревожьте его печалью, не мешайте ему». – Но лекарь, лекарь? – спросил Шемяка. Священник возвел глаза к небу. «Молитесь, – сказал он, – о блаженной, тихой кончине его. Он не велел призывать врачей и требовал только духовного врача».

Тут вдруг, неожиданно, Юрий открыл глаза и вздохнул свободнее. «Кто здесь? – сказал он. – Слышу, что кто-то пришел... Ты ли это Василий? Кто говорит здесь? Чувствую, что это голос сына! Ты ли это, Василий?»

– Нет! Это я, Димитрий, родитель! Неужели ты не узнал меня! – сказал Шемяка, повергаясь на колени перед умирающим.

Юрий хотел поднять голову, но не мог, тихо протянул руку, повел по голове Шемяки, собрался с силами и снова повторил: «А Василья нет?» Глаза его обратились к небу и наполнились слезами.

– Родитель мой! Мог ли я ожидать, оставляя тебя за три часа здрава и в силах, что увижу тебя в таком состоянии!

«Нет! Я давно уже знал, но... – Юрий улыбнулся, – зачем было тревожить вас? И без того вы нагорюетесь обо мне, бедном старике. Ты плачешь? Пора мне, чадо мое, пора! Я благополучнее теперь, благодарю Бога, что он сподобил меня

приобщиться святых тайн, и видеть вас перед кончиною... Ах! как я ждал вас!» Юрий тихо пожал руку Шемяке и опять повторил: «А Василия-то все еще нет!»

– Он придет, родитель; но ты еще будешь жив и здоров для нашего счастья, для счастья всех...

«Поздно – пощупай ноги мои... они уже не принадлежат мне... Ах! Василья нет!» – он тяжело вздохнул.

– Неужели за ним не посылали? – спросил тихо Шемяка у Красного.

«Его нигде не нашли в Москве. Я послал на Ходынку¹³⁷. Не там ли он, не осматривает ли дружин? – отвечал горестно Красный. – Кто думал, что так близок час кончины его!..»

– Дети мои, милые дети мои! – сказал Юрий после забывчивости, продолжавшейся с минуту, – дайте мне руки ваши! – Шемяка и Красный подали ему руки; Юрий сложил их вместе и сжимал хладеющею десницею. – Вотще, – продолжал он, – вотще глаголет Писание быть на всяк час готовым и исполнять то немедля, что лежит на душе и совести... Бедные! Мы не знаем, мы не думаем, что смерть всегда за плечами... Но, прочь земное – *Господня земля и исполнение ее*... Василья нет! Ужели умру не благословив его, не давши ему моего последнего завета! – Он опять остановился. Дети не смели прерывать молчания. Снова Юрий начал говорить: «Мир и согласие завещаю вам, дети мои. Здесь, под изголо-

¹³⁷ *Ходынка* (Ходынский луг, Ходынское прле) – историческое место в Москве, находилось в районе нынешнего городского аэровокзала.

вьем моим, велел я поставить скринку, где найдете вы мою последнюю волю – мою духовную грамоту – она да будет для вас неизменна! Прощаю вас, если вы погрешили предо мною – благословляю вас – О Господи! даруй им житие мирное, даруй им благословение твое! Не огорчись ты, Дмитрий, если я скажу твоему брату, что он был мой ангел-утешитель... Да, Митюша! ты никогда не досадил мне даже словом... Но Божие и мое на обоих вас равное благословение... Если Василья не увижу я, скажите ему, что и его благословил я – но, да исполнит он последнюю мою волю... Тяжек нрав его, буен дух его, а сердце его благо и ум его светел. О! горек, как море-окиян, будет поток жизни его! Сохрани его, ты, Бог милосердый! Смиряйте, увещевайте его, и – паче всего, повторяю вам – любите друг друга... Не плачьте, дети мои! Я умираю спокойно – вы на возрасте; дела Бог устроит; довольно пожил я на белом свете... может быть, без меня и лучше будет... Много было на мне грехов, но – ты милосерд, творец! Блюдитесь честолюбия, бегите гордости: она погубила праотца Адама, она губила и меня – ох!.. губила! Теперь, готовясь предстать неумытному судии¹³⁸, чувствую, что не так бы должно мне поступать... Читите чин духовный, молитесь за себя, за душу мою, молитесь, да не внидите в напасть – блюдите милую обитель мою – по душе моей дайте милостыню... А брат Константин? Где же он? Нас только двое братьев и осталось... Зачем он не пришел...»

¹³⁸ ...предстать неумытному судии – т. е. Богу.

«Он принял в сей день иноческий сан, родитель, – сказал тихо Шемяка. – Он прислал тебе благословение...»

– Ах! я начинаю уж забывать... Дивное дело смерть человека, дети мои! Чувствую, но не понимаю, не знаю, что со мною делается!.. – Он замолчал, собрался снова с силами и говорил, но гораздо тише и медленнее: «Один – умирает, другой – иннок... И так нет уже сынов Димитрия Донского – прешли, как тень... Сорок лет тому, когда мы стояли у одра отцовского – помню – да... Пятеро было нас, и едва старший из нас вступал в лета юношеские – Василию было семнадцать лет, а Константин только что родился, и – се! последние двое переходят... О, дети, дети! Мир вам, мир – да удалит от вас Бог свары и гордость – гордость, паче всего... Батюшка! – сказал он обращая взоры на священника, – вели растворить двери и позвать всех – хочу видеть всех, проститься со всеми... Помогите мне, Господи!..»

Шемяка хотел было идти.

– Нет, нет! Не уходи, сын мой, чадо мое! Дай мне на вас наглядеться... Ах! Василий!..

Священник думал исполнить приказ Юрия, но остановился, ибо Юрий, голосом более и более угасавшим, лепетал уже невнятные слова. Язык его коснел; глаза закатывались. От сделанного им усилия говорить с детьми он ослабел совершенно, голова его поникла, глаза помутились, *колоколец* поднялся выше. Он шевелил еще губами. В горести упали подле него на колени сыновья его и рыдали. Юрий двигал

правую руку, силясь, по-видимому, сделать крестное знамение. Священник поднял руку его, положил на грудь, вложил в руку крест и стал кадить ладаном в маленькой серебряной кадильнице. Быстро поднялся тогда Шемяка и смотрел на отца без слез и рыданий. Он приложил руку свою к его груди, пощупал его руки, лоб – все было холодно, и через минуту только короткое дыхание порывисто вылетало из уст Юрия. Священник читал отходную молитву – еще пролетела минута... дыхание Юрия прекратилось...

Тогда и Димитрий Красный перестал рыдать и плакать. Несколько мгновений смотрел он на хладный труп отца, потом стал на колени, обратился к образу и тихо молился. Поднявшись, закрыл он лицо родителя своего святым покровом. Тут взоры его встретились со взорами Шемяки, и братья бросились в объятия друг друга, крепко сжали один другого, слезы их полились снова и смешались. «Ты бледен и едва держишься на ногах, любезный брат!» – сказал Шемяка, чувствуя, что Димитрий Красный шатается.

– Если бы я и совершенно здоров был и тогда только вера помогла бы мне перенести тяжкую нашу потерю. А теперь, когда только забвение самого себя позволяло мне быть при смертном одре родителя и я едва могу двигаться от слабости... о брат!.. ты оплачешь вскоре и мою кончину!

«Друг и брат! Что говоришь ты? – воскликнул Шемяка. – Нет! Бог милосерд...» Красный лишился чувств и повергся в его объятия. Шемяка осторожно положил его на постель

великокняжескую. Тяжело дышал Красный.

Шемяка не слышал, как настезь растворились двери и раздались стоны и рыдания. Весть о кончине Юрия уже разнеслась по дворцу, и все, собранные во дворце бояре и сановники, вошли в комнату, где лежало тело его, и в другую, перед нею находившуюся. Шемяка опомнился, когда несколько стариков, бояр звенигородских, товарищей юности Юрия, стали на колени подле его тела, заливались слезами и причитали: «Князь добрый! На кого покинул ты нас! Высокий умом, смиренный смыслом, лепый взором, чистый душою, мало глаголавший, много разумевший! Не узрим уже мы тебя! День скорби, день тьмы и мрака! Горе нам, братия! Уснул князь князей! Звезда сияющая склонилась к западу! Господин великий! где честь твоя и слава? Властитель земли Русской! мертв лежишь ты и ничем не владеешь! За багряницу саван, за красные чертоги гроб выменял!..» Так вопили и причитали верные слуги, среди плача и рыдания. Плакали все – друзья и враги, подвластные и непокорные. Кроме умилительного зрелища кончины *старшего* из князей русских, многие с ужасом в те же время думали о судьбе Руси, об участи Москвы, о том, что теперь будет, когда не стало Юрия, и сыновья его повелевали силами Москвы, враждуя против Василия.

Когда Димитрий Красный пришел в чувства, его взяли под руки и увели в его комнаты. Бояре и все сановники вышли в Большую палату.

Еще раз преклонился перед телом отца своего Шемяка, еще раз поднял он покров с лица Юрия, вглядываясь в доброе, благородное его выражение. Юрий казался спящим; улыбка застыла на устах его, и ни одна примета скорби не мрачила его чела.

В эти минуты ни печаль, ни мир, и ничто не волновало души Шемяки. Но – суета мира уже звала его так, как земля звала тело его отца. С одной стороны явились люди, назначенные опрятать покойника; с другой пришли бояре отца его и сказали, что Шемяка должен немедленно явиться в собрание бояр, где начинаются уже толки и споры, и что Кремль наполнился волнующимся народом. «Не прикажешь ли принять меры предосторожности?» – спрашивали бояре.

– Ничего не прикажу, – отвечал Шемяке,

«Не позволишь ли нам посоветовать с тобою, князь Дмитрий Юрьевич?»

– Не нужно, – отвечал он.

Бояре безмолвно отступили.

– Возвратился ли брат Василий?

«Нет еще».

– Итак, да совершится все без него, – отвечал Шемяка. Он взял из-под изголовья отцовского небольшой ящичек, запечатанный великокняжескою печатью, дал знак идти за собою боярам, пришедшим к нему, и пошел в собрание.

Оно было уже умножено вновь пришедшими, ибо весть о кончине Юрия быстро пролетела уже по Москве. Подходя к

дверям Большой палаты, Шемяка услышал шум и спор. Он остановился. Следовавшие за ним думали, что он тревожится страхом и опасением, и осмелились снова предложить ему о предосторожностях.

– Умолкните, бессмысленные, не понимающие величия кончины старца и Великого князя вашего! – воскликнул Шемяка и сильно расхлопнул дверь в Большую палату.

С негодованием увидел он, что не скорбь, не уныние, но беспокойство и шумное волнение царствовали в собрании; голоса возвышались; крамола действовала.

Вход Шемяки заставил всех умолкнуть. Мужественно стал он посреди собрания и быстро окинул взором всех присутствовавших. «Кто смеет здесь буйствовать? – сказал Шемяка. – Люди, недостойные своих званий и санов! Еще труп владыки вашего не остыл, и вы, в доме его, дерзаете уже помышлять о чем-либо другом, кроме благоговения в великий час его кончины!»

– Князь Димитрий Юрьевич, – сказал ему один старик боярин. – Мы не буйствуем; но в лице родителя твоего скончался не просто старец, но Великий князь Московский. С ним соединена была судьба русской земли. Народ, дружина, все мы ждем теперь решения сей судьбы. Скажи нам: кто теперь *Великий князь*?

Смятенный говор прожужжал в собрании. Шемяка снова обвел всех присутствовавших взором. «Не держайте решать судьбы Великого княжества! – сказал он. – Здесь ви-

дите вы решение оной, изреченное родителем моим; здесь сокрыто последнее его слово!» Он поднял и показал всем ящичек, держа его левою рукою. Взоры всех обратились на таинственный ящичек сей. «Но прежде, нежели мы что-либо узнаем, клянись мне все, – сказал Шемяка, – что все вы свято исполните волю отца моего. Я обещал ему повиноваться, и передает ли он Великое княжение брату моему, или отдает его последнему рабу – я, первый, клянусь ему повиноваться и положить живот мой во исполнение последней воли его!» – Он поднял правую руку и воскликнул громко: «Клянусь Богом всесильным, карающим клятвопреступника!»

– Клянемся! – воскликнуло несколько голосов, и несколько рук поднялось по слову Шемяки; большее число безмолвствовало; некоторые дерзнули что-то бормотать.

Грозно оглянулся кругом Шемяка. «Кто смеет противиться? – сказал он, видя, что приверженцы Василия явно хотят восстать против него. – Или снова браням и усобице хотите вы предать Великое княжение? – продолжал Шемяка. – Князь Василий Ярославич, князь Юрий Патрикеевич, вы все, которых призвал сюда отец мой, пленники его, преданные воле его судьбами Бога победодавца! Вы смеее сопротивляться голосу, который из гроба повелевает вами? Смеее послушаться его, имевшего власть над животом и смертью вашею?»

Грозен был Шемяка в сии минуты и величествен был вид его. Но еще колебалось и волновалось собрание. «Подожди,

князь Димитрий Юрьевич, старшего брата, который заступил теперь тебе место отца твоего», – заговорили некоторые. «Князь! Мы не смеем нарушить завета отцов, когда Господь послал по душу твоего родителя», – сказали другие. Шемяка вдруг удержал гнев свой поставил ящичек на стол и тихо, став снова среди собрания, начал говорить:

«Я был бы самый презренный из человеков, если бы осмелился притворствоваться в сии горестные мгновения. Знайте же, что мне вовсе не известно, кому передал Великое княжение отец мой. Если он отдает его брату Василию – я буду первый слуга его; если же он отдает его и племяннику Василию... я первый обнажу меч на врагов его! По завету отцов, Великое княжение принадлежало отцу моему и ничто в течение девяти лет не могло нарушить его прав – он скончался Великим князем. Если бы я руководствовался корыстным побуждением, я стал бы теперь за своего брата, но вы видите мои поступки! Воля властителя, старца, первого в роде Мономаховом, когда он предузнавал уже кончину свою, так превышает нашу волю, как небо землю! И какое вы имеете право, вы, рабы его и послушники! решать то, что выше вас? Клянитесь повиноваться его воле, и я мгновенно сорву печать с его завещания!»

– Мы все клянемся! – единодушно воскликнуло собрание, увлеченное каким-то вдохновением, внушенным речью и голосом Шемяки. Шемяка схватил ящичек и сорвал с него печать. «Говори из-за гроба, родитель мой!» – сказал Шемяка

и развернул грамоту духовную. Она вся была написана рукою самого Юрия. Шемяка показал ее собранию, поцеловал ее, перекрестился, и все перекрестились. Судьба народов Руси, судьба грядущих царственных поколений решались в сие мгновение. Воцарилось молчание, столь глубокое, что никто не смел даже дохнуть, и Шемяка начал читать:

«Во имя Отца и Сына и Святого духа. Се аз, грешный и худой раб Божий, Юрий Димитриевич, пишу грамоту душевную в своем смысле¹³⁹; даю ряд детям своим, *Василью, Дмитрию и Дмитрию* меньшому, приказываю¹⁴⁰ им вотчину свою в Москве, *жербий, чем благословил меня отец мой, князь Великий Дмитрий Иванович*, в городе и станах, в пошлинах городских и в тамге, в восмичьем и численных людях, и в мытах, трем сыновьям своим натрое...»

Изумление изобразилось на всех лицах. «Праведник, праведник!» – пролетел шепот в собрании. Шемяка дал знак молчать и твердым голосом продолжал чтение: «А се даю сыну Василью из своего удела Звенигород с водостыми, и с тамгою, и с мыты, и с борти, и с селы, и со всеми пошлинами, и с волостями...» Следовало исчисление волостей. Шемяке отдавал отец Рузу, Красному Вышгород, повелевал им разделить между собою Дмитров, Вятку и Галич, определял *выход* в ордынскую дань¹⁴¹; отдавал Василию икону Смо-

¹³⁹ ...в своем смысле – т. е. в полном разуме.

¹⁴⁰ *Приказываю* – отдаю.

¹⁴¹ ...определяя выход, в ордынскую дань – т. е. указывая характер и размер

ленской Богоматери, Шемяке икону Спаса Нерукотворного, Красному икону Богородицы Казанской, распределял пояса, золото, жемчуг и благословлял детей исполнить заветы, или страшиться суда Божьего за нарушение отцовского решения.

Чтение кончилось. Но о *Великом княжестве* ничего не было упомянуто решительно, как будто Юрий не имел никакого права располагать им. Сомнение, недоверчивость видны были во всех взорах, но никто не смел возвысить голоса.

«Итак, – сказал Шемяка, – да исполнится завет отца. Он ничего не говорит о Великом княжении, но он и *не отдает* его никому! Если он не смел решить судьбы сего великого дела народного, да будет по судьбам Бога. Право меча уступит праву мира; молчание отца подтверждает завет отцов». После минутного безмолвия: «Да здравствует Василий Васильевич, Великий князь Московский!» – громко воскликнул Шемяка.

Казалось, что этого только ждали.

И все собрание загремело: «Да здравствует Василий Васильевич, Великий князь Московский!» Общая радость заблестала во взорах всех присутствовавших. *Великодушие* Шемяки представило его каждому чем-то великим. Первым бросился к нему князь Василий Ярославич, поцеловал его руку и сказал: «Ты выше, ты больше: ты великодушный враг, ты ангел, а не человек!» Другие следовали примеру сего князя, целовали руки Шемяки, падали к ногам его... Святые мину-

ты, редкие мгновения торжества добродетели!

Глава VII

*Отчаянный – на миг он сам себя забыл;
Но миг – как молния, вдали по океанам —
Сверкнула злая мысль...¹⁴²*

Мерзляков

Но такие минуты непродолжительны: они походят на льстивый сон, улетающий с горестною действительностию жизни, на радость – эту насмешку счастья над человеком...

Вскоре на всех лицах изгладились блеснувшие на мгновение чувства радости, восторга, удивления к великодушию Шемяки. Появилось выражение какого-то нетерпения, какой-то холодности, будто укорявшее его за то, что он смел пренебречь обыкновенным миром и возвыситься перед другими. И сам Шемяка принужден был приняться за распоряжение.

«Тело покойного родителя должно быть предано земле в Архангельском соборе, среди наших предков, с подобающею почестью, как останки *Великого князя Московского*, – сказал Шемяка. – Я сам изберу место, близ коего потом, да благословит Бог лечь и нас, сынов его». Слезы навернулись на его глазах.

«Вы, воеводы и бояре, – продолжал Шемяка, указывая на

¹⁴² Эпиграф – Цитируемые строки приписаны А. Ф. Мерзлякову ошибочно.

некоторых, – идите к собранным на Ходынке воинским дружинам и велите им разойтись, объявляя, чтобы все шли немедленно принять присягу Великому князю Василию Васильевичу по воле покойного моего родителя, нашему согласию и завету отцов. Отворить немедленно все церкви и соборы московские и повелеть всем обитателям Москвы явиться к крестному целованию. Я первый пойду и присягну в пример и исполнение сего.

Вы, князь Василий Ярославич и князь Юрий Патрикеевич, с теми, кого я назначу, отправитесь немедленно к Василию Васильевичу. Объявите ему обо всем происшедшем. Скажите, что я остаюсь теперь в Москве, как наместник московский, и буду стараться до прибытия его только сохранить спокойствие и тишину в Москве. По последним известиям, он был во Владимире.

Избранная дума соберется в Писцовой палате для окончательных распоряжений немедленно. Спешите исполнить все повеленное вам. Я не замешкаю явиться в Писцовую палату. Дайте мне только вздохнуть немного...»

Казалось, что Шемяка страшился чего-то и как будто спешил всем распорядиться. Низко поклонившись, каждый шел исполнить свое назначение. В то же время, посланные от Шемяки объявили народу с Красного крыльца о кончине Юрия и княжении Василия. Народ от невольного изумления при сей вести переходил к радости и громко начал восклицать. Шемяка хотел удалиться. Но то, чего страшился он, совер-

шилось к неописанной горести и стыду его!..

Уже Шемяка оставлял собрание, идя во внутренние покои, и присутствовавшие в оном выходили в противоположные двери, когда какое-то смятение двинуло их назад. Смятенный крик и шум раздался в близ находившейся комнате, и с трепетом вбежали в палату бояре, вышедшие на Красное крыльцо для объявления народу.

«Что сделалось?» – вскричал Шемяка, обращаясь к ним.

Но от ужаса они не могли вымолвить ни слова. Наконец один со страхом и трепетом воскликнул: «Князь Василий Юрьевич, брат твой!»

Не успел Шемяка отвечать ему, как Василий Косой вбежал в палату. Платье его было в беспорядке, лицо бледно, взоры сверкали, обнаженный меч был в руке его. За ним следовал князь Иоанн Можайский и еще несколько молодых военачальников. Платье их было все в пыли, и видно было, что они издалека скакали опроретью.

Спокойно стал Шемяка. Раскаленные взоры Косого упали на него. Он не думал встретить здесь брата, отшатнулся назад и, окидывая глазами собрание, возгласил охриплым голосом: «Кто смеет распорядиться здесь, в моем доме, моею властью? Кто выслал этих презренных рабов кричать народу безумные речи с Красного крыльца?»

– Я, – твердо сказал Шемяка и устремил на брата смелые, но спокойные взоры.

«Ты?» – Косой остановился. «И ты, – продолжал он, после

минутного молчания, – скрывал от меня кончину родителя? И ты велел провозглашать имя *Василия*, как имя *Великого князя*?»

– Я, – повторил еще раз Шемяка, – по завещанию отца, судьбам Бога и согласию всех сановников!

«Я посмотрю, кто осмелится восстать против своего законного властителя!» – возгласил Косой. Оттолкнув Шемяку, он стал посредине собрания и, опираясь на меч свой, воскликнул: «Великий князь не умирает. Родитель скончался: я ваш государь и повелитель!» Между тем палата наполнилась снова боярами и воеводами, хотя все они боязливо отодвигались от Косого. Следовавшие за ним молодые воеводы преклонили колена, обнажили мечи свои и закричали громко: «Да здравствует Великий князь Василий Юрьевич!» Но их было немного. Клики их разлетелся в палате без отголоска. Все безмолвствовали. Это молчание поразило Косого более грома небесного.

– Брат! – сказал Шемяка, – стыдно, позорно мне за тебя, смотря на то, в каком виде представляешься ты взорам моим! Не говорю о том, что в горестные минуты кончины родителя ты буйствуешь, а не молишься и не скорбишь, – но, скажи, к чему твоя безумная ярость? Так ли должен был ты начинать, если бы и в самом деле был ты *законный наследник*, или *избранный отцом и народом преемник* родителя своего?

«Ты враг мой, злодей, изменник! – воскликнул Косой. – Ты утаил от меня кончину отца, ты лишил меня даже его

благословения!»

– Нет! Бог свидетель, что всюду разосланы были за тобою гонцы, и я сам едва успел прибыть из Симонова и находиться при блаженной его кончине! Так быстро позвал его к себе судия небесный... Родитель ждал тебя, звал нетерпеливо... – Голос Шемяки прервался от слез.

Скрывая движение свое, Косой отвернулся и сказал: «Он хотел мне передать старейшинство свое!»

– Нет! – отвечал Шемяка, поспешно отирая слезы, – не передать старейшинство, но – только благословить тебя, несчастный брат – несчастный, если сердце твое не умиляется! Такова была воля отца. – Шемяка развернул духовную Юрия. – Все кончено; все от тебя отступятся, если ты будешь еще упорствовать. Уже к присяге приводят жителей Москвы, уже поехали послы к Великому князю...

«Этому не бывать! Прочь, с подложного грамотою, – вскричал Косой, вырывая духовную отца своего и бросая ее на пол. – Скажи: за много ли продал ты брата и душу свою Василию?»

– Безумец! – воскликнул яростно Шемяка, но тотчас опомнился, подхватил духовную и с негодованием, но тихо продолжал: – Оставляем тебя безумию твоему! Пойдем, князь и бояре! Если гроб отца не вразумляет его, то нам не вразумить!

Он пошел. За ним следовали все другие, *все*, даже и пришедшие с Косым, кроме Иоанна Можайского. Косой хотел

броситься в удалявшуюся толпу, не в силах будучи выговорить слова, но Иоанн Можайский удержал его, обнял, старался утишить. Палата опустела.

– Измена! – было перуе слово, вылетевшее из уст Косого. «Успокойся, успокойся, князь!» – говорил Можайский.

– Гибель на роде нашем: брат предает брата.

В это время, случайно, кто-то растворил двери, и из внутренних покоев послышался громогласный возглас диакона: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему, Великому князю Георгию, и сотвори ему вечную память!»

Тихий, унылый хор запел: «*Вечная память*». Там отправляли духовные обряды при теле Юрия Димитриевича. Голос религии показался голосом вечности Косому. Он умолк и безмолвно преклонил голову на грудь Иоанна.

О Провидение! что пред тобою человек! Если бы несколькими часами прежде явился Косой, если бы он двинул воинские дружины, над которыми был главным вождем, тогда его приверженцы и сила могли бы, может быть, доставить ему венец Великокняжеский. Но к несчастью своему, с раннего утра, даже не видавшись с отцом, уехал он на обозрение дружин в окрестностях Москвы, готовя их в скорый поход против Василия.

Там едва могли сыскать его. Весть о близкой кончине отца так была неожиданна, так поразила его, что, приказав ехать за собою только обыкновенной страже, бросился он

в Кремль, забыв все другое. В неистовство, в какое-то состояние бешенства пришел Косой, узнав в Кремле о смерти Юрия и услышав провозглашение Василия Великим князем. Он забыл сан свой, забыл все приличия, кинулся на извещавших народ бояр, и вслед за ними, не помня себя, вторгся в Большую палату.

Состояние его было ужасно. То припадал он к телу отца своего, плача кровавыми слезами, то бегал по опустелым палатам дворца, исторгая волосы с головы, кусая руки. Уничтожив достоинство человека, он уподоблялся дикому, бешеному зверю, готов был растерзать своими руками противников, готов был кликнуть клич буянам и отребью черни, вторгнуться с ними в Кремль, во дворец и скорее все разрушить, зажечь, разграбить Москву, нежели уступить ее другому! К вящему унижению, он видел, как спокойно было все окрест его, и люди и природа. Ясный летний день догорал на небе, и солнце, горя яркими лучами, закатывалось за небосклон. Тих, величественно спокоен был лик умершего отца его, и все безмолвствовало в Москве, в Кремле и во дворце. Иоанн Можайский следил за каждым его шагом, но Косому казался он приставником, определенным смотреть за поступками сумасшедшего.

– Князь! – сказал наконец Можайский, – что мы еще медлим? Давай руку на жизнь и на смерть! Дружины твои в сборе – туда к ним – напоим молодцов и подвинем их на Москву!

Будто от сна опомнился тогда Косой: «Ангел-хранитель! Твой ли голос я слышу? И я до сих пор не подумал об этом?» Он крепко обнял Иоанна. «По крайней мере, я ручаюсь за своих, – говорил Иоанн. – Можайцы не выдадут, а с их помощью мы возмутим Москву, или – испечем ее, как яичко, которым подавятся Василий и твой Шемяка!»

Через час Косой, Иоанн и несколько человек из свиты их скакали в ходынский табор. Но здесь надежда жестоко обманула их! На половине дороги встретился с ними князь Михаил Верейский. Он спешил с известием к Косому, что вскоре после отбытия его явились в ходынский табор присланные от Шемяки, Красного и от всего сонма бояр московских с объявлением о кончине Юрия, восшествии на престол великокняжеский Василия Васильевича и о немедленном целовании креста и Евангелия в верности сему новому властителю. С радостным шумом поднялся весь табор; несколько осмелившихся противоречить было схвачено, связано и повлечено в Москву. Воеводы один перед другим спешили присягать. И вся толпа воинов пустилась потом в Москву, разграбила дорогою, мимоходом, несколько погребов и рассеялась кто куда знал и хотел.

В нерешимости остановились и советовались князья, что делать, когда прискакал к ним вестник, что Кремль затворен, наполнен дружинами, и им всем позволено возвратиться не иначе, как без воинов и без оружия, а в противном случае объявляется князю *Звенигородскому*, князю *Можайскому* и

князю *Вере́йскому* свободный выход из Москвы, куда им Бог на сердце положит; в случае же сопротивления и враждования *опала великая*.

– Начинать ли нам теперь неравную борьбу? – спросил Иоанн, усмехаясь. – Жаль, правду сказать, и Москвы.

«Да, битва будет неравна. Звенигородские, Галицкие, Вере́йские, Можайские дружины готовы на все – правда; но ладно ли и то будет, что мы начнем драться за Московский престол, когда еще дядю в могилу не опустили?» – отвечал Вере́йский.

Косой молчал и поехал вперед. Замолчали и другие. Когда кончились предместья Москвы, Косой оборотил коня, долго, неподвижно смотрел на этот обширный город и вдруг, опустив поводья, схватил руку Можайского и руку Вере́йского.

– У меня нет уже родных братьев более, – вскричал он, – нет их отныне! Друзья! Хотите ли вы на живот и на смерть!

«На живот и на смерть!» – вскричали оба князя.

Все трое соскочили с коней, обнялись и поклялись быть братьями.

– Я знаю робкий, хитрый, злобный нрав этого змееныша Василия, – сказал тогда Косой, – знаю и глупую доверчивость и легкомыслие моего брата Дмитрия. Красный плаксивая ханжа и, конечно, кончит монастырем, или определится звонарем, либо просвирником в какую-нибудь обитель. Но Дмитрий и Василий скоро перегрызутся, потому что

один всему верит, другой не верит ничему. Итак, надобны только мужество, крепость духа и осторожность. Отныне я и Василий будем дотоле враждовать и резаться, пока один из нас не будет вырезан из числа живых! О, боярин Иоанн! Зачем нет тебя со мною! Не стало людей, как тебя не стало! Но твердая воля и крепкая рука стоят большого ума. Я возмущу Орду, восставлю Новгород, лучше испепелю Москву, нежели отдам ее моему злодею... Друзья! Еще раз: руки ваши?

Можайский и Верейский снова крепко пожали ему руку и в ту же самую ночь тайно скрылись из его табора. Утром дружины можайские и верейские двинулись восвояси.

Рано поутру Косой услышал об этом. Он только улыбнулся, велел немедленно сниматься и идти в Звенигород. Там были еще в плену София Витовтовна и Марья Ярославовна. Немедленно велел он отослать их в Москву, сказав: «Я не с бабами воюю!» Через несколько дней он оставил Звенигород, препоручив его Роману, и поспешно поскакал в Орду.

На другой день после отъезда Косого из Москвы происходили великолепные похороны Юрия. С восхождением солнца начался погребальный перебор колоколов. Примиренный гробом со всеми, умиливший сердца *самих врагов* смирением, сын Димитрия Донского вынесен был на руках детей своих и стариков бояр в Архангельский собор. Слезы лились при гробе его – но, впрочем, когда же они не льются? Народ во множестве толпился, смотрел на мертвеца с бесчувственным любопытством, совсем не думая читать разгадку

вечности на оземленелом лице его. Многочисленное духовенство с крестами, образами, хоругвями, притекшее со всех сторон Москвы, богатый покров, лежавший на дубовой колоде, в которую положено было тело князя Юрия, звон колоколов, многочисленный сонм бояр и сановников, блестящие воинские дружины, вид Красного, в глубокой горести разливавшегося слезами, и Шемяки с мрачным, но бесслезным лицом, стоявшего во все продолжение литургии у головы тела – все это занимало и развлекало народ. Наконец, останки Юрия принял каменный склеп, между гробами Владимира Андреевича Храброго и младших братьев Юрьевых Андрея и Петра, в ногах Донского и Василия Димитриевича, от южной стороны к западным дверям Архангельского собора. «Здесь и меня положите!» – говорил Красный, когда земля глухо стучала о крышку гроба, и священник произносил в поучение живущим, бросая горсть ее на гроб: «*Земля, и в землю идет!*»

На другой день каменщики беззаботно складывали каменный голбчик над гробом князя, распевая: «*Господи помилуй*», а каменосечец иссекал пестрые буквы на камне, который должно было вмазать в голбчик, изображая ими следующую надпись:

«В лето 6942, иуния в 6-й день, на память преподобного отца нашего Висариона чудотворца, преставися благоверный князь Великий, Юрий Димитриевич, сын Димитрия Ивановича Донского; родися лета 6882-го, ноемврия в 26-й день,

и крещен бысть игуменом, преподобным Сергием чудотворцем, в Переяславле-Залесском, а тезоименитство его бысть в той же день, праздника Освящения церкви святого великомученика Георгия, иже в Киеве у Златых Врат».

– Что же ты не прибавил ничего о *добродетелях*, и *философии* никакой? – сказал ключарь собора, когда каменосечец принес эту надпись ко гробу.

«Мне ничего не заказывали».

– Видно забыли. А я сам слышал, что хотели прибавить: «Кая житейская пища пребывает печали непричастна? Кая ли слава стоит на земли?»

«Нет! – сказал соборный протоиерей, остановясь подле ключаря и опираясь на трость свою. – Мне сказывали, будто хотели приказать вырезать слова: Иже глубинами мудрости человеколюбие вся строя, иже на пользу всем подавая, едине содетелю, покой Господи, души усопших».

– А может! – промолвил ключарь. – Ну, вмазывай же поскорее, ведь уже скоро 7-й час дня. Да, кстати: поправь-ка дощечку на гробнице Ивана Данилыча: все выпадает.

Ночью, через три дня после похорон, приехал в Москву Василий Васильевич, облобызал, обласкал Шемяку и Красного. Договоры, тогда заключенные между ними, до сих пор целы, с восковыми печатями, из коих на Шемякиной виден воин старик в шеломе с татарскою надписью, а на Васильевой юноша в венце. Красный уехал в этот день в Троицко-Сергиевскую обитель. Шемяка договаривался за себя и за

меньшого брата. Но, что было договариваться? «Вели написать, что ты знаешь», – сказал он Василию. Спокойно слушал потом Шемяка, когда читали договоры, в которых коленчатым полууставом означалось, что Василий утверждает за ними уделы, данные отцом: Рузу, Галич, части в Москве, и придает еще из удела дяди Константина Шемяке Углич и Ржев, а Красному Бежецкий Верх; но за то берет себе у них Дмитров, лишает Косого Звенигорода и Вятки, присовокупляя все это к Москве, и что Шемяка и Красный обязаны *отступиться* от брата и *дружить, и ладить* Великому князю Московскому.

Шемяка не сказал ни слова, приложил молча печать свою к грамоте и в тот же день уехал из Москвы. Василий набожно отправлял великолепные девятины, полусорочкины и сорочкины по дяде, сам присутствовал на панихидах у его гроба, давал милостыни, делал вклады; в нескольких монастырях читали за упокой его души Псалтырь и служили обедни.

Не только родные братья, но все *отступилось* от Косого. «При пире, при браге много друзей, а при слезах, да при горе нет никого», – говорит и не лжет пословица. В Орде встретили его кровавые битвы. Старый хан Улу-Махмет вышел на открытый бой с Кичи-Махметом, племянником своим. Ему было не до Руси, и Косому указали путь, когда приехали к хану московские послы. Через два месяца с берегов Волги Косой был уже на берегах Волхова. «Если хочешь, князь, у нас остаться, останься; хлеба новгородского не переешь, и

удел тебе дадим, как Суздальскому князю даем хлеб и удел. Не хочешь – иди с Богом, а на Москву нас не подушай», – отвечало новгородское вече.

В Новгороде услышал Косой, что князь Роман сдал Звенигород московской дружине. Ему некуда было приклонить головы. С немногими удальцами новгородскими ушел он в Вятку, кликнул на бесприютство свое клич. К нему сбежался удалый народ, русские *казаки*, отчаянные головы. Врасплох схватил он Вологду; но московская рать явилась перед ним. Как бешеный волк, терзал он ряды московских дружин; но ничто не помогло! Раненый в битве Косой едва убежал в Кострому. Челядь его легла на месте сражения. В укрепленном таборе при впадении реки Костромы в Волгу близ древней обители Ипатьевской укрепился тогда Косой с остальной дружиною. На другом берегу реки стоял Басенок с москвичами. Косой предложил мир. Басенок принял его. К изумлению всех, не только Звенигород отдан был Косому, но Василий подарил еще ему Дмитров. Косой привел отчаянных удальцов в новый удел свой, не являлся в Москву, не ехал к братьям, которые, не принимая никакого участия в междоусобице, были: Шемяка в Угличе, Красный в Бежецке. Летописцы замечают, что в тот год весна была *вельми студена*. «Злоба человеческая простудит и лето на Руси», – говорили москвичи. Ждали, *что* будет...

Часть четвертая

*О наша жизнь, где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,
Где скорбь без крыл, а радости крылаты,
И где на век минувшее одно...
Почто же мы мечтами так богаты,
Когда мечтам не сбыться суждено!
Внимая глас надежды, нам поющей,
Не слышим мы шагов беды грядущей...¹⁴³*

Жуковский

Глава I

*«А што вы, слышов о моем добре, или лихе,
от хрестьянина, или от иноверца, а то вы мне
поведаши в правду, без примышленья...»
Договорная грамота Василия с Шемякой, лета 6948,
июня 24-го дня*

Более года минуло с того времени, когда оставил Шемяка Москву и отказался от всех смут и крамол княжеских. Душа человеческая подвержена сближению крайностей: дикая, пламенная любовь может переходить в бешеную ненависть;

¹⁴³ Эпиграф – строки из элегии В. А. Жуковского «На кончину ее величества, королевы Вюртембергской».

сильный жар заменяется жестоким холодом; дружбу сердечную сменяет неприязнь лютая; то, что занимало всю душу, возбуждает решительное отчуждение, когда перестанет занимать ее и оставит в сердце уголь для другого чувства. Таков человек!

И подобное сближение крайностей испытала душа Шемяки. Неукротимое кипение страстей, быстрое изменение обстоятельств, зрелище престола великокняжеского и рядом с ним гроба, мгновенно прекратившего все честолюбивые замыслы отца Шемяки, старого князя Юрия, потрясли душу его в основании. Прежде беспечный, беззаботный, потом увлеченный в вихрь волнений невольными обстоятельствами, в короткое время перегорел он сильными впечатлениями и ощущениями. Не успела и не могла душа его закалиться в честолюбии, и невольное отвращение возбудило в ней все, что переиспытал, перечувствовал Шемяка в короткое время в кружении дворской жизни, в смутах, крамолах, волнениях последнего времени. Грубые страсти, низость, вероломство душ, ничтожество и переменчивость жребия, закрываемые золотыми одеждами и великолепием, показались ему в полной, отвратительной наготе их. С презрением отказался он от всего, бежал из великокняжеского двора и скрылся в отдаленный приют свой.

Это не была, впрочем, глубокообдуманная решительность зрелой души, убежденной в суете шума и блеска, сладости мира и спокойствия уединенного, не было и то охлажде-

ние, какое испытывает пережившая страсти свои старость или бесстрастная опытность. Нет! Шемяка оттолкнул от себя обольстительную чашу честолюбия, как ребенок, который отталкивает чашу, наполненную горьким питьем, только потому, что оно горько, без всякого сознания, не отдавая самому себе отчета: без причины любить и ненавидеть – удел юности.

С несколькими, избранными друзьями – князем Чарторийским, боярином Сабуровым и другими молодыми князьями и боярами – уехал Шемяка в Углич. Там, в дружеской, вольной общине, сказано было, что все равны перед ним и никто чинами и местами считаться не должен. В самом деле, собеседники Шемяки забывали, что живут и гуляют с внуком Димитрия Донского и повелителем своим. Каждый день начинался и оканчивался разгулкою и забавою, как будто Шемяка хотел обмануть самого себя и забыть летевшее быстро время. Управление княжеством вверено было Шемякою нескольким старым боярам отца его, не хотевшим от него отстать, любившим его за веселую доброту и светлый, хотя и беспечный ум. Иногда эти старики качали головами, когда Шемяка, смеясь, отсылал их с делами и бумагами и вместо решения дел приказывал подносить им чару крепкого меда или сажал за веселую свою трапезу. Но угличане скоро однако ж полюбили своего князя. Он не судил дел, но решал их, не справлялся с уложениями и судебниками, но клал руку на сердце и говорил: *«этому быть так!»* – следовал первому

движению сердца и не ошибался.

Ранним утром звук рога пробуждал князя и его молодых товарищей. Они спешили вставать и собираться вместе. Двор княжеский бывал уж в это время наполнен охотниками, псарями, сокольниками, доезжачими. С появлением Шемяки все садились на коней и при шумных кликах скакали вон из города. Казалось, что только в раздолье полей и в глубине темных лесов Шемяка начинал дышать свободнее, что он хотел поскорее проехать через людские обиталища, пока еще не отворялись окна, не отпирались двери в жилищах человеческих и не выползали из них страсти, не выглядывали суеты людские. Охота, травля, скачка продолжались до самого обеда. В каком-нибудь затишье рощи или леса, на берегу ручья, располагались потом Шемяка и его товарищи. Далеконесли оттуда клики веселья и разгульные песни. Под навесом шатра, наскоро раскинутого, на богатых коврах отдыхали и прохлаждались Шемяка и наездки его. Наскоро изготовленный охотнический обед, фляга меда или вина, обходившая кругом, веселый, шумный разговор занимали их. С закатом солнца все возвращались домой и без огня ложились спать, хорошо поужинав и прощаясь до завтра.

Редко перерывался такой порядок занятий; день следовал за днем в единообразном веселье. Только под праздники и воскресенья выездов в поле не было. Шемяка и все товарищи его уединения шли к вечерне, благоговейно слушая после того заутреню, и на другой день обедню. Во дворе княже-

ском собирались потом все бояре Шемяки, и нередко большой обед у князя означал праздничный и воскресный день. Тогда приглашаемы были иноки и духовные люди. За обедом уже не было шуму и песен; время проходило в благочестивых разговорах и назидательных беседах. Шемяка не был большим начетчиком и грамотеем, подобно юному брату своему, Димитрию Красному, но внимательно слушал он и любил поучения и беседы духовные. Он обогащал храмы и монастыри и был милостив и добр к монашествующей и странной братии.¹⁴⁴

Иногда на несколько дней оставлял Шемяка Углич. С большою свитою смело пускался он в дремучие Белозерские леса. Тут открывалась жестокая война с дикими обитателями северных стран – медведями, волками и другими хищными их товарищами. Проведя несколько дней в непрерывных разъездах среди тундр, озер, в мрачных, диких лесах, в опасной борьбе со свирепыми зверями, Шемяка казался довольнее, веселее. Шкуры зверей развешивались торжественными сайгаками на стенах той хоромины, где пировал по возвращению в Углич князь со своими товарищами.

Настала глубокая осень. Дождь лил беспрестанно. Грязь была ужасная. От ветров, свободно разгулявшихся в поле и в лесу, клонились и ломались верхи деревьев, стоявших сиротами, обезлиственных рукою осени. Реки волновались, взрываемые ветрами и дождями. В это время ранним утром Ше-

¹⁴⁴ ...странная братия – т. е. странствующие монахи, паломники.

мяка призвал к себе князя Чартерийского. Чарторийский нашел его мрачного, задумчивого, в сильном душевном движении ходящего по комнате.

«Князь Александр, – сказал ему Шемяка, – вели немедленно приготовить все к дальней дороге. Я еду завтра поутру, с тобою».

Чарторийский с изумлением посмотрел на него. «Чему удивляешься? – вскричал Шемяка с досадою. – Ты знаешь, что я терпеть не могу разинутых ртов, если они не для песни разинуты!»

– Князь Димитрий Юрьевич, – отвечал Чарторийский, – прости меня: твои слова для меня непонятны, и я не думал, чтобы усердие мое подало тебе повод к досаде. Твой внезапный отъезд...

«Прости ты меня, товарищ: я не на тебя сердит, и потому тебе неизвестно было мое намерение ехать, что и сам я ничего не знал до сегодняшнего утра».

– Подумай, князь Димитрий Юрьевич – как ехать в такое время? Дождь льет рекой, дороги сделались, как тесто в квашне – грязь непроходимая – и неужели в поле намерены отправиться?

«Нет! я еду не на охоту, а молиться».

– Доброе намерение, князь Димитрий Юрьевич. Но куда же Бог несет тебя? Разве в Суздаль...

«Нет, нет! я сказал тебе, что хочу ехать далеко, далеко, куда-нибудь на север, в леса, далее от Москвы и от Дмитро-

ва! Разве ты не слышал, что ночью ко мне приехали незваные гости?»

Чарторыйский не смел ничего говорить. Строго запрещено было Шемякою упоминать когда-нибудь при нем о Москве, Великом князе и брате Василии Юрьевиче. Казалось, он хотел совершенно забыть, что Великое княжество и сии князья существуют в мире...

«Да, мой добрый товарищ, приехали и видно любезный брат мой и Великий князь решились опять грызться и до смерти закусать друг друга. С проклятыми ссорами своими они вечно не дадут мне покоя! Да, да, в эту ночь притащились ко мне послы московские, привезли кучу бумаг, и старики мои, бояре, обрадовались, что им опять есть случай хмурить брови, гладить бороды, думать, советовать, отсоветовать! – Шемяка вдруг засмеялся. – Право, я думаю, они рады бы снова затеять старую возню, только бы им опять можно было толковать о делах, решать и судить. У меня им мало теперь работы. Терпеть я не могу ни бумаг, ни бумажных рож! Закон написан в голове и сердце человека, и с этим законом справляться надобно, а не с пыльными хартиями. Пожалуй, если бы только слушать моих бояр, то и для крошечного моего княжества надобны б были такие же огромные приказы, как и для московского Великого...

Но вот идет моя самая думная голова, боярин Дубенский. По лицу вижу, что он досыта успел уже надуматься и плывет с полным грузом всякой всячины. Поди, вели все готовить в

дорогу. Со мною поедешь ты, Сабуров – но я после расскажу обо всем...»

Старый боярин вошел в комнату, когда Чарторийский отправился исполнить приказ Шемяки.

– Что, боярин, нового? – спросил ласково его Шемяка.

«Вестей много, да и немалых», – отвечал боярин, поглаживая длинную свою бороду.

– Право? Но что же такое? Нельзя ли рассказать этого покороче?

«Послы московские приехали, государь, к тебе с важными грамотами от Великого князя Василия Васильевича. Народ, как нарочно, отобран самый хитрый – слово каждое из-за узла выпускают. Однако ж мы-таки успели их облелеять и кое-что повыспросить...»

– Право? Что же такое?

«Говорят, что новгородцы решительно уладили с Великим князем, и князь отступился от всех требований на Бежецкий Верх. Новгородцы так были рады этому, что отдали Москве Торжковское *Черноборье*. И говорят, будто положено считать с сохи по гривне, полагая в соху два коня и припряжь, а четверину пещцов, кожевничий чан, невод рыбацкий, лавку и кузницу за соху, а плуг, ладью и соляной цырен за две; писцу будто с гривны получать мордку, а кормов с десяти сох баран, либо полоть мяса, три курицы, сито заспы, два сыра и бекарь масла; да коневьего корма пять коробов овса, в старую коробью, и три воза сена, да по две подводы

от стана до стана».

– Неужели правда? – сказал Шемяка, удерживая улыбку.

«Истинно, государь! Говорят еще, что великая старица Евпраксия вельми болит и почти уже никуда не выходит из келии».

– Как жаль!

«О святителе Ионе подтверждается, что он точно определен будет в митрополиты и уже собирается ехать в Царьград. Исидор, кажется, поехал ни с чем, кроме ласковых слов...»

– Нет ли уже деток у Великого князя?

«Молчат, государь, что-то об этом. А Великая княгиня очень дескать раздобрела; князь же Великий худ и не дороднеет...»

– А! вот это весьма важно! Но не узнал ли ты, за чем именно пожаловали к нам послы московские?

«Нельзя было спрашивать об этом, государь: они таятся; мы начинать сами не хотели, а только намекали, так, мимоходом...»

– Да, для чего же было не спросить просто?

«Кто первый начнет, тот уже в проигрыше. Мы показывали вид, что нам будто и дела нет. Догадываться можно... Но тебе, государь, не угодно, чтобы об этом говорили...»

– Говори все, сделай милость!

«Чуть ли опять не затевается что-то нелюбовное между братцем твоим Василием Юрьевичем и Великим князем. Так, по крайней мере, можно догадываться».

– Я предчувствовал, – проворчал Шемяка. – Но почему так полагаешь ты, боярин? – спросил он громко.

«Потому, что в Москве, говорят, много собирается князей, и брат твой уехал из Дмитрова к Костроме, а в Галиче, в Устюге, в Вятке началась сильная завороха. Да и послы московские оказываются весьма ласковы. Они привезли подарки тебе, государь, и многим из нас».

– Я боюсь, не перепортили ль они их по теперешней дурной погоде.

«Не знаю, государь; но говоря о тебе, они называют тебя беспрестанно *любезным братом* Великого князя. Один из них, между прочим, несколько раз говорил и повторял мне: *что добро, или что красно, во еже жити братии вкупе*».

– Ну что ж вы, мои добрые бояре, думаете? Потолковали ль вы обо всем этом?

«Мы, верные твои слуги, можем ли не стараться о твоих пользах. Мы уже собирались и долго думали. Нам кажется, что теперь можно многое выиграть тебе, государь».

– Не пристать ли мне к брату, если он точно снова затеял старое дело?

«Бог знает, государь, князь Димитрий Юрьевич! Оно бы и так, да ведь вы с братцем-то не однонаравны, и он, может статься, затеял, не спросясь озадков¹⁴⁵, а так – очертя голову. Может быть, новгородцы и мирволят ему, может быть и Ярославль с Тверью тоже; но все дело трудное: на Тверь, на

¹⁴⁵ ... не спросясь озадков – т. е. не задумываясь о последствиях.

Ярославль и на Новгород полагаться все равно, что весною по тонкому льду идти. Но *поторговаться* с Москвою теперь, кажись, не было бы плохим делом».

– В самом деле! Можно бы уцепиться опять за московские поместья, потолковать о Звенигороде, о Дмитрове. Не правда ли? Да, что слышно о брате Димитрии?

«Брат твой, государь, человек неземной. Говорят, что он только и дела молится, поет, читает, беседует с духовными, ему некогда и думать о мирских делах».

– Досадно, что и мне тоже *некогда*, добрый мой боярин! Вели поскорее позвать московских послов ко мне.

«Но прежде надобно бы посоветоваться и приготовить-ся...»

– Времени нет. Я завтра поутру еду, и далеко.

«Как, государь, едешь? Куда же?»

– Мне вздумалось помолиться Богу, боярин, и я еду в Каменский монастырь.

«Как, государь: в Каменский? За Кубенское озеро?»

– Да, боярин. Поди, и зови сюда московских послов. Мы их отпустим, я поеду, а вы без меня хорошенько порассудите...

Боярин значительно улыбнулся, как будто давая знать, что *очень понимает* предлог этого богомолья. «Да не ближе ли проехать в Кострому из Ярославля?» – сказал он, понизив голос и внимательно смотря на Шемяку.

– Посмотрим, – сказал Шемяка. – Прежде всего перегово-

ворить с послами. – Он спокойно начал рассматривать и пересматривать оружие, развешенное на стенах комнаты, напевая какую-то песню.

Важно и степенно вступили в комнату московские послы. Видя, что Шемяка рассматривает булатные кинжалы и сабли, они значительно перегляделись друг с другом. Бояре Шемяки, с ними пришедшие, наблюдали таинственное молчание, важно потупив глаза в землю.

– Князь Великий Василий Васильевич прислал нас, послов своих, к тебе, Димитрию Юрьевичу, князю Углицкому и Ржевскому, младшему брату своему, и приказал тебе, брату своему, править поклон и узнать о твоём, брата своего молодшего и князя Углицкого и Ржевского, здоровье и как ты обретаешься?

«Слава Богу, бояре и послы московские Великого князя и *старшего* брата моего, слава Богу!» – сказал Шемяка, пробуя острие кинжала пальцем и невнимательно отвечая уклонением головы на низкий поклон московских послов.

Послы опять взглянули друг на друга, внимательно сообщая все слова и движения Шемяки.

«Что, Великий князь и брат мой? Где он и здоров ли?»

– Когда мы поехали из Москвы, – отвечал старший посол, – государь наш, Великий князь, обретался в Москве, а где теперь изволит пребывать, нам неведомо; а оставили мы его, государя, Великого князя, старшего брата твоего, подобру и поздорову, милостию Божиею, молитвами святителей

московских и заступлением Пресвятые Богоматери, честные иконы ея Владимирские.

«Садитесь, дорогие гости, – сказал Шемяка, повесив кинжал на стену, садясь сам и указывая места послам, – садитесь! Здесь, как в деревне, чинов нет. Хозяин без хозяйки, живет холостяком, угощает гостей, чем Бог послал. Довольны ли вы ночлегом и хлебом-солью в моей монашеской обители?»

– Мы, государь, князь Димитрий Юрьевич, за хлеб за соль твою благодарствуем и всем довольны.

«Садитесь же, дорогие гости. Мне, право, жаль, что некогда мне с вами хорошо побеседовать. Я хочу завтра утром ехать: вздумалось Богу помолиться, и давно уже звал меня к себе старик князь Заозерский, Димитрий Васильевич. Отправлюсь к нему провести осеннее время и прожить в тамошней стороне, пока можно будет опять по первой пороше зайцев травить».

– Доброе дело, князь Димитрий Юрьевич. Но мы к тебе приехали, кроме спроса о твоём здоровье, по нашего Великого государя, князя Великого, делу.

«По делу? Не веря пословице, что *дело не медведь, в лес не уйдет*, я люблю тотчас сбывать всякое дело с рук; скажите же поскорее, в чем это дело!»

– Государь наш, Великий князь Василий Васильевич, прислал к тебе, молодшему своему брату, подтвердить прежние крестоцеловальные грамоты новыми.

«Да ведь я не нарушал и *прежних* грамот?» – сказал Шемяка, улыбаясь.

– Великий князь это совершенно знает; но где крепка вера и дружба, чего бояться подтвердить их вновь?

«Давно ли писаны были и старые грамоты? Кажется, что в годе они не успели еще выдохнуться! Разве что-нибудь слышал обо мне Великий князь недоброе? Ведь я говорил и тогда, чтобы включить в договор именно: *сплетней не слушать* и тотчас выводить наружу. Как бишь это придумали вы на тот раз изложить в грамоте?» – спросил Шемяка, обращаясь к одному из бояр своих.

– А что вы услышите о моем добре, или о лихе от христианина, или от иноверца, а то вы мне поведаете в правду, без примышления, – отвечал боярин.

«Нет, не то: это не годится! Я именно говорил о сплетнях... Впрочем, вероятно вы, послы, привезли грамоту новую, уже совсем готовую. Чего же долго толковать? Читайте ее!»

– Если благоволишь, князь Димитрий Юрьевич... – Старший посол вынул грамоту и подал Шемяке.

«Читай, боярин!» – сказал Шемяка, зевая и беспечно отдавая грамоту своему боярину. Боярин развернул ее и начал:

«Божиею милостию и Пречистыя его Богоматери, и по нашей любви... – При сих словах все перекрестились. Боярин продолжал: „...на сем, на всем, брат мой младший, князь Димитрий Юрьевич, целуй ко мне крест, к своему брату ста-

рейшему, Великому князю Василию Васильевичу: быть тебе, брат, со мною, с Великим князем, везде за один, до своего живота, а мне Великому князю быть с тобою везде за один, до своего живота. А кто будет, брат мой, мне, Великому князю, друг, тот и тебе друг, а кто будет, брат мой, мне, Великому князю, недруг, тот и тебе недруг“.»

– Но, дорогие мои гости, все это было уже прежде говорено? – сказал Шемяка, усмехнувшись. – Что тут нового?

«А с кем буду, брат мой, я, князь Великий, в докончании, – продолжал чтение боярин, – мне и тебя с ним учинить в докончании, а с кем будешь ты в целовании, и тебе к нему целование сложишь. А не оканчивати тебе, брату, без меня, Великого князя, и не ссылатися с моим недругом ни с кем; ни мне, Великому князю, не оканчивати без тебя ни с кем».

– Последнее и прежде казалось мне вовсе бесполезным словом, и теперь таким же кажется, – сказал Шемяка. – Куда ко мне, в Углич, посылать Великому князю спрашивать у меня: с кем ему оканчивать, с кем не оканчивать? Но если так заведено – *еже писах, писах!* Продолжай, боярин!

«А добра тебе мне, Великому князю, хотеть во всем и везде, а мне, Великому князю, тебе добра хотеть во всем и везде. А держать тебе меня, Великого князя, в старейшинстве, как держал отца моего, Великого князя Василия Дмитриевича, отец твой, князь Юрий Дмитриевич...» Взор Шемяки омрачился при сих словах. Казалось, что неприятное воспоминание прошедшего сильно отозвалось в душе его. Но

он промолчал, и боярин продолжал чтение: «И подо мною тебе, под Великим князем, все мое Великое княжение держати честно и грозно, без обиды, во всем, чем благословил меня мой отец, Великий князь Василий Димитриевич своею отчиною...»

– Но если вся грамота такова, – сказал Шемяка, – и читать ее нечего: все это я давно знаю! Боярин! вели подать мне печать мою и позовите священника с крестом и Евангелием...

«Но, государь...» – возразил боярин Шемяки.

– Но, боярин мой советный, – возразил Шемяка нетерпеливо, – терять время по пустому не должно... Все, что теперь слышали мы, было в старых грамотах, и я готов сто раз подтвердить это, утвердивши единожды! Скажите все слова мои моему брату, Великому князю, – продолжал Шемяка, обращаясь к послам московским. – Он напрасно беспокоился и посылал вас. Самый злодей мой, следя за каждым моим шагом, не перенесет ему обо мне лихого слова. Не на грамотах основана дружба... мир... Ну!.. или как угодно назовите это... Грамоты, своим неприятным складом напоминающие старое, давно забытое, мне совсем не нравятся...

«Здесь есть многие перемены, государь», – сказал боярин, потихоньку пробежавший между тем грамоту.

– Какие же перемены?

«Говорится об окончании многих дел, которые оставались нерешенными».

– Какие еще дела оставались нерешенными? – воскликнул

Шемяка вспылчиво, – *все* было решено!

«Князь Юрий Димитриевич, – сказал старший посол, – государь наш, Великий князь, желая окончить всякие поводы к нелюбови, подтверждает о Дмитрове и о твоих московских и костромских волостях и жеребьях – Кореге, Шопкове, Лучинском, Сурожике, чтобы держать их за тобою в братстве и чести, без обиды, по докончальным грамотам и печаловать-ся тобою и твоею отчиною».

– Благодарю за попечение, но об этом также было прежде сказано.

«О не покупке и не держании закладней, взаимно, управления Ордою Великому князю и выходах по старым дефтерям, не вступании тебе в Вятку...» – продолжал московский посол.

– О Гавриловских селах и об Ярышове и Иванове пора бы кончить, – сказал боярин Шемяки, перебивая речь посла, – право, пора бы кончить. Но и здесь все еще говорится, что долг князя Димитрия Юрьевича остается за Великим князем...

«Пятьсот-то рублей? И неужели ли их еще не отдали нам? – спросил Шемяка. – Я, право, и позабыл».

– Платою не замедлят, – сказал московский посол, – наш государь, Великий князь, слово свое сдержит; но князь Александр Иванович до сих пор не dokonчил с Великим князем об этих селах.

Ни послы, ни боярин Шемяки, говоря обо всем другом, не

упоминали главнейшего. Наконец, старший посол решился сказать Шемяке: «Если ты, князь Димитрий Юрьевич, подтверждаешь условие – *кто мне друг, тебе друг, кто тебе недруг, мне недруг*, то, конечно, подтвердишь и другое: *А всюду я сам на конь, на своего недруга, и тебе со мною пойдти, а пошлю тебя, и тебе идти без ослушания, а пошлю своих воевод, и тебе послать с ними твоих воевод?*»

– Бесспорно, – отвечал Шемяка. – Если понадобятся мои людишки к дружинам Великого князя, пусть только известит меня. – Он отвернулся к окну, в которое сильно стучал порывистый дождь осенний.

«Такое обещание, – продолжал посол, – разуместь должно и в том случае, когда бы и самый родной брат твой вздумал учинить размирье и нелюбие к Великому князю?»

– Как? Что это значит? – спросил Шемяка.

«Князь Василий Юрьевич¹⁴⁶ назван в этой грамоте *недругом* Великого князя», – сказал боярин Шемяки.

– Что же не сказали мне этого с самого начала, – вскричал Шемяка, – ни вы, послы, ни ты, боярин? – Он обратился к тем и другим.

«Государь, князь Димитрий Юрьевич¹⁴⁷...» – бормотал боярин.

¹⁴⁶ *Василий Юрьевич* по прозванию Косой (1401—1448) – Великий князь Московский (1434), князь Звенигородский (1434) и Галицкий (1435).

¹⁴⁷ *Дмитрий Юрьевич* по прозванию Шемяка (ок. 1402—1453) – Великий князь Московский (1446—1447), князь Угличский (с 1434).

– Князь Димитрий Юрьевич... – вполголоса промолвил старший посол.

Все снова замолчали. Шемяка сел подле окна, потом встал со своего места и безмолвно начал ходить по комнате. Сильное внутреннее движение изображалось на лице и в глазах его.

– Князь Великий, государь наш, полагает, что тебе уже известно, младшему брату его, о клятвопреступлении недостойного брата твоего и о том, что он, забыв долг и совесть, забыв милости Великого князя, прислал к нему обратно крестоцеловальные грамоты и пошел на него снова крамолою и враждою.

Шемяка не отвечал.

– Великие благодеяния государя нашего, Великого князя, излинные на князя Василия, могли тронуть самое каменное сердце человеческое и возбудить в нем чувство раскаяния, примиряющее грешного человека не только с подобным ему человеком, но даже с самим Богом. Злые дела Василия возбудили теперь всеобщее негодование, и князья русские, по первому слуху, поспешили в Москву подтвердить клятвы свои и присоединить силы свои к силам великокняжеским.

Еще ни слова не говорил Шемяка.

– Но никогда не думает уравниять тебя князь Великий, государь наш, с братом твоим. Он знает нелицемерную, нелицеприятную дружбу твою к нему, Великому князю. И здесь то прилично воскликнуть с пророком; *Аще сядеши на тра-*

пезе сильного, разумно разумевай предлагаемая тебе.

«Твой текст невпопад, посол московский, – сказал наконец Шемяка, останавливаясь и быстро глядя в глаза московскому боярину, – ты обдернулся и вытащил из мешка памяти твоей не то, что хотел сказать. Всего же более невпопад твое велеречие и красноречие: это мед, подставленный волу. Я не понимаю, из чего все сии слова и хлопоты? А, вероятно, *старший брат мой, Великий князь* – все эти слова надобно повторять, как можно чаще, чтобы не отвыкали от них, – думал: кого бы мне послать к углицкому медведю? У кого из бояр московских язык сладкоречивее и легче мог бы улюлюкать этого медведя?.. ха, ха, ха!» – Шемяка захохотал, и горсть изобразилась в то же время на лице его. Он опять начал ходить взад и вперед.

– Я давно хотел представить тебе, князь Димитрий Юрьевич, – сказал Дубенский, – что надобно решить многие обстоятельства. Вот и о *третьих*, чтобы не ходить далеко, сколько споров, Господи Боже мой! Надобно уж положить единожды навсегда, что, кто зовется на третьи, твой да твоего брата, берут третьего от Великого князя, а не то, наоборот, из твоих, а не то, наоборот, из княж Димитриевых. Поименует же третьих тот, кто ищет, а тот берет, на кого ищут, а не захочет тот, на ком искали, его обвинить и велеть с него доправить... Иначе, право, никак не сладить.

«Гнев твой, князь Димитрий Юрьевич, воистину несправедлив», – сказал посол московский, оправясь от замеша-

тельства, в какое введен был словами и насмешками Шемяки.

– Я не гневаюсь, – сказал Шемяка, – но мне смешно, когда я соображаю настоящее, то, как поступают со мною. Открыто, прямо говорил и делал я: неужели еще не убежден в этом князь Великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня таким олухом царя небесного, что не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите, – продолжал Шемяка с увеличивающеюся горячностью, – или вы хотите, чтобы я, отдавши все Великому князю, своими руками принес ему голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвою, позор мой и унижение?

Едва не задыхался Шемяка говоря это послам московским; но вдруг он остановился и тихо сказал своему боярину: «Если новые грамоты Великого князя сходны с прежними, я готов подтвердить их.

Принеси их ко мне и я, не читавши, приложу к ним печать свою. – Послы московские! объявите вашему князю, что я не нарушаю грамот и обещаний, подтверждаю их вполне, осуждаю брата моего, если он снова начинает вражду; но далее не ступлю я ни шагу: с Москвою мир, с братом мир, с целым светом мир!»

Он пошел из комнаты. Послы молчали и переглядывались друг с другом, а Дубенский начал опять свое: «Нет уж о третьих, примером сказать, надобно нам докончить основательно, бояре и послы! Вот-таки недавно был пример: Федька

хмелевщик бил челом на суздальца Фомку лапотника. Видите в чем стала притча судебная: Федька продал ему лукошко хмеля в полную меру, с насыпом и договорился он взять за то лаптями; Федька же договорился отдать ему лаптями добрыми с перешивкою с двойным оборотом и за лапти взять хмелем. Вот и тот и другой с умыслу, что ли, или так, опростоволосились, о лукошке-то и забыли договориться. Федька-то новгородским мерять начал, а тот суздальским... Ведь у нас на Руси, слава Господу, язык один и вера одна, да мера не одинакова: вот... Но, добро пожаловать, бояре и послы, к нам в палату, там свободнее...»

Глава II

*...Домы праотцев, обычай их простой!*¹⁴⁸
Крюковский

Среди волн обширного Кубенского озера, к восточной стороне его, находится каменный остров, как будто отломок от берега, брошенный в воду. Волны со всех сторон омывают обитель, построенную на сем острове – как будто отломок от мирских сует. Здесь некогда, в древние времена, спасся от бури и гибели белозерский князь Глеб, плывя из Бело-озера в Устюг рекою Позоровицею, Кубенским озером и рекою Сухоною. Не оставалось спасения бедствующему князю среди свирепых волн Кубенского озера, и он во глубине души дал обет: построить обитель на том месте, где спасен будет. Ладя пристала к дикому, неизвестному дотолу Каменскому острову. Глеб изумился, найдя там жителей: то были старцы, пустынножители, скрывшиеся от мира на сей отдаленный, дикий остров. Гостеприимно принят был князь сими отшельниками и подивился их бедному, но великому житию. Они проводили дни свои в молитве, обращали в истинную веру диких корелов и чудь, живших по берегам озера; часто терпели они нападения и муки от дикарей, но платили им

¹⁴⁸ Эпиграф – строка из трагедии «Пожарский» (действ. 2-е, явл. 1) Крюковского Матвея Васильевича (1781—1811); в оригинале: «...гробы праотцев...».

за зло добром и душевным спасением. На месте ветхой часовни, куда отшельники сбирались молиться, князь повелел воздвигнуть церковь и вокруг нее срубить кельи. Так Спасокаменский монастырь, первый из северных вологодских монастырей среди лесов и пустынь, обитаемых дикими народами, возник, будто знамение грядущего великого благочестия сей земли. Глеб одарил обитель вкладами и богатствами и через несколько лет почил в мире.

В течение многого времени потом усердие, ревность, чудеса святых икон, привлекали поклонников в монастырь Спасокаменский. Прошло два века и много человеческих родов. Чудь и корела были покорены, разогнаны, усмирены. Князь Василий Васильевич Ярославский, потомок Великого ярославского князя, святого Феодора Ростиславовича Черного, раздавая уделы пятерым сынам своим, отдал все Кубенское *заозерье* четвертому сыну своему *Дмитрию*. В Заозерье свое уехал князь Димитрий и основал жилище свое там, близ устья Кубены. Против села Устья при деревне Чириковой донныне стоит часовня: здесь некогда находились дворы и терема исчезнувшего в веках князя Димитрия Заозерского и его княжеского рода.

С переселением на Кубену князя Димитрия началась особенная слава Спасокаменской обители. Благочестие было неизменно в роде князей, происшедшем от святого князя Феодора. Обитель прославилась тогда великими, подвижниками. Инок *Дионисий*, благословился у Каменского игуме-

на, ушел в пустыни северные и там, на Глушице. близ Сухоны, основал Покровскую обитель, где доныне почивают святые мощи его и сотрудника его Амфилохия. Инок *Александр* скрылся в дикие леса и болота Сянжемские и умолен был князем Димитрием возвратиться после многих уже лет пустынножительства, просиявшего в чудесах. Князь поселил его на реке Куште вблизи своего дворца. Наконец, и юный сын самого князя Димитрия возжелал оставить мир и скрыться в Спасокаменской обители. Все дивились молве о сем благочестивом подвиге, ибо юному княжичу едва совершилось двенадцать лет.

Прямо в Успенский соборный храм Спасокаменской обители вошел Шемяка, достигнув стен ее после трудного пути. Смиренные иноки встретили его и просили простить, что игумен за старостию и слабостью сил не может встретить князя. Шемяка запретил им беспокоить старца и, приложась к святым иконам после молебна за благополучное путешествие, хотел сам посетить настоятеля, не велел извещать о себе и пошел по длинному переходу низких деревянных келий к келье, занимаемой игуменом.

Казалось Шемяке, что душа его никогда еще не испытывала такого сладостного спокойствия, какое ощущал он со времени прибытия своего в Спасокаменскую *обитель*. Трудная дорога, бурное озеро, и среди волн его мирная обитель, о которую разбивались и бури водные и суеты мирские, уединение, тишина, благочестие, безмолвие, удаление от всех за-

бот мира, казалось, готовили душу его к миру с самим собою, миру, дотоле неизвестному Шемяке! Трогательное зрелище ожидало его в келье настоятеля.

Он увидел игумена, убеленного сединами старика, сидящего на скамейке; перед ним на коленях стоял отрок лет двенадцати. Возложив левую руку на русую голову отрока, правую игумен благословлял его. В стороне стоял старик, одетый просто, без всякого оружия и, подняв руки к образу Преображения Господня, молился; слезы текли по щекам его.

Изумленный Шемяка стал близ порога кельи. Игумен отвел в сторону левую рукою отрока и обратил правую к Шемяке, приветствуя его: «Конечно, вижу я в тебе, почтенный гость, – сказал он, – князя Димитрия Юрьевича и благословляю приход в мирную обитель нашу внука Димитрия Донского?»

– Я этот князь, – отвечал Шемяка, принимая благословение старца.

«Добро пожаловать, князь!»

– Я прервал беседу вашу, отец игумен, и винюсь в том.

«Оставь здесь все твои дворские приличия, – отвечал игумен. – Ты застал нас за таким делом, которое совершается благодатию Божиею. Ты видишь князя Димитрия Васильевича Заозерского, а это юный сын его Андрей».

– Не дивлюсь твоему изумлению, князь Димитрий Юрьевич, – сказал Заозерский, заметив, что простая одежда его привела в замешательство Шемяку, не узнавшего в нем вла-

детельного князя Закубенской стороны. – Вы, люди сильные и знаменитые, привыкли отличать князей серебром и золотом, дорогим оружием и драгоценною одеждою; мы живем, напротив, в простоте дедовской: золото и серебро бережем для святых храмов, в дорогом оружии нужды не имеем, а сражаться со зверями, обитающими в дремучих лесах наших, нам надобно оружие простое, а не щегольское. Поздравляю тебя, любезный гость, с благополучным приездом в наши Палестины. Да благословит Господь вхождение и исхождение твое.

Он поцеловался с Шемякою и, утирая слезы, сказал: «Когда узнаешь вину слез моих, не осудишь меня. Богу угодно было вложить ревность к ангельскому чину в душу сына моего, отрока младолетнего. Не смел я противиться и теперь привел его сюда, как агнца к стаду Христову. Приобретают праведные мужи душу чистую, а я – теряю сына!» Он закрыл лицо руками и зарыдал.

– Садись, князь Димитрий Юрьевич, – сказал игумен, – а ты, князь Димитрий Васильевич, не малодушествуй. Дорог сосуд серебряный, дороже позлащенный. Благодать на роде вашем, благодать на доме твоём! Волею притекает княжич твой в святую обитель – не препятствуй ему, да не согрешишь. Но, пусть он не обрекается еще монашеской жизни, пусть только живет с нами, совершает подвиги духовные – я еще не отнимаю его у тебя и не благословляю ему клобука иноческого.

«Отец игумен! – воскликнул отрок Андрей, – молю тебя: облеку скорее грешное тело мое в броню праведников!» Он сложил руки и поднял глаза к небу, уподобляясь ангелу, который молит воззвать его скорее от земли в небесную обитель...

– Нет, чадо мое, нет сего не будет! Ты юн, ты неопытен, тебе незнакомы еще страсти людские: ты их ведаешь, ты боишься их только по слуху. Приемлю тебя, но сан иноческий получишь ты через несколько лет – не прежде. До тех пор подвергнешься ты искусу, узнаешь отшельническую жизнь иноков, соразмеришь с нею силы свои, и ум отдаст за тебя отчет совести...

«Да будет тако!» – сказал Заозерский, еще раз утер слезы, обнял, благословил сына и задумчиво сел подле Шемяки. Юный Андрей прислонился к коленам отца своего.

Слезы навернулись у Шемяки. Он крепко пожал руку добродетельного князя Заозерского и сказал: «В какую обитель мира и тишины зашел я? Какими ангелами окружен? Зачем скрываете вы в лесах далеких добродетель и чистоту души, достойные благочестивых предков ваших?»

Тогда началась тихая, поучительная беседа между двумя князьями и игуменом. Не было удивления, ласкательства, лести и суеты. Шемяке не говорили даже ничего о Москве и бурных событиях современных, как будто собеседники его вовсе об них не знали. Какое-то чувство детского благоговения ощущал Шемяка при виде и словах князя Заозерского.

Казалось ему, что он внимает отцу своему. Он забыл в сии мгновения все смуты и волнения мирские. Никто не спрашивал Шемяку, *за чем* и с кем приехал он. Монастырская трапеза ожидала князей в общей трапезной. Внимая беседе старцев и чтению жития святых мужей, сидя в ряду со смиренными иноками, Шемяка внутренне сознавался, что никогда, никакая великолепная трапеза великокняжеская не доставляла ему столь великого наслаждения.

Дружески, как будто старого знакомого, просил потом князь Заозерский Шемяку посетить его хижину. «Говорю *хижину*, – промолвил князь, – потому, что мне совестно назвать *княжеским дворцом* свое жилище – бедное против ваших обширных чертогов княжеских, против великолепных теремов московских. Я давно уже и только один раз был в Москве, но слышу, что с тех пор она еще более разрослась и похорошела».

– Чашу воды студеной, под соломенной кровлею, предпочту я у тебя всем великолепным обедам и пирам московским, – отвечал Шемяка.

«У нас найдется даже чаша браги и чарка меду, – сказал Заозерский, – для такого дорогого гостя. Просим только не взыскать на нашей простоте. Но ветер разыгрывается на озере; надобно засветло убраться восвояси; потом мы вместе посетим здешнюю обитель. Пойдем, князь, простимся с отцом игуменом, и я еще раз благословлю чадо мое, моего милого Андрюшу!» – Он вздохнул.

Князя застали игумена, слушающего чтение жития св. Евстафия Плакиды¹⁴⁹. Трогательную повесть эту, чистым, ясным голосом, читал юный Андрей. Умилительно внимал несколько минут сему чтению Заозерский и потом стал прощаться с игуменом.

– Ветер крепчает, вода ходит сильная, – сказал ему игумен, – как поедете вы, князя? Не остаться ли вам здесь?

«Может ли озеро погубить своего властителя? – отвечал Заозерский, улыбаясь. – Охотно готов бы, но обо мне станут беспокоиться дома мои сироты, они и без того наплакались, прощаясь с Андрюшею, и теперь, конечно, ждут не дождутся меня».

– Скажи им, родитель мой, – воскликнул Андрей, – скажи поклон от меня брату Симеону и сестре Софье и уверь их, что такого же спокойствия и радости желаю я им в мире, какое чувствую здесь!

Заозерский прижал его к сердцу и едва опять не заплакал. Они простились.

Семь верст расстояния отделяет Каменский остров от берега озера. Узкая коса земли простирается от него до бере-

¹⁴⁹ *Евстафий Плакида* – один из ранних христианских мучеников; согласно византийской легенде полководец времени римских императоров Траяна (93-117) и Адриана (117—138), принял христианство, услышав голос Христа, раздавшийся с неба; вынес все испытания, посланные ему Богом – разорение, лишения, нищету, пятнадцатилетнюю разлуку с женою и сыновьями, вновь обрел богатство и славу; был обречен вместе с женою и детьми на мученическую смерть внутри раскаленного медного быка за отказ войти в языческий храм и поклониться языческим богам.

га. Но теперь, в осеннее время, сия коса была залита водою, и переправлялись на остров и с острова на берег в лодке. Один Чарторийский был с Шемякою. Большая лодка князя Заозерского стояла в затишье близ обители; несколько уда-
лых гребцов ударили веслами и ладья понеслась по волнам.

Только что отчалили от берега, как ветер будто с неба упал крутящим вихрем и яростно запенил волны озеоа: тучи за-
тмили небо; мелкий дождь засеялся туманом. «Не воротить-
ся ли, батюшка, князь Димитрий Васильевич?» – сказал стар-
ый кормщик. – «Ничего, брат Федул!» – отвечал князь. –
«Ну, коли воля твоя, княжеская, есть на то – помоги святи-
тель Христов, Николай Чудотворец! Ребята! раз два! Махом,
дружно!»

Гребцы грянули: *«Раз, два! Господи, благослови!»* – Ше-
мяка любовался неустрашимостью старого князя, не похо-
дившею на пылкость молодой души, но твердою, крепкою,
уверенною в себе. Заозерский спокойно разговаривал с Ше-
мякою, сидевшим подле него. Наконец буря до того усили-
лась, что самые опытные гребцы изъявили опасение. Темно-
та вечера, вода, вливавшаяся в ладью, холодный ветер, дождь
измучили всех, и главное – кормщик подозревал, что они
сбились с пути. Никогда не бывавший в бурю на воде, Шемя-
ка начал сомневаться. Но он дивился хладнокровию князя
Заозерского, и хотя не мог в темноте рассмотреть лица его,
но спокойные движения и стройные речи князя показывали,
что он нисколько не робеет. Никакого беспорядка в управ-

лении лодкою не было, как будто прогуливались в тихую погоду.

«Тише! слушать!» – крикнул наконец Заозерский громким голосом. Вблизи, сквозь порыв ветра, слышан был звон колокола. «Ну, слава Богу! – сказал он, – это куштинский колокол. Держи влево – раз!» Лодка повернулась так криво и быстро, что Шемяка, не ожидавший сего движения, упал бы в воду, если бы Заозерский не удержал его сильною рукою. Вскоре пристали к берегу. Крепость души и мужество воспламенительны в юноше, но когда встречаем их в старине, они внушают невольное к нему почтение. Это чувствовал теперь Шемяка. Толпа народа, около зажженных по берегу костров, издалека отвечала радостным кликом на голоса пловцов, кричавшим к ней с воды. Едва только лодка причалила, народ обступил Заозерского: одни целовали ему руки, другие готовы были броситься на колени, третьи восклицали: «Отец ты наш, батюшка князь! насилу тебя Бог принес!»

– Полно, полно, ребята! – говорил Заозерский. – Спасибо вам за любовь вашу ко мне! Да, шутка ли, стоите вы здесь на дожде, на холоде! Ступайте по домам!

«Ты за каждого из нас готов броситься в воду – как же нам было не подождать тебя, хотя мы и ведали, что Бог спасет тебя для нашего счастья!» – кричали многие из толпы.

Заозерский вошел в большую теплую избу, построенную подле пристани. Тут приготовлены были сухие одежды; спутники Шемяки находились тут же. Вскоре явилось несколько

дворян Заозерского, изъявлявших радость свою о благополучном прибытии князя. Лошади были подведены, и все отправились в княжеский дворец.

В самом деле, дворец Заозерского не походил на московские княжеские терема и дворы. Строение обширное, но в один этаж, совершенная простота в расположении, без далеких переходов, без огромных вышек, без фигурных украшений в покоех, теплых, чистых, красивых опрятностью, хотя дома знатных бояр московских превосходили это княжеское жилище многими затеями.

Молодой человек лет пятнадцати бросился на шею Заозерского, встретив его на крыльце: это был старший сын князя, Симеон. Слуги, бояре, дворские люди ожидали князя у ворот, на обширном крыльце, в сенях, в покоех. Все изъявляли радость свою, целовали руки князя и не думали чиниться с Шемякою. Добродушная, свободная веселость одушевляла всех, когда Заозерский попросил Шемяку сесть в переднем углу за стол, покрытый пестрою скатертью, и сам сел подле него; бояре и дворяне Заозерского шумною толпою заняли целую половину комнаты. Как добрый семьянин расспрашивал Заозерский весело ли провели время без него, шутил, смеялся, велел без чинов садиться старикам подле него; приказал принести доброго, горячего *взвару*, говоря, что он и гости его прозябли. Горячий взвар – домашняя брага, вскипяченная с разными пряностями, – был принесен в оловянных кружках. Молодежь, находившаяся в комнате,

стояла с почтением перед стариками, не смея сесть. Вскоре доложил дворецкий, что ужин готов. Заозерский просил Шемяку и спутников его разделить с ним простую хлеб-соль.

Большой стол накрыт был в особой комнате. Ни серебра, ни дорогого хрусталя не было. Чистый оловянный прибор стоял на столе. Обильны, многочисленны, но просты были кушанья. Не садясь еще за стол, Заозерский стал перед образом, прочитал вслух молитву и запел благовейно: «*Царю небесный, утешителю душе истинный!*!» Все пристали к его голосу. Благословив после сего ужин и собеседников, Заозерский сел в главное место, указал Шемяке место напротив, сын его сел налево, старики *поместились* по обеим сторонам, а в конце стола сели молодые люди. Число всех присутствовавших простиралось до сорока человек. Началась беседа свободная. Кубки с медом и пивом были подаваемы часто. На особом столе дворецкий, крестясь, разрезывал кушанье. Когда наконец разговоры между гостями разделились, и все были уже навеселе, Шемяка обратился особенно к Заозерскому.

– Скажи, князь Димитрий Васильевич, – спросил он, – как умел ты достигнуть этой простоты нравов, как ты мог воскресить в наше время, горькое и бурное, смирение, радушие наших предков и заставил себя любить, а не бояться? Уверен, что все твои люди добры, счастливы, что они любят тебя.

«В этом и я уверен, – отвечал Заозерский. – Я прежде все-

го молился Богу, князь; потом удалялся от блеска и шума, и не искал славы и богатства, отказался от всех свар и тягостей мира и величия. Когда отец делил нам наследство, я выпросил себе здешний, дикий, пустой край, застроил в нем селения, заложил Божии храмы, забыл, что я князь, почитал себя помещиком и семьянином. И Бог благословил труды мои. Теперь ожили пустыни; в суровом крае здешнем ничто не достается без труда: я сам подавал пример трудов своим подвластным. Как не любить им меня, коли я сам люблю их? Как не быть им добрым, коли я не подаю им худого примера».

– Счастливый человек! Но как внушил ты им такое радушие, такую простоту в делах и даже речах?

«Я изгнал все дворские чины, все обряды, отчуждающие сердце от языка. Ты назвал меня счастливым, князь, и ты не ошибся: я точно счастлив, как только на земле может быть счастлив человек. Богу угодно было и меня посещать горестями, но я принимал их в страхе Божиим, как испытания, а не наказания. Ты удивлялся моему бесстрашию во время бури на озере, но это не была человеческая храбрость, а упование, твердое упование на Бога, никогда непреложное, с коим не страшны волны, ни морские, ни мирские. С ним претекал я и по волнам жизни. Я женился уже не в молодых годах, и добрая супруга моя – дай ей Бог царство небесное! не долго погостила со мною. Она оставила мне трех сирот. Я не хотел посягать на второй брак, не хотел отдать детей в волю мачехи, и сам посвятил им свои заботы. Они утешают меня за то

в старости. Ты видел моего младшего сына – не моего уже, а Божьего. Я жертвовал им с верою Авраама! Вот старший.

Ни тот, ни другой никогда в жизнь свою не огорчали меня ни словом, ни делом. И где же им насмотреться и послушаться худого? Порок не рождается с человеком, но пристаёт к нему в мире, как заразительная болезнь. Симеон мой удалец на охоте, славный наездник; Андрей с малых лет был кроток, молчалив, склонен к грамоте. Наконец Бог внушил ему мысль посвятить себя служению Его. Благослови его, Господь! Симеону передам я своих остальных детей – дочь и подвластных моих, которых почитаю не рабами своими, но детьми. Он должен будет заботиться о том, как устроить судьбу сестры и подвластных после меня, и тем легче ему будет это, что дочерью Бог благословил меня кроткою, благочестивою и смиренною, а подданных у меня немного... Пой, князь: полюбив тебя еще прежде за дела твои, еще более, когда я увидел тебя, почитаю уже тебя другом моим. Не за то я тебя полюбил, что ты внук Донского и сын старшего из русских князей, но за дела твои, о которых и в нашу глухую сторону дошла весть. Да! кто мог оказать правоту души в таком деле, в каком оказал ее ты? Кто сам такой молодец, как ты, тому сердце и душа моя всегда открыты! Сейчас хочу я показать тебе этому доказательство. – Боярин! – сказал Заозерский, обращаясь к одному старику, – поди и скажи моей Софье, чтобы она пришла сюда, поздравила моего дорогого гостя с приездом и поднесла нам по чаре заздрав-

ной». – Боярин поклонился и вышел.

– У вас в Москве – говорят – татарский обычай прятать жен и дочерей вошел в сильное обыкновение. Но мы думаем еще по-старому: не крепкий терем бережет девичью славу, но добродетель и смирение. Жены и дочери у нас ходят всякое воскресенье в церковь Божию, и мы не скрываем их перед нашими друзьями и людьми искренними.

«Памятно мне будет пребывание у тебя, князь Димитрий Васильевич, – сказал Шемяка, задумавшись, – и грустно думать мне, что я старше тебя горем, какое перенес донине, и опытом в жизни человеческой и в страстях людских. Смотри на тебя, отдыхает душа моя от всего, чего ты не видал и не знаешь, и что я видал и знаю».

– Бог создал людей на счастье в жизни сей, но мы сами мытарим своим счастьем. Кто же нам велит обуреваться страстями и накликать на себя горе, если мы не знаем меры любочестию и тщеславию? Вот, не в осуд будь сказано, племянник мой Александр Ярославский – к чему кривил душою, в делах между твоим родителем и его племянником? Поверь, что он ничего не выигрывает. Не мое дело судить, а больно нездорова душе человеческой кривизна. Лучше малое с правдою, нежели многое с неправдою.

В это время возвратился боярин и сказал: «Князь Димитрий Васильевич! дочь твоя, княжна Софья Дмитриевна, по твоему приказу пришла приветствовать гостя твоего».

Две старые няни вступили в это время в комнату. Все при-

сутствовавшие, кроме князя Заозерского, встали. Вслед за нянями вошла девушка. Глаза Шемяки устремились на нее. Девушка низко поклонилась на все стороны. Шемяка – забыл отдать ей поклон... Ему показалось, что вся комната пошла кругом: он чувствовал, что вся кровь бросилась у него к сердцу и опять отхлынула от сердца.

Бела, румянец во всю щеку, высока, стройна, с голубыми большими глазами, в землю потупленными, с жемчужного повязкою, от которой висели поднизи на лоб и виски, с русою, длинною косою, заплетенною в широкою решетку во весь затылок и сходящую потом золотою полосою по спине, в ферьязе, обхваченном шелковым широким поясом, в золотых серьгах, жемчужными монистами на шее, с зарукавьями на руках, убранными драгоценными камнями, – такова была молодая княжна, дочь Заозерского.

Тихо, неслышными шагами, подошла она к отцу, молча поцеловала его руку, взяла у няни небольшой поднос, который няне передан был от дворецкого. На подносе стояли две серебряные чарки, налитые вином. Не смея поднять глаза, подошла она к Шемяке; руки ее дрожали, так что вино едва не плескалось через край чарок, и тихо начала говорить:

«Князь Димитрий...» Княжна забыла, как звали Шемяку по отцу, остановилась, щеки ее загорелись сильнее.

Шемяке хотелось бы затаить свое дыхание на это время, чтобы вслушиваться в каждый звук соловьиного ее голоса.

– Юрьевич, – промолвил отец, смотря на дочь с любовью

и радостью.

«Князь Димитрий Юрьевич, – сказала тогда княжна, – поздравляю тебя с приездом и прошу выкушать на здоровье».

Что-то хотел сказать Шемяка, но не умел, поклонился княжне, взял чарку, другую поднесла княжна отцу своему, всем присутствовавшим, кроме молодых людей, поднесены были также чарки. Общий голос: *Здравия князю Димитрию Юрьевичу!* – раздался в комнате.

– Князь Димитрий Васильевич, будь и ты здоров, с любезными детками своими и со всеми домочадцами! – отвечал Шемяка, выпил чарку и хотел поставить на поднос; но руки княжны дрожали, как уже говорили мы, а Шемяка, Бог знает от чего, смущался – и чарка покатилась с подноса и упала на пол. Княжна ахнула и побледнела. Шемяка поспешил поднять чарку, извиняясь в неловкости, а княжна снова зарумянилась, улыбка мелькнула на ее устах и глаза как-то нечаянно встретились с глазами Шемяки.

Скромно поклонилась она опять всем; отец поцеловал ее в лоб, и она вышла, сопровождаемая своими нянями.

– Ну! сядем опять и выпьем! – сказал Заозерский. – Девичье дело робкое, и скромность, лучше камня самоцветного, убор девушке. – Шемяка что-то бормотал о счастье Заозерского в детях.

«Да, Богу благодарение за детей моих – в глаза и за глаза скажу... Ты, Семен, этим не гордись, но помни, что все от Бога и от того, что ты помнишь заповеди Его», – сказал За-

озерский, принимая поднесенный ему кубок. Растроганный сын поцеловал его руку.

Ужин был кончен; но кубки продолжались, при беседе умной, веселой, растворяемой благочестием. Князь велел подать даже заповедных своих наливок. Уже навеселе и поздно встали из-за стола, и после молитвы, прочитанной вслух Заозерским, Шемяку проводил юный князь Симеон в отдельные покои, для гостей назначенные.

Рассеян, странен сделался Шемяка после ухода княжны Софии Дмитриевны. Он мешался в ответах и даже заставил некоторых из присутствовавших тихонько усмехаться и покашливать для скрытия своего смеха. Сказав несколько слов Чарторийскому, Шемяка спешил лечь, простился с ними, и – не мог уснуть. Не знаем, что он видел во сне. Не угадаете ли вы?

Глава III

*Кузнец, кузнец! скуй мне венец;
Из остатков золот перстень:
А мне тем ли венцом венчаться,
А мне тем ли перстнем обручатися...*

Старинная песня

Три дня прошло со времени приезда Шемяки к князю Заозерскому, но не видно еще было сборов в обратную дорогу. Чарторийский с досадою подошел к Сабурову утром на четвертый день, оглянулся кругом и сказал ему:

– Слышно ли что-нибудь о нашем отъезде?

«Нет, я ничего не знаю», – отвечал Сабуров.

– Не в добрый час пустились мы в эту дорогу – не тем ее помянуть!

«А что тебя сердит, князь?»

– Что? Хорош спрос! Да, что мы здесь делаем? Я не узнаю ни себя, ни князя Димитрия Юрьевича. Один только и остался лихой князь на Руси, и тот начал теперь по монастырям ездить, завез нас в эту глушь и растобарывает с ханжой, старичишкой, на которого прежде и не взглянул бы.

«Тебе не нравится Заозерский?»

– Неужели тебе он нравится? Чем этот князь отличается от богатого смерда? Где он бывал, что видел? Чем может похвалиться? Только что монахов кормить, да о Писании тол-

кует и сам на поварню заглядывает. Без него баба горшкащей в печь не поставит. Заметил ли ты, что у него подле стола, на стенке, висит большой ключ? Это ключ от его княжеского погреба. Вчера он приводил какие-то слова из духовной... какого бишь князя...

«Ведь он и твой предок был, этот князь – как же ты его не помнишь?»

– Что мне от этих предков, когда они мне ни в кармане, ни на земле ничего не оставили... Да, вспомнил: какого-то *Мономаха!* Ты расхохочешься, Сабуров, что этот Мономах, монах, заказывал детям в духовной¹⁵⁰: «В дому своем сидя, не ленитесь, но за всем сами смотрите; не зрите на тиуна, ни на других, чтобы не посмеялися пришельцы ни дому, ни столу вашему». Слова эти так забавны, что я заставил Заозерского повторить их раза три и затвердил.

«И по завету предков Заозерский смотрит сам за погребом и за горшками в печи? Ха, ха, ха!»

– Всего непонятнее: как он умел облелеять нашего князя? Тот с ним не расстается, глядит ему в глаза, не наслушается его речей и совсем почти не говорит со мною.

«И со мною. Он сделался печален, уныл, мрачен. Знаешь ли что? Заозерский совсем не так прост, как кажется: он старик плут!»

¹⁵⁰ ...этот Мономах... заказывал детям в духовной... – Имеется в виду «Почтение» Владимира Мономаха (см. прим. к с. 238). Далее – неточная цитата из «Почтения» (см.: Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы, с. 400/401).

– Да, плут. Ты догадываешься?

«И ты?» – Они взглянули друг на друга, как будто не смея сказать угаданной ими друг у друга мысли.

– Его женят! – шепнул наконец Чарторийский.

«Да его обабят! – промолвил также Сабуров, – и тогда плохо нам будет...»

– Не в добрый час пустились мы в эту дорогу – не тем она будь помянута!

«Ты любишь эту поговорку, князь?»

– Дедушкина. Только у меня и наследства, что добрый меч дедовский, да несколько поговорок, как, например, эта: помути, Боже, народ, накорми воевод!

«Да – когда наш князь сладит с этим стариком¹⁵¹ – прощай наши веселые гулянки, лихие забавы! Нашего князя постригут и пойдет род маленьких монахов, как боголюбивый княжич Андрюша».

– Впрочем, боярин... Черт побери – что за девка! Кровь с молоком! Только я не люблю белобрысых...

«Ну, что в ней хорошего: она слишком сухопара; мне давай дороднее! Вот моя красавица, когда поперек руками не обнимешь!»

– Да ведь ты не князь Долгорукий! Нет! что ни говори, а за одни глаза этой пустыньницы можно полвека отдать. Что за глаза, Сабуров! Не дивлюсь, если у Димитрия Юрьевича сердце ретивое с места они сшибли!

¹⁵¹ Сладит с этим стариком – договорится; ладить – договариваться.

«Глаза, глаза! Я охотник не до глаз, но до румяных щек, а наша монахиня-княжна совсем не румяна. У нея краска, как роза; настоящий румянец должен походить на красный мак».

– Однако ж, если он женится на ней – ведь издохнешь с тоски, Сабуров! Уговаривай князя поскорее уехать в наш благословенный Углич. Ох! если бы теперь пуститься нам в Москву, либо в Звенигород! Ведь уж там началась свалка – была бы работа мечу дедовскому!

«Ты, кажется, имеешь сведения верные об этом, князь Александр?»

– Я? нет! Я так думаю по рассказам этого новгородца, которого видал у тебя в Угличе, а вчера нечаянно здесь встретил.

«Встретил?» – с беспокойством спросил Сабуров.

– Да, – отвечал Чарторийский, не заметив его беспокойства. – Ты не видал его разве? – продолжал он.

– Нет. Да, зачем он здесь?

«Стану я спрашивать! Ведь эти новгородцы везде шатаются и все знают...»

Разговор прерван был приходом Шемяки. Собеседники остановились. Шемяка был задумчив, лицо его бледно.

«Поди, – сказал он, обращаясь к Сабурову, – и спроси у князя: могу ли я его видеть теперь?»

Сабуров пошел. Шемяка, без мыслей, казалось, смотрел в окно. Чарторийский осмелился начать разговор,

– Вот на счастье наше, морозы, и снег повалил. Если три

дня пойдет он так, то можно будет лихо прокатиться до дома.

«Да, мы скоро поедем...»

– Право, князь? – сказал весело Чарторийский, но угрюмый взгляд Шемяки остановил его. – Прости меня, князь... – продолжал он.

«Оставь меня, любезный мой товарищ и друг – я теперь не в состоянии ни шутить, ни смеяться, ни говорить, ни думать...»

– Князь! не для одного смеха и радости Бог дал мне душу, но и для того, чтобы делить печаль друзей моих...

«Знаю, знаю, уверен в этом, но...»

Сабуров возвратился, донося, что встретил князя Заозерского, шедшего к Шемяке. Вслед за ним вступил Заозерский. Он нес на руках небольшую книгу.

– Ты угадал мое намерение видеть тебя, любезный гость, – сказал Заозерский. – И знаешь, зачем шел я к тебе? Как сборщик на церковь Божию, ктитор двух монастырей, предложить: не угодно ли будет тебе пожаловать что-нибудь на сооружение нового придела в Спасокаменской обители.

«Охотно, охотно, князь! – отвечал Шемяка, – сколько ты назначишь...»

– О, нет! что тебе Бог на сердце положит, то и пожалуй.

Сабуров и Чарторийский между тем вышли. Шемяка взял книгу и казался в замешательстве, Заозерский смотрел на него с удивлением. Шемяка кинул книгу на стол и бросился обнимать старика.

– Что с тобою сделалось, князь? – спросил Заозерский беспокожно.

«То, что от одного слова твоего, князь, зависит вся судьба моя. Я решился – реши ты! Если бы я говорил с ханжою, или коварным князем каким-нибудь – может быть, я был бы осторожнее. Но с тобой говорить хочу я, как с самим собою! При первом взгляде на тебя, казалось мне, что я вижу в тебе родного, отца – князь! будь мне отцом! От твоего слова все зависит!»

– Любезный гость мой! что ты говоришь? Боюсь ошибиться...

«Ты не ошибешься – да, не ошибешься!»

– Неисповедимы судьбы Божии! – сказал Заозерский, крестясь.

«Да, неисповедимы! Надобно было мне бежать от свар и смут княжеских, бежать сюда, узнать тебя, увидеть ее! Князь Димитрий Васильевич, отец мой родной! прости меня – она будет со мною счастлива – не гонись за славой и богатством! Знаю, что она достойна венца великокняжеского – требуй его, скажи, ты увидишь... я готов и его добывать...»

– Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу моему! обдумал ли ты все это?

«Я не в состоянии ни о чем думать. Знаю только, что если ты не отдашь ее за меня, то я сейчас еду, и не в Углич мой, но в Москву, в Москву, на битву, в бой – за брата, против брата – кто первый начнет, тот будет мой товарищ!»

– Бурный порыв юности! Да, таким я всегда представлял его себе – таков он и есть! – сказал Заозерский. – А что теперь мне делать? Вразуми меня, Господи!

«О, я знал, я предчувствовал, что мне суждена везде горькая участь, что я не стою ее, что мир благочестивого рода вашего возмущу я собою, что не мне владеть этим ангелом Господним...»

– Что ты говоришь, князь! Не грехи: человека называть ангелом!

«Да неужели ты думаешь, что она человек? Но, конечно, и больше ни слова! Князь Димитрий Васильевич! прощай – спасибо тебе за хлеб за соль, спасибо за то, что ты указал мне, как и в этом треволненном свете можно быть счастливу. Ну! душа моя забудет, отдохнет...»

– Да, постой, постой! Ох, какой это бешеный народ-прости меня... Князь! дай мне одуматься...

«Тут нечего думать! Говори, если еще не сказал ты довольно ясно».

– Я не привык поступать так, князь Димитрий Юрьевич! Благословясь и подумавши начинают такое важное дело...

«Да, разве не благословение Господне святое чувство это, которое ощущаю я в сие мгновение к твоей дочери? Не показывает ли оно, что Бог соизволяет на мое счастье? Осталось за нами, за людьми! Чего еще тебе надобно? Послов, сватов? А! так и ты подвержен человеческим слабостям, тщеславию, гордости? А я думал видеть в тебе совершенного человека!»

– Един Бог совершен; но ты грешишь, князь, и обвиняешь несправедливо старика, которого хочешь назвать отцом своим.

«Будь же им, будь – я забуду тогда имя князя!»

– Сядь, сядь, любезный князь мой! – сказал Заозерский, усаживая насильно Шемяку. – Говорю тебе: дай мне опомниться, одуматься...

«Тут нечего думать, повторяю тебе – если ты не князь только, а точно человек».

– Но ты князь столь великого рода: у тебя есть родня, есть друзья... Их мысли...

«Нет у меня никого – ты видишь сироту, у которого нет ни отца, ни матери: этот сирота пришел к тебе и просит тебя быть отцом его. Что тебе до моих родных!...»

– Дай мне сроку... хоть на три дня.

«Прощай, князь! стало быть, ты не отдаешь мне своего неоцененного сокровища!»

– Хоть немного подумать...

«Три дня! Да переживу ли я эти три дня? Я лишился пищи и питья, сна нет, голова кругом, а он на три дня откладывает, как будто судное дело, по которому справки собирать надобно! Ох, ты, человек праведный! Диво ли, что ты был всегда добродетелен, если ты не знал ни одной страсти человеческой, если ты никогда не испытывал и этого проклятого чувства, которое хуже ада, которое на мученье людское на белом свете...»

– А давно ли называл ты любовь свою благословением Божиим? – Заозерский улыбнулся.

«Не смейся надо мною, князь! Сам я всегда смеялся над зазнобами и ахалками – почитал это бабьим делом. Да, никто же и не любил так, как я! Где тебе знать, как любят!»

– Нет! я знаю его, это, и горестное, и сладостное, чувство, хотя не испытывал его столь сильно, как ты. Добрую подругу свою знал я с малолетства и любил ее, сначала как сестру, а потом Бог привел ее быть мне супругою, и – счастлив, счастлив был я с нею!

«Тебе дорога память ее?»

– Ее память? И теперь, хоть уже много лет она в сырой земле... эх! не напоминай об ней! – Слезы покатались в два ручья у старика, и он закрыл глаза рукою.

«Нет! нарочно напоминаю: ее памятью, если ты еще помнишь ее, заклиная, молю тебя, князь, добрый мой князь!» – Заозерский обнял Шемяку и, целуя его в пламенные щеки, сказал, усмехаясь сквозь слезы:

– Но, ты все еще не сказал, чего ты желаешь?

«Руки твоей Софьи Дмитриевны, ее одной! Князь! не мучь – скажи мне!»

Заозерский обнял его еще раз и тихо проговорил: «Она твоя – твоя на веки веков!»

Невольно упал на колени Шемяка и целовал руку старика. Обратив глаза к образу, Заозерский проговорил: «Боже великий, неисповедимый! Во имя Твое, святое, да будут

они благословенны! Сократи дни мои и предай им долгоденствия; возьми мое счастье и отдай его им! Князь Димитрий Юрьевич! отдаю тебе дочь свою милую, блюди ее, храни ее!» Он благословил Шемяку. – С радостным кликом обнял его Шемяка. «*Отец мой!*» – «*Сын мой!*» – слышны были их восклицания.

Плакал Заозерский, обнимая Шемяку, плакал он, сев подле него на скамью и тяжело дыша. «Судьбы Бога тайные, – сказал он наконец, – думал ли я, отводя сына моего во храм Господа, что там ожидал уже меня сын, Богом ниспосылаемый в замену того, которого жертвовал я Господу?.. Но, нет: сердце мое вещало мне с первого на тебя взгляда, что ты мне не чужой!»

– И мне, – сказал Шемяка. – Говорю тебе, что мне казалось с первого раза, будто ты мне родной. Грусть непонятная и радость какая-то тревожили меня. Но когда увидел я твою Софью – все разрешилось, и я сказал сам себе: вот моя суженая! *Моя!* ох, отец мой – *моя?* не правда ли?

«Да, да! Сбил ты меня с толку – ей, ей! какой человек – я и сам не опомнюсь... Да, как все это сделалось!»

– Он у меня спрашивает! Да, я что могу растолковать тебе?

«Довел меня Бог видеть дочь мою невестою князя Димитрия Юрьевича, о котором столько говаривали у нас. Что теперь скажут большие князья и знатные люди? Князь! опрометчиво поступили мы, не подумали – меня станут осуждать

и тебя... Нам надобно было обо всем этом раздумать...»

– Думай отныне за меня ты! я твой сын и от всего отказываюсь. Не внук Донского, но простой углицкий князь будет зятем твоим... Пойдем же к ней, отец мой! пойдем к ней поскорее!

«Как? погоди до вечера; дай собраться; мы вас благословим и тогда посидим рядом и полюбуемся на вас».

– Ждать еще? До вечера? Нет, нет, отец, родитель мой! сжался надо мною – дай мне хоть взглянуть на нее...

«Знаю я это *взглянуть!* – сказал, усмехаясь, Заозерский. – После, после!»

– Нет! теперь, пойдем, пойдем к ней, – Шемяка тащил его за руку.

«Эдакая горячка! погоди, говорят!»

– Безжалостный человек! ты нагляделся на нее с малолетства, а я только раз видел ее, и после того прошло три дня!

«Да, ведь теперь она не в приборе: ты разлюбишь ее, ненарядную, увидевши днем. Она и не выйдет к тебе – она такая упрямая, своенравная – по мне пошла!»

– Отец! ради Бога Создателя!

«Вот ведь с этой молодежью – свяжись, так и не рад будешь! Да, меня-то за что ты обнимаешь, голова удалая, сердце ретивое? Я Софья, что ли?»

– Ты отец мой, ты мой спаситель!

«Постой же, я велю хоть позвать ее из терема к себе – постой – видно, от тебя не отбиться!»

Заозерский пошел. Шемяка остался один. Ему казалось, что земля горит под его ногами. Он задыхался от жара и подошел к печке, пощупать: не слишком ли печка была натоплена в этом покое. Но печку в этот день еще и не топили... Время летело. Шемяка терял терпение. Он хотел уже идти к Заозерскому, когда старик дворецкий вошел и, радостно усмехаясь, сказал: «Князь Димитрий Васильевич ждет тебя, князь Димитрий Юрьевич».

Холод пробежал по телу Шемяки от этих слов. Он побледнел, хотел ступить ногою и не мог. Дворецкий в испуге подбежал к нему. «Ничего, ничего, добрый старик – от счастья не умирают!» – сказал Шемяка.

Счастливец!.. Смеешь ли роптать, ты, бедный человек, на бытие свое, если Бог украшает жизнь твою такими минутами, такими перлами счастья!

Поспешно пройдя до молельной князя Заозерского, Шемяка остановился. Дворецкий отворил дверь: там стоял Заозерский, старик боярин его, князь Шелешпанский, и старая няня – подле нее стояла София, бледная, как полотно.

Испуганный ее бледностью, Шемяка вошел робко и остановился. Заозерский стал на колени перед кивотом, где находились в богатых ризах образа, и начал молиться. Все преклонили колена, и Шемяка следовал примеру других, сам не чувствуя что делает.

После трех земных поклонов Заозерский встал. София хотела подняться, но не могла. «Дочь моя милая», – сказал

ей Заозерский. Яркий румянец показался на щеках ее, и она поспешно встала. «Дай мне твою руку», – продолжал Заозерский. Как будто лихорадка била Софию. Она опять побледнела и вся дрожала.

С неизъяснимым чувством радости, горести – нет! ни радости, ни горести – смотрел на нее Шемяка и без мыслей промолвил: «Княжна! родитель твой согласен на мое счастье, но ты...»

Глаза Софии обратились к нему и слезы, как крупный жемчуг, посыпались с ресниц ее. Она готова была лишиться чувств. Няня поддержала ее.

– Князь Димитрий Васильевич! – сказал Шемяка, – неволю только татары берут. Если княжна...

«Давайте мне ваши руки!» – отвечал Заозерский, со слезами на глазах и с улыбкою на устах.

София протянула руку, Шемяка тоже сделал, и ему показалось, что огонь пробежал по всему телу его, когда рука его коснулась руки Софии. Сложив руки их вместе, Заозерский проговорил: «Бог да благословит вас! Живите и веселите нас, стариков!»

Схватив руку Софии, Шемяка устремил взоры свои на глаза ее. Жарко вспыхнули щеки ее; она скрыла лицо свое на груди няни.

«Княжна, княжна! одно слово из уст твоих! Одно твое милое слово!»

– Полно, князь, – сказал Заозерский. – Девичьи слова до-

роги – их не скоро добьешься.

«И, матушка княжна! полно совеститься: ведь уже князь Димитрий Юрьевич теперь твой суженый, С Божьего и с родительского благословения!» – говорила няня.

– Нет, княжна! скажи мне, скажи, если я тебе не нравен, если ты не любишь меня... – говорил Шемяка, не опуская руки Софьиной.

«Да, скажи ему, родная!» – говорила няня, усмехаясь. София что-то пробормотала няне. – «Что говорит она?» – воскликнул Шемяка.

– Да, что говорит: *я уж его и во сне сегодня видела!* Вот что говорит она.

Напрасно София хотела загородить рукою уста нескромной няни: слова были сказаны; тайна ее открылась. Безжалостная старуха отодвинулась от нее, и София осталась одна, выданная страстным взорам Шемяки, с раскрасневшимися щеками, на которых бледность не смела уже появляться. София не знала, куда ей скрыться от людей, не смела поднять глаз. Шемяка любовался ею и не отваживался к ней приблизиться. Заозерский, няня и Шелешпанский смотрели на них улыбаясь.

«Ну, коли так, то о согласии ее и спрашивать нечего. Кто во сне девичьем мерещится, тот наяву любится. Да впрочем, ведь я ее не принуждал; она добровольно сказала мне: *Да!* Не правда ли, Софья?»

– Да, – прошептала она, едва внятным голосом. Шемяка

– не говорил ни слова.

«Ну, поздравляю тебя, князь Димитрий Юрьевич: ты такой же молодец бить врагов, как уговаривать стариков и завоевывать сердца девушек. Поздравляю тебя!»

Заозерский обнял Шемяку. Шелешпанский рассыпался в поздравлениях после того, наговорил даже много и такого, отчего щеки невест горят ярче. Старики наши любили шутку и позволяли себе быть нескромными в шутках при таком случае. Дошла очередь до старой няни: весь сказочный набор приветствий рассыпала она, уподобляя невесту бурмитской жемчужине, белой лебедке, светлому месяцу, а жениха камню самоцветному, ясному соколу и светлому солнышку. «Да, я уж предвидела, – продолжала болтливая старуха, – что этому быть, когда с подноса княжны чарка упала, как она подносила здоровье князю Димитрию Юрьевичу. Дай вам, Господи, любовь да совет, мир да привет на тысячу лет. А теперь вам надобно, по нашему обычаю, поцеловаться. Поцелуй, как замок, два сердца смыкает, и после него уже нельзя воротиться, да и не захочется: так тебя и тянет к любимому человеку, которого хоть один раз в жизни поцеловал!»

Легко прикоснулся губами своими Шемяка к ротику Софии. «Княжна! – сказал он ей, – на земле ли я, или уже в раю небесном?» Взгляд, брошенный украдкой, взгляд нежности, заботы, замешательства, был единственным ответом Софии.

Долго хотел бы Шемяка пробыть в этом сладостном забвении самого себя, но Заозерский напомнил, что пора рас-

статься. Счастливец теперь имел уже довольно сил исполнить повеление старика. Заозерский и Шемяка встретили толпу бояр и дворян в большой комнате. Они собрались радостно приветствовать своего князя, поздравлять Шемяку и потом спешили готовиться к вечеру. Шемяка ушел в свои покои; ничего не говорил он о своей невесте с спутниками – с ними не хотел он говорить – и Чарторийский и Сабуров проклинали Заозерского, думая, что их время уже миновалось. Так поступают все угодники страстей своего повелителя, если видят, что он разрывает ничтожный плен их. К вечеру весь дворец был освещен. Богато одетый, цветущий радостью явился Шемяка и казался первым красавцем в кругу придворных князя. Он в самом деле похорошел в несколько часов: время красит, безвременье старит. Вывели невесту, со всеми обрядами, в дорогом убранстве и, по прочтении молитвы священником, благословили дедовским образом жениха с невестою. Тогда мог Заозерский полюбоваться, видя рядком милую дочь свою с юным ее женихом. Пошли кубки по рукам. По странному смешению религиозных обрядов с житейскими обычаями, едва благословили невесту, и едва священник раскланялся, едва прошли слезы умиления и благоговение на лицах присутствовавших, во дворе княжеском застучали в медные тазы и железные сковороды, старики пустились в шутки и прибаутки, и хор девушек, подруг княжны, призванных к ней с обеда и разряженных, запел свадебные песни. Хотите ли знать их?

Не лежи, черный бобр, у крутых берегов,
А черна куница возле быстрой реки;
Не сиди, князь Димитрий, во чужом пиру,
Князь ты Димитрий Васильевич;
Снаряжай свадебку молодой княжны.
Молодой княжны Софьи Дмитриевны!
– Глупые вы люди, неразумные!
Уж у меня свадьба снаряжена,
Девять печей хлеба напечено,
Десятая печь витых калачей,
Витых калачей с завитушками;
Девять поставов браги наварено,
Десятый постав меду крепкого;
Уж у меня приданое изготовлено!
Девять городов, с пригородками,
Девять теремов, с притеремками.

* * *

На заре рано, на утренней,
На восходе красного солнышка,
На закате светлого месяца,
Не от ветра, не от вихоря,
У князя Димитрий Васильевича
Учинилась беда великая:

Вода на дворе возлелеяла,
Три кораблика уплыло —
Первый с червонным золотом,
Второй со светлым серебром,
Третий с красною девицею,
С княжною Софьею Дмитриевною.
Не жаль мне червонного золота,
Не жаль мне светлого серебра,
Только жаль мне красной девицы:
Та у меня была дочь родимая,
Дочь родная, дочь любимая.

* * *

Венули ветры по полю,
Грянули веслы по морю;
Ходит княжна в высоком терему,
Княжна Софья Дмитриевна,
То подумаешь, то раздумаешь;
С кем бы мне думушку придумавши,
С кем бы мне крепкую раздумаши?
Думать думу с родным батюшкой —
Та ей дума не верна, не крепка,
Те словеса ей не понравились;
Думать думу с одной матушкой —
Та ей дума не верна, не крепка,

Те словеса ей не понравились;
Думать думу с молодым князем,
Князем Дмитрием Юрьевичем —
Та ей дума верна и крепка,
Те словеса ей понравились.

Так пели подруги княжны, пока старики и гости чокались кубками и шумели; жены князей и бояр сидели неподвижно, а жених наговаривал невесте речи любви и счастья, держал ее белую руку в своих руках и иногда, украдкой, целовал ее румяные щеки и нежный ротик. Ужин был сытный и — пьяный. Расставаясь, при громких песнях, София сама поцеловала Шемяку, когда старики обнимались и, с шумом прощаясь, клялись в вечной любви к Заозерскому и в непреходящем счастье жениха и невесты. Как ни тщательно старались дворецкие Заозерского помогать гостям убираться домой, однако ж двоих нашли потом в углу, забытых. С трудом могли уверить их, что они расположились спать не дома. Один послушался и скоро побежал, когда объявили ему приказ супруги его; у другого совсем пропал хмель, когда нарочно стали говорить подле него, будто у соседа его, в прошедшую ночь, вытащили скринку с деньгами из кладовой.

Три дня, каждый вечер, продолжались подобные гулянки. Радовались все подданные князя; приезжали поздравлять его даже все монахи из Каменского и Куштинского монастырей. На четвертый день угощали обедом их и духовенство, а простому народу выкатили целые бочки браги. Неве-

ста являлась только по вечерам; днем была она невидима, и только жениху позволялось утром, на минуту, являться в ее терем. Шемяка забывал весь мир. Пора было миру сказаться счастливому князю: он был слишком счастлив!

Глава IV

*Тюрьма ты моя, тюрьма крепка!
Пошире ты гробовой доски,
Да тяжеле ты ее в сотеро,¹⁵²
Подлиннее ты домовища дубового,
Да теснее в тебе молодцу удалому!*
Старинная песня

– Ну, великий господин, властитель всех бесов на свете! говори: правда ли это? – спросил боярин Старков, поспешно вставая, едва Гудочник вошел в комнату; боярин сидел в это время за столом, держа в руках большую оловянную кружку. «Правда», – отвечал Гудочник, усмехнувшись.

– Не иму веры, дондеже не... – боярин не пригадал, как окончить ему свою духовную пословицу.

«Дондеже не положу железы на руце и ноze его, и не упрячу буйной его головы в каменный мешок», – прибавил Гудочрик.

– Воля твоя, старый хрен – это невероятно, этого не может быть! Повтори, что ты говорил мне?

«Глупость людская, особливо когда в дело вмешиваются бабьи глазки, всегда вероятна и вернее ума. Пожалуй, повторю: прежде я говорил тебе верные вести, что Шемяка хочет ехать сам в Москву; потом, что он едет; теперь говорю, что

¹⁵² В сотеро – т. е. в сто раз.

он скоро к тебе появится и что ты должен встретить дорогого гостя с подобающею честью, потому, что за этим именно послан ты сюда от Великого князя Василия Васильевича».

Старков крестился обеими руками: «И это точно подтверждается?»

– Боярин! есть всему мера – и вере и неверию. Сейчас прискакали расставленные по дороге ближние гонцы: Шемяка скачет за ними и прямо сюда, в село Братищи, где ты и я ожидаем его.

«Он помешался!» – сказал Старков, усмехаясь жалостливо.

– Нет! когда женится, то помешается, а теперь только дуреть начинает. Не знаю, однако ж, боярин, что тебе тут кажется непонятно! Я рассказывал уже тебе, что Шемяка за сватался в таком семействе, где чарки не выпьют без земного поклона, а дети с рождения клобук надевают. Старик Заозерский начал увещевать князя, что ему, яко христианину и яко человеку, не годится быти во вражде с Великим князем; что благо смиряющемуся, и что блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся. Шемяка поколебался: ведь у него куриное сердце, скоро переходит и долго не продолжается. Тут и будущий тесть и невеста сильнее пристали к князю; призвали на помощь монахов; будущий тестюшка твердил одно: «Князь! отдаю я тебе мое единственное детище; препоручаю тебе и сына своего. Я стар, не сегодня, так завтра умру; если ты останешься во вражде, отравишь ты послед-

ние часы моей жизни, заставишь ты меня при дверях гроба думать не о спасении души, а о мире, где покину я тебя и дочь на произвол мирской бури. Да не зайдет солнце во гневе нашем...» Ну, и прочее, и прочее. А пока говорил это Заозерский и подговаривали ему монахи, молодая невеста прижималась к горячему сердечку жениха, роняла жемчужные слезки и только шептала: «Если любишь меня – помирись с Великим князем!» Эти слова – немного их было, да сильно отзывались они в сердце Шемяки: «Я не враждую, я давно простил московского князя. И теперь, когда я так счастлив, могу ли иметь на кого-нибудь злобу? Но Великий князь притворщик, хитрец, лукавый человек. Он ничему не поверит, когда в то же время брат мой собирается на него войною. И могу ли я отдать ему брата головой?» – «Злые люди разлучили всех вас – не выдавай брата, но помири их: не может быть, не люди будут они, брат твой и Великий князь, когда ты изъяснишь брату своему всю невозможность борьбы с Москвою, когда Великий князь увидит в то же время твое доброе расположение. Они взаимно уступят друг другу, и мир процветет в потомстве Дмитрия Донского! С каким весельем тогда встретим мы тебя, миротворца братьев, победителя не мечом, но словом честным и добрым!» – «Княжна Софья Дмитриевна! узнай, как я люблю тебя, как слушается твой жених твоего родителя: я еду завтра же и – *прямо в Москву!*» – вскричал Шемяка. Побледнела, задрожала молодая княжна-невеста. – «Да! *в Москву!* – продолжал Шемяка. – Если

приступать к чему, так приступать душою и сердцем немедленно, прямо, искренно. Я еду в Москву: звать на свадьбу мою брата моего Василия Васильевича, со всем его великокняжеским двором. В Угличе все у меня готово: терем светлый, мед сладкий, пиво крепкое – отправляйтесь туда; верно, вы застанете уже там брата Димитрия – я привезу с собою брата Василия Юрьевича и Великого князя, или приеду сказать вам: я простил его, но мира между ними нет! Я смирился; но он питает вражду, семя диавольское. Тогда, да судит Бог виноватого!» – Предприятие Шемяки не на шутку испугало всех. Но таково свойство у этого князя: если он на что решится, то предается этому решению душою и сердцем... Рассказывать ли тебе, боярин, как после того расставались, плакали? У меня были там, в Заозерье, такие приятели, которые ни одного словечка не проронили и, может статься, наперед подсказывали многим, что надобно было говорить.

Старков качал головою: «Знаешь ли: ведь я не поверил было ушам своим, когда Великий князь призвал меня и сказал, куда и зачем меня отправляют?»

– Ты изумился, кажется, боярин, когда и меня увидел и когда Великий князь велел тебе поступить согласно тому, что я скажу?

«Признаюсь и в этом. Как мне было и не изумиться, если ты сам не забыл, с какой поры не встречались мы с тобою? Хоть ты и уверяешь, будто тогда не ты, но какое-то демонское наваждение обморочило всех нас – однако ж... хм!..

садись-ка, крестный батюшка, который благословил воевод московских в дураки, – примолвил Старков, указывая место Гудочнику, – садись и растолкуй, где пропадал ты с тех пор, что ты подельывал и как ты успел из притоманных друзей покойного старика Юрия сделаться таким другом нашего Великого князя? Не слишком-то доверчив наш князь Великий, и не надивлюсь я, как умел ты попасть к нему в такую великую милость!»

– Не всякий тот друг, кто с тобой брагу пьет; не всякий враг, кто на тебя с мечом идет. А сверх того, боярин, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Светило сегодняшнее солнце – мы на нем онучки сушили; засветит завтра другое – мы будем сушить на нем. Позволь мне отложить на время дружескую с тобою беседу – от тебя ничего за душою не скрою, но теперь припомню тебе: все ли у тебя исправно и готово для встречи дорогого гостя?

«Да, да, я так изумился последней вести, что я забыл об этом. Распоряжено все; да, только надобно присмотреть за народом, так ли все сделано. Право, изумился я, и все было забыл...»

– Изумляться ничему не надобно, – ворчал Гудочник, – даже и тому, что ты поумнеешь. – Он проводил глазами Старкова и задумавшись сел на лавку.

День вечерел, становилось темно, как бывает темно в душе человека, когда он замышляет злое. Прискакал еще голец и сказал, что Шемяку оставил в пяти верстах. Старков

и бывшие при нем московские чиновники выехали за село. Несколько воинов стояло на почетной страже, близ избы, где назначен был ночлег Шемяке. Жители села толпами высыпали в поле. Все радовались, казалось, прибытию дорогого гостя.

Шемяка был охотник до скорой, лихой езды. По дороге, повсюду, от самой границы Великого княжества до Москвы, приготовлены ему были подставные щегольские тройки. Шемяка ехал с малою свитою, с Сабуровым и Чарторийским. Только пыль снежная взвивалась из-под копыт лошадиных, и множество колокольчиков на дугах звенело и гудело изда- лека.

Увидя Старкова, Шемяка остановился. Ласково, весело выслушал он приветствие боярина, поклон от Великого князя и приглашение отдохнуть в Братищах, где изготовлен был сытный ужин. Сани привернули к ночлегу.

Шутливо, приветливо поздоровался опять Шемяка со Старковым, не заметив его смущения; ужин был готов. Налив первую чару, Шемяка поднял ее высоко и выпил за здоровье Василия Васильевича,

– Позволь спросить, князь Димитрий Юрьевич, доволен ли ты доньне своим путем-дорогою; исправна ли была езда, добры ли были ночлеги? – сказал Старков.

«Я лично стану благодарить брата моего, Великого князя, – отвечал Шемяка, – и никогда не думал я, чтобы можно было до такой степени приложить старание угодить гостю. О,

надеюсь отплатить за это на свадебном пиру своем! Садись, боярин, садитесь все – по-простому, по-дорожному».

Начался ужин, и русское разгулье развеселило сердца всех. Шемяка не утерпел: он пересказал Старкову, как хороша, как разлюбезна его невеста; с громким кликом осушены были кубки за ее здоровье.

– Ну, Чарторийский, видишь ли, что заяц по-пустому перебежал нам дорогу, при выезде из Кубены? – сказал Шемяка, оставшись с ними наедине. – Завтра мы в Москве, и не знаю, что-то говорит мне, будто с завтрашнего дня начнется истинное мое счастье! Такое веселье бывает недаром – давно не был я так весел и доволен.

«Кем, князь: собою или другими?»

– И собою и другими. Вижу, что правда светлая побеждает все и всякого: и самый подозрительный брат мой, Великий князь, не смеет не уступить доверчивому желанию добра и мира, которое ведет меня в Москву. Он чувствует и принимает меня, как дорогого своего гостя, ждет не дождется и высылает на дорогу встречать и угощать. Я худо было поверил ласковому поздравлению, которое прислал он мне в Заозерье. Недоверчивость, чувство неприязни отравляли все часы моей радости. Будущее темнело передо мною, как туча осенняя. Теперь все ясно – и в сердце и в судьбе моей. Что ты кряhtiшь, Чарторийский? Аль жесток тюфяк разостлал тебе хозяева наши? – спрашивал Шемяка, беспечно протягиваясь на мягком тюфяке своем, покрытом медвежьей ко-

жею.

«Нет! мягко лежать, князь, да под голову лезет жесткая дума».

– Еще сомнения? Или ты боишься в самом деле кубенского зайца.

«Нет! я никогда, ни в чем не сомневаюсь, князь, потому, что никогда не думаю о завтрашнем дне, но, признаюсь тебе...»

– Что?

«Не нравится мне твоя поездка в Москву. К старому врагу надобно ходить, как в берлогу медвежью, с рогатиною в руках. Не любится мне, что ты явишься у него, как слуга его, когда мог бы его позвать к себе, как ровню. Я, на твоём месте, поехал бы в Дмитров к Василию Юрьевичу и оттуда звал бы на свадьбу Великого князя. Там надежнее мириться, где, слыша недоброе слово, можно ухватиться за бердыш... Впрочем, так что-то вздумалось мне говорить тебе... Поздно робеть, когда до Москвы остался один переезд».

Шемяка не отвечал: он уже спал крепко.

Не прошло двух часов после того, как заснули Шемяка и спутник его, дверь тихо растворилась, несколько человек вооруженных воинов вошло в избу, осторожно светя глухим фонарем. Старков следовал за ними. Тихо подошли они к оружию, сложенному на столе Шемякою и спутником его, и схватили это оружие. Тут несколько человек бросились к Шемяке, несколько к Чарторийскому и уцепились им за руки

и за ноги.

– Что? – тихо спрашивал Старков. «Не выскочат!» – отвечал один воин.

– Подавай же огня! – вскричал Старков, растворяя дверь в сени. Там стояло множество воинов с зажженными фонарями.

Едва мог опомниться Шемяка. Раскрывая с трудом глаза, еще отягченные сном, он не понимал: во сне или наяву видит он избу, освещенную огнями, и толпу вооруженных воинов. Он хотел перевернуться, не мог, и только тогда заметил, что несколько сильных воинов держат его крепко.

– Чарторийский! спишь ли ты, или нет? Что это такое?

«Не сплю, князь Димитрий Юрьевич, да пошевелиться не могу – меня держит дюжина здоровых рук».

– Князь Димитрий Юрьевич! – сказал тогда Старков, выступая вперед, – от имени Великого князя Василия Васильевича объявляю тебя пленником.

Шемяка не отвечал ни слова. Он безмолвно смотрел на всех, окружавших его, и наконец сказал с негодованием: «Да воскреснет Бог! Какой дурной сон мне грезится! Кажется, я не много выпил с вечера».

– Изволь вставать, князь Димитрий Юрьевич, и прошу пожаловать за мною, – сказал Старков, сам сторонясь за своих воинов.

«Неужели это не сон? – вскричал Шемяка, стараясь пошевелиться. – Прочь от меня! Эй, ты, боярин Старков, или сам

черт в его образе! вели отпустить меня этим бесам, а не то я не оставлю в вас живой души – с людьми управлюсь мечом, с чертями крестом!»

– Прошу не буйствовать, князь Димитрий Юрьевич, или я принужден буду употребить силу.

«Силу?» – И с этим словом кровь вскипела в жилах Шемяки. Как бешеный, рванулся он, вырвался из рук державших его воинов, вскочил и бросился к столу, где лежал меч его. Воины кинулись снова схватить его – стол полетел вверх ногами.

«Меч мой! – громко закричал Шемяка, – вставай, Чарторийский! это разбойники!»

– Воины! схватите князя! – закричал Старков, отступая к самым дверям.

«Прочь!» – загремел Шемяка, ухватил скамейку, стоявшую подле стола, и от одного размаха полетело с ног несколько человек.

– Князь! сопротивление бесполезно! – сказал Старков, – я кликну еще сто человек; ты безоружен – щади жизнь свою.

«Князь Димитрий Юрьевич! – сказал Чарторийский, – и я примолвлю: сопротивление бесполезно. Думать было в Кибене, думать было в Ярославле, а теперь поздно...»

Шемяка опустил на пол скамейку, бывшую в руках его; тяжкая печаль изобразилась на его лице. Никто не смел к нему подступить.

Безмолвие продолжалось с минуту.

– Говорите после этого, что добродетель есть на земле, что правда есть в мире! – сказал тихо Шемяка. – Ах! Софья моя, Софья! Ах! Князь Димитрий Васильевич! если бы вы теперь были здесь и знали!

«Князь! – сказал Старков, – прости меня: я исполняю повеления своего государя; не увечь без надобности невинного народа, а я поклянусь тебе, что никакого зла причинено тебе не будет!»

– Поклянись! – сказал Шемяка, обращаясь к нему с горькою улыбкою, – ну, поклянись, я послушаю!

«Вот тебе Бог порукою, и святая икона Владимирская, что жизнь твоя сохранится, и что мне велено только отвезти тебя в безопасное место и держать под стражею до дальнейшего повеления».

– А что это такое: *безопасное место*? Могила что ли? Видно, что до этого безопасного места любезный братец мой, Великий ваш князь, не думает уладить добром!

«Сохрани нас, Господи! мне повелено тебя чествовать и хранить».

– Откармливать на убой? Ха, ха, ха! – Опять все вамолчали.

– Слушай, – сказал Шемяка, идя к Старкову, – слушай... – Старков боязливо пятился от него. – Не бойся! – сказал Шемяка, – слушай мое препоручение, слушай же: если ты станешь посылать в Москву и доносить о поимке меня, то вели сказать брату, что скорее борода вырастет у него на ладони,

нежели я помирюсь с ним; скажи ему, что он... выдумай самое непримиримое слово, – воскликнул Шемяка, схватя за руку Старкова и сильно сжимая ее, – скажи ему это слово от меня и прибавь к тому, что он изменник, обманщик, трус... Давайте мне одеваться! Готовы ли палачи твои, боярин?

«Поверь мне, князь...»

– Верю, всему верю, потому, что в роде нашем все бывало – и резали друг друга, и в тюрьмах душили, и глаза вынимали... Ба! Свирестель! ты ли это? – сказал Шемяка, увидя одного из воинов, – и ты здесь?

«Здесь, батюшка-князь!»

– Тебя не желал бы я встретить здесь: как мог ты принять на себя должность моего спекулятора? Помнишь ли ты битву у Николы Нагорного: я размозжил было тебе голову – ты закричал мне: «Пощади – у меня трое сирот!»

«Батюшка-князь!» – вскричал Свирестель, бросаясь целовать руку Шемяки, со слезами.

– Спасибо, хоть добро помнишь. Князю твоему уступил я целое царство, а он забыл это. Пояс мой! А меча мне не отдадут?

«Князь...» – сказал Старков, запинаясь.

– Ну, хорошо, хорошо! Смотрите только, чтобы он не заржавел. Отпустите же теперь Чарторийского. Старков! могу ли я написать несколько слов, или послать кого-нибудь к моему будущему тестю?

«Князь...» – сказал опять Старков, в замешательстве.

– И этого нельзя? Хорошо. Готов ли ты, Чарторийский? Пойдем!

Шемяка вышел в сени. Толпа воинов занимала всю улицу; лошади были уже готовы; сторонясь, когда проходил Шемяка, один из воинов чем-то загремел; быстро взглянул на него Шемяка; воин что-то прятал позади себя; Шемяка сильно повернул его и увидел – железные кандалы!

– Видно, это кушанье не было готово ко вчерашнему ужину? – сказал он, обращаясь к Старкову.

Старков молчал.

– Поддай мне их – я положу их с собою! – сказал Шемяка, схватывая кандалы, и скорыми шагами пошел к саням, сказав: – Будет время, когда звон этих кандалов обвинит Василия перед престолом Божиим!

Шемяка сел вместе с Чарторийским. Воины окружили его сани; другие скакали впереди и сзади. Своротили в сторону с Московской большой дороги. Шемяка завернулся в медвежью полсть и спокойно заснул.

– Где мы? – спросил он, проснувшись поутру, у Чарторийского.

«Мы выехали на Рязанскую дорогу».

Опять завернулся Шемяка и не говорил более ни слова. Переменять лошадей останавливались в маленьких селениях, проезжая большие.

– Боярин! – спросил Шемяка у Старкова, когда тот подошел к нему, – скажи: стало быть, приготовлены были здесь

для меня лошади, и вы ждали меня?

«Да, князь!»

– А помнишь ли ты, что говорил, встречая меня в Братищах?

«Забыл, князь!» – Старков улыбнулся. Шемяка сам засмеялся.

Быстро привезли Шемяку в Коломну. Сани въехали в тамошний Кремль. Жилищем Шемяки определено было две комнаты в одной из башен Кремля. Ворота заперли и весь Кремль окружили стражею. Старков просил сказать: что ему нужно?

– Ничего! – отвечал Шемяка и не стал более говорить со Старковым. Он был разлучен со всеми спутниками своими. Почти весь первый день, молча, угрюмо, сложа руки, ходил он по небольшой тюрьме своей.

– От Великого князя приехали к тебе бояре, князь, – сказал ему Старков на другой день.

«Я не хочу их видеть, – отвечал Шемяка. – Прошу и тебя, боярин, не являться ко мне, или я ни за что не ручаюсь!»

Старков поспешно ушел. Пристав и несколько прислужников являлись к пленнику с обедом и ужином.

Уже более недели пролетело для Шемяки в тяжком его заключении, когда вечером в один день отворил кто-то дверь в его тюрьму и тихонько задвинул изнутри засовом. Шемяка равнодушно смотрел в окно на далекую Москву-реку и хладнокровно оборотился к пришедшему. Казалось, что Шемяка

не обращает никакого внимания ни на один предмет из всего, что его окружало.

Вошедший низко поклонился и тихо стал подходить к Шемяке. Недоверчиво обвел глазами Шемяка и схватился рукою за тяжелый стул, подле него стоявший.

Вошедший понял движение Шемяки и сказал ему: «Неужели ты боишься меня, старика безоружного?»

– Зачем ты пришел сюда? – спросил его Шемяка. – Прошу убираться, а боюсь или не боюсь я тебя, или кого-нибудь – до этого нет тебе дела!

«Ты не узнаешь меня, князь Димитрий Юрьевич? Правда, мельком, и то давно, виделись мы с тобою, и ты мог позабыть меня».

– Кто бы ты ни был – ты раб Василия, ты один из палачей моих – пошел вон: по крайней мере, эта тюрьма мой удел, которым законно владею я, по воле Великого твоего князя. Вон! – воскликнул громче Шемяка, с умножающею яростью.

«Умей отличать друга от врага, князь!» – твердо отвечал пришедший, не сходя со своего места.

– Великий князь твой доказал мне хорошо свою дружбу, а с презренным смердом его дружитья я сам не захочу.

«Я не раб московского князя – я жилец целого мира и раб тому, кто, – тут голос незнакомца понизился, – *кто враг московскому князю!*»

Шемяка изумился и при сумраке внимательно смотрел на

старика, стараясь разглядеть его.

– Я принес к тебе вести от брата твоего, от князя Димитрия Васильевича, от княжны Софии Дмитриевны.

«Искуситель! какие имена произносишь ты! – воскликнул Шемяка, закрывая лицо руками. – Зачем пришел ты смущать меня, меня, всеми позабытого? Я приучился было смотреть на свою участь и слова бы не сказал, если бы целый век суждено мне было здесь просидеть. Мое безумие слишком стоило такой награды – моя глупость достойна наказания!»

– Нет! добро никогда не погибнет, и кто сеет его горестью, тот пожнет радостью...

«Молчи, молчи, враг ли ты, изменник, искуситель, или в самом деле, друг мне! Слово *добродетель*, за этими затворами, в этих стенах, будет насмешкою на людей и укором Богу! Но говори – лги мне о вестях от тех людей, имена которых пробуждают еще душу мою!»

– Они все живы, здоровы, кланяются тебе.

«Живы – и забыли меня...»

– Ах! не забыли, князь добрый! Князь Заозерский и невеста твоя теперь в Угличе!

Как от громового удара вскочил Шемяка со своего места. «В Угличе? – воскликнул он. – Но ты лжешь... Кто ты?»

– По имени Иван, по прозвищу Гудочник, по душе недруг московского князя.

«Да, я узнаю тебя, кажется; не помню только: где мы ви-

делись?»

– Мы виделись с тобою однажды, в страшный час кончины боярина Иоанна Димитриевича, в золотых надворных сенях.

Минувшее пролетело, казалось, перед взорами Шемяки. «Да, правда – помню!» – сказал он.

«Горе излишне мудрствующему, горе князю слабому, окруженному злым советом! От первого погиб боярин Иоанн; от второго родитель твой потерял престол!»

– А горе ли тому, кто добыл его мечом и потом вольно уступил своему врагу?

«Горе, если раздор кипит между родными, и один брат парит соколом, а другой, как рак, пятится в воду».

– Я знаю, что тебя все считают человеком бывалым и оказавшим большие услуги темными делами моему родителю.

«Нет, не темными, князь, – мои дела просветлеют солнцем там, некогда, где и когда светлые мирские дела многих князей и бояр покажутся тьмою кромешною!»

– Чего же хочешь ты от меня?

«Я пришел сказать тебе, что я состою в твоих повелениях». – Гудочник стал на колена и поцеловал руку Шемяке.

– Что же ты можешь для меня сделать?

«Разве недовольно уже и того, что к тебе перепадает через меня весточка от милых тебе людей? Весть от милого, как капля воды на палимый зноем язык, подкрепляет и оживляет нас».

– Но что же, если они живы только, что из этого?

«Они помнят тебя, а кто помнит, пожалеет ли чего-нибудь за твое спасение?»

– Что говоришь ты!

«Неужели в несколько дней дух твой до того ослабел, рука твоя до того разучилась держать меч, а душа таить крепкую думу?»

– Нет! нет!.. – сказал Шемяка, удерживая свое нетерпение, – но человек благовейно должен принимать наказание Божие.

«Князь! эти речи не по твоей голове, эти мысли не по твоему плечу! Что если бы кто теперь принес тебе весть свободы?»

– Свободы, – воскликнул Шемяка, – раздолья воле, разрушения мечу...

«Тише, ради Бога, князь!»

– Говорит о свободе моей и велит шептать – боится тюремных стен! Прочь от меня, соблазнитель! Я не верю тебе, краснобай, не верю ни вестям, ни словам твоим!

«Хорошо – надобно тебя уверить – до тех пор ни слова. Завтра, когда заблаговестят к обедне, смотри в это окошко, прямо на берег Москвы-реки, взглядишь, с кем буду я там говорить. Добрая ночь!» – Старик ушел и запер за собою дверь.

Как взволновалась кровь Шемяки, как вскипелись все его мысли! До тех пор, беспрерывно, какое-то бесчувствие владело им после первого порыва, после той минуты, когда он готов был не отдаться живой в руки злодеям своим. Пролетели

тела эта минута, и мысль о безрассудной доверчивости к Василию и ненависть к людям, сменившие его радостное ожидание, его надежды на мир и счастье, подавили его душу. Он не смел даже и роптать на самого себя, не смел осуждать своего поступка: его присоветовали, его одобрили люди столь добродетельные, столь милые ему; они, конечно, терзались после того, узнав судьбу Шемяки и гибель, в какую повергли его. Все это уничтожало, смешивало все помыслы, и Шемяка почитал все сие Божеским испытанием, наказанием, терпеливо решаясь ждать своей участи. А теперь? А! теперь все ожило в его душе: мщенье, любовь, ненависть, гордость, оскорбление, позор, нанесенный его роду и званию, даже мысль о том, что он выдал беззащитного брата своего на жертву неутолимому, хитрому Василию! Ему пришло в голову помышление и об опасности, какой подвергались, может быть, Заозерский и дочь его. Он загорел, закипел мыслью свободы, мщенья! Он вспоминал потом все, что слышал о Гудочнике, странном, непонятном человеке; готов был верить, что этот старик оборотнем проходит сквозь двери и затворы темниц, невидимо присутствует во дворцах и увлекает души людей колдовством. Он вспоминал, что таинственный Гудочник всегда оказывал преданность Юрию и роду его; что он был участником и важным действователем во всех умыслах и смятениях до первого завладения Москвы Юрием. Но почему Гудочник ненавидит московскому князю? Кто этот непостижимый старик? И если он доставит

ему свободу, что начать тогда? Куда устремиться? Только бы выйти из темницы, только бы свободно дохнуть в чистом поднебесье – душа встрепенется сильною, крепкою думою...

Всю ночь не спал Шемяка, и едва стало брезжиться, он подбегал уже десять раз к окну, указанному Гудочником. Сильный холод заволок окно морозными своими узорами; Шемяка оттаивал мороз своим дыханием, своими руками. Взошло солнце; ярко осветились окрестности; народ заходил, зашевелился – не видно было Гудочника! Тогда только вспомнил Шемяка, что благовест к обедне будет знаком условленного времени. С грустью бросился он на свое ложе и прислушивался к каждому шороху и самому легкому шуму. В ушах его, чудилось ему, непрерывно звенели колокольчики, и несколько раз вскакивал и подбегал он снова к окну, думая, что уже слышит желанный благовест...

Он раздался наконец и казался вестью воскресения Шемяке. Князь перекрестился, подбежал к окну и нетерпеливо смотрел: Гудочник там – он стоит с кем-то. Но кто это с ним? Да, Шемяка не ошибается: это друг и боярин Заозерского – это старик Шелешпанский! Радостно закричал Шемяка, готов был выбить окно и броситься в него с башни. Шелешпанский говорит с Гудочником, обнимает его, оборачивается к тюрьме Шемяки, машет ширинкою, кланяется, и оба старика вместе уходят...

Итак – Шелешпанский здесь, вблизи; он пришел от милых сердцу людей; он видел недавно Софию... Часы казались го-

дами Шемяке: он ходил, садился, ломал себе руки от досады и нетерпения, иногда решался даже ломать двери тюрьмы. Солнце показывало уже полдень; слышен стук – двери открываются. – Кто это? Гудочник? – Нет! Пристав принес обед Шемяке. Нельзя ли вырваться теперь? Шемяка приблизился к двери – она отворена. Пристав оборотился и сказал улыбаясь: «Там двадцать человек стражи, князь – если хочешь, отвори и посмотри!»

– Убирайся вон! Я не хочу есть! – сказал Шемяка, сильно толкая пристава. – Убирайся, или я выкину тебя, и с обедом твоим!

Робко осмотрелся пристав и поспешил выйти. Шемяка слышит, как стучат снова затворы, как все умолкает...

Тоска отравила у него час, горесть съела другой – отчаяние начинало терзать Шемяку, когда день померк, никто не являлся, и о Гудочнике не было ни слуху, ни духу.

Но, вот снова стучат затворы, дверь отворяется – Шемяка ждет: это Старков; за ним пристав с обедом, или с ужином. Пленник готов был кинуться на них, задавить их, бросить в передние комнаты перед тюрьмою и лучше погибнуть, сражаясь с воинами, нежели еще томиться... Но за приставом шел Гудочник – Шемяка задрожал, и вся жизнь перешла у него во взоры. Гудочник остановился у дверей и потупил глаза в землю, с видом покорности.

– Мне донесли, князь Димитрий Юрьевич, что ты не изволил сегодня кушать, – сказал Старков. – Прости, что, вопре-

ки твоему желанию, это привело меня сюда. Великий князь поручил мне блюсти твое княжеское здравие.

Шемяка ничего не отвечал.

«Прошу сказать мне, если ты, чего, Боже сохрани, сделался нездоров и чувствуешь какой-нибудь недуг телесный...»

– Я здоров, но не хочу есть! – отвечал Шемяка. – Скажи мне: что же приказал тебе делать со мною твой Великий князь? – быстро спросил он потом, после короткого молчания, подходя к Старкову.

«Я ничего не знаю», – отвечал Старков, удаляясь от него.

– Неужели я должен сгнить здесь? – вспыхливо воскликнул Шемяка. – Казнить, так казните скорее! Только братоубийства и недоставало еще твоему князю!

«Ради Господа, не говори мне таких речей, князь! Ты, конечно, нездоров, и вот я привел к тебе знающего человека. – Старков указал на Гудочника. – Если ты нездоров, скажи ему свою болезнь».

Шемяка хотел отвечать; но Гудочник, с низким поклоном, подошел к нему и тихонько шепнул: «Притворись больным!»

– Я не знаю, – сказал Шемяка, в замешательстве, – да и чье здоровье перенесет тоску и грусть моего заключения? Не единой души человеческой...

«Грусти и печали Господь помощник; в части и нечасти князь владыка; а мы, люди старые, люди бывалые, лечим недуги телесные, во имя Отца и Сына и Святого Духа, бесы прогоняющего, здравоносного, тело и душу радующего –

лечим огневицу лихую, лихоманки злые, сорок лихоманок, Иродовых дочерей – трясущую, палящую, знобящую, удушашую, надувающую, бессонную, сонливую, медвежью, козлиную... Позволь, князь Димитрий Юрьевич, посмотреть в твои очи, пощупать твою руку – не сказывай болезни, угадаем и вылечим!»

Скороговоркою проговорил все это Гудочник, кланяясь Шемяке, но не показывая никакого знака душевного участия.

– Неужели ты знаешь, как лечить болезни всякие? – спросил Шемяка, невольно усмехнувшись.

«Знаем, знаем – *погоди до завтра, до этого времени*, и ты будешь здоров – тебе Бог судил еще много счастья и дарования в грядущее время... А мы лечим все, что ни попало: ту ли болезнь, что горячкою называют, а у иных *огневою*, ибо в той болезни человек, что твой огонь горит, подобно которой храмина горит и от того огня сгорает – знаем! В кашле лихом, что ли? Лекарственное снадобье невелико: толки чесноку три головки, клади в горшок, наливай медом пресным, ставь на ночь в печь теплую, покрывай крышкою, дай упреть, дай выпить – поможет! А у кого руки, или нога изломится – вылечит трын-трава, доброго слова не стоит: возьми пива доброго в ковшик, да столько же патоки, положи в горшок, парь гораздо, пока упрет до половины; да на плат намажь того спуска, около излома обвей, не отымай плата три дня и пока заживет переменяй. От уроков, от причудов, от змеи-

ного укушения, от лихого глаза, от недоброго слова, от ветряного нашептання, от вынутаго следа, от сожженных волос, от примиганья с левой, сердечной стороны – сыщем сделе, снадобье – Бог поможет, рукой снимет, недуг простится, человек укрепится!»

Говоря все это, с примолвкою благословений, Гудочник смотрел на Шемяку, ощупывал руку его и потом сказал: «Изволь покушать на здоровье, а как покушаешь, выкушай благословясь, вот это снадобье».

Он вынул из-за пазухи две сткляночки, смешал что-то жидкое, в серебряной чарке и поставил на стол. «На дне записка!» – шепнул он мимоходом, отступая к двери.

– Князь Димитрий Юрьевич! не введи меня в слово перед Великим князем, – сказал Старков, – исполни, что этот старик велит!

«Хорошо, боярин, хорошо; но мне всего более нужен покой... Прощайте!»

Боярин и Гудочник вышли; пристав остался. Наскоро проглотил кое-что из кушанья Шемяка и готов было гнать пристава, чтобы поскорее ухватиться за чарку, оставленную Гудочником. Вот и неповоротливый пристав удалился. Шемяка схватил чарку, выплеснул что в ней было: на дне лежал золотой перстень князя Заозерского, с его именем; к нему была привязана записка:

«Ободришь, утишь нетерпение, верь, что мы не дремлем».

Первая радость, с того дня, как Шемяка был захвачен,

оживила теперь его душу! Он успокоился; мечты веселые усладили его; он уснул, и сны счастливые представили ему Кубену, Заозерье, Софью, клики ратные, стук мечей, ржание коней, звук трубный... Он еще не знал, что будет, на что он решится, но уже радовался.

Назавтра, Гудочник явился к нему вечером, один. «Веришь ли мне, князь, после того, кого ты видел и что получил?» – спросил он.

– Верю, верю старик! Скажи, что мне теперь делать? Скоро ли свобода моя?

«От тебя нужно согласие; тебе потребны твердость духа, бодрость, отвага. Мы должны поспешить исполнением: время дорого, драгоценные часы могут пролететь безвозвратно. К несчастью, твой брат, кроме дикой храбрости, не имеет никаких других достоинств княжеских. Если бы он слушался советов, если бы временил немного, пока ты взовьешься соколом из своего заточения, то победа была бы вдвое вернее. Но я трепещу, что он опрометью бросится на московское войско один и – погибнет! Тогда тебе одному трудно будет бороться с Москвою. Души людские расклеились; Москва страшит всех своею властью. Одна надежда на Новгород, и – ни на кого более!»

– Итак, брат мой уже сходится с Москвою?

«Да, рать московская сильно гонится за ним. Он отступил в Устюжские леса. Рать московская двигается туда, а с нею и другие многие князья».

– Меня нет там!

«Князь! решаешься ли ты на *последнюю борьбу* с Москвою? Уверился ли ты, что между тобою и Василием мира нет и быть не может? Если будешь ты на свободе, не станешь ли опять доканчивать с Москвою чем-нибудь другим, кроме меча и дубины? Твердо ли надеешься на крепость души и руки?»

– Победить, или пасть!

«А если твои родные, Заозерский, юный брат твой Димитрий, не согласятся с тобою – муж ли ты?»

– Они видели последнее усилие мое к миру с Москвою – совесть моя спокойна – они не запротиворечат моей совести...

«А если, жертвуя всем за твое спасение, брат твой уже присоединил войска свои к Василию, если князь Заозерский мирится, ладится с ним, уступает ему все, дает ему обещания за тебя и за себя?»

Шемяка ходил скорыми шагами по темнице: «Отвори мне дверь тюрьмы моей, и я клянусь тебе...»

– Не клянись, князь! не клянись! Еще одно слово: если хочешь, чтобы Новгород пристал к тебе, если хочешь, чтобы я положил свою голову, спасая тебя, посвятил тебе всю кровь, всю жизнь мою – обещай мне, обещай... – Гудочник упал на колена перед Шемякою, – когда Бог пособит тебе одолеть Москву – возвратит потомкам суздальского князя их наследие, несправедно отнято гордым, бесчеловечным дядею тво-

им Василием Димитриевичем сорок лет тому назад... Обещай мне!

«Старик! что ты говоришь: в тюрьме думать о будущем, когда мой грядущий час мне ненадежен?»

– Обещай возвратить все, чем владел прадед твой по матери, мудрый Константин, и что отнял у детей его несправедливый Василий Димитриевич, хищник дедовского наследия! Если ты не в силах будешь этого исполнить – ты ни к чему не обязываешься...

«Изъясни мне...»

– Ты не обещаешь, и я не слуга твой! Знай, что Заозерский и София твоя в страшной опасности: они в Угличе, но московская рать идет на Углич, и мир тем более невозможен, что твоя дружина, узнав о твоём бедствии, присоединилась к твоему брату. Часть дружин твоих хочет крепко защищать Углич; но может ли? Гибель храбрым, и в смятении битвы и разорения погибнет и София твоя и Заозерский, которого не выпускают из Углича. В Кубену пошла особая рать Василия...

«О моя дружина! О мои храбрые люди! узнаю вас! Если бы я был с вами!»

– Ты испытал уже душу Василия. Если Углич возьмут, если брат твой в то же время погибнет, что ожидает тебя и Заозерского? Ты в тюрьме – лобное место; скрытный яд, вечное заточение...

«Полно, старик, полно!»

– Но у нас все готово к твоему побегу. Никто не знал, куда увезли тебя – я сообщил эту тайну твоим, и Шелешпанский, презирая запрещение своего князя, приехал скрытно сюда. Мы сыщем случай и прямо помчимся к брату твоему. Ужас обнимет Василия, когда он о тебе услышит; Новгород готов идти за потомков Константина. Он будет с тобою!

«Я обещаю, клянусь тебе все исполнить...»

– Не клянись, князь! – воскликнул Гудочник, – клятва дело страшное! Не связывай души, если не можешь развязать ее потом! Только дай слово твое!

«Вот оно!» – Шемяка протянул руку. Почтительно пожал ее Гудочник и поцеловал.

– Теперь я головою расшибу дверь тюрьмы твоей, или расшибу голову мою об эту дверь, – сказал он, едва удерживая слезы. – Прости, князь, бодрствуй, не унывай! Спаси тебя, Господи!

«Когда же, старик, когда?»

– Молись и уповай! Стены толсты, стража неусыпна и многочисленна, город наполнен воинами; но сильная воля человека чего не преодолет и не сделает! Предупеждаю тебя вперед, что ты должен терпеть еще несколько дней – не знаю – может быть, завтра – может быть, еще неделю должен ты ждать. Более не увидишь ты меня, до тех пор, пока не ударит час воли Божией и твоей свободы! Тогда помолись с верою и – иди, или на честь и славу, или на верную смерть... Да, то или другое – я не хочу скрывать от тебя ничего. Побег

твой сопряжен со страшными опасностями.

«Лучше смерть, нежели истома, горшая смерти! Но еще *неделю*... когда ты сам говоришь, что *часы* дороги!»

– Обернись же птичкою и полетай, если можешь! Будто не желал бы я вырвать тебя, хоть в сие самое мгновение? Ох! Князь Димитрий Юрьевич! Тебе только мщение, тебе только слава, а мне, мне... и в гробе не успокоюсь я, если не выполню мести моей над родом Василия – и царствие Божие затворится мне, хотя бы гору принес я добрых дел с собою за могилу! Неужели, думаешь ты, тебе только радея, мыслю я о твоём освобождении?

«Старик! скажи мне: кто ты?»

– Грешник Иван, по прозванью Гудочник. Я уже сказывал тебе об этом.

«Нет! изъясни мне тайну твоих дел. Отчего ненависть твоя к роду моего дяди? Отчего требуешь ты только одной платы – *восстановления Суздаля?*»

Гудочник колебался: «Мне некогда и не нужно изъяснять тебе. Знай одно: я суздалец, я видел падение моей отчины, видел смерть моего государя, природного, доброго, сильного, Богом мне данного, и – страшная клятва облегла душу мою: положить свою голову, или воротить славу Суздаля, честь дому мудрого Константина, наследие потомству его! Этой клятвы никто не снимет с меня: я дал ее при живоносном гробе Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа!»

Глаза Гудочника сверкнули огнем сильного чувства; вид

его был одушевлен чем-то необыкновенным. Всегда немного сторбленный от старости, или тяжести жизни, он выпрямился теперь и казалось, что с него свалились десятки годов.

«Князь Димитрий Юрьевич! взяв с тебя слово, я не только не стану щадить себя, освобождая тебя из темничного мрака, я стану сражаться рядом с тобою, и ты увидишь, отучилась ли эта рука махать секирою в кровавом бою! В тебе одном теперь все мое спасение, здесь и за могилою. Кроме тебя, нет князя, на которого мог бы я возложить свою надежду – избесчеловечились люди, щедушны стали князья, и – горе Рязани, Твери! Не долго еще гордиться князьям их на своих столах княжеских: как море-окиян, Москва глотает и поглощает их... Прощай!»

Столько разнообразных мыслей, столько различных дум наполнили душу Шемяки, что он, в совершенном недоумении, склонился на одр свой, и долго безразличные, неопределенные мечтания летали перед ним, и благодетельный сон не хотел запечатлеть их своим спокойствием. Так смерть медлит успокоить человека, взволнованного, отяжелевшего бурями и волнением страстей насытых и жизни тяжелой...

Глава V

*Опять на бой, опять на битву —
Но слава где?..*

* * *

Прошел день, прошел другой, прошел третий: не являлся Гудочник, никого не видал Шемяка, кроме пристава, приносившего ему обед и ужин. Целый мир волновался вне стен его тюрьмы, а в ней, как в гробу, Шемяка был один, и мрачно, тихо, безмолвно было в ней все, как в могиле. Только звон колокола, благовестивший время утренней и вечерней молитвы, достигал в нее, и слышался говор галок, стадами летавших вокруг вышек Кремля и криком своим вызывавших снежные тучи.

«Зачем являлся ко мне этот проклятый человек? – говорил иногда Шемяка. – Зачем растравил он сердце мое своими зловещими словами? Зачем возбудил он уснувшую мою душу? Я лучше бы оставался в моем прежнем забытии, неведении, во тьме души, похожей на смертный сон – но, по крайней мере, я был тогда спокоен. Что я говорю!»

Но более недели еще протекло в совершенном безмолвии, тяжелой безвестности... Шемяка думал, что он начинает бе-

зуметь – у него пропал сон; он почти ничего не мог ни есть, ни пить. Иногда казалось ему, что вся тюрьма его ходит кругом – он схватывался тогда за свою голову, чувствуя, что она болит тяжело, и готов был удариться о стену, или броситься на пристава, убить его и погибнуть, сражаясь с тюремною стражею. Состояние его становилось непереносимо.

Но в одну ночь, проведенную, как другие, почти без сна, едва начинал белеть день на небе, шум и голоса в передней комнате встревожили Шемяку. Лежа в полузабытьи, он не знал еще, во сне или наяву слышится ему все это. Запор темничный упал; дверь темницы настежь растворилась; множество вооруженных людей стояло в передней и несколько человек бросилось в тюрьму Шемяки. Он не подымался со своего ложа и ни о чем не думал, даже о том, что, может быть, настал последний, решительный час его.

Первый человек, вбежавший в тюрьму, упал на колени перед ложем Шемяки, схватил руку князя, поцеловал ее и воскликнул: «Благодарю Господа Бога, что еще привел Он мне видеть тебя, князь Димитрий Юрьевич!»

Шемяка приподнялся и при свете огня, принесенного в темницу, быстро взглядывался в говорившего сии слова: это был Чарторийский!

«Друг, товарищ!» – «Добрый князь!» Они обнялись крепко. – «Не сон ли это?»

– Нет! ты свободен! Мы опять с тобою!

«Свободен?» – Шемяка почувствовал новую жизнь и бод-

ро стал на ноги.

– Князь Великий отдает тебе поклон, любимому брату своему, младшему; молит тебя забыть все, что лихого ни было и возвращает тебе княжеский меч твой, – говорил Старков, преклоняясь почтительно и поднося Шемяке его меч.

Шемяка схватил меч; несколько мгновений, молча, держал его в руках, поцеловал и воскликнул: «Отныне мы с тобой не расстанемся, друг сердечный!» Он спешил потом выйти из тюрьмы, ничего не спрашивая и не отвечая на слова Старкова; все расступились перед ним; Старков спешил вперед, отворяя двери; Чарторийский и воины следовали за ними.

Богато убранные кони ожидали их при выходе из башни. Старков просил Шемяку следовать в княжеский дворец. Все еще не расспрашивал ни о чем Шемяка и только жадно вдыхал в себя вольный воздух.

Спутники, захваченные с Шемякою, ожидали его при воротах дворца и радостный крик их приветствовал князя; он соскочил с коня и обнимал последнего своего конюха, как равного, как друга.

Во дворце ожидало его объяснение столь неожиданной, столь внезапной свободы. Тут находились знаменитые послы Великого князя: молодые князья Тарусский и Стародубский и несколько бояр Заозерского.

Приветствия и поклоны, дружеское объятие бояр Заозер-

ского, поздравления – все это следовало так быстро, что Шемяка не успевал опомниться; ему даже некогда еще было обрадоваться. Вопросы и ответы взаимные летели при том один за другими. Он узнал, что князь Заозерский находится в Москве, и вот что писал он к Шемяке:

«Последнее несчастье наше произошло от твоей поспешности: Великий князь мог предполагать какой-нибудь злой умысел, видя тебя едущего в Москву, когда в то время брат твой подымался на него новою усобицею. Простим это подозрение, ибо сам Великий князь тужит теперь о своем поступке и желает загладить его перед тобою, Несмотря на то, что брат твой нейдет на мир и что дружина твоя, угличская, присоединилась к нему, Великий князь не хочет войны, не мстит даже и за то, что Василий Юрьевич взял Устюг на щит, причем был убит любимый воевода великокняжеский, князь Глеб Оболенский, и брат твой свирепствовал зверообразно в Устюге, укрепился там на бой и грозно ждет на себя войско великокняжеское. Великий князь кается во всем, просит тебя простить его во всех прегрешениях и готов учинить съезд, для dokonчания с тобою и с братом, в Угличе, или где ты сам назначишь. Между тем, как доказательство дружбы и полной доверенности, он отдаёт тебе начальство над дружинами, собранными у Тулы. Ты не ведаешь еще о неслыханном диве, совершившемся в последнее время: бывший сильный хан Большой орды, Улу-Махмет, некогда решавший судьбу Великого князя и родителя твоего, изгнан из

Орды племянником своим Кичимом-ханом и теперь прибежал Русь со своими дружинами. Он занял Белев и укрепился в нем. Иди, изгони врага Руси и всего христианства и потом спеши к нам. Я нахожусь в Москве и не знаю, как рассказать тебе о дружественной ласке и великом чествовании, какое мне здесь оказывают. Завтра выезжаю я в Углич, где ждет тебя твоя невеста. Поплакала она; но теперь плакать будет от радости и желанья видеть тебя скорее».

– Чего же медлить? – воскликнул Шемяка. – Послы московские! беда учит уму, смиряет гордость! И кто долго спал на ложе печали и вражды, тот немедля перележет на ложе радости и мира, хотя бы оно и не совсем мягко было. Бог судья брату Василию Васильевичу: худо заплатил он мне за доверенность и дружество, но все забываю, не присоединяюсь к крамольному брату моему, прикажу и дружине моей отстать от него, немедленно иду развеять нового врага Руси православной. Об остальном, обо всем, переговорим после, за чашей дружеского меду! Велите изготовиться к поспешному отправлению под Тулу.

Остаток ночи и следующий день, до самого вечера, употреблены были Шемякою на расспросы, разговоры, отправление *грамот* к Василию Косому, к Заозерскому, к Великому князю. С восторгом слушал Шемяка известие о том, с какою жестокою горестью услышала София о заключении его; порадовался, что это оскорбило всех русских князей, и что все они заступались перед Великим князем за Шемяку; до-

верчиво, как дитя, предался он после сего думе о счастливом будущем времени, надеясь, что брат его конечно послушается разумного совета, прекратит междоусобицу, когда при том Великий князь согласен на все уступки. Итак – впереди мир, тишина, счастье...

– Но что вздумалось Гудочнику пугать меня небывальными вестями и представлять мне все дела в таком темном виде? К чему думал он завести новую крамоду? – Эта мысль вдруг мелькнула в голове Шемяки. – И что значил приезд Шелешпанского в Коломну? – подумал он еще.

– Где теперь ваш Шелешпанский? – спросил Шемяка у бояр Заозерского.

«Никто не ведает, что с ним сделалось, – отвечали бояре. – Он пропал куда-то из Углича и это сильно опечалило нашего князя. Его нет ни в Москве, ни в Заозерьи».

– Что не вижу я здесь старика, знахаря и целбника, которого приводил ты ко мне, боярин Старков? – спросил у него Шемяка.

«Может быть тебе неизвестно, князь, кто этот старик: это Гудочник, известный по Москве-своими сказками и песнями. Юродивый он не юродивый, а Бог весть что: одни говорят Божий человек, другие бесов сын. Он был на это время в Коломне, но потом пропал, неизвестно куда; вероятно, ушел на богомолье, или опять уплелся в Москву – настоящий воєвода новгородский: никому отчета не дает».

– Неужели он думал морочить меня? И что значили его

рассказы о себе самом и о Суздале? – подумал Шемяка.

В ночь поскакал он к дружинам, собранным близ Тулы.

Его изумили однако ж рассказы и вести по дороге. Отвсюду слышны были горькие жалобы и упреки, усиливавшиеся по мере приближения его к Туле. Жители всюду сказывали, что дружины шли, как шайки разбойников и злых врагов – отнимали, грабили, бесчинствовали, даже запалили несколько деревень.

Загадка таких горестных беспорядков пояснилась, когда Шемяка увидел дружины, отданные под его начальство. Это не было стройное воинство, но сбор бродяг и поселян, худо вооруженных, согнанных и высланных наскоро. Ни одного опытного воеводы, каковы: Басенок, князь Баба-Друцкий, или Ряполовские, не находилось при войске. Бояре, к войску приданные, были народ самый ничтожный, и выше всех подымал голову молодой Андрей Федорович Голтыев, родня по бабушке Великому князю. Тарусский и Стародубский князья едва ли не в первый раз являлись на поле битвы. Войско рассыпано было без порядка, кочевало в Туле и окрестных селениях и только гуляло, пьянствовало и буянило.

Шемяка узнал, что Улу-Махмет с немногими, но старыми и опытными дружинами, не оставлял Белева и ждал: чем решится участь его, готовый на битву и на мир. Послов его не допустили в Москву, и тщетно старался Шемяка узнать: какое намерение положил о Махмете Великий князь? Также не постигал он, почему Великий Князь удерживал лучшую

дружину свою по ту сторону Москвы, если он не думал воевать с Косым, как уверял его в этом Заозерский?

Грозно повелел Шемяка свести немедленно воедино все буйные толпы и двинуть их самым поспешным походам к Белеву. Дружины повиновались неохотно, нестройно: шли не шли, ехали не ехали. Шемяка сам явился к ним, велел заковать в оковы несколько дерзких своевольщиков, другие не посмели более противиться;

Близ Белева, сомкнув все дружины, Шемяка созвал первый военный совет. В то же время явились послы хана. Страшный шум и смятение были в совете. Толпа молодых вождей и князей слышать не хотела о переговорах. «Бог предает в руки наши старого, злого врага Руси православной, хана, некогда столь сильного в страшного. Нет ему мира! И какой мир с ним? Какое: соединение чистому с нечистым?»

– Судьба битвы в руке Божией, – говорил Шемяка, – не гордитесь, бояре и князья, вспомните, что с Махметом немногие, но лучшие дружины, готовые на смерть. Я не отступлю в бою; но худой мир лучше доброй битвы. Если можно спасти от гибели хоть одну душу христианскую, она ляжет тяжко на душу того, кто мог и не хотел спасти ее...

«Не хвалюсь ведением тайной думы Великого князя, – горделиво говорил Голтыев, – но если бы он хотел переговоров, то зачем посылать ему войско против хана? У воина один переговорщик – меч!»

Шемяка настоял однако ж на принятии послов ханских.

Их ввели в собрание князей и воевод.

Переходчиво счастье человеческое и переменчиво время. Старый, седовласый Улан царевич, посадивший на великокняжеский престол Василия, после спора его перед Махметом с дядею Юрием, смиренно престал теперь перед собранием. Он окинул глазами всех и хладнокровно начал говорить:

«Никого из вас не вижу здесь такого, кто был бы прежде свидетелем великой чести и славы моего государя, хана Большой и Золотой Орды и царя русского. Но еще живы подобные свидетели в Руси вашей, и Великий князь ваш был моею рукою посажен на его великокняжеский престол. Твоему родителю, князь Димитрий Юрьевич, приказывал некогда Махмет, как рабу своему, теперь – тебе вручена судьба великого хана...

Велик Бог! Нет Бога, кроме Бога!

Поколения преходят, слава изменяется, добро неизменно, и – велик Бог!

И сим-то неизменным добром горд и славен наш великий хан Махмет. Горе человеку, если только в славе и счастии он велик и грозен, а бедствие уничтожает его и малит!

Скажите мне: не всегда ли доброхотствовал и радел вам Великий хан Махмет? Не судил ли он право судьи между вашими князьями? Обременял ли он вас податями и пошлинами?

Если вы не видали его сами в величии и славе, спросите

стариков ваших, спросите вашего Великого князя.

Ныне, вероломный племянник возмутил Орды, изгнал великого Махмета. И удалился великий Махмет к друзьям своим, русским князьям.

Горе забывающему благоденствия! Прощает Великий хан, что не с почестью встретили вы его; не оскорбляется тем, что не дружески приветили вы его, но загородили ему дорогу войском, как будто врагу.

Он ничего не требует от вас, обещает прожить мирно и только до весны, до красных дней, дайте ему покочевать в бедной земле вашей и пропитать свою дружину. Тогда он сам оставит вашу сторону и пойдет, или в злачные степи приволжские решать судьбу саблями, в бою с племянником, или удалится в глубину лесов камских, и там создаст себе новое царство, поставит свой ханский казан и зовет к себе власть и силу.

Если не согласитесь, если хотите сражаться, если неблагодарностью оскорбите великого хана – велик Бог, и крепка еще сабля правоверных. – Испытайте! у нас достанет еще силы наказать вас!»

– Гордый посол изгнанника! две головы разве принес ты к нам? – воскликнул Голтязев, вскакивая со своего места. – Так ли просят милостыни?

«Милостыни? – вскричал Улан, и рука его опустилась на рукоять кинжала. – Прощаю безумие за юность твою», – промолвил он, подумав.

– Если гостем приехал к нам хан твой, – вскричал боярин Собакин, – пусть едет в Москву один, бить челом Великому князю. Но гостем с дружинами не приходят, Пусть распустит, разгонит он свою сволочь; для нее нет у нас хлеба.

«Бедна же ваша земля, как беден ваш ум, если для ханских друзей нет у вас хлеба, и если вы не видите, что вам не отогнать дружин от хана, пока есть у них в руках мечи».

– Не учитесь нам бить ваше темное царство и гонять вас бичами из русских областей! – вскричал Собакин; громкий хохот раздался в собрании.

«Кажется, – сказал Улан, – кажется, я тебя знаю: Собакин, который *держал* стремя мое, когда я сажал на престол твоего князя? Не ошиблись в имени твоём: настоящая ты собака, лаешь на владыку!»

– Сам ты собака, татарин проклятый, свиное ухо! – воскликнул Собакин, слыша, что все хохочут от слов Улана,

«А! такая обида нестерпима! – воскликнул Улан. – Отдайте его мне головою – без того я не пойду отсюда!»

Смятенный шум раздался в собрании. Жизнь Улана была в опасности. Крик: «На битву, на битву! Прочь татарина!» – зашумел повсюду.

Оскорбленный дерзостью и безрассудностью князей и бояр, Шемяка старался утишить смятение. Ему стыдно было видеть неустрашимое мужество и величавость Улана, угрюмого, седого старика, и в противоположность тому буйство и мятеж своих товарищей.

Когда шум утих от грозных речей Шемяки, Улан усмехнулся и сказал: «Так ты, стало быть, князь, главный здесь воевода? Жалею о тебе: видно, что ты еще не привык повелевать – поучись. Я требую выдачи Собакина: хочу иметь удовольствие простить его за дерзкие речи!»

Тогда снова смятенный шум взволновал всех; уговорить было уже невозможно. Шемяка едва мог только спасти Улана от мечей и отправить его безопасно к хану.

– Мне ли должны вы повиноваться? – говорил он князьям и воеводам, – или я для того только здесь, чтобы видеть ваше буйство и срамиться перед татаринном?

«Веди нас в бой, веди на Махмета, – кричало несколько голосов, – и мы повинемся тебе!»

– Никто не смей приказывать мне: я запрещаю бой и кончу миром! – отвечал Шемяка.

«Похлопочи за себя о мире у Великого князя, если еще не проучила тебя Коломна!» – вскричал в запальчивости Голтязев.

– Дерзкий мальчишка! – воскликнул Шемяка, – я проучу тебя! Отдай меч свой и жди моего суда!

«Возьми, если можешь!» – отвечал Голтязев с прежнею запальчивостию.

– Мы не выдадим Юрьеву роду родственника Великого князя! – вскричали все.

Шемяка хотел отвечать, как внезапно прибежали к нему с известием, что между татарами и русскими началась уже

битва.

– Кто дерзнул? – воскликнул Шемяка.

«Князя Стародубский и Тарусский напали на отряд татар, возвращавшийся в город с запасами, собранными в окрестности. В жестокой схватке Стародубский был убит, другие обратились в бегство; к ним кинулись на помощь...»

– К оружию, к оружию! – загремели все. – Не дадим басурманам ругаться над Русью! – В беспорядке князя и воеводы выбежали из совета. Увлеченный другими, Шемяка не мог противиться, потому что бой загорелся вдруг в двадцати местах, отдельными отрядами. Он едва мог привести его хотя в малый порядок.

Ожесточение сделалось ужасное. Татары бились насмерть. Сам зять ханский, ужасный силач, выскакал из города, с отборными наездниками. Воевода Семен Волынец, потомок славного Волынца, сподвижника Донского на Куликовом поле, сохранивший от предка своего только силу, ринулся с охотниками и схватился с зятем ханским. Только искры сыпались от мечей их, и в один раз зять ханский пал с разрубленным шоломом, а кольчуга Волынца не защитила его тела и он, раздвоенный страшным ударом, свалился с лошади.

Падение ханского зятя навело ужас на татар; они бросились бежать в город, и с диким воплем пустились за ними русские. Шемяка видел опасность, ибо Улан выступал в это время из засады, но остановить было невозможно: небольшой отряд русских врезался в самый город; другие дрогнули

и побежали обратно. Темнота разлучила сражающихся; все были в смятении, беспорядке; воеводы, бояре, князя, воины бросились отдыхать, кто где мог; нельзя было сообразить ни дружия, ни отрядов.

Обезопасив несколько русский табор, Шемяка отправил от себя двух бояр переговорить с ханом, и тем хотел он остановить дальнейшее кровопролитие; другим военачальникам велел собраться к себе ранним утром на совет и измученный, утомленный, оскорбленный всем, что было в этот день, вошел он в свое убежище.

Высокого роста человек, с ног до головы вооруженный, встал при его приходе.

«Здравия князю Димитрию Юрьевичу!» – сказал незнакомец. – Шемяка отступил с удивлением: это был Гудочник.

– Князь Димитрий Юрьевич, – сказал один из двух воевод, следовавших в это время за ним, – вели схватить этого человека: это соглядатай. Мы видели, как он вчера крался из Белева в наш стан, и гнались за ним; но он успел скрыться в лесу тайною тропинкою.

«Я его хорошо знаю, – отвечал угрюмо Шемяка. – Оставьте меня с ним одного».

Воеводы недоверчиво обменялись взорами и немедленно вышли.

– Вели схватить их и задержать, – сказал Гудочник.

«Для чего?» – спросил Шемяка.

– Разве не понимаешь ты, что они немедленно побегут и

возмутят других своим известием? Разве не видишь ты, какое воеводство вручил тебе Василий? Неужели не чувствуешь ты своего бесславия, своей гибели, и того, что завтра, может быть, скуют тебя и повезут, как изменника, в Москву?

«Вестник злосчастия! опять явился ты с окаянными твоими речами!» – вскричал в негодовании Шемяка.

– Да, опять, опять – пришел укорить тебя в малодушии, доверчивости, непростительной отроку, не только взрослому князю, укорить в забвении обета, какой дал ты мне в тюрьме своей!

«Дерзкий крамольник! страшись гнева моего!»

– Ничего не утрашусь: я пришел к тебе сказать последние вести, и если ты не пробудишься от них, делай, что хочешь! Знай, что ты обманут, оболган, проведен. Между тем, как смеялись над твоим воеводством, и дали тебе *пьяную* толпу сторожить безопасность Москвы от хана, который и не думал воевать с Москвою; а рад будет, если его трогать не станут, – Великий князь усиленно напал на Углич твой, взял его, и твоя невеста, и легковерный отец ее, слабый старик, теперь находятся в плену московском, а верная дружина твоя легла костями на добычу вранам и волкам...

«Клевета!»

– Клевета? Трепещи и слушай далее: в сильном бою, – в то время, когда грабили твой Углич, Василий Юрьевич, брат твой, был разбит и схвачен; на другой день ему вырезали глаза, по велению Великого князя, и послали его в заточение, в

дальний монастырь.

«Лжешь, проклятый человек! – в бешенстве воскликнул Шемяка, схватывая за горло Гудочника. Рука его дрожала; Гудочник легко отвел ее своею рукою.

– Дослушай князь и не горячись: услыша такую весть, меньшой брат твой, Димитрий, упал без чувств, и жестокая горячка привела его на край гроба – ему не вставать более, и – слава Богу, хоть не услышит он о твоём позоре!»

Трепеща склонился Шемяка на скамью, близ стоявшую.

«Не услышит, – продолжал Гудочник, – как последнюю отрасль старшего рода Димитрия Донского, тебя, рабствующего Василию, повезут в Москву, на позор и посмешище!

Славно, Василий Васильевич, истинный Великий князь, достойный сын Суздальского хищника!

С незапамятных времен, только один князь русский был лишен очей своих, и то не рукою брата, а рукою врага; но здесь вонзил нож в очи внуку Димитрия Донского другой внук его. Теперь почивай спокойно, Великий князь, в крепком своем Кремле! Один из врагов твоих плачет кровью, вместо слез, другой умирает, третьего скоро приведут тебе на потеху!»

Тихо поведя рукою, Шемяка спросил прерывающимся голосом: «Чем утвердишь ты мне слова твои? Вестник неслыханного злодейства! я не верю тебе: не может совершиться вероломство, столь страшное, преступление, столь черное! Содрогнулась бы земля, загорелось бы небо, если бы толь-

ко мысль о чем-нибудь подобном родилась в душе человека! Вот письмо Заозерского – мог ли писать его он, если бы хоть что-нибудь было правдою в твоих речах!»

Гудочник взглянул на письмо: «Оно писано за две недели из Москвы, когда князя Заозерского кормили в Москве и отпустили потом в Углич, на убой. Кто поручится за то, что может сделаться на другой день? Вы все вероломно обману-ты Василием».

– Но, для чего же он выпустил меня из тюрьмы, дал мне дружины и воеводство над ними?

«Ты безопаснее для него здесь, нежели в тюрьме. Если умысел спасти тебя был открыт; если притом Василий мог оправдать себя в вероломном захвачении твоём, осудив тебя потом, как изменника, сообщника татарского?»

– Ты лжешь: когда такое дело требовало оправдания? Мог ли Василий решиться на преступление неслыханное?

«Малое зло требует оправдания, но в великом оправдываться не станут. И тогда стоял еще крепко твой Углич, грозил еще брат твой – и вот Заозерского улестили, уласкали, улелеяли: ты всем казался страдальцем – теперь ты появишься, как злодей и предатель отчизны татарину. Битва не дала тебе победы; знаю, как сражался ты; но что мог ты против отборных войск татарских, с твоею пьяною толпою? Ты все еще не веришь мне и – не верь! Хорошо! Дождись, пока придут к тебе и наложат на тебя колодку?»

Тогда слезы потекли из глаз Шемяки; он склонил голову,

закрыл ее руками и зарыдал громко.

– О милые братья мои! Василий – львиная храбрость, товарищ опасностей, неродной сердцем, родной кровью отцовскою, меч булатный в бою, копье неизменное, рука сильная в битве! О Димитрий, душа ангельская, младенец сердцем, праведник небесный, утеха отцовская, райский цвет в мире грешном и суетном! О моя дружина удалая, товарищи, на мечях вскормленные, разгульные, веселые, крепкие!

Гудочник стоял, сложа руки, и молчал. Поспешно вошел к ним Чарторийский.

«Князь Димитрий Юрьевич, – сказал он, – я едва поднялся с одра и пришел известить тебя о грозящей беде». Чарторийский был бледен; правая рука его была подвязана; в пылу битвы он был жестоко ранен и замертво унесен с поля сражения.

– Какая еще беда? – спросил Шемяка, не вставая со своего места.

«В ставке Голтяева собрались все московские воеводы; они говорят, что ты сносишься тайно с ханом, что ты изменяешь и передаешь татарам войско московское, что у тебя видели лазутчика ханского. Хотят схватить тебя, и один верный боярин рязанский известил меня об этом!»

– Что же? Пусть придут, – хладнокровно отвечал Шемяка.

«Ты погибнешь, князь мой! Ты здесь одинок, никто за тебя не заступится – я даже не могу держать меча...»

– Живой не отдамся я им в руки – в этом уверяю тебя, а жить так, как живу я – горше смерти и хуже быть не может!

«Нет! может, – сказал Гудочник, – может: есть цепи, кандалы, есть тюрьмы, есть ножи вырезать очи; есть невесты, которых можно отнимать и отдавать за рабов, когда женихи будут в то же время истекать кровью и плакать не слезами, а ядом палящим»,

– Смерть и проклятие! – воскликнул Шемяка. – Что же мне делать? Дай мне Василия, дай: я растерзаю его своими руками, напьюсь его кровью, выточу из костей его зернь и потом кину жребий, что ожидает меня за все это на том свете!

«Ты ожил, наконец, – сказал Гудочник, – ожил. Пойдем же, спеши, не медли; я проведу тебя сквозь мечи и копья вражеские, сыщу тебе дружины, сыщу мстителей, уведу тебя в вольную землю новгородскую, убежище изгнанных, бедствующих князей! Повесть о злодействах Василия, о гибели рода твоего, вознесет мечи и копья вольного народа. Если Василий не дал тебе отпировать свадебного пира, то задай ему пир кровавый, напои смертным вином убийцу братьев твоих!»

– Веди меня, веди скорее, скорее!

«Дай сперва задать потеху московской сволочи! Пойдем, вели седлать коней!»

Не понимая сам, что делается, Шемяка кликнул конюших своих. «Скорее седлать коней!» – сказал он.

– Они уже оседланы, и мы продрогли, дожидаясь, что ты повелишь.

«Кто приказал вам?»

– Я, – сказал Чарторийский, – боясь следствий того, о чем я говорил тебе.

Шемяка крепко пожал ему руку.

«Князь Димитрий Юрьевич! – вскричал Сабуров, вбегая испуганный, – дело плохое: в войске началось сильное волнение: крамола воевод усиливается; слышны клики буйные против тебя».

– Я пойду к ним, обличу их, обличу их вероломного князя!

«Князь! помысли, опомнись: что ты замышляешь? – сказал Гудочник. – Надобно спастись, и не здесь место оправдывать себя, но там, там, на новгородском вече, с булатными доводами правоты твоей!»

– Князь! спасайся, если только есть средство! – сказал Чарторийский, – оставь нас в жертву врагов твоих!

«Вас оставить – последних друзей моих? Никогда, никогда!»

– Мы найдем средства спастись все, не боясь ни крамол, ни мечей, – сказал Гудочник. – Недалеко отсюда ждут нас подводы, и мы будем далеко, прежде нежели опомнятся москвичи от гостинца нашего. Поспешим!

Гудочник пошел; все следовали за ним, поспешно сели на коней и тихо поехали из небольшого селения, где был глав-

ный притон московских воевод. Видно было повсюду большое волнение; огни мелькали по домам; воины ездили взад и вперед; большой костер огня разложен был за селением. Тихо проехали беглецы мимо толпы воинов, собравшихся в беспорядке подле костра. «Вслушайся в клики их», – говорил Гудочник Шемяке. В шуме и безобразных воплях, слышны были громкие восклицания: «Смерть Юрьеву отродью! Чего мешкать! Смерть изменникам московского Великого князя! Не станем терпеть ханских друзей!»

– Теперь пора попотчевать друзей твоих! – сказал Гудочник. – Поедем скорее! – Отъехав к лесу, недалеко от селения, Гудочник затрубил в звонкий рожок. Звуки далеко отдались в лесу и звонко повторены были другим и третьим рожками. Не прошло несколько мгновений, как в стороне к Белеву загорелся огонь, и пожар опламенил небосклон.

«Ты предаешь соотчичей в руки врагов!» – вскричал с негодованием Шемяка.

– Нет! спасаю их. Через час, не более, тайная засада обошла бы их сзади, и они погибли бы все, в тишине сна и ночи, под саблю басурманской. Князь Чарторийский! можешь ли держаться на коне?

«Могу, если надобно спасти жизнь».

– Итак, благослови, Господи! Мы должны проехать здесь, прямо через лес, по тропинке, и выехать на Рязанскую дорогу. Пока опомнятся наши друзья, пока управятся они с пожаром, а потом с татарами, мы будем уже далеко.

Ни радости, ни печали, ни гнева не изъяслял Шемяка. В каком-то бесчувствии следовал он за Гудочником, бодро ехавшим впереди. Скоро пробрались они через лес, на Рязанскую дорогу. Зарево усиливалось вдали. Несколько троек лихих лошадей, с санями, стояло на дороге. «Мы спасены!» – сказал Гудочник. – «Кто идет?» – раздались голоса провожатых, находившихся близ саней. – «Свои», – отвечал Гудочник – и старик, князь Шелешпанский, со слезами, бросился обнимать Шемяку.

Глава VI

*Где есть мирское пристрастие? Где есть
привременных мечтание? Где есть золото и серебро?
Где есть рабов множество и молва? Вся персть, вся
пепел, вся сень...*

Погребальный самогласен

В Рязань, где княжил исстари враждебный Москве род Олега, направлен был путь Шемяки и его спутников. Повсюду учинены были предварительно тайные приготовления для проезда беглецов. Не въезжая в самую Рязань, Шемяка остановился в подгородной Красной слободе, и сюда, тайно, выехал к нему на свидание князь Рязанский.

Здесь подробно узнал Шемяка обо всем, что случилось после него под Белевым. Нестройные дружины московские, встревоженные внезапным пожаром, пришли еще в большее растройство и совершенно смешались; никто не знал даже за что приняться, когда из-за леса гикнули на них татарские скрытные дружины. Ни одна из предохранительных мер, поведенных Шемякою, не была приведена в исполнение: воеводы беспечно находились в совете, где положено было ими взять, сковать Шемяку и отправить в Москву, обвиняя в злых умыслах и сношениях с ханом; воины не думали о неприятеле, спали, гуляли, пьянствовали. Битва однако ж завязалась жестокая, рукопашная; но татары, вышедшие в

одно время из-за леса и из города, сломили беспорядочное, хотя и храброе сопротивление русских; все предалось бегству: один татарин гнал десятерых русских воинов, и что не осталось побито на месте, то рассеялось и было захвачено татарами. Много вождей легло в кровавой свалке. О Шемяке никто не знал, где он – на месте битвы его не нашли, в полону его не было, куда скрылся он, не слышали. Множество сказок разносили обо всем этом по святой Руси. Говорили, что победа басурман была дана Богом за непомерную гордость русскую. Сказывали, будто после первой Белевской битвы к хану посланы были послы и требовали: положить оружие, связать татарам руки назад, хану надеть петлю на голову, и в таком неудобном наряде приказывали всем им идти от Белева до Москвы, бить там челом Великому князю. Хан будто бы уговаривал послов не возноситься гордостью, давал заложников, уверял в дружбе и обещал сидеть смирно, а весною с поклоном уйти из Руси. Послы ни о чем слышать не хотели. «А сего ли не хотите, озритесь назад!» – сказал тогда хан. Послы оглянулись и увидели воинство русское, никем не гонимое, но опрометью бегущее. Многие в Москве трепетали последствий; много плача и слез было на Руси, по убитым и погибшим напрасною и бесполезною смертью. Но хан не возгордился, прислал новых послов и объявил Великому князю, что он только *про-учил* русских, а не враждует, и продолжал спокойно сидеть в Белеве, дожидаясь весны.

С грустью слушал все сии рассказы Шемяка и с ужасом в

то же время узнал подробности событий в Угличе и в Устюге. После разбития и страшной мести Косому, войско московское опустошило огнем и мечом Вятку, Галич, Устюг, мстя за присоединение тамошних областей к Косому. С дымящихся развалин бежали обитатели в окрестные леса. Московская дружина оставила после того северные области; решение Великого князя о сих областях еще не было ведомо. Воинство московское и дружины князей, с ними бывших, отошли к Москве, Владимиру, заняли Углич, Звенигород, Дмитров и двигались отчасти на Тульскую дорогу.

Ни прежняя храбрость, ни прежнее мщение не возбуждались теперь в душе Шемяки. Безмолвно выслушал он страшные рассказы и не изъявил ни гнева, ни скорби. Только услышав о том, что Димитрий Красный¹⁵³ томится на смертном одре, в полусгоревшем Галиче, где остановился он ехавши из своего Бежецка, перед гибельною битвою москвичей с Косым, Шемяка воскликнул; «Еду к нему!» Красный хотел явиться под Устюг, думая быть миротворителем брата и Великого князя; дружины его были уже давно присоединены к московским. Мог ли он противиться Москве? Мог ли знать ненавистный замысел Василия? «И я был сообщником злодейства, неслыханного на святой Руси!» – воскликнул он, когда услышал о страшном ослеплении брата. Душа его не перенесла бедствия и стала проситься из суетного, скорбно-

¹⁵³ *Дмитрий Юрьевич* по прозванию Красный (ок. 1408—1441) – князь Бежецкий (с 1434 г.).

го мира, туда, куда давно стремились все помыслы кроткого, добродетельного юноши...

Быстро, хотя и дальним объездом, через Муромские, Нижегородские и Костромские области, пробрались Шемяка и его спутники в Галич. Все они были переодеты; никто не узнавал их под именами новгородских купцов. Гудочник назвался их старшиною; все было им предусмотрено; казалось, что он ведаёт каждый лесок, каждую деревеньку в этих сторонах. Всюду видны были ещё свежие следы пожаров и опустошений, хотя жители, немедленно после ухода московских дружин, толпами выходили на пепелище и, как муравьи, копошились около разоренных обиталищ своих. «Кого люди не досчитываются в живых, о тех *Бог* промыслитель, а кто жив остался, тот думай о живом», – говорили они и, поплакав над разоренным жильем и на могилах родных, снова принимались строить и ладить свои убежища.

Вечером прибыл Шемяка с спутниками своими в Галич. Трепеща ехал он по опустелым, полуразрушенным улицам, к тому княжескому дому, где некогда жил отец его и где часто в юности своей жила сам Шемяка с братьями. Тесовые ворота были растворены, народ толпился по двору и на улице, в глубоком безмолвии – погребальные свечи видны были в окнах...

Шемяка спешил на высокое крыльцо – подле дверей стояла крышка с гробовой колоды...

Отчего, предчувствуя, зная, видя гибель неизбежную,

слыша, что нет уже никакой надежды, даже находясь подле самого одра умирающего, милого человека, считая уменьшающееся постепенно дыхание его – человек все еще не теряет надежды? Утопающий держится за соломинку; за жизнь милого держишься, пока не прекратятся последние судорожные движения тела, последние звуки жизни не замолкнут в груди...

Шемяка не смел спрашивать у встречавшихся с ним людей о жизни брата; никто не смел сказать ему об его смерти – гробовая крышка все сказала ему без слов; Шемяка все понял одним взглядом...

Он отшатнулся от страшного вестника гибели: «Что: опоздал я? Поздно приехал? Нет уже брата?» – говорил он тем людям, которые почтительно стали по сторонам, попавшись навстречу Шемяке в сенях и узнав его.

– Братец твой приказал тебе долго жить, – отвечал наконец один из предстоявших.

«Давно ли?» – спросил Шемяка, как будто нарочно хотел вдавить глубже в сердце свое горечь, расспрашивая обо всех подробностях.

И почти не слушая ответа, спешил он потом в главную комнату дворца. Там, на столе, покрытом белым холстом, лежал бездыханный труп Димитрия Красного. Комната была наполнена народом. Уже все наплакались вдоволь, и потому все были теперь только в хлопотливом движении, заботясь о разных подробностях погребения; в другой комнате стоял на

большом столе мед, и множество из присутствовавших за-пивали горе, желая усопшему царствия небесного, а живым доброго здоровья.

Тяжко зарыдал Шемяка и повергся на труп милого брата; долго текли слезы его, и ничего не мог он проговорить. Но слезы отрада, облегчение душе горестной, и выплакав горе свое, свободнее дохнул Шемяка, отер глаза свои и сказал: «Ну, буди воля Господня! Усопшему мир, живым долголетие. Прости и благослови!» Он поцеловал охолодевшие уста брата своего и изумился, тогда только рассмотрев бранные его останки.

Красный лежал, как живой, как спящий. Улыбка не слетала с уст его; легкий румянец не сходил с ланит его; русые кудри его вились по плечам; никаких знаков тления не было видно на его теле. Прекрасен, как цветущий юноша, светел, как праведник, лежал юнейший сын Юрия, любимец отца, райское кадило, мимолетом пронесенное через мир скорбный и суетный!

В головах его, сидел и плакал не осушая глаз, старый пестун его, боярин Петр. Он не говорил ни одного слова; иногда только подымал к образу седую пожелтелую голову свою, и слезящий взор его, как будто спрашивал: «Зачем оставил ты меня в живых, царь небесный? Прими и меня с ним!»

Безответно было провидение. Здесь, в городе полуобгоревшем, среди опустошенной области, боярин Петр, услышав о страшной гибели старшего сына князя своего, видел,

как другой притек беспомощным *беглецом*, оставя невесту и беззащитные волости свои силе врага. А третий – *ангел-утешитель* его, юный цвет, с колыбели возлелеянный его руками – лежал перед ним бездыханен...

Такова являлась теперь участь семейства сильного «нзяя русского, второго рода, происшедшего от Димитрия Донского, рода, давно ли цветущего, могущего, обладавшего Великим княжеством, державшего в деснице своей власть московскую и заставлявшего преклоняться перед собою всех других князей русских!

Невольно повторял престарелый Петр слова святой духовной песни: „Где мирское пристрастие? Где мечтания вещей временных? Где богатства? Где толпы рабов и молва славы? Все ничтожно, все прах, все тень на вемле!..“

– Ты ли это, старик? Тебя ли я вижу, боярин Петр? – спросил Шемяка, печально садясь на лавку, против тела брата своего,

„Я, родимый“, – отвечал Петр, тихо поднявшись со своего места. Медленно притащился он к Шемяке и поцеловал его руку.

– Садись, старик, станем плакать вместе. Душа моя скупится на слезы. Видишь: глаза мои сухи. Расскажи мне о кончине брата моего; авось твои слова опять размочат глаза мои.

Старик сел подле Шемяки и подробно начал рассказывать, как не хотел было Красный подымать меча на брата, как хотел он примирить Великого князя с братом том, как услышав

о задержании Шемяки и походе мо» сковского отряда к Бежецку, послал он дружины свои присоединиться к Великому князю, и сам спешил ехать к брату – уговаривать его на усмирение.

Почти пуста оставалась комната, где беседовали Шемяка и боярин Петр. Свечи, поставленные на больших подсвечниках вокруг стола, тускло горели; лампадка теплилась перед образами в переднем углу; впереди священник, на налое, читал тихим, однообразным голосом Псалтырь, держа в руке маленькую восковую свечку; вьюга била в окошки, и мрак ночи облегал окрестности, Шемяка забыл время, слушая чтение Псалтыри и грустные рассказы престарелого Петра. Горесть сроднила их, связала сердца их. Петр припомнил Шемяке *безмрачную* юность его и братьев, вспоминал добродетель, непорочное, прекрасное сердце Красного. «Не могу оторваться от моего ненаглядного, – говорил он, – не могу насмотреться на него! Погляди, князь добрый, как светел, как неприкосновен тлению лежит он перед нами! Кажется, что душе его не хочется расставаться с лепым жилищем ее; кажется, что улетев уже из брэнного тела, душа праведника снова воротилась теперь, еще погрустить, посетовать о красном жилище, где так радостно, так уютно гостила она двадцать пять лет; кажется, что она опять одушевила свое тесное обиталище в теле добродетельного юноши, и что ей не хочется улететь даже в райские жилища. Так, идучи на почесть и славу, юный супруг медлит расстаться с милою сво-

ею, подругою.

– Ему суждено жилище праведных, – говорил Петр, – или я готов согрешить, готов вопрошить: кому сия, Господи, угодовал, аще сей не внидет в царствие твое? Никогда, ни одна земная страсть не внедрялась в чистую душу его. Он не знал заразы честолюбия и суетного властолюбия; он не ведал и плотской любви. Еще в малолетстве, когда другие играли и забавлялись, он садился бывало подле меня и говаривал: „Дядька! расскажи-ка мне об Иосифе Прекрасном, об Алексее Человеке Божьем, о богатом и бедном Лазаре“ ... Я бывало рассказываю, а он слушает и плачет. Но никогда не хотел он надеть монашеской рясы, говоря: спастись хочу в мире, в суете власти и почестей; хочу не бежать от мира, но сражаться с ним!... А кто слаще его певал духовные песни? А кто сердечнее его игрывал псалмы на гусях самозвончатых? О мой Роман-сладкопевец, князь милый! не светить солнцу по-прежнему, не нажить миру другого такого князя! Бывало родитель твой разгневается-взглянешь ты, и гнев его проходит; бывало, я ли, старый хрыч, сгрустну, повешу голову – не отстанет от меня, пока не скажу тебе: золото мое ненаглядное! так сгрустнулось...»

– Старик! посмотри! – сказал Шемяка, внимательно глядевший на тело брата, – посмотри: покров на нем шевелится! – Он схватил за руку Петра. Петр невольно вздрогнул... Несколько мгновений молчали они и глядели.

«Ничего, князь! – сказал Петр, – тебе померещилось. Ты

утомился с дороги; тебе надобно отдохнуть. Подумай о себе: сколько ни плачь, ни горюй, но мертвым покой, живым здравие...»

– Нет! я точно видел, – сказал Шемяка, – видел...

«Ничего, князь, – отвечал Петр, встал, подошел к телу, оправил покров, перекрестился, поцеловал венчик, лежавший на голове Красного. – Тихо почиет в мире, ангел небесный! – сказал он. – Ох! скоро ли то приберет Господь меня!»

Опять сели рядом Шемяка и Петр. Невольно стеснялась грудь Шемяки; ему казалось, будто готовится что-то необычайное. Петр рассказал уже ему все подробности болезни и смерти Красного. Юный князь страдал болью в груди от самого сражения близ Ростова. Смерть родителя, как мы уже видели, усугубила его болезнь; но благотворное время, казалось, облегчило скорбь и грусть его. Уныло, тихо проводил он дни в своем уделе, и снова жестоко начал страдать, услышав о новых смутах между братом и Великим князем. Не щадя жизни, отправился он наконец для примирения брата, когда пришла весть об ослеплении Косого и сразила его. Далее Галича ехать он не был в силах. Здесь предрек он смерть свою, чувствовал, что уже не подниматься ему со смертного одра. Он оглох, не понимал, что говорили ему; но сам беспрерывно молился, спрашивал о братьях, благовейно приобщился святых тайн и утром в день приезда Шемяки умолк навсегда.

Так рассказывал Петр, когда Шемяка снова схватил его за

руку.

– Мне не мерещится! – сказал он тихо.

«Господи! что есть сие!» – прошептал с трепетом Петр.

Покров шевелился; губы мертвеца двигались; он силился, казалось, встать.

Какая безмерная бездна разделяет жизнь от смерти, если только одна мысль, что мертвец движется – движется, живет без жизни – оледеняет сердца живущих...

Шемяка и Петр окаменели на местах своих: мертвец двигался, тихо развел руками, скинул с себя покров, приподнялся, сел на столе, сложил руки на груди и хрипло возгласил: «Познал Петр, яко Господь его грядет и исполнился страха и ужаса! Гряди по мне, гряди – познай Господа!»

В беспамятстве поднялся боярин с места своего и громко возопил: «Гряду, Господи, гряду! Ныне отпускаеши раба Твоего, по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои спасение Твое!»

Страшно было зрелище мертвеца, восставшего, безжизненного: очи его были закрыты, руки сложены, голос отзывался гробовым хрипением – и старца, за минуту удрученного скорбью, плакавшего, но полного жизни – теперь впавшего в какое-то бесчувствие: глаза его помутились, седые волосы стали дыбом-коленипреклоненный перед телом Красного, он запел вне себя:

«Увы! мне: каковый подвиг имеет душа моя, разлучающаяся от телеси! Увы! тогда колико слезит, и несть помилуйай ю:

к ангелам очи возводит и – бездельно молится; к человекам руки простирает и – не имать помогающего!»

– Блажени непорочнии, в путь ходящи в законе Господнем! – запел мертвец. – Придите, видим чудо паче ума: вчера был с нами – ныне же лежит мертв. Придите, уразумеем: что мятущаяся совершаем? Как благовоением помазанный смердит зловонием? Как златом и красотою красящийся – нищ и без лепоты лежит?

Вне себя бросился Шемяка к брату: «Брат! – воскликнул он, – ты ли жив еще? Или я вижу сонное видение? Или ты пришел сказать только нам тайны замогильные?»

– Се, жених грядет в полунощи, – запел опять мертвец, – и блажен раб его же обрящет бдяща; недостоин паки его же обрящет унывающая! Блюди убо, душа моя, да не смерти предана будеши, и царствия Христова вне заключившей...

Шемяка бестрепетно обнял Димитрия; но он был холоден, и глаза его не открывались...

– Брат милый! что с тобою? Узнаешь ли ты меня?

«Петр познал, яко Господь грядет», – запел снова мертвец, и, как помешанный, отскочил от него Шемяка. Оглядываясь во все стороны, он увидел себя одного в комнате – псалтырщик убежал при начале непостижимого, оживления мертвеца. Красный сидел на столе, среди погребальных свеч, в саване и одежде покойника, не открывая глаз, и пел хриповатым голосом. Что-то задел ногою Шемяка, лежаще на полу: это был пестун Красного, боярин Петр, склоненный че-

лом к земле, и уже мертвый и охолодевший...

Шемяка не видал после того, как сбежался народ, не помнил, что было далее. Когда он опомнился, то увидел себя в постели; солнце светило в окна; подле кровати сидел Гудочник; невдалеке стояли Чарторийский и Сабуров. Озираясь кругом, Шемяка не видел ни мертвеца, ни гроба.

– Где мы? Что со мною? – спросил он.

Гудочник встал, взял руку Шемяки, посмотрел на него и сказал: «Слава *Богу!* никакой опасности нет. Князь! Опомнись: мы в Галиче».

Шемяка поднялся на постеле и старался привести в порядок мысли свои.

– Старик! что видел я? Что было со мною? Мне грезилось, будто брат мой умер, будто он ожил снова втлазах моих. Какой страшный сон!

«Успокойся, князь! Побереги свое здоровье». – Я здоров, – вскричал Шемяка, вставая с постели, – Объясни, объясни мне!

«Неслыханное чудо совершилось, и ум человеческий дидего не постигает в нем!» – отвечал Гудочник.

– Брат мой ожил?

«Нет!»

– Итак, страшный только сон ужаснул меня?

«Нет! это был не сон! Брат твой в чудном видении: он мертв и жив; он говорит о жизни за гробом, и жизнь авшняя исчезла перед ним...»

– Что же это, старик?

Гудочник опустил голову.

«Не постигаю! – сказал он, – Дивен Бог во Святых Своих!»

Шемяка поспешно оделся и пошел в ту комнату, где совершалось непостижимое чудо.

Дворец, двор его, улица, были наполнены народом, сошедшимся по слуху О восстании Красного. Трепетное, благовейное молчание царствовало всюду. В комнату, где находился Красный, никто вступить не осмеливался; все стояли в дверях; мертвец сидел на столе, не открывая глаз; два инока, старцы, пришедшие из ближнего монастыря, находились по обеим сторонам Красного и безмолвствовали.

Невольное трепетание проникло в душу Шемяки, когда он вступил в комнату. Красный говорил и пел, почти не умолкая. Едва пришел Шемяка, он умолк; грусть изобразилась на лице его, и вдруг начал он снова говорить:

«Не приступай ко мне с суетными помышлениями мира; не возмущай души моей тщетною горестию; благовей перед судом Бога!»

О! зачем связан язык мой, когда отверзты мои душевные очи! Неизглаголаные тайны раскрыты предо мною... Как светлы судьбы Бога, как темны пути мира!

Радуйся, претерпевший до конца! Радуйся, совлекшийся греховного мира! Но ты влечешься в путях неправды, и – горе тебе! Как тать ночной, придет час смерти, и что со-

творишь тогда, если не готов ты предстать пред суд неумытый!»

Красный умолк и преклонился на подушку, лежавшую под его головою.

Через минуту он тихо запел:

«Каплями подобно дождевым, малы и злы дни мои летним обхождением оскудевая, помалу исчезают.

Малы и лукавы дни мои, и лета моя со тщанием отыдоша, и погибоша во многой суете! Близ время жатвы, и серп возложен на жатву души моей; притекла смерть и подкапывает храмину душевную!»

Снова умолк Красный и через минуту опять начал говорить:

«Зрите ли, как погиб праведный, и никто не приемлет кончины его сердцем!

Вземлются от земли праведные, и никто не разумеет их!

От лица бо неправды вземлются праведные, и с миром погребение их...»

Так пел и говорил Красный, и все безмолвно внимали ему, и никто не уразумел, *что* совершается в очах их!

Он открыл глаза, проговорил: «Радуйся, утроба Божественного воплощения!» – когда духовник принес к нему святые дары от литургии. «Мир вам и мне!» – сказал он после сего, лег, сложил руки, закрыл глаза и умолк навеки. – Неизъяснимою тайною осталась чудная его кончина и была записана в Летописи на память людей. Он завещал похоро-

нить себя близ гроба отцовского и был похоронен по завещанию своему в московском Архангельском соборе. Там доныне видна гробница, Вместившая его и родителя его. Там положен был потом и несчастный Василий Косой..

Глава VII

*Кто против Бога и Великого Новгорода?
Старинное присловие*

Силен, славен, могуч, горд своею мощию был в это время Великий Новгород; далеко расширял он пределы своих областей, владел отдаленною Печорою, Мезенью, Пермью, Югрою; не больно кланялся Москве, смело ссорился с Литвою, крепко бился с ливонскими рыцарями, держал под рукою Псков, торговал с Ганзою и был пристанищем гонимых князей из Литвы, из Руси и даже из Заморья. Обширностью жилья едва не равнялся он Москве и более Москвы славился великолепием храмов Божиих.

Таков казался, но не таков в самом деле был Новгород Великий. Правда: вечевой колокол гремел на Софийской площади и вольные новгородцы гордились своею независимостью, богатством торгова, крепостью мечей, красотою дев; но гордость эта походила на тщеславие богача, который не считает своих сокровищ, потому что боится не досчитаться многого. Уже прошло время, когда один только Новгород был приютом свободы на Руси, и все другие области стонали под гнетом ордынской власти; уже Москва, поглощавшая все окрест себя, возраставшая силою и крепостью, несколько раз предписывала Новгороду устав и закон, и семьдесят лет

прошло после *первого* урока, данного новгородцам Димитрием Донским¹⁵⁴, когда он стал табором под самыми стенами новгородскими, собрал тяжелый *черный бор*¹⁵⁵ и едва было не разрушил новгородского *самосуда*¹⁵⁶. Часто после того забывали новгородцы урок Донского. Но нередко Москва и напоминала им этот урок, и нередко, в самом сильном разгаре страстей, имя *Москвы* заставляло вольный город хмурить брови и умолкать самые хвастливые его угрозы. Только нерешительная политика Василия Дмитриевича, бедствия Москвы в его княжение и хитрая сила Витовта спасали Новгород: Витовт не хотел предать Новгорода воле московской. Зато Литва, неоднократно и тяжело, налагала на Новгород свою руку при Витовте и после него. С Ливониею¹⁵⁷, правда, не трусвд Новгород, но ливонские крестоносцы сами забыли уже тогда силу предков, и меч железного Рорбаха ржавел бесполезно, когда новгородская удаль буйно воевала Колы-

¹⁵⁴ ...*семьдесят лет прошло после первого урока, данного новгородцам Димитрием Донским...* – Имеется в виду поход 1386 г., после которого новгородцы подписали грамоту с условием повиноваться Дмитрию Донскому как верховному государю. Однако в хронологии событий Полевой неточен: Шемяка бежал в Новгород в 1441 г., т. е. со времени похода Дмитрия Донского прошло 55 лет.

¹⁵⁵ *Черный бор* – дань, налагаемая на всех жителей, в том числе и простых людей, «черный народ».

¹⁵⁶ *Новгородский самосуд* – вече.

¹⁵⁷ *Ливония* – Имеется в виду Ливонский Орден (1237—1661) – военное государство немецких рыцарей крестоносцев («крыжаков» – по определению летописцев) на территории Восточной Прибалтики.

вань или Куконос¹⁵⁸ (Ревель и Кокенгузен).

В то время, о котором хотим мы теперь говорить, Новгород особенно находился в большом смятении. С одной стороны, Великий князь московский, смело усиливая власть свою, губя род дяди своего Юрия, лаская и страша других князей, непрерывно *воздвигал грозные очи свои* на Новгород. Недовольный отдачею ему черного бора с Торжка, он требовал закамского серебра, заволочских мехов и особливо изгнания врагов своих, потомков суздальских князей. Новгород гордился тем, что дал прибежище остаткам сего знаменитого рода, и князья Василий Георгиевич и Феодор, брат его, были наместниками в областях новгородских. С другой стороны, Литва, отдохавшая под правлением Казимира Ягайловича¹⁵⁹ от безумного тиранства Сигизмундова¹⁶⁰, требовала изгнания литовских князей, потомков враждебного рода Ольгердова, также приютившихся в Новгороде, хотела повиновения, податей, дани. И Москва, и Литва готовы были приняться за мечи и только выжидали, кто начнет прежде.

Но грознее всего казалась туча, подымавшаяся в Ливонии. Герцогу Клевскому, Бог знает с чего, вздумалось ехать на поклонение Святому Гробу в Иерусалим через русские

¹⁵⁸ *Куконос (Купейное) или Кокенгузен* (Кркенгаузен) – древнерусское и прусское название г. Кокнеса (ныне – одноименный поселок в Латвийской ССР).

¹⁵⁹ *Казимир Ягайлович* – Казимир IV (1427—1492), великий князь Литовский (с 1440 г.), король Польский с 1447 г.

¹⁶⁰ *Сигизмунд* – см. комм, к с. 345.

земли; но смиренный пилигрим сей воротился в Ригу из Новгорода, разжаловался на обиду новгородцев; рыцари ливонские зашумели, объявили себя защитниками герцога и сказали крестовый поход против *вероломных неверных, проклятых* новгородцев. Хвастливый Финке фон Оберберген, магистр Ливонский, не хотеш слушать оправданий новгородского посла, велел раздета его донага и выпроводил на паршивой кобыле из Риги. В Пруссии, в Дании, в Швеции готовились на войну; рыцари отвсяду спешили в Ливонию: из Германии, Италии, Франции; заранее делили уже рыцари новгородские области, хотели идти морем и землю; пели молебны об успехе оружия; папа проклинал новгородцев; Ганза обещала им денег на издержки.

Вольный город кипел в это время, как смоляная лучина: на море-окияне. Сообщники Литвы, Москвы, суздальских князей, рыцарей, люди житые, бояре, духовное чиномначалие, людины – всякий говорил, спорил, подавал свой голос; вече волновалось; доходило до драки; малые вечи беспрестанно собирались в разных Концах Новгорода.

Слыша о бедствии детей Юрия, столь бесчеловечно гонимых московским князем, Новгород видел в этом деле средство против Москвы, предлагая помощь и убежище Шемяке. Кроме негодования, каким исполняла сердца новгородцев жестокость Василия, рука и ум Шемяки могли служить Новгороду крепким-пособием. Если бы удалось Новгороду посадить Шемяку на великокняжеский престол, то благодар-

ность обязала бы его блюсти вольность новгородскую. Но, оказав и меньшую услугу, только помирив его с Москвою и посадив на сильном уделе, Новгород имел бы в нем верного союзника. Даже если бы Шемяка остался князем-наместником в Новгороде, то его род, его ум и храбрость могли примирять раздоры, и в имени Шемяки могла сиять для Новгорода звезда спасения и крепкой силы.

Вот почему навстречу Шемяке выехали лучшие люди новгородские, и весь Новгород радовался, видя в стенах своих сего знаменитого изгнанника.

Через месяц после смерти Димитрия Красного, в Новгороде, на Великой улице, в *чудном* доме вдовы Исаакия Борецкого, под вечер собралось несколько человек. Собрание происходило в узорчатой, богатой горнице, где видны были повсюду золото и серебро; около Стен стояли лавки, обитые красным сукном, с золотыми позументами, и дубовый, резной стол покрыт был дорогою: фламандскою скатертью.

Вдова Исаакия Борецкого была *Марфа Посадница*, етшь знаменитая впоследствии, во время падения Новгорода. Теперь она находилась еще в цветущей юности. Доья посадника почетного, жена незабвенного Исаакия Борецкого, Марфа обрелась *седети по муже*, когда Исаакий скончался, управляла бесчисленным богатством, какое досталось после мужа ей и детям ее, сыновьям Антону; Феликсу, Василию и Димитрию. Славная красотою, умом, мать четырех доблестных сынов, обещавших быть подпорою вольного города, Марфа со-

ставляла главную опору тех новгородцев, которые враждовали против Москвы, стеснявшей торги и прибитки новгородские и тем вредившей собственной корысти Марфы.

В этот вечер Марфа была одета великолепно, в жемчуге и самоцветных камнях; несколько знатнейших новгородцев было у нее в гостях; на столе стояли дорогие чары с фряжскими винами и лакомства волошские¹⁶¹ и немецкие. Но видно было, что не гульба, а дело занимало гостей и хозяйку. В числе гостей был между прочим старик, знакомый нам; но его называли здесь уже не Иваном Гудочником, но *Иваном Феофиловичем*; он не забавлял других рассказами и песнями, но важно сидел на почете с другими.

– Ну, слава Богу, – сказал один из гостей, – ты радуешь меня, Иван Феофилович, известием, что твой Шемяка ожил на раздолье новгородском. Признаюсь, изумился было я, увидя этого лихого князя, бледного, мрачного, задумчивого, и подумал: тебе-то и бороться с Москвою! На тебя-то и надеяться Новгороду!

«Сегодня на пиру у Кириллы Григорьевича снова расцвел *мой* Шемяка, как называешь ты его. Впрочем, осудишь ли Шемяку, посадник, если вспомнишь все, что я тебе рассказывал? Тяжело перенести то, что перенес в последнее время Шемяка!»

– Знаю, что и самим спасением своим обязан он тебе, и вот это опять наводило на нас грустную думу.

¹⁶¹ *Лакомства волошские* – см. комм. к с. 457.

«Я думаю, Осип Терентьич, – сказала Марфа, – теперь уже не к чему вспоминать о том, что прежде думано и гадано. Теперь надобно только ковать железо, пока оно горячо, а не сбивать себя с толку пустыми опасениями...»

– А, напротив, других уверять в том, в чем и сам еще не совсем уверен? Вот то-то и не надобно, матушка. Лучше высказать другу, что ни есть за душою.

«Да что же у тебя за душою? – спросил Гудочник. – Положим, если я и спас Шемяку, что тут за бесчестие для князя?»

– То, что ведь Новгород берется за его дело, надеясь найти в нем мужа совета и меча; но как ни гляжу я на дела Шемяки, – воля твоя! А куда безрассуден и молод умом этот князь!

«В чем же находишь ты его молодость?»

– Как мог он – положим, что и следуя совету отца своего – отдать великое княжение своему врагу?

«Да если отец ему так велел?»

– И не спорю. Надобно ж было ему обезопасить себя, а не отдаваться врагу связанным по рукам и по ногам.

«Скажи мне сперва, посадник: честно ли поступил Шемяка в этом случае?»

– Не бесчестно, да бессчетно. Не негодуй, матушка, Марфа Ивановна. Сама ты знаешь дела торговые: если в них держаться одной правды, то с кошельком находишься по миру! Так и в делах земских.

Гудочник дал знак Марфе и начал разводить плодovitый рассказ о политических отношениях Москвы и князей после

кончины Юрия, о буйном самовластии Косого, о последовавшем вероломстве Василия. Смешанный словами его, новгородец не знал, что сказать.

– Ну, ну! положим и так, – заговорил он, – но как ему было не подкрепить брата, отдать его на добычу Москве, поехать самому в пасть волку? Потом обольститься обманом и броситься на драку с татарами, не зная, что к нему пришли в то время незваные гости и рос-пили его княжеские свадебные меды?

Опять красноречиво пустился Гудочник в рассказы: блестящим образом выставлял как великую добродетель доверчивость Шемяки, чернил вероломство Василия, изъяснял, сколь полезен будет для Новгорода владетель Москвы, Шемяке подобный, и как опасно дать усилиться Василию.

– Вам опасна только Москва, – продолжал он, – добрый Казимир¹⁶², когда Владислав¹⁶³ беспрестанно задает ему при том работу своим ненасытным честолюбием, когда он собирается воевать турков, владеть чехами и уграми, и не подумает угнетать Новгород. Вот разве ливонские крыжаки¹⁶⁴ вам опасны? – примолвил Гудочник усмехнувшись.

Все засмеялись: «Мы пошлем на них свою волость Плес-

¹⁶² ...добрый Казимир – Казимир IV (см. комм. к с. 662).

¹⁶³ Владислав III Ягайлович (1424—1444), король Польский (с 1434 г.) и Венгерский (с 1440 г.).

¹⁶⁴ ...ливонские крыжаки... крыжовники... – древнерусское название я прозвище рыцарей Ливонского Ордена (см. комм. к с. 662).

ковскую: не стоит самим новгородцам рук марать с этими белыми епанчами».

– Что с них возьмешь, если и побьешь их? – сказал другой собеседник. – Голь, да и только! Замшанные душегрейки их и на рукавицы новгородцам не годятся, а брони так малы, что и полногородец не влезет в такую кольчугу, где три крыжовника помещаются...

«Сухопарый же народ! Но что слышно об их приготовлениях? Смотри: не пугнула бы вас Ганза, да не Проклял бы папеж римский!»

Снова хохот: «Да! Вступится твоя Ганза, когда у нее в Новгороде столько заложников и залог? Эти бусурманы за гривну продадут нам всех своих крыжовников! Вот папеж так опасен. Ах! он окаянный: пишет, слышь ты, грамоту, где называет нас *идолопоклонниками* и уверяет, что мы *жидовской* да *махметовой* веры!»

– Ах, он обливанец!

«Ксенз бритый!»

– Крыжовник краснолапый!

«Ну, – сказал Гудочник, стараясь возобновить прежний разговор, – из всего и выходит, что вам надобно только Москве спеси посбить, а Шемяка-то какая славная для этого дубина! Вы говорите, он легкомыслен, доверчив: тем лучше, – из него что хочешь, то и делай. Он храбр, он добр, он разгульлив. Хе! подраться ли, попить ли... что твой новгородец! Мне что: ведь не детей с ним крестить; мне только

отдай он Суздаль моим князьям».

– А что, Иван Феофилович, скажешь ты про своих князей, ась?

«Об них сам я ничего не скажу и другим сказать ничего не дам», – отвечал Гудочник угрюмо.

– Э! ты уж и сердисься! Я только хотел домолвить, что... хм! ребята, кажется, добрые...

«Обещают снять все пошлины с хмеля, когда будут владеть Суздалем», – сказал один собеседник.

– Вот и видно, что ты браги сам не любишь: все как бы хмелину с рук сбывать да пустить в продажу! – примолвил другой.

«Что много толковать! – сказала Марфа. – Решено: Новгород помогает Шемяке. Похлопочите-ка вы завтра, как вечно-то вам уладить».

– О! за этим дело не станет... Что ты, Осип Терентьевич, все задумываешься?

«Признаюсь вам, куда не любитя мне это, как говорят о войне с Москвою. Так вот сердце и вещует недоброе – уж не нажить нам добра от наших ссор с Великими князьями!»

– Мне кажется, скоро новгородские мужи станут учиться бодрости у слабых жен, – сказала Марфа с негодованием. – Вещеванью сердца верить – все равно что у кукушки о годах спрашивать.

«Ты знаешь, Марфа Ивановна, трусил ли я когда-нибудь. Но после того, как видел я погибель бесстрашного Айфала

Никитича; видел, что если нет благословения-Божия, то никакая храбрость и сила не помогают; с тех пор, как этот Железный Кулак погиб в бою с булгарами, а я просидел после того в полону три года, в тяжком рабстве...»

– Давно ли было это? – спросила насмешливо Марфа.

«Да, теперь вот о Семенове дне будет лет двадцать семь...»

Нет! более...»

– И ты все еще не опомнишься от испуга, Осип Терентьич?

«Ох! нет, нет!»

– Пора одуматься! Да и кто тебе говорит, что благословения Божия нет на войну с Москвою? Не за то ли и Айфал твой погиб, что продавал Новгород Москве? Такие дела не благословляет Господь, когда предает человек свою родину либо робеет и трусит. Он всегда благословлял нас, когда мы крепко и правдиво становились за Святую Софию; благословлял, когда отцы наши посадили Ярослава на киевском престоле¹⁶⁵, когда с Мстиславом Удалым возвратили они престол Константину¹⁶⁶, когда отстаивали они Святую

¹⁶⁵ ...отцы наши посадили Ярослава на Киевском престоле... – см. комм. к с. 381.

¹⁶⁶ ...с Мстиславом Удалым возвратили... престол Константину... – Имеется в виду битва на Липецком поле (Липецкая битва) недалеко от Юрьева-Польского (Суздальская земля) 21 апреля 1216 г., в которой поддерживавшие Константина объединенные новгородские, смоленские, псковские и ростовские дружины, руководимые Новгородским князем Мстиславом Мстиславичем Удалым (ум. 1228), взяли верх над войсками великого князя Владимирского Юрия, после чего великокняжеский стол перешел к его брату Константину (см. комм. к с.

Софию от тьмы войск Боголюбского¹⁶⁷, когда под Орлецом смиряли гордость Василия Димитриевича¹⁶⁸, когда с Александром гоняли шведов на Неве...

«Не спорю, не спорю, матушка; но если недоумение, налагаемое на душу человека, не есть глас божий, то разве не боишься ты предвещания, какое недавно было вашему владыке? Тут уж нечего нам мудровать, а только молиться: спаси, Создатель, и не дай нам дожить!»

– Какое предвещание? – спросил Гудочник.

«Ты не слыхал, Иван Феофилович, что у великого князя недавно родился сын *Иоанн!*»

– Слышал.

Вот в тот самый час как он родился, в Клопском монастыре некий блаженный муж, именем Михаил Юродец... да ты его знаешь!.. (Гудочник наклонил голову в знак согласия) ударил в колокол и начал клепать сильно. Сбежался народ, испугался и повел блаженного ж владыке Евфимию. Пока

533).

¹⁶⁷ ...отстояли... от тьмы войск Боголюбского... – Имеется в виду поход на Новгород в 1170 г. великого князя Владимиро-Суздальского Андрея Юрьевича Боголюбского (ок. 1111—1174). В ходе сражения 25 февраля 1170 г. новгородцы не только отстояли свой город, но и сумели нанести решительное поражение осаждавшим его войскам.

¹⁶⁸ ...под Орлецом смиряли гордость Василия Димитриевича... – Имеется в виду взятие новгородцами в 1398 г. крепости Орлец (на р. Северная Двина), где находился наместник Двинской земли, за год до этого занятой войсками великого князя Московского; с падением Орлеца Двинская земля опять перешла под власть Новгорода.

вели блаженного мужа, он вопил нелепым образом, глаголя велегласно: «Горе Новуграду! Гибель Новуграду! Преходит Новгород!» Приведенну же ему ко владыке Евфимию и не престающу кричать, вот что сказал он: «Знайте, новгородцы, что в сей день родился в Москве у великого князя сын, именем *Тимофей*, а сущее имя ему: *Иоанн*. Сей победит грады и народы, прославится до конец земли, спасет православие и Новгородом преобладает: гордыню вашу упразднит, в свою волю приведет вас, самовластие ваше разрушит, самовольные обычаи ваши изменит и за ваше непокорство и сопротивление многу беду и посечение, и плен над вами имать сотворити, а богатство ваше и села восприимет...»

– Только? – спросил Гудочник, когда все замолчали после сего рассказа.

«Нет, *не только!* – сказала Марфа. – Если, в самом деле, богу угодно разрушить силу и славу Новгорода, то да совершится сие на костях наших и на пепле домов наших! Я постыжду вас – я первая пойду умирать, и вот у меня четыре сына: пока Иоанн вырастет на гибель Новгорода, они также вырастут на защиту отчизны, и Марфа обречет их на погибель. Победа и слава в руце божией; но честь и жизнь в воле человека, а мертвые не стыдятся!»

– *Мертвые срама не идут!* – воскликнули все, воспламененные речами Марфы. – Так, так, жена доблестная! ты стыдишь нас...

«Оно так, да не так...» – проворчал Осип Терентьевич.

– Стыдись, новгородец! – воскликнул Гудочник. – Смотри на меня: я пережил родину свою, но не пережил мысли положить за память ее свою голову, и пока жив буду я, один суздаец – Суздаль не погиб!.. Пстой: мне еще пришла мысль вот такая: кажется, Михаил Юродивый родня, по женскому поколению, Великому князю московскому?

Замечание Гудочника поразило самого Осипа Терентьевича. Новгородская кровь разыгралась, и, при удвоенных чарах, забыто было и поедвещание и опасение. Гости пошли, весело напевая:

Не бывать Торжку Новым-городом,
Не бывать Новугороду Торжком;
Не поить москвичам коней в Волхове,
Не владеть Новым-городом Москве!

Гудочник увернулся от них и возвратился к Марфе. «Бегу на пир к Марку Памфильевичу, – сказал он, – и воротился только спросить тебя о Владыке... Что ты загрустилась, Марфа Ивановна?»

– Могу ли не грустить, слыша, что говорят новгородские сановники! Как не сбыться предвещанию об Иоанне!... Ох! если бы я могла передать им хоть мою, бабью душу!..

«Все Бог исправит, и от камня воззовет глас спасения. Скажи мне о Владыке».

– Я сладил с ним, – отвечал один из новгородцев, – и теперь остался нарочно здесь, сказать тебе, что Владыка зав-

тра благословит Новгород – только не воевать Москву, но *подать помощь бедствующему князю, и быть примирителем князей враждующего рода Димитрия Донского, да отвратятся бедствия от земель русских!*

«Ну, в словах не велико дело, только бы благословил. Прощайте!»

Пока у роскошной хитрой Марфы пировали почетные саванники, молодежь боярская почетная и лучшие воители гуляли у Марка Памфильева, купеческого старосты. Туда отправился Гудочник, и здесь было совсем противоположное зрелище: Шемяка находился тут первым гостем и, разогретый удалю, вином, надеждою, пленял своим разговором, молодецкою поступью, обещанием восстановить славу Новгорода битвами. О политике не думали, выгод не рассчитывали. Хозяин, первый враг московский, через тридцать лет потом погибший в тюрьме московской вместе с Марфою, не жалел вина и ласковых слов, и шумная беседа оживлялась громкими песнями.

На другой день, ранним утром, зазвонили на вечях по всем концам новгородским. Народ сбегался на них толпами, и после благовеста поздней обедни ударили в звонкий вечевой колокол перед соборным храмом Святой Софии. По всему городу раздался и зазвенел серебряный его голос, и на призыв его устремились к Святой Софии с концов веч. Народ наполнил всю Софийскую площадь и шумел, будто рой пчел, встревоженных в улье. Явились посад-

ники. Прежде всего возвестили они о победе, какую Бог даровал Новгороду над ливонскими крестоносцами: воеводы новгородские разбили гордого мейстера¹⁶⁹, так что он едва мог убежать сам.

Радостный шум раздался при сем известии в толпе народной. «Непотач Крыжовникам! – кричали разные голоса. – Знай наших! Спасибо воеводам!»

«Уведайте, люди новгородские, о другом важном деле: притек к нам в Новгород князь углицкий, Димитрий Юрьевич, и бьет челом господину государю Новгороду, и всем пяти Концам его, и преосвященному архиепископу Евфимию, Великого Новаграда и Плескова Владыке, посадникам, тысяцким, боярам и житейным людям. А просит он, князь, себе помочи; то, как вы рассудите, люди новгородские: *давать*, или *не давать*?»

– Начинай, ребята! – сказал посадник Славянского Конца – и громкий крик: «Помогать! Давать! Новгород искони не отказывал добрым людям!» – раздался с этой стороны.

«Славянщина загорланила, – говорили в другой стороне. – Ну! не уступать, гончарцы!» И еще громче Крик: «Долой, долой, не надо, не надо! Новгород не хочет!» – раздался с сей стороны от Гончарного Конца,

– Что там: о чем посадник говорит? – спрашивал старик,

¹⁶⁹ ...разбили гордого мейстера... – т. е. ливонских рыцарей, возглавляемых великим магистром (гроссмейстером) Ордена во время их похода на Новгород в 1444 г.

теснимый в толпе.

«А Бог весть! О немцах что-то мне послышалось – да не теснись ты, рябая харя!»

– Молчи, долговязый!

«Чего молчи: разве я не новгородец?»

Жаркий спор восстал между тем подле посадника.

– С чего взяли говорить о помочи князю углицкому? – кричал один толстый старик. – То ли время теперь, когда нам не знать куда оборотиться: се литва, се немцы, се шведы! Помогать пожалуй, да только как?

«Разумеется: мечами!»

– Мечами? Воевать с Великим князем?

«Кто его называет Великим князем? Для Новгорода он просто: *московский князь Василий Васильевич, недоброхот новгородский*».

– А князь углицкий просто *князь Димитрий Юрьевич*, одного гнезда яичко, из которого вороги на нас выводятся!

«Если Бог пособит ему сесть на московском княжении, он обещает нам великие льготы и милости».

– *Вам* – так; да вы-то еще не весь Новгород!

«А в вашей чести разве целый Новгород помещается?»

– Держись за свою покрепче.

«Люди новгородские! как нам не заступиться за бедствующего князя, когда безбожная родня его, притеснитель наш, князь московский, зло неслыханное сотворил: вырезал очи родному брату его; уморил другого брата его; захватил его

невесту; отнял у него удел; пожег и попленил его волости; держал его самого в темнице...»

– По мне кусайся они между собой, как хотят – что нам вступаться!

«Экое зло сотворилось! Ужели Бог попускает такие дела без наказания!»

– Неправда, люди добрые, неправда! У князя Василия Васильевича Юрьевичи отнимали отцовское наследие, вопреки законам Божеским и человеческим; искали его смерти, садили его в темницу, возмущали Москву, и Бог наказал старого Юрия смертью, а Димитрий Юрьевич ехал в Москву, с тем, чтобы зажечь ее, да грабить, извести Василия и род его. Василий простил ему, посадил его на княжество, на Коломну; но Димитрий бежал, передался к проклятым татарам и теперь возмущает нас! Правда: Василию, брату его, вышибли очи, да это случилось в бою-в тут разве разбирают, во что бьют? «Нет! ему ножом в темнице вырезали очи»,

– Вздоришь: попала стрела...

«Разве две стрелы, потому что у него обоих глаз теперь нет. Подумайте-ка! каково ему теперь не видеть света Божьего?»

– Ну, что же? Садись он, да пой Лазаря!

«Тут думать о пользах Новгорода надобно, а не о княжеских глазах! Ты как полагаешь, сосед?»

– Я ворожу пальцами – надобно помочь, аль не надобно?

«Тебе стыдно молчать, Яков Петрович!»

– Да, куда уж тут нам соваться: и без нас толков не оберешься!

«Мы все глядим на то, что перед глазами торчит, а не подумаем как бы на будущее. Дмитрий добр и храбр, Василий зол и труслив; Дмитрий все обещает, Василий только и посылает к нам за данью, да за пошлинами».

– Верь ты этим добрым! Все они хороши и ласковы, пока в загоне; а только что оперятся, так и начнут зубы скалить на наше добро! Господи ты, Владыко! чему и завидовать-то: торжишки стали худы, закамские сборы хоть брось – на расходы не выручишь...

«Ну, что тут много толковать: пусть Димитрий Юрьевич остается у нас наместником; новгородских калачей с него достанет».

– Так, ты думаешь, Москва и даст нам свободно сделать его наместником? А между тем Галич, Углич, Бежецкий Верх, она все возьмет, и от нашего недоброхотства иразгласия усилится вдвое.

«По-моему: не добиваться того, чтобы Димитрия посадить на московский престол, а только пособить ему поворотить свои волости... Да уймите народ: что они вопят без толку – не дадут порядком подумать!»

– Что вы морочите нас, посадник и люди именитые! как будто в самом деле хотите нас спрашивать! Ведь мы знаем, что у вас уже на деле все положено. Говорите прямо. Нечего попусту народ томить – иной ведь не завтракавши с раннего

утра!

«Эдак он выехал! Посадник мне не приказ: я сам себе указ. Сегодня он посадник, а завтра я!»

– Да, так ты и глядишь, что тебе быть новгородским воеводой!

«Хотим знать решение Владыки; пусть dokonчит и скажет, от его воли не отступимся!»

– Да где денег взять? На полатах у Святой Софии гривны нет!

«Куда же деньги девали? Давно ли ларь запереть было нельзя: так был он набит!»

– Держи мошню – было, да сплыло!

«Одно буду говорить; и честь, и польза мовагорода требуют помочь Димитрию Юрьевичу; этим только приобретем мы крепкого союзника и твердую опору, восставим и древнюю славу, что Новгород никогда не отказывал бедствующим князьям, и тем становился выше их...»

Так шумело новгородское вече, при раздававшихся при том общих и громких восклицаниях, которые противоречили одно другому.

Сильно зазвонили в вечерней колокол – знак молчания. Все умолкло и, при звоне во все колокола, из Софийского собора шли на площадь многие знатные люди. Между ними отличался поступью, ростом и богатством одежды Шемяка. Ему давали широкую дорогу; он прямо дошел к посаднику, окинул собрание веселым взором, поклонился раз – все шапки

полетели с голов; поклонился другой – одобрительный говор пролетел по собранию; поклонился в третий – и все слилось в один клик: «Да здравствует князь Димитрий Юрьевич!»

– Молодец, молодец!

«Да, он и не нищим является к нам: у него кожух-то по-лучше нашего. А милости еще просит у нашей голости!»

– Кланяйся, кланяйся пониже – сдадимся мы на твои поклоны!

«Молчите, молчите! Князь хочет говорить!»

– Люди новгородские! – громко сказал Шемяка, – сын друга вашего, Юрия Димитриевича, обиженный злым братом, надеется на вашу помощь. Неужели нет между вами молодцов, удалцов, лихой вольницы, у которой меч просится на разгулье, душа на волю? Ко мне, ко мне! Денег нам не надобно; условий между нами не нужно! Что добуду, то разделю братьям новгородцам, и вот вам святая София, что в душу мою никогда не закрадется ни лесть, ни вражда. Я только теперь молился у гробов праотцев моих и лгать не стану!

«Исполать, исполать, молодцу! Ох! удалая голова! Знат, что сказать!»

– Что он говорит? Мне ничего не слышно?

«Говорит, что Москву поставит ниже Новгорода»,

– Нет! что каждому, кто с ним пойдет, подкует он коня золотыми подковами. Он обнимает князя Василья Георгиевича – Эх! ничего не слышать!

«Князь! – говорил Шемяка, крепко обнимая суздальского

князя, – ты испытал уже дружбу новгородскую! Я зову тебя с собою; отдам тебе родовое наследие, коли нам Бог поможет! Заверь же новгородских людей, что в словах моих душа говорит, и не помочь мне – будет им стыдно!»

– Стыдно! – воскликнул князь суздальский. – Товарищи! Меня ли вы не знаете? Со мной ли не хаживали вы на ратное дело? – Вам, мои товарищи, говорю – стыдно!

«Стыдно!» – загремело множество голосов.

– Звони в колокол – вече решает; помогать, не жалеть ни живота, ни казны!

«ПоСтой, постой! Владыка еще ничего не решил!»

– А вот идет его тысяцкий. Что он говорит? «Владыка решает так, люди новгородские: подать помощь благородному отродию князя Великого Юрия Димитриевича, и при благословении Святой Софии, быть примирителями враждующего рода князей московских, да отвратятся бедствия от земель Русских!»

– Владыко решил! Звони в колокол!

«Стой, стой! Тысяцкий подкуплен!»

Громкий крик послышался в то время с нагорной стороны кремля новгородского. Казалось, тысячи голосов кричат там: «Здравия князю Димитрию Юрьевичу! Война, война Москве!»

Это была самая удалая молодежь, сбежавшаяся подкрепить и решить дело. Между ними находился Гудочник, и он вел их на вече, но зя теснотою никак не могли они пройти

на Софийскую площадь.

– Кто там, вне веча, решает дело? – закричали многие, устремляясь из кремля.

В это время зазвонили в вечевой колокол, в знак согласия. Буйные противники Шемяки, оставшиеся в кремле, закричали, зашумели. Спор разгорячил Есех; за кремлем дошло уж до драки, и толпу, выбежавшую с веча, погнали вдоль кремля; защитники Шемяки устремились И на Софийскую площадь. Здесь Гончарский Конец единодушно стоял и кричал: «Не надо войны с Москвою!» От слов и тут дошло до кулаков. Смятение сделалось ужасное. Шемяка был в *недоумении*. В первый еще раз видел он, как наяву волнуются и кипят страсти народные. Привыкший повелевать, он не понимал, как можно было управлять подобным народом.

Тогда из Софийского собора явился маститый старец, Владыка Новгород, архиепископ Евфимий. С животворящим крестом в руке, он шел величаво и смело в самую середину буйствующей толпы – и все умолкло; драка и бой прекратились; все стали почтительно, теснясь лобызать благословляющую руку архипастыря.

– Дети! – произнес он твердым голосом, – несть на том благословения моего, кто покорится врагу человек ческого рода, диаволу, отцу всякия вражды! Благословение мое на том, кто пребудет мирен и покорен властей! Несте ли чли: несть власть, аще не от Бога? Тем же, противляяйся власти – Богу противляется!

«Владыко! – вопили гончарцы, – нас заводят в крамолу с Москвою, хотят воевать против Москвы! Мы изгибнем! Смилуйся над бедными – будь спаситель наш, внемли воплю и стенанию! Пока люди велии и богачи тучнеют золотом и сытостию, мы яко стены шатаемся, голодны, холодны, наги, босы, продаем детей, да не погибнут они от глада! Нет правды ни в судах, ни во граде: судии криво судят, лжесвидетели пьют кровь нашу, честь Новагорода погибла, и соседи посмеиваются нам!»

– Роптание тяжкий грех перед Богом! Зачем ропщете и молчите? Никому не закрыта дверь храмины моей – прииди, скажи мне, посаднику, тысяцкому. Зачем буйствовать?

«Мы не буйствуем; но войны с Москвою не хотим...» – Что с ними толковать, сволочью голодную! Благослови, Владыко, уговорить их посильнее!

«Прочь, окаянный невегласи! А вы, дети мои; кто говорит о войне с Москвою? Новгород будет только посредником, примирителем вражды. Или не ведаете слов Господа: блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся?»

– Мы не прочь от посредничества и миренья; да ведь этого Москва-то не послушает, и придется разделяться с нею мечами!

«Тогда единый поженет тысячи, и от тысячи побегнут, тьмы – будет уже не война, но казнь Божия за гордыню Москвы!»

– Так ли полно...

«На Москву, на Москву! Да здравствует Димитрий Юрьевич! Гибель гордыне московской!»

Этот клик заглушил ропот недовольных; одни теснились к Шемяке, другие к архиепископу, благословлявшему святым крестом, и вдруг – совершилось неслыханное чудо!

Новая церковь, во имя Иоанна Златоустаго¹⁷⁰, воздвигнутая архиепископом над воротами владычного дома и только что отстроенная, и еще неосвященная, страшно затрещала, кирпичи попадали с вершины ее... Народ, в ужасе, бросился во, все стороны, крича: «Церковь валится!» Треск умножался – раздался глухой гул, как будто лопнуло что-нибудь страшное под землею, пыль и прах взвились облаком, закрыли церковь, затмили небо, и когда ветер развеял облако пыли – церкви уже не было: она развалилась до самой подошвы и завалила обломками и щебнем двор архиепископский.

Все безмолвствовали. И среди сего безмолвия увидели юродивого человека. Он спрыгнул с развалин, сел верхом на метлу, которую держал в руках, и с хохотом поехал на ней между народом. Рыжие волосы, опаленная борода, запачканное лицо, лоскутья, в которые был он одет, делали его чем-то отвратительным и ужасным, похожим на привидение.

– Ха, ха, ха! – кричал он во все горло, – Ха, ха, ха! Ай, Владыко Ефим! продал душу за алтын, Шемяке, гуляке, галиц-

¹⁷⁰ *Иоанн Златоуст* (ок. 350—407) – византийский церковный деятель, константинопольский патриарх (398—404), блестящий оратор, автор многочисленных проповедей, панегириков, псалмов; почитался на Руси в качестве идеала проповедника и обличителя.

кому забияке! Горе Новгороду, худо Новгороду, плохо вам, плотники, худо вам, смутники! Заметет вас Москва метлою – вот этак, вот этак заметет – засыплет ваши дома горячею золою! Ай! озяб, озяб – погреться хочу – зажигай Москва Новгород с четырех сторон, с пяти концов – долби долбней – купай в Волхове!

Он исчез в толпе, прежде нежели успели одуматься. Архиепископ первый прервал молчание.

– Если слова его о гибели Новгорода также справедливы, как хула на меня – се, не Божие знамение, но диавольское наваждение!

«Не гибель Новгорода, а падение гордыни московской предвещает церковь Божия: нам грозили именем Иоанна, и вот Иоанн сокрушился! Смотрите, люди новгородские: мы все целы, а церковь упала сама на себя!» – Так раздавался громкий голос – это был голос Гудочника.

– Владыко согрешил, что давал немецкому мастеру строить храм Божий! – Казнить бы его теперь, так на его голову и упала бы церковь Божия! – кричали другие.

– Пойдем во храм Святой Софии, – провозгласил архиепископ, скрывая свое смущение, – пойдем молить заступницу, да обратит знамение на добро! Благовестите в большой колокол. Новгород не гордыни ищет, но мира, и Господь благословит его!

Безмолвствовал народ. Вечевой колокол звонил в знак согласия, и никто не препятствовал звукам его сливаться с зву-

ками большого соборного колокола. Шемяка и князь Василий Георгиевич сопровождали архиепископа в храм соборный.

Там, с коленопреклонением, отслужен был молебен; освятили воду и с пением: «Все упование мое на тя возлагаю, Мати Божия!» – совершили ход кругом кремля, окропляя святою водою стены и стогны града. Сердца отдохнули¹⁷¹. Толпы осматривали развалины упавшей церкви и находили причину разрушения в неискusstве мастера.

Знать новгородская угощена была потом у посадника Якова Кирилловича; житые и торговые люди опять пировали у купеческого старосты Памфильева. На место, где собиралось вече Гончарского Конца, выкатили несколько бочек с пивом и медом и сказали, что князь Димитрий Юрьевич угощает новгородскую вольную дружину. В тот же день бедным раздали множество хлеба из посадничьих и владычных житниц.

Весел и радостен возвратился Шемяка в жилище свое, находившееся в доме суздальского купца, друга Гудочникова, издавна поселившегося в Новгороде и разбогатевшего от торгов с Ганзою. Получены были добрые вести из Москвы: новгородцы, возвратившиеся оттуда в сей день, привезли известие, что Великий князь изъявил большую робость, услышав о побеге Шемяки в Новгород; что он повелел очистить Углич и Галич; что по три дня собирались у него на совет бояре и князья, и что князь Заозерский объявлен был не плен-

¹⁷¹ ...сердца отдохнули... – т. е. отошли, успокоились.

ником, но другом, и заседал в советах Василия наряду с другими князьями.

Все это ободрило, возгордило Шемяку и новгородцев. Оставшись наедине с Гудочником, он предался мечтаниям будущих надежд, сообщая ему известие об единодушном решении новгородских сановников на пиру у посадника. Гудочник, с своей стороны, рассказал, какие меры приняты были им, его друзьями и сообщниками для склонения простых людей. «В поход, поход!» – был клик даже и Гончарского Конца, когда на тамошнем вече сбивали обручи и ломали доски осушенных бочек пива и меда.

Глава VIII и последняя

*...Бешеный страстей язык
Умолк пред истиной святою...*

* * *

– В поход, в поход, старик, и досмотрим: такой ли ты удалец на булате, как на речах! – сказал Шемяка, крепко пожав руку Гудочнику.

«Дай Господь, чтобы молодые так же от тебя не отстали, как не отстану я».

– Но ведь у меня привычка: идти всегда впереди других – смотри, не думай тогда о жизни и не оглядывайся назад, чтобы не наткнуться на московские копыя!

«У меня такое поверье, князь, что если судьба не наметила на кончике копья чьей-либо смерти, так это копье пролетит мимо, а если наметила, то и в обозе от него не отсидишься – все-таки оно найдет тебя!»

Еще разговаривали несколько времени Шемяка и Гудочник. Положено было, немедленно по собрании дружин новгородских и псковских, быстрым походом занять Торжок, идти к Ростову и не останавливаясь двигаться на Москву; легкому отряду, долженствовавшему предварительно соста-

виться из новгородской вольницы, надобно было поспешить с Чарторийским в Галич и Углич, защитить сии области от впадения москвичей и собрать там вспомогательные дружины. Особый отряд под начальством Василия Георгиевича Суздальского, которому Шемяка дал крепкое слово восстановить его наследственный удел, положили послать в Суздаль и Нижний Новгород. Можно было думать, что, услышав о столь смелом нападении, ни Рязань, ни Тверь не вступятся за Москву; что Суздаль, Дмитров, Звенигород, князя Можайский и Верейский пристанут к Шемяке; можно было надеяться еще и на Махмета, мирно остававшегося в Белеве, но отвлекавшего часть дружин Василия для стражи со стороны Тулы. Предприятие, конечно, было смелое; но кому нечего терять, тот все считает за выигрыш, даже и бесполезное покушение возвратить потерянное.

Уже Гудочник хотел распрощаться с Шемякою, когда хозяин дома появился в дверях.

– Прости мне, князь Димитрий Юрьевич, – сказал он, – если я тебя обеспокою.

«Душевно рад всегда видеть тебя, гостеприимный хозяин мой; только дивлюсь твоему неожиданному посещению. Что случилось?»

– Приехал к тебе какой-то почтенный гость из Москвы и просит немедленно быть допущенным.

«Гость из Москвы?» – Шемяка взглянул на Гудочника.

– Не ведаю, – отвечал Гудочник, в недоумении. – Может

быть, Василий прислал к тебе посла.

«Нет! это какая-то престарелая духовная особа. И он говорит, что был другом отца твоего, князя Юрия, и к тебе пришел ради твоего блага. Он следует за мною и отстал потому, что медленно идет по лестницам и отдыхает».

Хозяин отступил в сторону. Дряхлый старец тихо вступил в комнату. Он одет был в монашескую рясу; длинная, седая борода волнами падала на грудь его, и седые волосы, выпадая из-под его клобука, лежали по плечам. Это был Зиновий, архимандрит Троицкий, духовник и друг Юрия, много лет находившийся настоятелем в Саввинской Сторожевской обители и, как мы выше видели, переведенный Юрием в обитель Святого Сергия, при первом занятии Москвы. Привыкнув уважать Зиновия, как отца, Шемяка с радостным благоговением подошел к нему под благословение.

– Отец мой! – сказал он, – тебя ли вижу? Что привело тебя в Новгород? Что заставило предпринять путь столь далекий, оставить свои благочестивые подвиги и святую твою обитель?

«Дозволь мне прежде сесть, князь Димитрий: я устал, непривычный к трудам странствования, и не успел отдохнуть, ибо прямо с моею повозкою подъехал сюда».

– Если осчастливишь дом мой пребыванием своим, – сказал хозяин, почтительно подступив к Зиновию, – я почту прибытие твое Божиим благословением на дом мой.

«Благодарю, чадо; но иноку не стать располагаться в доме

столь великолепном; сыщу какую-нибудь обитель, где дадут мне уголок. Я осчастливию дом твой гораздо более, если совершу в нем благое дело, за которым притек на берега Волхова. – Князь Димитрий! к тебе приехал я, для тебя совершил я далекий путь из Москвы!»

– Отец мой!

«Да, если родитель твой называл меня сим именем, я могу назваться отцом твоим. И душою, и сердцем хочу я вновь привести тебя к благодати так, как привел я тебя, младенца сущего, к святой вере Христовой от купели крещения».

– Отец мой! что значат слова твои?

«Веришь ли, что я тебе добра желаю; веришь ли, чадо мое, что твое временное и вечное счастье и спасение дороги мне, паче жизни моей? Дорога ли тебе память твоего родителя? Хочешь ли ты, чтобы прах его не содрогался в гробе и душа радовалась на небесах?»

Шемяка повергся на колена перед Зиновием и со слезами на глазах воскликнул: «Можешь ли сомневаться...»

Зиновий обнял Шемяку, облобызал его голову и сказал дрожащим голосом: «Благо тебе!» – Хозяин, свидетель всего происходящего, умилился до слез и поспешно удалился. Гудочник казался смущенным; он побледнел, задрожал, как в лихорадке, безмолвно оперся о печку и склонил голову на грудь.

– Князь Димитрий! внимай, что притек я сказать тебе: помирись с Василием Васильевичем! – Твердым голосом, вни-

мательно смотря на Шемяку, произнес Зиновий слова сии.

Шемяка вскочил поспешно, как будто испуганный чем-нибудь. «Отец мой! что ты произнес!» – воскликнул он.

– Говорю: помирись с Василием Васильевичем.

«С ним помириться? С моим злодеем, убийцею братьев моих, хищником моего княжества».

– Да, с ним!

«Вероломным, клятвопреступником, которому все отдал, все уступил я, и который заплатил мне бедами и горестями, хотел посягнуть даже на мою жизнь».

– Да, с ним, с ним, и – горе тебе, если ты отвергаешь совет благий!

«Вижу коварство и трусость его, вижу хитрые его умыслы: тебя, святого, мудрого старца, уговорил он, осётил речами, и твоею хочет воспользоваться властью над душою моею, хочет снова уловить меня в сети! – Шемяка засмеялся судорожным смехом. – Не успел ли он оправдаться перед тобою? Не успел ли уверить, что мы все виноваты перед ним, почему не протягиваем шеи под его топор?»

– Да, он оправдался передо мною во всем.

«Как? Не сказал ли он, что очи брату моему вырезали без воли его?»

– Нет! Он говорил мне, что это сделано было с его воли.

«Братоубийца! Не уверил ли он, что без его воли я брошен был в тюрьму и едва не лишен жизни, когда ехал к нему для мира и согласия?»

– Нет! Он признался, что только боязнь раздражить князей безмерною свирепостью поступка, удержала его от тайного умерщвления тебя в темнице.

«И на злодейство-то даже не достало у него сил души! А то, что он захватил мою невесту и моего второго отца, что он разорил мои волости, что он... Ну! и в этом во всем сознался он?»

– Да, и в этом. И в том еще, что платил тебе за добро злом, за мир враждою, за покорность изменою.

«И после всего этого он оправдался! Ты заставляешь меня сомневаться, святой отец! тебя ли я вижу, мудрого ли Зиновия слышу я!»

– Меня, старца Зиновия, перед которым оправдался Василий – прибегнув ко мне *не оправдываться*, не как Великий князь, но *каяться*, плакать о грехах своих, яко грешник, удрученный тяжестью греха, трепещущий и почти отчаянный в своем спасении! Примирив его с Богом, я смело пошел примирить его с тобою. Ты ли хочешь быть более Господа? Ты ли в гордости сердца не простишь его, не протянешь к нему длани примирения, если Господь разрешил и простил его моими устами? Ты ли осмелишься возносить суд человеческий над совестью ближнего?

«Я возношусь? Я горжусь? Отец мой!»

– Или хочешь ты, в злобе сердца, взять на себя исполнение судеб превечных, и мстишь врагу, не внемля слов Спасителя, повелевающего миловать и смиряться пред обидящими?

«Смиряться! Пред Василием? Никогда!»

– А! я проник теперь душу твою: твоё мщение, твой гнев прикрывают только личиною истинную вину злобы и вражды – твоё ненасытное честолюбие! Ты забыл обет отцов, забыл завет родителя, забыл то, с чем мог предстать бесстрашно перед престол Божий – прежнее смирение своё и правоту после кончины родителя; забыл ты и гнев Божий на властолюбивого своего брата – вижу: ты алчешь престола великокняжеского...

«Твои слова оскорбляют меня, святой отец!»

– Не думал ли ты, что я пришел к тебе послом хитрым и стану уговаривать тебя, вместо провозглашения тебе улики и суда Господня? или что я утрашусь гордыни твоей, или чьей-либо? Нет! я, иннок забытый миром и забывший мир – не стану улещать тебя, как улещают великих мира; не стану говорить тебе об условиях Василия и выгодах, какие он тебе обещает! О! для этого он мог послать не меня, но какого-нибудь лукавого царедворца, выставить дружины, послать крамольников, какие окружают тебя и его, воевать, хитрить с тобою! Я – видевший перед собою отца твоего в слезах покаяния, видевший и Василия, пришедшего ко мне во вретисце раскаяния – я пришел не с тем и не для того!..

«Отец мой! если бы ты видел душу мою... Чем может Василий заплатить мне? Чем выкуплю я перед людьми честь свою, если уступлю ему!»

– Какую честь? Тщетное мирское суесловие, переговоры

людей, грех слова и дела, ничтожество почестей тленных? Не думаешь ли ты, что я стану расспрашивать тебя: чего ты желаешь, или скажу, что дает тебе Василий? Не ведаю ни того, ни другого, и ведать не хочу: я принес к тебе покаяние грешника; от тебя требую смирения, мира и прощения; хочу тебя и Василия удержать на краю бездны греха...

«Итак, ты сознаешь, что право хочу я враждовать с Василием?»

– Никогда вражда не бывает правою: она богомерзка, и есть внушение дьявола! Да, мирски ты был прав доселе; но семя греха зреет в похвале мира.

«Зачем же приписал ты мне гордыню и кичение? Зачем требуешь ты от человека – паче человеческого?»

– Рассмотрю сам здраво душу свою и увидишь, что гордость, кичение и вражда скрываются в ней под видом праведного мщения. Паче человека не требую от тебя. Когда и всякому простому смерду Господь велит до тех пор не приносить молитвы и не возлагать дара на алтарь, пока он, шед, не смирится с братом своим, если вспомнит, что на кого-либо враждует, то князю ли, поставленному выше других, не паче того бдеть над собою и не превышать простых человек высотой добродетели, исполнением заповедей Божьих, кротостию и миролюбием? Чем же отличатся от простого человека люди, поставленные править его судьбою? Вспомни то страшное слово, что *за грехи князя народ наказуется, а за добродетели его много добра Господь посылает народу.*

Не за добродетель ли Иезекии простил Господь и спас Израиля? Помни же, властитель других, что преступлением своим ты губишь не одну свою душу, но тысячи других! Если за одного праведного спасен был град – за князя праведного спасутся тысячи стран!

«Отец мой! нам ли, грешным людям, вещаешь ты о высших судьбах Божиих, о добродетели недосягаемой! Где ныне святые мужи, и могу ли быть непричастен смятению мира, если мятусь среди волнений людских! Живущий в мире творит мирское...»

– Итак: пороками других оправдываешь ты свои пороки? Не хочешь быть добродетельным потому, что другие злы? Хорошо – чего ты медлишь? Иди же, иди, умножь еще более беззакония, удесятери их, погуби себя, погуби, отвори от себя смердящими злодействами лицо Божие... Прощай! Я надеялся найти в тебе прежнее сердце, прежнюю душу, прежнего Димитрия. Вижу – тяжко ошибся я: порок заразил уже твое сердце! Отрясаю прах с ног моих, и отныне не дерзай называть меня отцом – я не знаю тебя более...

«Остановись, остановись, отец мой! я человек – суди, но будь милосерд, как милосерд Бог!»

– Смеешь ли воззвать к Богу, если я, человек грешный, осуждаю тебя? Сердце твое есть гроб повапленный – ты обманул надежды старости моей...

«Я право иду¹⁷², право хочу требовать...»

¹⁷² Я право иду... – т. е. правильно.

– Право? Чего же ты требуешь? Хочешь обладать Великим княжеством?

Шемяка безмолвствовал смущенный.

«Видишь ли, – сказал Зиновий, – что ты не дерзаешь сознаться самому себе в тайне своего помысла? Здесь таится источник зла – в честолюбии твоём!»

– Нет! – воскликнул Шемяка, – нет! я не хочу престола великокняжеского!

«Но если ты лишишь его Василия, кому же, если не тебе, престол сей! Неужели ты доселе не помыслил о том? Если же не хочешь Великокняжества, что отвращает тебя от мира! Не хочешь ли ты, как жадный волк, упиться кровью своего родного, мстя ему за свое оскорбление, и тогда только примириться? Но не сам ли трепещешь и ужасаешься деяний Василия? И – сам же хочешь последовать ему! Ты недоумеваешь, безмолвствуешь! Говори: видишь ли, что ты не хотел, или страшился низойти во глубину тайных помыслов своих? Димитрий! я говорил с тобою, как слугитель Бога – буду говорить мирски. Не скажу, что я сомневаюсь в твоей храбрости – знаю, что вы, гордые и великие мира сего, оскорбляетесь таким сомнением; не хочу сомневаться и в победе – ты победишь, уничижишь Василия, предпишешь ему мир и закон; гордясь и тщеславясь великодушием, пощадишь жизнь его и тем станешь выше его, хотя и будешь только удельным князем. Но, как достигнешь, ты сего! Уничижаясь перед крамолою, бунтуя князей и мятежных новгородцев, опустошая

области, избивая народ, возвышая до неба вопль и стенания жен и детей! Приобретешь ли более крепости, посрамив, уничтожив Василия? Прочнее ли будешь на уделе своем? Не посеешь ли тем семян тысячи новых крамол? Видя удачу, кто не последует твоему примеру? Тогда тебе должно будет, или сражаться за Москву с другими, или передать ее на расхищение другим. Что ты сделаешь тогда? Выбор тяжек: то и другое – источник бедствий! Братьев твоих постиг уже суд Божий: один с отцами нашими и, верь, не завидует уже миру; другого утешит ли слава и почесть, лишенного очей, и что ему, если держа за власы положишь ты перед ним даже главу врага его! Судьба всей Руси зависит от тебя и Василия. Он унижен уже перед тобою своими грехами; он унижен и тем, что просит тебя дать мир земле его и спасение душе его. Тяжка участь брата твоего, но судьба Василия тяжелее. Дай ему очистить себя пред Богом раскаянием, а судьбу брата отнеси суду Божию, и поверь, что твое великодушие горше отзовется на душе Василия, нежели самое страшное мщение. Тогда он закалит душу мыслью, что довольно наказан, если ты мстишь ему; теперь – слезами горькими омочит он грех свой, видя твою превысшую доброту... Сего ли недовольно, сын мой? Смотри же: я падаю за Василия к ногам твоим – я плачу за него и за Москву...»

Зиновий повергся со слезами на землю.

– Отец мой! что ты делаешь!

«Не встану, и вопию тебе – не погуби души своей; дай мне

спасти ее, дай умирить землю Русскую...»

Страшное волнение изображалось на лице Шемяки. Он обращался к Зиновию, к Гудочнику – Зиновий стоял на коленях, преклоня чело к земле; Гудочник безмолвствовал, закрыв лицо руками.

– Могу ли еще упорствовать! – воскликнул Шемяка. – Чувствую, что настоящий подвиг мой труднее победы, и мир, князья, люди не оценят его, не встретят меня победителем, укорят, может быть, малодушием, робостью... Заветы отца, речи добродетельного брата, витающего ныне среди ангелов Божиих – помню вас... Приосените меня благословением вашим, отец, брат! Дайте мне силу, крепость души... – Шемяка бросился на скамью, колебался еще с минуту и – отворачиваясь от Зиновия, промолвил с трепетом: «Прощаю московского князя – Бог ему судья!» – Тяжелый стон исторгся из груди Шемяки после сих слов.

Зиновий поднялся с радостным лицом. «И мир Москве, мир с Василием! Докончи подвиг свой, князь Димитрий, дополни словами: *мир Василию!*»

– Тяжки слова сии, отец мой! избавь меня, избавь – прощаю, не мщу – *только!*

«Но любить враги своя, не прощать только, велел Спаситель, молившийся за убийц своих на кресте. И ничем другим не отличится христианин от язычника, только любовью ко врагу. Что тебе за подвиг – говорит Спаситель, если ты любишь любящего тебя, если добро творишь ближнему тво-

ему? Не тако ли творят и язычники? Люби враги твоя, добро твори ненавидящему тебя, молись за вводящего тебя в напасть и искушение. Кто сей любви не имать в сердце своем, если бы и половину тела своего сжег за добро и благо, несть достоин Его!»

– Нет, отец мой! выше сил моих такой подвиг: прощаю, не мщу; но не могу протянуть руки моею и вложить ее в руку Василия, обрызганную кровию моего брата! Не могу и не хочу даже видеть его – Бог с ним!

«Прощаю скорби твоей, буду молить Бога, да окончит Своею Святою волею то, что успел совершить я, грешный, благодатию Божиею. И о сем уже не вмещает сердце мое радости. Возрадуйся, прах Юрия в могиле, ликуй душа его на небесах! Сын твой достоин тебя, старец, друг мой, ты, приходивший ко мне со слезами и трепетавший, что не успеешь изгладить следы честолюбия, омрачавшего душу твою на земле, трепетавший, что над могилою твоею прольются реки крови в усобице, и вопли гибели и смерти обременят память твою проклятием! – Сын мой, князь Димитрий! я говорил с тобою, как служитель Бога, как судия твоей совести – теперь дай мне обнять тебя, как другу, благословить тебя, как отцу! Я не хотел обольщать тебя благими мира; не хотел обольщать наградами и обетами мирского счастья; надеялся крепко на тебя, как на сына, как на христианина – благо тебе, благословен ты, обрадовавший меня старца на пороге гроба!»

И со слезами обнял благочестивый старец Шемяку и долго слезы его капали на голову Шемяки, склоненную к груди его. Исторгшись из объятий князя, старец поднял очи к святым образам, тихо молился и вышел из горницы.

Погруженный в думу, Шемяка не заметил, как скрылся Зиновий, и, забыв самого себя, сказал вполголоса, как будто был один и рассуждал с самим собою: «Тяжкий подвиг! И легче бы смерть в битве, нежели мир с *ним!* Если же это добродетель – зачем же не веселит она души моей и почему совершение доброго дела не радует меня, ужасает, заставляет трепетать, а не является мне радостным и веселым? Мир со злодеем, дружба с братоубийцею, тишина – с мечами в руках, с опасением на страже... Это ли мир и счастье!»

Две свечи, стоявшие на столе, нагорели и тускло светили; мрак облегал стены обширной комнаты. Движение кого-то бывшего в комнате и стоявшего у печки, безмолвно и неподвижно, обратило внимание Шемяки, это был Гудочник. Шемяка совсем забыл об нем, увлеченный жаром разговора с Зиновием.

– Да, – сказал тогда Гудочник, не двигаясь со своего места, – да, ты право рассуждаешь, князь Димитрий Юрьевич. Мир с Василием есть только начало новой вражды, и грядущее время не должно веселить тебя. Ты можешь забыться; но кто нейдет до конца, кто в брани оставляет слово на мир и в мире слово на брань, тот не сотворит себе ни мира доброго, ни брани славной.

«Иван Феофилович! осудишь ли меня? Назовешь ли изменником против данного тебе слова? Мог ли я против востоять? Робость ли заставляет меня бросить меч? Мелкая ли корысть увлекает меня, когда я не знаю даже и условий мира?»

– Нет! я тебя не обвиняю, князь Димитрий Юрьевич; слышал я все, и на твоём месте сам сделал бы то же, что ты; не уступил бы тебе в чистоте души и добродетели! Нет! так видно угодно Богу, и суетно человек хочет переменить судьбы непреложные, по коим движет перст Его царствами и народами! Горе тому, кто обрек себя на сопротивление судьбам Его – горе и гибель, и не будет благословения на делах и начинаниях его! Что сделает мирская сила и человеческая мудрость? Кто мог за два часа предвидеть, чем кончится то, к чему казалось вели события нескольких лет, труды тяжкие, пренебрежение страха, смерти! Но, суди же, Господи, и рассуди прю мою: виновен ли я? не всем ли жертвовал я? щадил ли себя? Несть Твоего благословения, и – что может человек? Едва тысячью трудов и замыслов касался я вожделенной цели – страсти ожесточают сердца; один гибнет, другой умирает, третий увлекается неожиданным смирением! Снова труды и замыслы. Кажется: нет уже препятствий, разрушена вся возможность мира – спасаю человека из-под мечей, веду его, даю ему средства славы, мщениа, величия, и молю только одного – *исполнения моего обета!* За меня вопиет и безнадежность грядущего, и кровь брата его – все тщетно:

несколько слов инока, и – забыто мщение, забыто грядущее, забыто прошедшее, забыта слава – и мой обет, едва облегчивший душу мою лучом надежды, снова упал на грудь мою тяжелым камнем! О Боже, Боже Господи! и я не смею просить, чтобы отчаяние раздавило меня; я должен, как вечный жид, скитаться, страдать, трепетать, думать только об одном – за что же, Господи, гнев Твой? Зачем допустил Ты мне наложить на себя обет непреложный, и не допускаешь меня исполнить его? Разве я, как этот жид, возлагал богоубийственные руки свои на выю Твою? Разве я метал жребий об одежде Твоей? Разве я посмеивался богохульными устами страданию Твоему? О страшный пример безрассудного обета! И роптать не смею за то, что он отягчает меня выше сил!..

Гудочник снова закрыл лицо руками, но не плакал.

– Иван Феофилович! кто бы ты ни был, праведник ли великий, или грешник непрощаемый, – сказал Шемяка, подходя к Гудочнику, – я не хочу знать – знаю только, что тебе одолжен я спасением, и что ты мудр и велик духом – я не оставлю тебя: приди ко мне, будь мне другом, будь первым советником моим. Хочешь ли богатства и почестей – получишь их от меня. Я разделю с тобою кров мой, хлеб мой, судьбу мою!

«Нет! – сказал Гудочник, одушевляясь и принимая свой обыкновенный, спокойный вид, – нет! это невозможно – мы должны расстаться! Никогда не расстанется душа моя с тобою, князь Димитрий Юрьевич; но не хочу требовать от тебя

паче того, что ты можешь снести. Прощай! будь счастлив! Ты не услышишь обо мне более. Но знай, что грядет и придет час, когда я снова предстану тебе; что в решительные минуты жизни твоей я снова явлюсь пред тобою; но это будет час исполнения моего обета, и тогда уже ничто, ничто не удержит меня, и тогда, если ты станешь за одно со мною, то не будет тебе возврата – смерть, или обет мой!»

– Остановись, Иван Феофилович. Может статься, и теперь будет возможность исполнить твое предприятие.

«Нет! я знаю, что *нет!* Знаю Василия, знаю легкомысленных новгородцев – скажу более: знаю князей, за которых полагаю свою голову – это невозможно! Василий все уступит; другие все примут; у третьих неостанет... неостанет силы душевной!.. Еще не пришло время; но его придет, придет, и тогда Гудочник снова станет пред тобою! Прощай, князь!»

– Иван Феофилович! так ли расстанемся с тобою? Забуду ли твое добро? Возьми, что тебе надобно, если я не могу иначе успокоить твоей старости.

«Если ты помнишь мое добро, то, молю, не забывать его никогда и в страшный час не забыть его! Если услышишь о смерти моей – вели помянуть меня за упокой. Душе моей грешной будут тогда дороже молитвы добродетельного, нежели злато, которое мог бы ты дать мне теперь. Прощай, князь Дмитрий Юрьевич!..»

– Сын мой, сын мой! – раздался голос в передней комнате. Слышно было, что кто-то идет поспешными шагами. Шемя-

ка обернулся к двери и не заметил, как ускользнул из комнаты Гудочник. И мог ли он заметить: из дверей бросился в это мгновение, в объятия его – князь Заозерский...

«Отец мой!» – вскричал Шемяка и повергся на грудь Заозерского. Несколько времени они не говорили ни слова, целовали друг друга, плакали, смеялись,

– Мне готовилась такая радость, и отец Зиновий знал это и скрывал от меня! – воскликнул наконец Шемяка.

«Я готовил тебе награду за добро; но не хотел обольщением привести тебя к добру», – сказал Зиновий, вступая в это мгновение в комнату. Он вел за руку Софию...

Шемяка не знал – броситься ли ему обнять очаровательное создание, стоявшее перед ним во всей прелести красоты, юности, любви, радости девической, смущения невинности – или обратиться с молитвою к Богу, сохранившему еще для него на земле столько счастья! Любовь такова: взор ее устремляется, или с восторгом на предмет ее очарования, или с благодарностью к небу. Других взоров она не знает, если только бедствие не губит ее, и если только есть на ней *благословение Божие*, без которого она ад на земле, мука нестерпимая – падший ангел...

– Чадо! обними свою невесту и не думай, чтобы чистые наслаждения добродетели могла запрещать человеку самая строгая жизнь инока. Любовь твоя благословлена уже родителем княжны, и она уже принадлежит тебе по законам Божиим и человеческим.

Так сказал Зиновий, и София, едва не лишаясь чувств, со слезами говорила Шемяке, когда он крепко обнял ее: «Сколько страдала, сколько плакала я в разлуке с тобой, и как в одно мгновение все мною забыто!»

Гудочник хорошо предугадал, что должно было случиться. Душу Василия мог видеть только единый Бог; но пред людьми он изъявил все, что может изъявить человек, истинно желающий мира, истинно раскаивающийся. Умолив святого мужа быть ходатаем за него, упросив доброго Заозерского ехать с Зиновием в Новгород и взять с собою дочь свою, он хотел, казалось, вместе с мольбою мира, отдать Шемяке все возможное счастье, выдав в то же время самый драгоценный залог безопасности. Богатые дары предложил он при том Заозерскому; старик отказался от даров, но охотно поехал в Новгород. С ним поехали и послы Василия к Шемяке и к новгородцам. Им поручил Василий согласиться бесспорно на все условия, какие объявит Шемяка, утверждая волость Димитрия Красного в прибавок к собственной волости Шемяке и отдавая ему все, что было за отцом его Юрием Димитриевичем. Таким образом Шемяка делался одним из сильнейших князей русских. Новгородцам утвердил Василий самосуд их, вольности, льготы, владение всеми их волостями и не требовал более изгнания суздальских князей. О восстановлении Суздаля никто не говорил ничего. Мир и условия мира с Василием произвели общую радость в Новгороде. Сильная партия Москвы, подкреплённая теми, кото-

рые робели новой войны, хотя и принуждена была уступать (как мы уже это видели), но тем не менее она тревожила и волновала умы. Теперь Новгород с честью выходил из затруднительных обстоятельств, и все радовались, или показывали, что радуются мирному докончанию, повторяя старое присловье: *худой мир лучше доброй ссоры*.

Новгородцы просили Шемяку праздновать свадьбу в Новгороде, и давно уже не помнили самые старые старики такого великолепия и веселья, какое было на свадьбе Шемяки. Вскоре после того он отправился в удел свой. Пересланы были взаимные грамоты с Василием; но Шемяка не поехал в Москву и основал пребывание свое в Угличе, как будто ему ненавистны были самые окрестности московские. «И праха моего не будет в тех местах, где семя зла произросло для рода нашего!» – говорил он.

Василий Юрьевич не хотел оставить той обители, куда заточен он был по воле Великого князя, и не хотел принять уделов ни от Шемяки, ни от Василия Васильевича. Он посвятил дни свои единому богу. Лишенный света очей, он прозрел светом души, и беседа с братом своим, когда сей приехал навестить несчастного слепца, изумил его спокойствием и твердостью духа, с какою переносил свое несчастье. «Бог смирил меня за мое превозношение!» – говорил он, с тяжким вздохом.

Ничего не слышно было о Гудочнике. Тщетно в Новгороде хотел узнать Шемяка, куда девался этот старик – никто

не знал – так, как и самые суздальские князья, за благо которых не щадил он жизни, знали одно, что он был суздец, и что он заклился восстановить свою отчизну. Василий Георгиевич, говоря однажды о Шемякою о Гудочнике, заключил словами: «Впрочем, мне казалось иногда, что едва ли он не помешался немного», Шемяка задумался, но не сказал ни слова, ни *да*, ни *нет*. Не хотел ли он спорить с суздальским князем из вежливости, или сам также думал – не знаю. Впрочем, люди нередко называют сумасшествием то, что выходит из обыкновенного круга дел и событий. Таковы люди – были и будут...

Благосклонному читателю здравия и спасения.

Вот, православные русские люди! *повесть времен старых, былина прежнего времени*, которую хотел я вам рассказать. Боюсь: не утомило ли вас длинное повествование мое, *о том, как князя Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка поспорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, и о том, что из того происходило*. Рассказал я вам, как умел; простите, если излишне разговорился; простите, если не умел рассказать лучше. Мы погуляли с вами по старинной, святой Руси, видели князей и бояр, мужичков и боярынь, духовный чин и дьяков, Кремлевский дворец и крестьянскую избу, свадебный пир и битвы кровавые, святые обители и новгородское вече, присутствовали и на великокняжеском веселье, и на великокняжеских похоронах, на пирушке в тереме боярыни и на ужине русских мужичков, слышали песни старинные, сказки русские, видели, как *жили-были* старики наши, в старые годы, стародавние, когда, по пословице, *снег горел, а соломой его тушили*. Теперь, пока, повесть моя кончена. Вот вам, православные русские люди.

Старина и деяние,
Синему морю на утешение,

Быстрым рекам на славу до моря,
Добрым молодцам на послушанье.
Веселым молодцам на увеселенье!

В заключение соблаговолите позволить мне сказать вам несколько добрых речей, и расстанемся приятелями.

Обещал я, правда, *быль*, не сказку, но и не *летопись*, не *гисторию* правдивую. Правда – вещь редкая на белом свете. Чистую самородною (как в Сибири находят золото самородное, полупудовыми кусками) едва ли найдете вы правду в здешнем мире. Не думают обманывать, а правды все-таки не говорят. Вот, примером сказать, случилось ли вам что-нибудь самим видеть и после того слышать рассказы о виденном вами от других самовидцев? Всякий рассказывает, не лжет, и *так* говорит – да *не так* выходит. Оттого у нас исстари ведется пословица: *из одной бани, да не одне вести*.

Что же тут делать? Как кому *кажется*, так тот и говорит. Вот, одного только смотрите, добрые читатели: *добросовестно ли* рассказывают вам.

Здесь, я кладу руку на сердце, и скажу вам смело:

«Я рассказывал так, как по чистой совести мне казалось. И если я в этом лгу, то, да будет мне стыдно, или при стариках, на морозе, шапку с меня снять извольте».

Вы найдете кое-что *не так*, если станете сличать рассказы других о Шемяке с моим рассказом.

До сих пор, вам представляли Шемяку злодеем, каких ма-

ло и бывало на святой Руси, а Василия Темного таким тихим, что он воды не замутит.

У меня Шемяка показан вам иначе: лихой, удалой, горячая голова, с добрым сердцем, и – с несчастьем, на роду написанным.

Закройте вы все ваши истории; вслушайтесь в рассказы старинных летописей; вдумайтесь в то, что они говорят и как говорят, и уже потом меня судите – так я и прав буду. А между тем, вот что пришло мне в голову:

Рассказывал я вам о *Шемяке*, да о брате его *Василии Косом*, а между тем вмешалась в мой рассказ повесть о чудном старике *Иване Гудочнике*, и о том, как он заклил свою буйную голову при гробе Спасителя.

О других персонах рассказ мой кончен порядком: Шемяка женился и стал владеть Галичем; брат его Василий остался в обители, уже не Косой, а Слепой, домыкать дни свои без света Божьего; Василий Васильевич стал благополучно владеть Москвою. Но *Гудочник* что?

Да, об этом спрашивали меня многие, читавшие мой рассказ. И спрашивали, не только о том; что случилось с Гудочником после расстани его в Новгороде с Шемякою, но и о том: кто был этот старик? Какими обстоятельствами приведен был к страшной клятве, и освободил ли он наконец душу свою от клятвы, или сошел в могилу, связанный на земли и на небеси?

Обо всем этом могу я дать вам, мои любезные читатели,

полный отчет; да, вот беда моя: рассказывать обо всем этом будет долгая песня, а я боюсь – не надоел ли уже вам и без того моею говорливостью?

Нашлись, правда, ласковые люди, которые говорят мне: *нет!* – и уговаривают, чтобы я досказал им досконально о Гудочнике. Признаюсь – и собственная моя охота есть на это... и по всему этому прошу милостивно выслушать следующее:

Теперь рассказал я русскую быль: *Клятва при гробе Господнем, или Повесть о том, как князя Василий Косой и Дмитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным. и о том, что из того происходило.*

Хочу же вновь рассказать еще *другую* русскую быль: *Суд Божий, или Повесть о том, как полонен был Великий князь Василий Васильевич Темный, на Суздальском бою¹⁷³, безбожным царем казанским Улу-Махметом, как восстановлено было Суздальское княжество¹⁷⁴, и что из того происходило.*

Тут увидите вы снова, любезные мои читатели, Шемяку,

¹⁷³ ...полонен был... на Суздальском бою... – Василий Васильевич был взят в плен 6 июля 1445 г. после поражения русской рати, во главе которой он находился, близ Суздаля на р. Каменке, от войск царевичей Мамутека (Мамутяка) и Ягупа, сыновей Казанского царя Улу-Мугаммеда (Махмета).

¹⁷⁴ ...восстановлено было Суздальское княжество – Это сделал Дмитрий Шемяка, захватив 12 февраля 1446 г. Москву и провозгласив себя Великим князем; 17 февраля 1447 г. он был свергнут Василием, а в 1450 г. была ликвидирована и недолгая самостоятельность Суздаля – Нижегородско-Суздальского княжества, и Нижнего Новгорода.

Гудочника, Москву, Новгород, Литву, все почти знакомые вам лица: Басенка, Ряполовских, подьячего Беду, Юрия Патрикеевича, и прочих; услышите подробно все похождения Гудочника, если только достанет у вас терпения слушать новый рассказ мой – а он будет не мала такие же *четыре книжки*, какие вы теперь прочитали.

Угодно – так я не замедлю, а не угодно, так *вольному воля*: положите, что вы встретились в пути, в дороге с Гудочником, как встретился с ним некогда дедушка Матвей; что Гудочник рассказал вам часть своих пождений и что вам некогда было дослушать остального. Ведь это часто на белом свете бывает. В таком случае – *спасибо* вам за то, что вы терпеливо прочитали мои рассказы о русской старине. Если же они вам сколько-нибудь понравились, если они заняли у вас несколько праздного времени, не оставьте и мне, смиренному рассказчику, сказать мимоходом, также – русское *спасибо!*

До свидания! А вась еще увидимся, как старые знакомые, а до тех пор – Богу слава, вам здравие и спасение, а русской были – конец.

Комментарии

В настоящий сборник вошли избранные исторические произведения Н. А. Полевого. С некоторыми из них советский читатель уже знаком. «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» в последние годы переиздавалась трижды (См. кн.: *Полевой Н.* Избр. произв. и письма. Л., 1986. С. 28—88; *Полевой Н.* Мечты и звуки. М., 1988. С. 135—196; «Русская историческая повесть первой половины XIX века». М., 1989. С. 84—144. Четырежды, не считая журнального варианта 1828 г. и авторской прижизненной публикации в 1843 г., она издавалась в дореволюционные годы – 1885, 1890, 1899, 1900 гг.); «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского» – один раз (*Полевой Н.* Мечты и звуки. С. 260—284). Другие произведения переиздаются в советское время впервые: «Иоанн Цимисхий» – по единственному, прижизненному изданию (2 части. М., 1841); роман «Клятва при гробе Господнем» – по первому изданию (4 части. М., 1832; в дореволюционные годы роман переиздавался четыре раза – 1886, 1899, 1900, 1903 гг.).

В настоящем издании тексты произведений даются с сохранением орфографии и пунктуации, характерными для того времени и отражающими индивидуальный стиль автора.

Произведения расположены в исторической последовательности событий, изображенных Н. А. Полевым.

Словарь устаревших и малоупотребительных слов

Адамант – алмаз.

Аер – воздух.

Ажно – даже, между тем, так что.

Алкать – сильно желать.

Алтарь – жертвенник; в православной церкви – главная, восточная часть, отделенная от общего помещения иконостасом.

Амвон – возвышенная площадка в церкви перед иконостасом.

Анафема – церковное проклятие, означающее отлучение от церкви.

Антиподы – обращенные ногами друг к другу; жители диаметрально противоположных точек земного шара; люди с противоположными чертами характера, взглядами.

Апофегма – краткое, меткое поучительное, наставительное слово, изречение.

Аргамак – верховая лошадь восточной породы.

Архистратиг – самый главный военачальник, предводитель, вождь.

Аспид – род африканской ядовитой змеи; злой, с черной душой человек.

Багряница – широкий плащ ярко красного, пурпурного цвета, подбитый горностаем; торжественное облачение царей, императоров.

Балдакин, балдахин – нарядное убранство, свисающее над кроватью, ложем, престолом.

Балясы – столбики под перила, поручни, ограду; пустые, праздные разговоры.

Бармы – оплечье, ожерелье, часть торжественной одежды с изображениями святых, предназначенная для парадных выходов князей, царей, высших чинов духовенства.

Баядерка – служительница религиозного культа в восточных странах; танцовщица и певица.

Бдеть – бодрствовать, не смыкать глаз, неусыпно следить за чем-нибудь.

Белец – живущий в монастыре, но еще не постриженный в монашество.

Бердыш – старинное оружие, боевой топор в форме полумесяца.

Бирюч – помощник князя по судебным и дипломатическим делам, глашатай, объявлявший народу воля князя.

Благовест – колокольный звон перед началом церковной службы, производимый одним колоколом.

Блюдись – берегись, остерегайся от неблагоприятных дел и поступков.

Болван – старинное название статуи; идол, истукан.

Борть – улей в дупле или выдолбленная колода, пень для пчел.

Брань – вражда, война, сражение, бой, битва.

Братина – большой сосуд, чаша с крышкой или без нее, в которой разносили питье, пиво на всю братию и разливали его по чашкам, кружкам.

Брение – очень жидкая глина, грязь; *бранный* – глиняный, непрочной, легко разрушаемый.

Будуар – небольшая комната в женской половине для приема друзей, посетителей, расположенная рядом со спальней.

Буесть – отвага, удаль, молодечество, дерзость.

Былий, *былье* – травинка, соломинка.

Василиск – сказочное чудовище с телом петуха, хвостом змеи и короной на голове, убивающее все живое одним своим взглядом.

Вежа – шатер, кибитка; башня шатрового типа.

Велелепно – великолепно, блистательно, красиво.

Велий – славный великими, знаменитыми подвигами (о людях); великий, огромный (о вещах, предметах).

Вельми – весьма.

Вебрь – дикий кабан.

Вержет – опрокидывает, бросает, кидает.

Вершник – всадник.

Верток – букв. верх пальца, фаланга; древнерусская мера длины – 4,45 см.

Весь – село, селение, деревня.

Ветшаний – ветхий, изношенный.

Взалкать – проголодаться, захотеть поесть.

Вино курить – извлекать, гнать из хлеба и др. растительных частей спирт, горячее вино.

Виссон – дорогая белая или пурпурная материя в Древней Греции и Риме.

Витамце – жилье, жилище, убежище.

Вития – оратор; красноречивый, речистый человек.

Власяница – грубая одежда, сделанная из волос; одевалась на голое тело для смирения плоти.

Внадите – войдите, вступите.

Волоковое окошко – окно с задвижкой, внутренней ставней.

Волостель – властитель, начальник над областью, назначаемый правительством.

Волошские – из Валахии, исторической области, располагавшейся между Дунаем и Карпатами.

Волховать – гадать, предсказывать.

Встола, ватола – накидка из грубой крестьянской ткани.

Вран – ворон.

Вретище – траур; траурные одежды.

Вья – шея.

Вяцище – знатные, сановитые, богатые.

Гиероглифы – иероглифы.

Гинекей – женская половина дома в Древней Греции, Риме и Византии.

Глагол – слово, речь.

Глад – голод.

Гливы – груши.

Голбчик – пристройка к печи, припечье, со ступеньками на печь и полати, с дверцами, полочками внутри и лазом в подпол,

Головица, *головщик* – управляющий одним клиросом в монастырских церквах; а также (обл.) – торговец яствами; уголовник, преступник.

Гонт – дранка, клиновидные дощечки, кровельный материал,

Горка – полочки, шкафчик для посуды.

Горний – вышний, возвышенный, небесный.

Гост – купцы.

Гривенка – единица веса (фунт – см.), а также дорогая подвеска у образов, икон; позднее – название монеты достоинством 10 копеек.

Гривна – древнерусская серебряная денежная единица, слиток весом около фунта (см.); серебряное или золотое украшение (награда) в виде прямоугольника или овальной формы, с цепочкой; надевалось на шею.

Гудок – смычковый инструмент, род скрипки без боковых выемок, с тремя струнами.

Дебрь – глубокий овраг, ложбина, а также долина, густо заросшие лесом.

Дееписатель – летописец.

Держава – золотой шар с крестом наверху, символ царской, императорской, монаршей власти.

Десница – правая рука.

Десятина – древнерусская единица земельной площади, равная 1,09 гектара.

Дефтерь – ханский ярлык (грамота) о видах, характере и размерах дани, которую князья должны были платить хану.

Джерид, джирит – дротик, метательное копьё; джериды – копьёметатели.

Доблий – доблестный, великодушный, добродетельный, благородный, крепкий в деле добра, сильный и твердый в добродетели.

Доезжачий – старший псарь на охоте.

Докончание – конечные условия, окончательная редакция договора, грамоты.

Долбня – колотушка, деревянный молот или просто бревно с выструганной, отесанной ручкой, рукоятью.

Домовище – гроб.

Досканец – ящичек, ларец.

Древле – в старину, в давние времена, встарь.

Дреколья – дубины, палки, колья, употребляемые в качестве оружия.

Дышло – толстая оглобля, прикрепляемая к середине пе-

редней осп повозки при парной запряжке.

Дуля – груша.

Духовник – священник, которому исповедуются в своих грехах.

Елей – оливковое масло, употребляемое в церковном обиходе.

Елень – олень.

Епанча – старинная русская одежда, длинный широкий плащ, имел парадную и дорожную формы.

Ересиарх – основатель ереси или главный авторитет среди ее сторонников.

Животишки, животы – стяжанье, движимое имущество, богатство,

Загонуть – загадать загадку, предложить что-то для разгадки.

Заклад – спор, пари; залог, обязательство при займе.

Заклепы – запоры, засовы.

Закута – часть хлева или комнаты, отведенная для мелкого скота и молодняка; чулан, кладовая в избе.

Золотые – попавшие в силки; пойманные, взятые под стражу.

Замшианый – покрытый мохом; забытый, затертый; законопаченный.

Заспа – крупа.

Зельно – обильно, очень много, весьма сильно, крепко.

Зернь – игра в кости (зерна) в чет-и-нечет.

Зипун – верхняя одежда русского крестьянина из грубого толстого сукна, обычно без ворота.

Иверни – черепки, мелкие осколки.

Изуручить – изувечить, искалечить, сглазить, навести на кого-нибудь порчу, болезнь.

Имать – брать, ловить; собирать (дань), изымать (пошлину); созывать.

Инбирни, имбирники, – калачи, хлеб, испеченные с имбирем – пряным корнем тропического травянистого растения.

Ипат – командующий отрядом, предводитель.

Ископать – вырыть, выкопать; добытое, вырытое.

Исполать! – Хвала! Слава!

Исправа – обзаведение чем-либо; одежда, сбруя, упряжь.

Испечаловать – исгоревать, иссохнуть; испросить себе утешение, заботу, защиту от печали.

Истукан – идол, статуя.

Исчадие – чадо (сын или дочь), родившееся на горе родителям, позорящее их своими действиями и поступками; порождение ада.

Калбат, *колбат* – грубосшитая одежда.

Каленая стрела – с закаленным, особо твердым наконеч-

НИКОМ.

Калита – кожаный мешочек, сумка для денег, которую носили на поясном ремне.

Камка – шелковая узорчатая ткань.

Капитель – верхняя часть колонны, столпа.

Келейник – послушник или монах, прислуживающий духовному лицу.

Кесарь – в Византии титул соправителя, «некоронованного» императора.

Кимвал – ударный музыкальный инструмент, похожий на современные тарелки.

Киноварь – минерал красного цвета (сернистая ртуть); использовалась для изготовления краски.

Кичение – хвастовство, спесь, показное превознесение самого себя.

Кичька, кичка – головной убор замужних женщин в виде повязки.

Клеврет – друг, союзник, единомышленник; с середины XIX в. значение этого слова изменилось на «подручный», «приспешник», «слепо следующий за своим господином».

Клиент – первоначально: лицо, зависимое от сановника-покровителя; в новое время – постоянный посетитель, покупатель, пользующийся чьими-то услугами и т. п.

Клир – совокупность, собрание священнослужителей и церковных деятелей.

Клирос – возвышенное место в христианском храме перед

алтарем, где находятся чтецы и певчие (хор).

Клобук – головной убор православных священников цилиндрической формы со спадающей на плечи тканью черного или белого (у патриархов и митрополитов) цвета.

Кобза – восьмиструнный округлый музыкальный инструмент; был распространен на Украине.

Ковы – козни, коварные умыслы.

Кожух – верхняя одежда из кожи; овчинный тулуп.

Кокошник – головной убор русских женщин в виде украшенного полукруглого щитка или веера.

Кольми – особенно, тем более, коли.

Копышились – копошились; ломались, упрямились, чванились.

Кошевня – станица, казачий лагерь.

Кравчий – боярин, ведавший царским столом.

Краеградие – край, грань чего-либо; дальние городские окраины.

Крыж – крест.

Крыжаки, *крыжи* – крестоносцы; прозвище рыцарей Ливонского Ордена, вообще воинов, пришедших из стран, исповедовавших латинскую (католическую) веру.

Ктитор – основатель, созидатель; в православной церкви – староста, избранный прихожанами.

Купцет – покупает.

Кура – выюга, буран, метель, пурга, поднимающая снег от земли.

Курники – сдобный круглый пирог с курицей и яйцами; род калача с запеченной в нем курицей – свадебная хлеб-соль молодым от всех родных.

Кущи – землянки, шалаши, жилище в безлюдном месте в лесу; дикие, безлюдные, заповедные леса.

Кызылбаши – «красные головы» – прозвище воинов-персов по красному головному их убору.

Лазуревый – светло-синий.

Ланиты – щеки.

Ласкательство – лесть, угодничество, заискивание, униженное потворство.

Лепый – красивый, прекрасный, пригожий, бесподобный.

Ложница – спальная комната.

Локоть – старинная мера длины, равная расстоянию от конца среднего пальца до локтевого сгиба (ок. 60 см).

Ливан – ладан; пахучая смола.

Литр, либр – весовая и денежная единица (см. комм. к с. 52).

Литургия – обедня; христианское богослужение, во время которого совершается причастие.

Лихоманка – лихорадка, горячка, воспаление.

Личины – маски.

Лукоморье – морской залив, побережье.

Мальвазия – сладкое виноградное вино с о. Мадейра (Ма-

дера).

Мамка – кормилица; старшая няня.

Матица – основной брус, балка, на которую настиляется потолок.

Матрона – в Древнем Риме – замужняя, почтенная женщина, мать семейства.

Миро – благовонное масло, употребляемое в христианских обрядах,

Мордка – мелкая монета, копейка.

Мостолыга – большая кость:

Мошна – мешочек для денег, сумка, кошелек.

Мыт – пошлина на ввоз товаров, за проезд через заставу, через мост и т. д.

Мытарить – плутовать, обманывать, промышлять неправедными подборками.

Мытарь – сборщик податей, мыта.

Нагольный тулуп – кожей наружу, не покрытый тканью.

Налой – столик в церкви для богослужбных книг.

Напасть – беда, неприятность.

Наперсник – человек, пользующийся особым доверием; любимец.

Нарекать – называть, именовать; укорять, обвинять,

Нарочитый – значительный, именитый.

Нарочито – обильно.

Начетчик – церковный чтец.

Невегласно – скрытно.

Некошный – недобрый, нечистый, дьявольский, вражеский.

Несть – не есть, нет, отсутствует.

Неумытный – неподкупный, беспристрастный, честный, правдивый.

Обдернулся – ошибся.

Обида – неправо дело по отношению к кому-либо; оскорбление, бесчестие; лишение имущества, нанесение убытков; побои и т. п.

Облелеять – обласкать, изнежить.

Оболочь – облекать, облечь во что-то, укрыть, одеть.

Обретаться – находиться, быть где-то.

Овн – овца.

Овому – кому, одному.

Оглобля – круглая жердь, служащая для запряжки лошади.

Огневица – горячка; сыпь на коже.

Огневицики – пожарники; факельщики.

Одалиска – прислужница в гареме; обительница гарема, наложница.

Одесную – по правую сторону,

Одр – постель, ложе.

Озадки – опыт прошлого, прошлое, дурные последствия, оставшееся в памяти сожаление.

Онучи, онучки – кусок плотной ткани, навертываемой на ноги при ношении лаптей, сапог; портянки.

Опас – охрана, опека, заступничество, покровительство.

Опрятать – привести в порядок, – обряжать; обмыть, одеть (о покойнике).

Осанна! – Помоги нам! – молитвенное восклицание при богослужении.

Отрепья – тряпье, лохмотья, рваная одежда, обноски.

Отрок – младший дружинник, использовался для выполнения разного рода поручений.

Охобень, охабень – широкий кафтан с большим откидным четырехугольным воротом, с длинными декоративными узкими рукавами и прорезами (в подмышках) для рук.

Ошую – по левую сторону.

Паволока – бумажная или шелковая восточная ткань, а также одежда из нее.

Паникадило – церковная люстра, канделябр.

Папир – бумага.

Пастырь – пастух.

Патриций, патрикий – придворный титул высшего ранга, давал право на самые высокие должности.

Паче – более, лучше.

Пеня – деньги, деньги.

Пергамент – материал для письма из телячьей кожи; документы, рукопись на таком материале.

Перепечь, перепеча – род кулича, каравай, печеные хлеба.

Перл – жемчуг.

Персть – пыль, прах, малая щепотка земля.

Перуны – стрелы, быстрые, как молнии; *Перун* – см. комм. к с. 196.

Пестун – воспитатель.

Печалованье – оказание милости, забота о ком-то, покровительство.

Пеицы – пешие воины, пехотинцы.

Плаун – болотное травянистое растение, мох; в сушеном виде использовался в качестве табака, «земляного ладана».

Плевелы – сорные, вредные растения на хлебном поле.

Плеща – плечи.

Плотоядный – хищный (о зверях и птицах).

Повапленный – окрашенный в белый (известью) цвет.

Повеждь – поведай, расскажи, открой кому-то на что то глаза.

Погар, погарь – гарь, погоревший лес.

Погост – новгородское укрепленное поселение; сельский приход, кладбище при церкви.

Поддатень – приданный кому-то помощник, товарищ в деле.

Подзоры – спускающаяся кружевная оборка, кайма.

Подьячий – служащий государственного учреждения (Думы, приказа), помощник дьяка (начальника приказа, отдела, канцелярии); писец, письмоводитель.

Поезжане – званые гости на свадьбе.

Поелику – поскольку, по возможности.

Позорище – зрелище, представление.

Полиелей – средняя праздничная служба в церкви, когда зажигаются свечи на паникадилах.

Полоть – половина вдоль разрубленной мясной туши.

Полсть – половина звериной шкуры,

Помози – помоги, подсоби.

Понеже – так как, потому что.

Поприще – древнерусская путевая мера, равная 1,5 версты (1,6 км); место для игр, борьбы; жизненный путь.

Портик – крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию.

Порфир – см. комм. к с. 34.

Порфирный – багряный, пурпурный,

Посадник – выборный городской голова.

Посконный ряд – торговый ряд с дешевыми, простыми, грубыми льняными и конопляными тканями и изделиями из них.

Посконь – конопля.

Поставец – столик с ящичками.

Постригся – совершил обряд пострижения в монахи, сопровождаемый подрезыванием волос.

Посхимлся – принял схиму, высшую монашескую степень, требующую строгого соблюдения суровых аскетических правил

Потребится – понадобится, потребуется.

Починки – закладка в лесу новой пашни и деревни; новая деревня.

Презорливый – высокомерный, гордый, надменный.

Прешедший – уходящий, проходящий, прошедший.

Привечать – кланяться, принимать ласково, радушно, приветливо здороваться.

Привременный – пребывающий временно, непостоянный, изменчивый, причудливый.

Присно – всегда.

Притоманный – истинный, настоящий (друг).

Притон – пристань, бухта.

Просвира – белый круглый хлеб, употребляемый в церковных обрядах.

Простыня – простосердечный, прямой; прощение (церковное); просторы, пустошь.

Пря – спор.

Препри – переспорь, победы в споре.

Псалмы – духовные стихи и песни, созданные в подражание псалмам, составляющим одну из библейских книг – Псалтырь,

Пята – пятка; полпяты – полпятки, несколько сантиметров,

Рагозиться – ссориться.

Радунца – см. комм. к с. 312.

Размирье – нарушение мира, ссора, несогласие.

Разстани, розстани – прощание, проводы, последнее свидание перед разлукой.

Рака – первая выгонка вина; первач.

Рамена – плечи.

Ратовище – древко копья, бердыша или рогатины.

Ритор – оратор, учитель ораторского искусства.

Романья – сладкая настойка на фряжском (французском, заморском) вине.

Ряса – верхняя длинная приталенная одежда с широкими рукавами у православного священника.

Сажень косая – русская мера длины, измеряемая расстоянием от правой пятки до конца поднятой вверх левой руки, или от левой пятки – до конца поднятой вверх правой руки.

Сайдак, саадак – комплект стрелкового оружия – лук с налучником (чехлом) и колчан со стрелами.

Сарацины – одно из древнейших кочевых аравийских племен, в дальнейшем – общее название арабов.

Сатрап – наместник правителя в восточных странах; в дальнейшем – деспот, самовольный, ни с чем не считающийся правитель, самодур.

Свежина – свежее несоленое мясо,

Свещница – подсвечник.

Свитка – верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна.

Сделье – сделанное, приготовленное быстро, наскоро; результат небольшой, недолгой работы.

Се – это, вот.

Секира – оружие, топор на длинной рукояти.

Сенник – матрас, тюфяк, набитый сеном или соломой сеновая постель; сарай для сена, сеновал.

Сенные девки – служанки в женской половине, горничные.

Синодик – список имен умерших для поминовения в церкви,

Скимен – львенок.

Скипетр – жезл с драгоценными камнями и резьбой, знак царской, императорской власти.

Скора – меха.

Скрынка – сундук, коробка, ларец; горшок, крынка, жбан с крышкой; жестяная стопка.

Сладить – договориться,

Смесной – смешанный.

Смоква – инжир, плод смоковницы; в Древней Руси – вяленая, сушеная вишня или слива (чернослив).

Снаряды – снаряжение, принадлежности,

Снедь – пища, еда.

Содом – беспорядок, хаос; от библейского г. Содома, разрушенного за сумбурную, греховную, непорядочную жизнь его жителей.

Сотью – в сотый раз.

Софисты – философы

Спекулятор, спекулятор – палач.

Ставка – палатка, шатер; ткацкий станок.

Стакался – сговорился.

Стенать – стонать, охать при душевной боли, плакать, кручиниться.

Степь – тень, пелена.

Склянка, скляночка – бутылочка, пузырек, небольшой стеклянный сосуд с горлышком.

Стогны – городские площади и улицы.

Столп – колонна, столб.

Столечник – скатерть.

Стратиг, *стратилат* – предводитель, военачальник, вождь.

Стязи, стяги – военные знамена и значки на конце древка.

Сулея – плоская бутылка, посуда с горлышком.

Схима – обет, клятва; монашеский чин, налагающий на принявшего его самые строгие аскетические правила и требования поведения.

Сыта медвяная – питье, подслащенное медом, или медовый взвар на воде.

Такать – поддакивать, соглашаться.

Тамга – клеймо, отличительный знак на чем-либо; пошлина, подать за приложение клейма.

Тарабарский – бессмысленный, бестолковый; непонятный; зашифрованный.

Тарханная грамота – грамота, освобождающая от всех податей и налогов; а порою – и от судебной ответственности.

Татаур – широкий пояс у бояр и священников; ремень, на котором подвешивался язык колокола.

Тать – вор, похититель, грабитель.

Тезоименитство – наименование именин, дня ангела у высоких особ.

Тенета – нить, сети, сетка из ниток.

Теорба – шипковый, струнный музыкальный инструмент с низким тембром; басовая разновидность лютни.

Терлик – длинный приталенный кафтан с короткими рукавами.

Терн – колючий кустарник, род сливы.

Тимпан – музыкальный инструмент наподобие бубна

Тиун – должностное лицо в Древней Руси, управляющий, приказчик, судья.

Тма, тьма – десять тысяч.

Тма тем – сто тысяч.

Толичать – многократно называть, упоминать.

Толмач – переводчик.

Триклиний – столовая комната.

Триодь – богослужебные книги, содержащие песнопения и молитвы.

Триумфатор – победитель.

Тузлук – старинное украшение, которое носили на пояском ремне.

Тук – тучный, обильный.

Туне – втуне, напрасно, даром, зря.

Туск – тусклость, помутнение.

Тысяцкий – выборное лицо от каждой тысячи горожан или крестьян; военачальник; старший свадебный чин.

Тюника, туника – древнеримская белая шерстяная или льняная одежда в виде длинной рубашки с короткими рукавами.

Угобзонный – удобренный, обогащенный, щедро одаренный; *гобза* – обилие, богатство, достаток, урожай.

Уполох – тревога, набат, сполох.

Успение – кончина.

Устав – условие, договор, уговор; грамота, определяющая какие-то правила, порядок действий, обязательства.

Фарганы – варяги, норманны.

Ферезь, ферязь – верхняя мужская прямая неприталенная одежда с длинными рукавами и без ворота; женское платье с застежками снизу доверху.

Фиал – чаша.

Фиглярка, фигляр – скоморох, шут, кривляка, фокусник, ловкий обманщик (в цирке).

Фимиа – благовонное вещество, используемое в церквях при богослужениях.

Фляга – плоский дорожный сосуд, бутылка.

Фунт – мера веса, равная 409,5 гр.

Фурия – см. комм. к с. 176.

Фут – мера длины, равная 30,48 см,

Хари – маски.

Хартия – старинная рукопись, документ, грамота.

Хитон – древнегреческая одежда в виде рубахи (до колен или ниже) с рукавами или без них, перетянутая поясом.

Хлябь – глубина, пропасть, бездна.

Хоругвь – воинское знамя, стяг, значок на древке; в церкви полотнище с изображением святого, используемое во время церковных шествий.

Хрептуг – мешочек для овса, который привязывается к оглоблям, чтобы кормить лошадей, не распрягая их.

Хронограф – летопись; запись событий по годам, хроника.

Целовальник – выборное должностное лицо в Древней Руси по финансовым или судебным делам; давал клятву на честное исполнение своих обязанностей, скрепляя ее целованием креста.

Цырен – котел, ящик; солеваренная сковорода.

Челядь – первоначально – рабы; затем – слуги, дворовые люди, вообще феодально зависимые от князя, боярина люди.

Червень – пряжа или ткань, окрашенная в красный, багряный цвет.

Червчатый – ярко-малиновый, багряный, красный.

Чернец – монах.

Чертоги – пышные, богато убранные, великолепные, украшенные помещения во дворцах, домах или сами дома, дворцы.

Четверина, четверик – русская мера объема сыпучих тел – 26,24 л.

Четки – шнурок, нитка с узлами или бусами из дерева, кости, применяемая для отсчета молитв или поклонов.

Чиниться – соблюдать требования сословного – по чину – поведения; вести себя соответственно своему чипу.

Чли – чтители, почитали, оказывали почтение, уважали.

Шафран – южное травянистое растение, рыльца цветка которого использовались в качестве приправы, а также для окраски бульонов, теста,стряпни в желтый цвет.

Шелега, шелег – неходячая монета, бляшка для счета в играх или в память чего-либо.

Шуйца – левая рука.

Щегла – флагшток; лестница из одного бревна с вырубленными или прибитыми ступенями.

Щепетко – тщательно, аккуратно, модно, нарядно, щегольски.

Щеть – щетина.

Эпитимия, епитимия – наказание в виде продолжитель-

ного поста, длительных молитв и т. п. обрядов, налагаемое на исповедующегося священником.

Эпитрахиль, епитрахиль – часть облачения, одежды священника, длинный расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой. *Риза* – верхняя одежда священника при богослужении; *ряса* – повседневная одежда.

Яко – как.

Ярыжки – нижние полицейские чины, следили за порядком на улицах, собирали налоги (земские ярыжки) и т. д.

Яспис – яшма.

Яхонт – старинное название рубина и сапфира.